ДМИТРИЙ БАЛАШОВ 3

# Дмитрий Балашов

3

Дмитрий Балашов

3

# Дмитрий Балашов

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



Москва «Художественная литература» 1991

# ДМИТРИЙ БАЛАШОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

# БРЕМЯ ВЛАСТИ

РОМАН



Москва «Художественная литература» 1991

ББК 84Р7
Б20

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

Б $\frac{4702010201-269}{028(01)-91}$ Подписное

ISBN 5-280-01604-7 (Т. 3)
ISBN 5-280-01602-0

# Бремя власти

роман

## ПРОЛОГ

В холодных пробелах дымно клубящегося неба давно уже не вспыхивала небесная голубень. Сизые волглые лохмы, цеплявшие за верхушки дерев, тяжко и страшно влеклись над самой землею. И по меркнущему, призрачно-желтоватому свету в горних провалах туч чуялся близкий вечер.

Серая пелена небес моросила дождем. Лес застыл, кроткий под непрерывною капелью, роняя пожухлые, почернелые клочья своего убора. Лес знал, что это последняя влага перед близкой зимой, и потому стоял тихий и смиренный, не лез блеском листьев, не лопался почками, не острил встречу дождя тонкие иголки трав, а словно грустил понуро или засыпал, уже не впитывая стоявшие озерцами среди кочек лужицы ненужной ему воды. Ручей, что едва струился летом, огибая ржавые, поросшие осокою отмели, сейчас сердито ревел, обратясь в пенистый поток, и только один его голос врывался непрошенно в осеннее безмолвие лесов.

Шуршание обложного дождя гасило все прочие звуки, и потому скорее по шевеленью раздвигаемых ветвей, чем по чавкающему зову шагов можно было понять, что в лесу кто-то есть. Обдирая плечами мокрую преграду кустов вдоль заросшей и заколодившей тропинки, двигались трое: корова, женщина и ребенок.

Грубая старинная пословица молвит: пусти бабу в рай, она и корову за собой волокет. Рай не рай (очень даже не раем был дождик, зарядивший из утра да так и не кончавший, даже и гляду не было, что разъяснит!), но действительно вели корову, купленную или инако достанную, и вели явно к себе, ибо не так ведут жи-

вотное продавать, дергая за вервие и уже заранее как бы отчуждаясь. Здесь, напротив, вели бережно и сами жались к корове, к теплу ее обширного чрева, приноравливая свои шаги к разлатой колеблющейся поступи вековечной крестьянской кормилицы. Женщина шла пригорбясь, изредка нашептывая слова древнего скотьего заговора, и вела бело-пеструю красулю на веревке за собой, а та покорно, покачивая рогатою большой головой, ступала за нею вслед, изредка взмахивая хвостом и слизывая с губ большим шершавым языком капли дождя. Шерсть на ней потемнела и лоснилась от стекающей влаги. Мальчик шел сзади, дабы подгонять корову, но он не столько подгонял, сколько сам старался не упасть. Поминутно спотыкаясь на ветках и корнях дерев, он то отставал, то вновь подходил к самому крупу коровы и очень хотел тогда ухватиться руками за коровий хвост и так идти за нею, но боялся это сделать и только изредка касался рукой мокрой и теплой коровьей шерсти с робким обожанием и благодарностью к доброму большому зверю.

Остановясь в очередной раз, женщина достала деревянную мису и, пристроив ее между ног, стала доить корову. Нацедив мису, поднялась и сперва протянула ее мальчику. Тот отпил немного и молча отдал матери. Она стала пить мелкими глотками, не спеша, и пила долго, но выпила тоже немного и вновь отдала мису мальчику. Оба и вдруг подумали о хлебе — хлеба не ели они уже очень давно,— но ни он, ни она не сказали ничего. Так, по очереди, допили они молоко, и мать первая, сделав усилие, встала, сказав:

— Поидемо. Ночь...

И мальчик тоже встал, закусив губы, и пошел опять сзади коровы, желая и не решаясь ухватиться за коровий хвост.

Ни по одежде — туго замотанному темному плату и долгому платью женщины, ни по ее мокрому, с мужского плеча, зипуну, ни по долгой рубахе и латаной свите мальчика в липовых лаптишках нельзя было сказать, кто они и даже — какой поры. Века неслышно текли над ними, сотни годов, и в любом из протекших столетий, после пожаров, недородов, моровых поветрий и войн, когда появлялись так вот бредущие по дорогам бабы с детями, с коровами в поводу, значило это, что не угасла еще и вновь и вновь возрождается жизнь на земле.

Сгущались сумерки, и упорный мелкий дождь бормотал все сильней. Мокрые ветви хлестали женщину по лицу. Мальчик часто спотыкался, но не плакал. Раз, остановясь, они прислушались, и сквозь шум ручья в чаще расслышали далекие редкие удары секиры.

— Дедушко наш! — сказала женщина севшим от усталости сиплым голосом.— Дедушко наш дровы рубит!

Осторожные удары едва-едва доносились сквозь сплошной, все покрывающий шорох дождя.

— Это наш тятя,— сказал мальчик,— наш тятя, твой и мой!

И женщина, оглянув на сына, не захотела или не посмела возразить. Муж ее, сын старика и отец мальчика, был убит, и теперь без старика свекра ей бы и совсем пропасть.

Она окликнула мальчика, сказав что-то по-мерянски, он промолчал, и в тишине только капли дождя шуршали и шуршали, опадая с ветвей, да, чавкая, ступала корова, и наконец ответил ей по-русски, с детским упорством, схожим с упорством дождя. Женщина, пробормотав что-то, поправила волосы под платком, засунув мокрую прядь под сбившийся повойник, и снова они шли и шли в сгущающихся сумерках и коровий хвост однообразно ударял по мокрым кострецам. Женщина снова сказала что-то по-мерянски, но мальчик упрямо отозвался по-русски вновь, и, вздохнув, побежденная упрямством сына, мать сама перешла на русскую молвь.

Рогатая голова коровы и темный женский платок еще долго мелькали в сумерках среди мокрых кустов. Сердито грохотал вздувшийся поток, и было страшно представить, что им еще придет переправлять вброд через эту ревущую воду, по скользким камням и предательскому бурелому, завалившему русло ручья. Но пока они будут гнать корову (вновь и опять, вновь и опять!), пока будет молоко для детей, будущих пахарей и воинов, дотоле пребудут города и храмы, гордая удаль воевод и книжная молвь, многоразличные науки, художества и ремесла, дотоле пребудет страна и все сущее в ней.

...Она все еще ведет корову. В рай — не в рай. Не стала раем для нас и поныне родная земля. Где? Когда? В какие — седые или недавние — годы?

Где-то в России. На Руси Великой. В веках...

Часть первая

# ЗОДЧЕСТВО КНЯЗЯ ИВАНА

## ГЛАВА 1

Иван прислушался, безотчетно считая про себя удары медного языка. Звон колокола был жидок, и что-то жидкое, нетвердое было во всем, что остолпляло его теперь. Не вставая с колен, тяжело свесив голову, отягощенную густою волной заплетенных в косицу волос и густою русою бородою с ранними промельками заботной седины, в той же позе, в коей творил он молитву перед «Спасом», Иван Данилыч, московский властитель, господин Великого Нова Города, великий князь владимирский, глава Руси и подручник ордынского хана, задумался.

Да, конечно, волю цесаря Узбека он не исполнил! Не мог исполнить, а вернее сказать (самому себе, стоя днесь на молитве, и сказать мочно!) не захотел. Рати стояли под Опочкой. Нать было громить Плесков, слать полки москвлян на плесковские, зело твердые, из дикого камени кладенные стены, стойно дяде Андрею или покойному брату Юрию зорить Русь, которая того не простила б великому князю владимирскому до гроба лет...

Был март. (Дотянули до марта! Причем тянули все, и он, Иван Калита, менее всех!) Был март, и снег рыхлел, начинал проваливать под тяжелыми копытами окольчуженной конницы. С тем и было посылано в Орду: пути-де непроходны зело, поимать тверского князя не сумели, но и с тем воля царева исполнена, поелику Александр Михалыч от великия нужи и угрозы ратныя ушел из Плескова в Литву.

И серебро посылано на поминках. Много серебра. И скора, и сукна, и мед, и кони, и красные терские соколы — всего преизлиха. Самому цесарю, женам и вельможам его, коих он, Иван, должен был помнить всех полично и поименно (и то такожде помнить, кому чего и сколь надобно дать!). И теперь одного б не было: не было бы извета в Орду от ворогов тайных! Отселе, из Руси. Из тоя же Твери. Да почему только из Твери? И с Москвы напишут! Помилуй и спаси, Господи, раба твоего!

А только вот... с начала, с самого начала похода не

думал он, да, не думал, что так обернет все и с князем Александром, и со плесковичи. Не гадал... Сейчас даже и сказать можно, когда, в пору какую и в который миг озарило его истиною.

В тот день он, из утра не слезавши с седла, попал в затор на дороге. Повозка накренилась, угрожая обрушить под угор груду стянутого вервием добра. Взъерошенные кони дуром и врозь дергали постромки, медленно, с натугою, проворачивалось блестящее, в кованом ободе, колесо, вылезая из снежной каши, и по натуге колеса, по дрожи конской, по сосредоточенным лицам воевод, подскакавших обочь, учуял: послать на приступ — может, и пойдут, но не посылать — все вздохнут с радостью. Не послал. Вздохнули. Угадал верно. Это вот колесо, и растерянные лица возничих, мокрые, в испарине, расстегнутые овчинные зипуны, растерянные взгляды, когда узрели князя своего — не готовно-ражие, а растерянно-смятенные, словно не снег виной, а застал за чем нехорошим...

Он подъехал верхом, солнце грело спину и шею. Март исходил последними днями. В мокром снегу, растянувши на сорок верст, копошились обозы, возки и сани, пешая и конная рать, и, как игрушечная, стояла невдалеке крепостца, светлый дым курился-кудрявился над нею: топили печи либо грели смолу ради возможного ратного приступу. Оттуда, с заборол, изредка пролетала стрела; далекий крик дрожал в воздухе; комонные москвичи оскакивали крепость по-за рвами, целились, придержав коней; спустив тетиву, срывались опять в скок, уходя от ответного псковского гостинца.

В путанице дорог нелепо растянутые полки подходили и подходили к Опочке (может, и лепо, как там воеводы решали? Молодой Василий Протасьич знает лучше его!). Разбрасывая тяжелые жемчужные градины снега, подскакал тверской князь Константин с боярами, меж которых кинулось в очи лицо старшего Акинфича — Ивана.

— Вота как?! Стало, не ушел с Александром в Плесков? Альбо оттоле — сюда?!

Когда-то, четверть века тому назад, отец Ивана Акинфича, Акинф Великий, едва не захватил Переяславля, где сидел в ту пору Иван Калита, тогда еще молодой растерянный княжич, ожидавший скорого пленения и взятия града. Московский воевода Родион Несторыч вовремя подоспел с полком. Нежданным

ударом разбил Акинфичей, самого Акинфа Великого сразил в поединке и, вздев голову убитого на копье, поднес ему, Ивану, в назнаменование победы. С тех пор, все эти долгие годы, сыновья Акинфа враждуют с Москвой и после Шевкалова разоренья должны были оба уйти с Александром... Так что же, значит, сносят они между собою? Значит, тайное согласие единит беглого тверского князя с его братьями, выступившими по зову Калиты в поход противу старшего брата? Да не с тем ли и прибыл Акинфич, дабы нежданным двойным ударом, оттоле и отселе, покончить с ним, Калитой?!

Бояре что-то почтительно баяли о близкой ростепели, о снегах, неуверенных конскому копыту,— не посести бы тута с обозами! Румянолицый, высоконький Константин, глядя на него расширенными глазами, кивал-поддакивал. Иван, глядючи на него, всегда вспоминал твердый носик племянницы Сони, Софьи Юрьевны, полагая, что московская жена удержит тверского князя от всякого — ратного, иного ли — нелюбия к нему, Ивану. Тверские князья были в нынешнем походе оба. В обозе везли юного Василия Михалыча, не очень еще дозволяя мальчику скакать на коне впереди полков. Да ведь он, Калита, сам же и настоял на том, чтобы в поимку за Александром Тверским выступила «вся земля», то есть и младшие братья беглого князя тоже!

И тут, только тут и подумал! Только тут и испугался смертно, до холодного поту, до ужаса! Представил вдову князя Михайлы, убиенного, святого, как толкуют решительно все,— высокую, иконописно строгую, ничего не забывшую и не простившую; и как, с каким ликом, с какими наказами снаряжала она младших сыновей всугон за старшим там, у себя, в горелой, наспех отстроенной Твери, в помочь кому? Брату убийцы мужа (ибо покойного Юрия все в Твери считали главным и даже единственным погубителем Михаила Святого), и мало что брату убийцы! Самого-то его, Ивана, не кем иным считают в Твери, как убийцей Дмитрия Грозные Очи, хоть и без него казнил Узбек старшего сына Михаилова,— все равно! И почему бы сейчас Константину не зарубить нежданно ворога своего, как зарубил в Орде Дмитрий Юрия: саблей, в мах... И все окончит разом. И останется только красная лужа крови, медленно съедающая истоптанный копытами снег... Перепал. Забоялся. Забоялся так,

что возжаждал скорее оглянуть: близко ли свои кмети? Да нет, Константин никогда на такое ся не решит! Александр — тот, что сейчас сидит за твердыми стенами Плескова,— тот бы, пожалуй, и возмог... Или уж, чести ради, не похотел! (Дак и того обидней!)

Князь Александр леповит, красовит ликом, статью — что сокол, прямой князь! А горд — горд паче меры! Как он его ненавидел порою! Вот и здесь, и днесь, на молитве стоючи, воспомня — не вздохнуть! Как в дыму! Главный ворог он! Он — укор, и язва, и поношение ему, Ивану, да что — всему дому московскому!

Грамоту прислал из Плескова «всем князьям, женущим по нем и хотящим его пленити». Иван ту грамоту и поднесь помнит наизусть: «Мне убо должно есть со всяким терпением и любовью за всех страдати, нежели отмщати лукавствующим и крамолящим на меня: ничто же убо есть житие земное, все убо исчезаем и в небытие отходим, и воздано будет от Господа коемуждо по делам его. Вам же лепо было другу за друга и брату за брата стояти, а не выдавати татарам братью свою, но противятися на них за един и стати всем вкупе за Русскую землю и за православное христианство! Вы же супротивное творите, и татар наводите на христиан, и братию свою продаете безбожным татарам!»

Если бы он сам мог сказать эти слова! Не сможет. Никогда. Побывав в Орде, понял, что никогда. Разве — Узбек умрет... Да и то: что изменит смерть этого самовлюбленного и мнительного деспота! Когда-то он понимал брата Юрия. Теперь начал понимать покойного Михайлу Тверского. Нельзя! И он будет знать, что нельзя, а Александр Михалыч не хочет и не будет этого знать, и Русь будет любить Александра, а не его, Калиту. Уже и поныне умную бережливость его зовут скупостью. О, он не скуп там, где надобно! На каменные церкви, на монастырь во граде брошено излиха, и все ради единого слова митрополичьего (а Феогност уехал в Литву и глаз не кажет — неужто все зря?).

Или послать грамоту тверского князя в Орду?! Нет, пущай полежит. Не сейчас. Не надо сейчас...

И вот главный враг. Александр Тверской. За то, что смел, за то, что безрассуден. За то, что сын великого отца. За то, что брата его старейшего, Дми-

трия, он, Калита, и в самом деле помог уморить в Орде...

И подумалось в те поры: по чести сказать, и суздальскому князю, Александру Василичу, почто так уж заботить себя поимкою тверского князя? Тягался с ним, Калитою, о великом столе. Получил Поволжье и Владимир. Сейчас, слышно, строит свой Нижний, ладит туда перевести стол из Суздаля и, поди, больше всего боится, как бы московский великий князь не наложил руку на Нижний Новгород!

Он, Иван, тогда все еще надеялся. Прехитрое, как казалось самому, послание сочинил — на благородство Александра надея была да еще на страх татарский: «Аще не приведем в Орду князя Александра Михалыча, вси от царя Азбяка отечества своего лишены будем и смерти преданы и землю Русскую пусту сотворим». А самому Александру тогда же с владыкой Моисеем и Авраамом, тысяцким новогородским, послал: «Царь Азбяк всем нам повелел искати тебя и прислати к себе в Орду. Поиди убо к нему сам, своею волею, да же не привлечеши ярости его на всех нас! Удобно бо тебе есть за всех пострадати, нежели нам всем тебя ради пропасть и пусту всю землю створити».

Лукавил. Знал он Узбека, как себя самого! Понимал, что Узбек трус, получит серебро и утихнет, и за то, что не пойман Александр, не накажет уже никого. Была, однако, надея: Русь... обчая беда... отвести... Не то время! И никого не обмануло клятое послание. Плесковичи решительно воспротивились: «Не езди, княже, все за тя главы своя положим!» Да и новгородцы не ревновали о сече, ни тверичи, ни суздальский князь... И вот — и всё! Рушилось. И понял это в тот миг, когда, испугавши его, Константин отбыл, и продолжалось тяжелое вращение в сырой снежной каше кованого колеса, а растерянные рожи молодших оборачивались от него к застрявшему возу, и пар шел от тел, от лиц, от расстегнутых мохнатых зипунов... Бросилась в очи чья-то зеленая рукавица на снегу, яркая, как березовый лист, непонятно почему в точности похожая на его собственную (и почтительно тут же поданная Ивану стремянным). Оказалось — уронил, не заметив, и в том было что-то, унизившее его. И в том было паки униженье, что побоялся спросить про Акинфича, а слухачи донесли вечером: верно, оттоле! Прискакал с супротивныя стороны, и сносят между

собою. Вот и понимай! И приступ к Плескову без стеноломов, без пороков камнеметных... Даже и он, Иван, понимал, что отобьют, с соромом отобьют их плесковичи! А суздальцы дадут московитам пойти напереди и не поддержат. Поддержат ли новогородцы? Ой ли! И что же тогда? И чьей головой покупати будет трудный мир с ханом: Александровой али его, Калиты, главою?

Решение пришло к нему ночью,— спасение! И уже не спал до утра, и уже на рано-ранней заре ринул, аки агнец в скорби, ко отцу небесному прибегая: Феогност! Пасть в ноги присланному из Царьграда греку, просить, молить: да своею волею — волею нового митрополита русского — пристрожит, прикажет плесковичам! Умолил. Феогност наложил проклятие на плесковичей. Те и еще поупирались, но в конце концов пред церковною властию сдались. Александр ушел в Литву...

Разумеется, уйти ему дали без препоны. И проклятие (хоть и супруга, и дружины немалое число, и казна княжеская остались во Плескове) тотчас было снято с города, и все сошли в мир и любовь. А он... он сел за тяжкое послание хану Узбеку. При поминках. При серебре новгородском, что иначе осело бы в его великокняжеской казне. И как спешно, как резво, выдирая возы и сани из провалов и водомоин в рыхлых весенних путях, из снежной каши в самом деле развезшихся дорог, незаботно оставляя тяжелый припас в новгородских рядках до сухого летнего пути, шли, и шли, и шли, торопливо откатывая домовь, домовь, домовь! К жонкам, в дымные избы. Ладить упряжь и снасть, пахать, сеять. И уменьшалась, растекаясь, рать, ручейками уходя в налитые солнцем леса, в синюю даль дорог. Уходили суздальцы, уходил владимирский полк, нынче пришедший под воеводством суздальского князя (не всё и не вдруг выдала ему Орда!). Уходили, откалывались тверичи, шли, приметно избирая иные от московитов дороги, и таяло, уменьшалось войско великого князя. А лица у всех радостные, весенние — никто не хотел ратиться в этой войне!

Вот сейчас он выйдет из полутьмы церковной. Будут двор, нищие, что ждут его, великокняжеской, неукоснительной милостыни, храмоздательство, затеянное ради нового греческого митрополита Феогноста,

бояре с делами, дьяки с грамотами и старший сын Симеон, такой еще мальчик, столь еще беззащитный пред грозным величием власти!

Иван поднимает лик горе́, и долго глядит на большого «Спаса» московской работы, и видит вдруг, что лик Спаса суров и жесток, и пронзителен зраком, и морщины округ широко разверстых глаз и около рта Спасителя тонки и горьки. С кого писал образ сей московит-иконописец? Чей зрак, чью густоту волос, чью жесткую сеть морщин держал он в мысленном взоре своем? Иван редко гляделся в полированное серебро зеркала и забывал порою о печатях времени на лице своем. Но сейчас постиг, припомнил и ужаснулся: лик Спаса на иконе не являет ли тайная тайных его, княжого лица? Понимал ли его иконописец? Провидел ли умным взором или сам для себя неожиданно измыслил такое? Или жестокое столь вкоренилось нынче в московском дому, что и писец иконный, мысля о Спасе, не иначе видит горнего учителя нашего, Иисуса Христа?

«Господи! К тебе прибегаю! О земле своей пекусь я в жестоце и хладе сердца своего! Повиждь и внемли нижайшему рабу своему!»

Он рывком встает с колен. Осеняет себя последний раз крестным знамением. А земля — вот она! Курящие паром поля, леса и деревни, муравьиная работа мужиков и баб... И неостановимое, как время, возрождение тверской силы.

## ГЛАВА 2

За порогом церкви его обняла и разом успокоила сверкающая свежесть мая, лезущая отовсюду трава, рудосерые просыхающие бревна, и нечаянные березки по-за теремами в зеленом дыму, и заречный простор лугов и красных боров по-за верхами стен, и легкий — после ладанного дыма — ненасытимый весенний дух с той, луговой стороны.

Стража раздалась посторонь. Он ступил с крыльца и пошел, строго утупив очи, не хотя видеть выставленного напоказ и немо, а то и с легким жалобным ропотом протянутого к нему человечьего уродства. Все же пришлось придержать шаг и, раскрыв калиту на поясе, достать горсть серебра, которое, однако, не стал нынче сам раздавать нищим, а передал постельничему, примолвил негромко:

— С рассмотрением!

И тот, с полуслова поняв великого князя, приотстав, начал обходить, расспрашивая и оделяя, нищую братию. «Только на молитве и оставят в покое!» — подумал Иван, уже не радуя солнечному дню, и убыстрил шаги. Впрочем, от домовой церкви до крыльца теремов путь был недолгий.

От глыб камня, привезенного по зиме санным путем и сваленного в высокие кучи прямо на снег, тянуло погребным, кладбищенским холодом. Земля округ куч была еще сырая: видно, недотаял заваленный камнем лед там, внутри. Камень ломали еще с осени и возили на Москву с Филипьева поста до Пасхи — доколе стоял лед и держали пути,— загородив и заставив камнем едва не пол-Кремника. Резко чернели невдали, под невысоким утренним солнцем, рвы начатой церкви Ивана Лествичника. «Послезавтра закладка храма!» — напомнил себе Иван, поглядев в тот конец. Послезавтра, двадцать первого мая, был день памяти кесаря византийского Константина и его жены Елены — основателей Царьграда, второго Рима. День этот для закладки Иван выбрал сугубо и со смыслом. Иван Лествичник — соименный Ивану святой, а Еленою зовут его супругу. Все было со значением, и хоть въяве слова о третьем Риме — Москве и не были сказаны, но — чтущий да разумеет! Выбор имен и освященного дня говорил о многом, и ученому греку Феогносту то будет зело явственно!

Новый митрополит, спасший его под Псковом, был еще не стар, ясен зраком, велегласен и деятелен. Под смуглотою южного загара просвечивал здоровый румянец, в движеньях являлись твердость и быстрота. Все говорило о нраве решительном и самоуправном, даже самовластном. Было достаточно внятно, что послали его неспроста, а сугубо вопреки и вперекор московскому хотению поставить своего преемника Петру, Феодора, отвергнутого цареградской патриархией. И в этой решительности патриаршей были свои язва и заушение. Мнилось прежде, при Петре еще, возможет и в Орде одолеть христианская вера русская. Не одолела. Не на том ли сломался и сам Михайла Тверской? Не оттого ли так и с Царьградом ныне круто содеялось? Словно с воцареньем в Орде Узбека поменела, умалилась лесная Владимирская Русь. Словно уже и не с кем, и не с чем считаться кесарям

и патриархам византийским на здешней земле! А может быть, и еще того хуже! О чем и думать соромно. В Цареграде рать без перерыву, внук встал на деда. Андроник Третий на Андроника Второго. Византийские кесари ищут теперь помочи у франков да фрягов, сносят с римскими папами... Не в угоду ли католикам назначен на Русь Феогност? Тогда все даром и все впусте!

При встрече новый митрополит, посетив гробницу Петра и бегло озрев Кремник, посетовал на скудость града Москвы. Свысока оглядев рубленые терема, клети и церкви, изрек мимоходом:

— Прилепо стольному граду имати храмы, из камени созиждены!

Рек — и как окатило стыдом. Иван бросил тогда почитай все, что имел, на каменное храмоздательство, дабы заносчивый грек внял и постиг, воротясь на Москву, что не слаб и не жалок перед ним властитель Владимирской Руси. (Хоть и то примолвить надобно, что не от великой силы заманивает он к себе митрополита русского. Уедет Феогност в Литву, к Гедимину, и — всему конец: Москве, великому княжению, а может, и самой русской земле!)

Как долго покойный Петр молил его создати храм Успения Богоматери, и как долго собирался он, как медлил исполнить волю Петра! И сколь своего, церковного добра дал Петр на создание храма! А теперь? Петр был свой и добрый. И он, Иван, капризничал с ним, как дитя пред родителем. И ведь нет в нем ныне нелюбия к Феогносту, в самом деле нет! Поначалу осерчал,— когда оттуда, из Цареграда, осадили его, словно норовистого жеребца, отвергнув архимандрита Феодора. Но лишь только некие из ближних стали недовольничать новым митрополитом, он, Иван, первым окоротил хулителей:

— Всякая духовная власть от Бога!

Они все не понимают (и Михайло Тверской не понимал!), что надо принимать *то, что есть*, и из этого делать потребное. «То, что есть» значило: не идти войной на Псков, ежели этого никто не хотел; не лезть на рожон с татарами, всегда и во всем внешне угождая Узбеку. И тут, в делах церковных, важнейших, чем прочие, приноравливать к присланному гречину, а не спорить противу судьбы. Так вот, заметив, что тому нелюбы древяные храмы Москвы (грек — приучен к

камению многоценному!), все силы и бросил на создание белокаменной церковной лепоты... И тут же укорил себя, воспомня прежние уговоры Петровы. Как порою с близкими себе менее бережны бываем, а нельзя так! Увы, и он в этом не лучше прочих! Стал ли бы он при Петре созидать разом, как замыслил ныне, четыре каменных храма на Москве? Так что ж, выходит, что и все в жизни требует грозы али понуждения? Доброта излиха не то же ли зло для лукавого и леностного раба божия? Почто у добрых родителей почасту плохие чада, нерадивые и неумелые к труду? Нужно, ох нужно жезлом железным учить и направлять всякого смертного: да не оскудеет и не ослабнет, свершая труды свои! И для него, Ивана, Феогност ныне — жезл железный. И за то, что скупился тогда, при Петре, излиха, за то он нынче давно уже не считает на церковное дело ни серебра, ни сил, ни припаса снедного...

И пусть не насмешничают над его малою Москвой! Он отселева не уйдет! Не Юрий! Ни в Переяславль, ни в Володимир, ни в Новгород Великий! Здесь будет стольный град Руси! На этих холмах! Не мог святой Петр так обмануть себя в чаяньях своих, а он предрек, умирая, величие граду сему! А Петр — святой. И надобно паки и паки хлопотать о канонизации блаженного! Паки и паки надо слать патриарху о сем деле! И пусть новый митрополит хлопочет такожде о признании святости покойного! Даром, что ли, он, Калита, строит на Москве каменные храмы? Верно, мал его город. И перед Тверью мал, и перед Новгородом, а уж о Цареграде и речи нет! Но вот: Петр видел Цареград, а не почел ничтожным град Московский!

С этими мыслями, освежив себя гневною обидой, Иван ступил в сени княжого терема. Тотчас с лавки, с поклонами, поднялись два боярина. Один из них, Мина, был посылаем им в Ростов, в помочь Василию Кочеве. Ростовское серебро собиралось туго, и Иван требовал решительных мер. Завидя Мину, похотел было отправить его еще до трапезы, но сдержал себя. Трапезовать великого князя ждали архимандрит Данилова монастыря, четверо думных бояринов и посол иноземный из кесарския земли, допущенный к трапезе по совету старого Бяконта. Иван давно уже научил себя трапезовать с важными гостями, хотя порой и долило: хотелось простоты, уединения. В уединении

лучше думалось и вкушалось способнее. Не надобно было брать серебряную двоезубую вилку, не надобно было и ждать, когда стольник с поклоном подаст новое блюдо... Ладно, все одно надобно отпустить гостя! Немец просил грамоту на проезд торговых гостей в Орду. Бяконт с Сорокоумом уже дознали, какие товары надобны в немецкой земле, и предлагали самим продавать потребное, а в Орду гостей зарубежных не слишком пускать. То было разумно, и следовало только не отпугнуть посла, не то уйдет в Тверь, а с ним и немецкие сукна, и добрый уклад, и оружие, что привозят из ихних земель торговые гости.

Немец был невысок, но плотен. Поклонился с достоинством, не роняя себя, по-журавлиному отступив назад и взмахнувши плоскою немецкой шапкой с пером заморским. Иван сел. Уставно, по чину, уселись бояре. Слуги внесли горячую мясную уху, разлили мед. Иван, по своему обычаю, потянулся сперва к блюду с мочеными яблоками. Немец, не трогая вилки, орудовал ножом, рвал и грыз мясо, крупно глотая. Свои бояре не отставали от иноземного гостя, и за столом на время установилась сосредоточенная тишина. Иван вкушал мало, больше наблюдал за гостем. Тот наконец откинулся на лавке (уже подавали кашу и кисель), многословно благодарствуя великого князя владимирского. «Сейчас начнет обиняком просить пути до Сарая!» — подумал Иван, утверждаясь все более в том, что Бяконт прав: пущай торгуют с Москвою! Видно, и тверичи не очень им потворствуют, да нынче без воли великого князя и Тверь проезда в Орду не решит!

Немцу отвечали свои бояре. Постепенно завязался разговор. Слегка захмелевший немец вздумал поучать русичей (он добре знал русскую молвь и почти не ошибался в словах). Бояре горячились. Иван слушал с любопытством. Послы иноземные были еще внове для него, и он тщился понять, что же самое главное в этом зарубежном госте? Что кроется за шелухою слов, за цветистыми и высокоумными славословиями великому русскому князю? Гордость он уже понял. Понял и скрытое небрежение и небрежению тому усмехнулся про себя, не дрогнув и не изменясь лицом. Прав Бяконт, прав! На Волгу пускать их не след!

Посол меж тем расхваливал ихние немецкие товары, высокопарно изрекал о законе имперском, о том, что только сильный и владетельный повелитель (тут

он поклонился Ивану) возможет заставить всех горожан и черных людей хорошо работать и не лениться («Добро роботати и не ленити ся»,— сказал он), такоже, как это у них, в земле немецкой.

О том, что творилось в немецкой земле, бояре были, однако, наслышаны хорошо и почали возражать гостю. Иван мягко, мановением руки, утишил поднявшуюся было прю и, впервые разомкнув уста, молвил послу:

— Со скорбью можем сказать, что иноземный гость изрек правду. В наших землях не всюду спокойно, и проезд купцам зело труден там, где кончается волость Московская! А посему лепше вам товары свои обменивать на Москве!

Немец растерянно уставился на Ивана, с опозданием поняв, что разговор поворотил в сторону, выгодную русичам, а не ему. Но великий князь уже склонил голову, отпуская иноземца, и тому пришлось, опять с поклонами и хвалами, покинуть палату.

Иван, усмехнувшись одними глазами, оборотил лицо к сердито взъерошенному Сорокоуму:

— Мыслишь, не прав немец сей?

Старый боярин тотчас взорвался опять, пристукнув посохом, словно все еще спорил с немцем, и сердито глядя чуть мимо Ивановых внимательных глаз:

— Заставить хорошо работать плохого работника нельзя! Ты мастера удоволь! Доброму мастеру дай леготу для работы!

— Тогда и плохой потянет учитися мастерству! — спокойно поддержал Сорокоума доныне молчавший Василий Протасьич. Сорокоум кинул глазами в сторону молодого тысяцкого, задышался, мотнул головой, неотступно примолвил:

— Посему! Преже люди, потом товар! Не о том, что получить, хоть и из тех земель заморских, а о том, чтобы мастер в нашей земле был ублаготворен и ревновал о деле своем,— вот о чем должна быть главная дума княжая! У нас почни прижимать, стойно тому, как в немецких землях ихних, и все по лесам разбежат, и все княжество запустеет! Альбо запьют, али в разбой кинутси, а уж коли друг друга грабить учнем, тут и конец Руси Великой!

Сорокоум говорил дело. Ивану и самому не по нраву пришлась немецкая выхвала. По своей многолетней работе на Юрия довольно познал он, что значит пло-

хой работник и что значит хороший на месте своем. Плохого, и верно, ничем не заставишь работать. Не заможет!

«Мастеру — леготу, земле — тишину и закон праведный»,— продолжил Калита мысленно речь боярина. Он давно уже умопостигал сие, еще при митрополите Петре, когда они вместе переводили и правили уставы, соединяли «Мерило праведное» с византийским «Номоканоном» и составляли книгу «Власфимию», противу еретиков и хулителей церкви направленную. То понял, что никому не надобны скачки и перемены, никто не жаждет крушить и ломать — разве голь перекатная в чаянии скорой и недолгой наживы. А надобна всем тружающим — такожде, как греку Феогносту каменная храмовая твердость,— твердая вера в устои, в незыблемость власти и всего, что покрывает и защищает власть: добра, скота, лопоти, привычных навычаев и обихода, всего, что от дедов и прадедов нерушимо и извечно. Надобна вера в прочность бытия! Смерд ли поставит избу на росчисти, купец ли обзаведется хоромами на Москве, боярин ли измыслит двор с повалушею — у каждого и любого должна быть надежда на то, что, когда угаснут силы, никто не выгонит и не выбьет его вон из двора, никто не сгонит с земли, не зазрит и не обидит, никто не велит переделывать наново, а так вот — в этом дому, хоромах, терему ли — и умереть позволят ему в чести и покое, и детям чтобы оставить цело и непорушено, и быти спокойну и за детей, и за внуков и правнуков. И в том, быть может, самая великая и главная сила власти, что она каждому дает уверенность в завтрашнем дне. А вот в чем величайшая печаль и беда власти вышней, что сам-то он, Иван, ныне, став главою Руси, менее всех прочих граждан своих уверен в дне грядущем!

Всё могут. Могут и в Орде уморить. Могут и здесь восстать противу. Сейчас в его руках великий стол. А потом? Все они равны, и тот же суздальский князь равен ему, Ивану! А уж тверской и подавно! Что важнейшее должен содеять он, ото всех отличное, дабы передолить — навсегда, насовсем! — и Тверь, и Суздаль, и Новгород, и прочие грады и веси русстии... Что?

Да, разумеется, совокупить землю! И — не войной. Не разоряя. И — чтобы тянули к Москве, а не к иным княжествам. Стало, он прав, что шлет Мину

с Кочевой в Ростов за неукоснительной данью! Иначе — с чего же брать! Зорить Москву нельзя!

Строго подумал так и вдруг невольно прикрыл глаза — такою резкою болью прошло воспоминание: узкая Машина рука, прохлада ее слегка потной ладошки на его заботном челе... И увидел ее всю, и словно нежною болью овеяло сердце: Маша, любимая дочь, нынешняя княгиня ростовская, и Мина с Кочевой. Серебро. Проклятое серебро для проклятой Орды!

Нет, он прав, все равно прав! Иначе бы не было такой боли и такой нежности в сердце. Он никого не обманул. Он просто не может иначе!

## ГЛАВА 3

Бояре ушли. Слуги начали прибирать со столов. Иван, помедлив, вышел из покоя. Его ждали дела, и он, даже думая о Маше, не имел права медлить сейчас. Мина ждал.

— Серебра много в домах боярских, у горожан в скрынях. Пущай с жонок колтки и чепи сымают! — Иван, вперяя взор в преданные глаза Мины, знал сейчас, что похож на брата Юрия и еще, быть может, на тот жестокий Спасов лик, но, и зная, не смягчил ни взора, ни слов. За ярлык ростовский было дано столько, что даже и Юрий не вдруг решился бы на такое. А взять надо было вдвое. И пущай Мина с Кочевой это поймут, пущай деют с насилием великим, но соберут ростовскую дань! Этот его замысел не должен пропасть. Иначе — не стоять великому княжению. И это было первое, чего не мог, на что не решался Михайло Тверской. А он, Иван, «тихий и скромный»,— решился. Пускай его заклеймят, яко татя, но он сим серебром соберет воедино Русь! И пусть черный народ тянет к Москве!

Мина мялся, получив грамоту, все не уходил. Решившись наконец, ударил челом. Двое оружных дворян Мининых сблодили: разбили обоз купеческий, да и над смердами деяли сильно, как узнано было на правеже. И теперь оба были повинны казни.

Иван внимательно поглядел в глаза боярину. Сказал чуть хрипло, голосом покойного брата:

— Баловали люди твои и допрежь, при Юрии! И это мне ведомо! Людишек разбивали отай, было?!

Мина понизил глаза:

— Было, княже! Дак прочие робяты в сумненьи теперича, как бы то и им... Вси огорчены, вишь! — Сказал и поперхнулся — так темен и страшен был сейчас недвижный взор Ивана.

— Скажи молодцам,— произнес тот с тихою медленною силой,— что грабить своих, это — себя самого сожирать! Ни разрешить, ни простить сего князю немочно! Когда бьют своих, это конец! — почти выкрикнул он, возвышая голос.— Конец власти, языка, земли, всего сущего в ней! Так и погибла Русь при Батые! Пущай поганые режут друг друга! Не мы! — Он примолк. Договорил спокойно: — Мне во княжестви своем потребны тишина и от татьбы бережение. Злодеи те будут казнены завтра из утра. На Болоте. Приведешь дружину, пущай поглядят: умнее станут впредь! А прочим скажи: и им то же будет, да и тебе, боярин, не сносить головы, ежели на Москве разбои учнут творить! Посылаю тебя в Ростов, тамо и зипунов добывай своим холопам!

Мина ушел. Тут было все ясно. «Робяты» поозоруют в Ростове досыти, но серебро соберут. А как иначе? Прежним Юрьевым молодцам не дай воли — и на Москве не удержишь от разбою! Пусть уж в ином княжестве шкоды творят. Он прикрыл глаза, представил себе завтрашнее позорище, что неволею придет зрети и ему самому: помост с плахой, толпу горожан, купцов и смердов, с радостным любопытством взирающих на зловещую исправу,— не часто казнят дружинников на Москве! — позорную телегу с двумя Миниными «робятами», палача в красной рубахе, священника со крестом и то, как жадно и долго целуют крест обреченные смерти, и последний жалобный крик, и кровь, и тяжело падающие в корзину головы, и ропот и шум толпы, вздохи и возглашения жонок, невесть с чего, словно на скоморошний праздник, прибегающих кажен раз позоровать на казнь.

Все ж таки гнев опустошил его преизлиха. Лоб был в испарине, и должный покой долго не снисходил к душе. С тем бóльшим облегчением ступил он, после полудневного перерыва, за порог книжной палаты, где переставал быть властным, а становился только мудрым и где не позволял себе никакой, даже невольной грозы. (А меж тем изограф-иконописец узрел и тут в нем сугубую твердоту!)

Он дорожил этими часами тишины, где были вдумчивая работа писцов, да шорох раскрываемых и развертываемых харатий, да порою беседа, всегда не о суедневном, а о том, что выше и тоньше грубых забот дня. Здесь он не позволял никому величать его преизлиха, и лишь когда дьякон-писец, заключая «Правду», сравнил его с Юстинианом — не острожил, не остудил: знал, что это нужно. Не скажи сего дьякон, он сам бы подсказал сравнение.

Нынче токмо начал уставать. Давно неинтересно стало сличать статьи законов, велеть казнить татей, добиваясь неукоснительного исправления на деле писаного слова. С охотою бы переложил на плечи властей церковных и дела душегубные, князю подсудные, но — не имел права. Возропщут многие, и пошатнет уважение к власти. Посему судил всегда сам, не складывая даже и на бояринов великих.

Однако эта глава «О градском устроеньи», кою нынче подал ему сводчик с греческого, живо заняла и развлекла Ивана. Поскольку касалась она главнейшего сейчас, что занимало и долило Калиту с того еще беглого замечания Феогностова о его любимой Москве (тогда, почитай, и понял, что любимая, а то все было недосуг помыслить о сем, а только труды, труды, труды, и за трудами как-то не приходило знатья, что давно уже стало тут все от души неотрывно).

«Закон градской» разбирали по статьям. И о местах возвышенных — для храмов; и об улицах — да не пройдут прямо, яко стрелы, но каждая да примет потребную глазу и стопе кривизну; и о домах, что не должны касатися друг друга, но на потребном расстоянии, в двенадцать стоп,— дабы и глядеть из окон можно было бы вдаль, на море...

Сводчик приодержался, требовательно поглядев на князя. Был он бледен и невзрачен с виду, имел на плечах свиту послушника и явно готовил себя к монашескому житию. И не ему было бы,— так-то помыслить! — имать заботу о градском велелепии и о том, каково приятно зреть сквозь окна дома на красоту земную. И однако и рек и думал он именно об этом, но не для себя, а как бы остраняясь, с твердым уважением к смертным и суетным соплеменникам своим.

— Надлежит ли оставити здесь «море» и исчисление в стопах? Ибо у нас прозор меж домами делают и до трех и даже до шести сажен?

Иван, любуясь сводчиком, покачал головой.

— Надлежит оставить без изменений: для прозору двенадцать стоп. Иначе лукавствующие скажут: не суть византийское уложение, но сами ся решали, а посему можно и не блюсти такое! Нет ведь запрета ставить домы шире? А вид благой у нас и на реки, и на луга, и на боры — такожде, яко на понт в греках. И сие ясно и вразумительно любому чтущему. Не для глупцов ведь, а для благомысленного и прилежно чтущего сей устав!

Сводчик согласно склонил голову. Князь был прав и тут, хоть и сам понимал о разности греческой и русской жизни.

Сводчик, и верно, собирался, окончив труды княжие, уйти в Данилов монастырь, а посему град Московский видел остраненно, весь вкупе, и любовался им, и даже сам измыслил, что холмы градские послужат к наибольшей красоте, когда увенчают их церкви из белого камения и терема и клети, в тесной стройности, не мешая друг другу, будут карабкаться по склонам, среди садов, в изножиях белых церквей. Одно было скорбно ему: что он уже не увидит этой распростертой в аере красоты. Но уже и затеянное великим князем трогало сердце. Наконец-то Москва возможет сравниться с Ростовом, Суздалем, Тверью... Быть может, только Владимир еще долго не престанет подавлять прочие грады величием своих храмов. Царьграда он не видел никогда, так же, как князь. И не очень ясно даже умел представить его себе. Слишком превышало воображение то, что сказывали о втором Риме очевидцы.

Работа с Калитою была более чем приятна ему не ради сытного куска (он ограничил себя в пище и питии раз и навсегда, когда еще выбирал стезю жизни), а тем несказанным чувством причастности к великому, которую давал ему этот труд. Личной славы (греховной гордыни!) он не хотел. Но — и когда упорно изучал греческий язык во Владимире, и когда мерил ногами и посохом дороги Руси, и когда вкушал хлеб и квас в крестьянских дымных и душных избах, и когда ночевал в стогу ли сена, в овине, на полатях в чужой поварне, в холодной ли келье очередного монастыря — всегда мечтал он об этом вот: невестимо и безымянно прикоснуться к тому, ради чего изощрял свой ум и добывал книжное знание. Много веков спустя скажут: «Хотел пользу народу своему принести». Он понимал по-другому: послужить

Господу и князю — в чем для него была духовная и насущная служба своей стране.

Они погрузились в долгий перечень устроенья водопроводов, о сю пору почти неизвестных на Москве, спорных дел о ремонте домов, о двух и более хозяевах в доме, и сладко было обоим: один воспарял духом, другой отдыхал от суедневных княжеских трудов.

Ивана все подмывало спросить книгочия о давешнем споре с цесарским немцем. Любопытно было, что думает об этом такой вот бессребреник, коему ни товар, ни зажиток не принадлежали и не будут принадлежать никогда в жизни. «Верно, не сможет и изъяснить путем?» — подумал Иван и было подавил искушение. Но опять подошла сходная статья, и он, усмехнувши глазами, вопросил, откинувшись в креслице:

— Вот ты, како мыслишь, что первее ко благу страны: товаров обращение, множество добра собранного и строгое понуждение каждому или сугубое внимание доброму мастеру в его еремествии, забота о гражанах прежде богатств?

Вопросив так, Иван был уверен, что книгочий поддержит второе и разовьет что-нибудь о том, что дух превыше бренной плоти,— и ошибся. Тот поднял заботное чело, глянул на князя умно и строго. Помолчал мгновение.

— Прости, княже, я давно думал о сем и не то скажу, что хочешь ты слышать от меня, а иное.— Он вновь приодержался и, утупив очи, вздохнул и чуть с дрожью и страстью заговорил: — Понуждение вкупе с изобилием товаров иноземных не сотворяют блага стране. Забота о добром мастере угоднее Господу. Но и тут вопросить должно: а сколь тех, кто от щедрот мастера того будет втуне вкушати еству и питие? Благоденствие страны зависит не от серебра, войска и ратного талана — хоть нужны и серебро, и рати, и талан! Не от обилия товаров в анбарах — хоть и надобно обилие! А от того, первое, сколько людей работают и сколько — втуне едят. Сиречь: чем больше работников в народе и чем меньше втуне едящих, тем благоденственнее земля. И второе: от того еще, насколько люди народа искусны в реместве своем. Могут и все быти тружающие, но, яко неции дикие лопь и югра и прочая самоядь, у коих токмо охота да олени,— останут все одно беднее иных языков и не возмогут одержати великой страны. Но, яко в Новгороде Великом, егда кажный прехитр в реместве

своем, и кузнечном, и златокузнечном, и шорном, и каменном, и древодели изрядные, и швецы, и лодейники, и иконники, и прочая многая — тогда истинно богата земля, и сильна вельми, и способна к одержанию власти великой! В сем — истина и суть всего.

Иван слушал удивленно. Когда тот стих, подумал было, промолчав, вернуться к уставу градскому, но не выдержал:

— А как же мыслишь ты тогда сей труд, коим ты днесь заботен, и труд учителя, и воина, и князя, и боярина, что не пашет, и не сеет, и не сбирает в житницы? Стало, чем меньше всех нас, тем лучше для страны?

— Почто ты так, княже! — с обидою отмолвил книгочий.— Разве возможна страна без воина, без управителя рачительного, коим боярин себя являет, без мниха, наставника духовного, и без главы — безо князя? Кажный свою лепту вносит и свой труд творит для языка своего! Но и всякий таковой труд такожде может быть успешен или плох сугубо! Воину потребно побеждать на ратях; мниху пристойно беспорочное житие, молитва, пост и знание книжное, паче же всего — совокупление духа божия в себе; боярину — умное береженье и таковое управление, дабы не возроптали и земледелец, и ремественник, и гость торговый; купцу надлежит везти товар из земли в землю, а не наживатися на нехватке... Тунеядцы суть — кто труда своего не творит: лихоимцы, мздоимцы, лиходеи, судьи неправые, воины трусливые и неумелые, такожде и леностный пахарь и ремественник неискусный — всякий, кто не при деле своем, трутень есть!

Иван вздохнул и тут уже не возразил ничего, только поглядел благодарно. И тот понял немое одобрение князя, зарозовел ликом и, утупив очи, начал честь очередную статью — о сроках, колико потребно ждати на пустом месте градском. «До двадцати лет. Аще ли и тогда владелец не явит себя, отдати надлежит место то другому».

— Сего срока довольно. За двадесяти летов всяко или объявит себя, или уже умрет, или в ином мести обретет отчину! — сказал он. И оба, думая об одном и том же, согласно склонили головы. Работа продолжалась.

Иван мыслил вернуться к «Уставу градскому» и вечером, но не сумел — закрутили дела. Посему был резок и неприлепо (покаял потом) ответствовал игумену

о закладке храма. Поостыв, вызвал старшего посельского, с коим надлежало обсудить задуманную Иваном мену сел: Окатьевой слободы под Москвою на княжеское село на Пахре.

— Окатию невыгодно покажет, придать ежели...— осторожно ответствовал посельский. Обсудили, что следует придать. Уже совсем было отпуская посельского, Иван спросил будто бы мимоходом:

— А как, убеглые смерды идут к Твери?

— Правду сказать, идут, князь-батюшка! — ответствовал тот сокрушенно.— Осаживаю, конешно, иных...

— Осаживать нельзя,— перебил Иван,— надо добром. Сами бы приходили, как в Тверь!

— А тогда тово, Иван Данилыч, леготу надоть! — возразил посельский.

— Леготу? — переспросил Иван.

— Без даней, без кормов, наездок, безо всего — слободу, одним словом. Года на три, а то и на пять... На десять-то тяжеленько... Тогда осядут и у нас!

— На десять и давай! — примолвил Иван, как о решенном.

— Чегой-то? — не понял посельский.

— На десять летов, говорю, давай леготу! Пущай, яко во Тверь... Грамоту седни изготовлю!.

Отпустив посельского, Иван опять задумался о митрополите. Все было неясно, неверно, зыбко до сей поры! Землю Феогносту мог дать и Гедимин в Литве, а тогда... И он вновь вздохнул о покойном Петре. Да, был бы жив Петр! Как тогда ходили к нему с крестником! Крестник нынче стал какой-то бесполезный для дела. Далекий и словно бы чужой. Или он сам виноват? Где-то не хватило любви, заботы, понимания... А ведь еще Петр рек об Алексии: «Не упусти!» Надо будет вновь потолковать с ним, показать митрополиту, что ли?! Свой ведь, до конца свой! Быть может, когда-нибудь... Ну, да об этом рано и думать! Довольно, ежели на склоне лет станет епископом!

Сын заглянул в покой, спросил с опрятством:

— Матушка заботна, ужинать с нами?

— Семушка! — позвал Иван. Мальчик тотчас, быстро и пылко, приник к плечу родителя. Иван огладил сыновьи кудри, помедлил, промолвил ласково:

— Помолюсь, приду!

Вот уже и день минул. Багряные светы в окно покоя предвещают вечер. Сын! Единая надежда! В жизни

всего не успеть. Только ежели сын повторит и продолжит... Дочери не в счет. Пойдут замуж (и надо отдать их со смыслом). Младшие сыновья, Иван с Андреем, еще не ясны... Как ему не хватает днесь старшей дочери, Маши, год назад выданной за шестнадцатилетнего ростовского князя Константина! Маши, что помогла ему обадить, улестить и обмануть ростовчан (и купить затем у хана Узбека ярлык на княжение ростовское). Ярлык давал ему право самому собирать ростовскую дань. Константиновы бояре не умели в срок платить ордынского выхода. Он, Иван, сумеет. О, он многое сумеет с этим ярлыком в руках! Маша должна понять! Она так его понимала всегда! Только... Не виноват ли он перед нею? Нет, не виноват! Господи, не виноват я!

Он сгорбился, ощутив опять, как тяжко ему сейчас, сегодня, предстать перед своими домашними.

## ГЛАВА 4

И вот они сидят своею семьей. Тут все, кроме Маши: Феотинья — Фотя, по-домашнему; Евдокия — Дуняша, уже невеста (ее прочит Иван за ярославского князя Василья Давыдовича — хорошо бы и Ярославль к рукам прибрать!); Федосья. Все дочери ровненькие, темнорусые, все красавицы — той неяркой северной красы, что не враз западает в очи, а сперва надо глянуть и раз, и другой, а там уже и засмотришь, и узришь. Хороших девочек родила ему Елена! По другую руку сыновья: наследник Сеня, тринадцатилетний подросток, маленький трехлетний Иван и Андрейка — этот на руках у кормилицы. Данилушки нет: прибрал Бог, возревновал к имени родителя. Верно, блажен батюшка на небеси, что все, названные его именем, спешат уйти за ним туда, как их маленький Данилушка, как Данило Протасьич, старший сынок старого тысяцкого. Иван хотел было и еще одного сына назвать в честь отца, да побоялся. Через Господню волю лучше не дерзать!

Елена с последних родов сильно похужела: все еще не оправилась от болей, потуск взор, не стало многих зубов. Иван с беспокойством глядит на нее, на то, как она привычно строго хлопочет, поправляя детей, чтоб не роняли гречневую кашу на стол, и приказывая слугам, и странная мысль приходит ему на ум: а счастлива

ли Елена, ставши великой княгинею? Вот как горько порою складывает она губы, как, озирая стол, проминует глазами его, супруга своего. Но Иван молчит. Сыну степенно рассказывает о послезавтрашнем торжестве. Говорит, подробно объясняя, кто где должен стоять, что надлежит содеять ему, князю, и что — отцу архимандриту. Сема слушает, старательно запоминая.

— Батя! А в таком дели должон митрополит благословляти?

— Должон, сынок! Вот был бы Петр живой, он бы освятил уж, и с радостью освятил сей храм!

Понимает уже сын надобность в церемониях и в уставном житии. Это добро! Княжич должен расти в законе. Лучше излишняя строгость, чем, как у иных, своевольное буйство. Буйному горько придет потом, когда почует окорот и в делах и в правах: и великий князь не всесилен в дому своем! Князь должен быть примером, главой, сам — яко закон пред прочими. Расти, Семен! Твой батька во младости голоса ни разу не возвысил, был тише воды, ниже травы пред братом Юрием, а — правил Москвой! Криком да буйством города не возьмешь!

Потому и в дому своем сугубо блюл Иван посты и молитвы, требовал и от сына и от дочерей, дабы выстаивали службы полностью и чли часы, не сокращая. Вот и ужин начали с молитвы, молитвою и окончили. Дочери одна за одной подошли к отцу попрощаться на сон грядущий. Отосланы мальчики. Иван прошел в изложню. Постельничий бережно снял с него сапоги, унес дорогой пояс. Иван умылся под серебряным висячим рукомоем, с удовольствием прошел босой по восточному ковру. Елена, уже распояской, расчесывала и переплетала косы. В трепетном свечном пламени резче обозначились морщины на шее жены, запавший рот, пусто обвисшие груди под рубахой. Елена очень постарела за эти два года. Ей и в самом деле не в радость пришло великое княжение владимирское!

Наконец, задувши свечу, она тоже легла. Поерзала, обминая постель, намеренно не касаясь Ивана. Он улыбнулся в темноте. Елена последнее время почасту так небрегла им из-за болести своей женской, а то и стесняясь постарелого тела своего (как-то сказала о том Ивану). Не понимает, сколь нужна ему и теперь, и такая: словом, лаской, советом,— да и без того сжился так с нею, что уже и не видит порою печатей воз-

раста и увядания. Думая утешить, поднял руку, огладил жену по волосам и вдруг понял, что она молча, неслышно, плачет.

— Почто ты, Оленушка?!

— Ты, ты... не любишь, не любишь...— Он хотел привлечь, сказать горячо: «Люблю!» — как она выдавила с рыданием: — Не любишь Машу! Слыхала я, Мину с его живорезами посылашь в Ростов! Зачем тогда было выдавать на позор, стыд...— Поднялась на локте, чуть видная в лампадном сумраке, выдавила со страстной ненавистью:

— Ты ведь не Ростов, ты дочь свою зоришь! Даве за словом, про церкву етую... Едва сдержалась! Что мне эти почести! Да, ты — Костянтин, а я — никакая не Елена, я простая жонка, баба московская! Даже не княгиня! Вот! И так уже глаза колют!

— Кто? — не сдержавшись, глухо вопросил Иван.

— Кто, кто! Знаю, и все! Станешь доводить, дак по злобе что ни то исделают! Дочку продал... Знаю! Ростовскими деньгами хана хочешь ублажить! Ты и Машу продал бы хану, коли б нужна была! А я, а мне... холила, ростила... Лучше бы, лучше бы никакого етова княженья не нать! А там: котóры да свары пойдут, и все изгибнем! Юрко вот тоже много заносился, да плохо кончил! И ты теперича, кажинный раз, едешь в Орду — сердце кровью обольется: задавят тамо!

Иван хотел было остановить ее, но жена сердито сбросила его руку:

— Не задавят? Ох, не зарекайся, Иван! Михайлу задавили, не тебе чета был! Сам ся не возвышай паче господней меры!

Он глядел на нее во тьме немо, и все внутри свертывалось, холодело и никло. Может, жена в чем-то и права — в своем, бабьем, мелком, женском, но как же она не понимает! Она, которая должна, обязана, которая права не имеет ни так баять, ни даже думать так!

Великое одиночество словно бы крылами, тихой совою, коснулось его, и он лежал, уже не глядя на темное, с черными провалами глаз лицо Елены, и уже почти не слушал ее, и только одно опять больно прорезало сознание: Маша, ее образ, ее ласка... Как он одинок без нее, без старшей и любимой своей дочери! Как безмерно, как бесконечно одинок!

Стало тихо. Жена, выговорившись, часто дышала, двигалась — видно, утирала глаза. Сказала глухо:

— Прости меня. Устала я. В черевах что-то плохо. Умру. Деток бы сохранить!

А он был далеко и лишь с усилием заставил себя вновь поднять руку и огладить жену. Глупая! И все равно родная, своя... А она поняла — чутьем женским,— посунулась к плечу мужеву:

— Прости, что не так сказала, а жаль Машу, так жаль...

— И мне жаль! — строго и отчужденно отозвался он.— А только без ростовского серебра мне ся не сохранить и власти не удержать в руках.

— Знаю. Устала я, Иван. Не радошно мне. И — боюсь.

— Я вот что,— сказал он, помедлив.— В те поры, как под Опокою стояли, видал Ивана Акинфича с Костянтином Михалычем вместях...— Он помолчал. Жена высморкалась и утерла лицо подолом рубахи.— Акинфичи злы на меня из-за Весок, вотчины ихней, переславской, что я Родиону пожаловал. Родиона удоволить нать было... А теперь думаю, то ли содеял? Силы много у Акинфичей! Юрко, покойник, дуром не похотел перезвать Акинфа Великого к себе, на Москву. А теперь как и перезовешь? С Родионом Несторычем вороги навек!

Не об этом сейчас думал Иван, но хотел заставить жену забыть о Маше. Она — поняла ли, нет — посопела носом. Видать, передернула плечами:

— Жени ты Родиона на сестре Акинфича, на Клавде! Он вдовый, и она вдова. Вот те и спору не станет! Тут и Вески, и всё тут.— Добавила ворчливо: — Свадьбы сводить — не мне тебя учить!

Опять намекала на ростовские дела. А он лежал и думал и дивился, как просто решила Елена то, чего он никак не мог понять и измыслить во все эти дни. Да! И, кажется, с тем и нашел, чем и как одолеть тверских князей! Акинфичей перетянуть к себе! С Андреем Кобылой! Все ить свои! По роду-племени все изначала святому Невскому служили! А примирить Акинфичей с Родионом, то и прочие бояре не зазрят... С этого и начать! Собирать воедино! Недаром же его прозывают Калитою на Москве!

До него уже плохо доходили слова жены (Елена говорила что-то тихонько, не то жалуясь, не то советуя с ним), а он был весь — в мысли: «Дела — тлен... Как раз боялся... И правильно, что боялся! Нужно, чтобы

после смерти продолжилось, не кончалось задуманное... Она мнит: умрет — и конец. (И я умру!) Мы все — прах, и отыдем в вечность в свой черед! Надо оставить род. Надо, чтобы было наследие, чтобы волею-неволею, а продолжали, держали, чтобы и в поколеньях не гасла свеча...»

— Ты не слушаешь меня, ладо?

Иван, возвращаясь из дали дальней, обнял жену, притянул к себе, стал гладить по плечам и спине, а сам все думал, оборачивал, додумывая, решая так и эдак, невзначай брошенные Еленой и сейчас ставшие для него ключевыми слова.

## ГЛАВА 5

Дедо, повесив пестерь на шею, пошел босыми раздавленными стопами по рыхлой, еще зябкой от зимнего холода земле. Первая горсть зерна, описав широкий полукруг, легла на взоранную пашню. Грачи метнулись заполошно, упадая с вершин дерев.

— Кыш! Кыш, проклятые! — Сноха и внучек оба побежали следом, размахивая долгими ветвями. Хуже голодного грача нет птицы по весне: выклюют зерна из пашни, сделают голызину того больше! А зерен этих нынче — сбереженных, да выпрошенных, да с горем выменянных на небогатую охотничью дедову добычу,— зерен этих ох как мало! Потому и костистая рука дедова, сперва щедро загребая ладонью в глубине пестеря, потом, судорожно сжав корявые пальцы, сминает до крохотного комочка и без того невеликую горсть, и полумесяц летящего по воздуху зерна кажет не тем широким и щедрым, как когда-то, а едва заметною тонкою чертою в прозрачном и легком воздухе новой весны. Ничего! Был бы хлеб! Все одно — хлеб! Оклемать бы только! Рука ведет ровно, не вздрагивая, сама чует, сколь и доколе надо размахнуть, и струйки зерен ложатся на землю тоже ровно, словно бы обриси венцов у нарочитого иконного мастера...

Дедо доходит до конца поля и, отмахнув головой (не время стоять!), начинает второй загон. Малый понукает взятого взаймы коня с бороной-суковаткой. Тот клонит шею, фырчит, угрожающе тянет мордой с долгими желтыми зубами — не признает малого. Мать спешит на помощь сыну, и под их согласные окрики,

конский фырк и оголтелый ор рассерженных птиц борона ползет по полю, заваливая и укрывая от жо́рких разбойников разбросанное зерно.

О полден наконец садятся передохнуть. Дедо отирает жидкий пот с морщинистого чела, чуя уже близкий исход сил. Да, вишь, дети, сыны, убиты на ратях, а хлеб и себе, и боярину, и князю надобен все равно!

Баба, сноха, оставшая от покойника сына (почитай жена!), наливает кислый брусничный квас в глиняную братыню, кладет на развернутый плат печеные репины. Внучок суетится, старается угодить деду. Махонький! Шея-то, што у воробышка... Дожить бы, поднять!

Дикая, с плоским накатом из некореных бревен, приземистая изба, с неровно обрубленными углами, слепая, безоконная, стоит на месте спаленных дедовых хором. Потемневший, с обугленным краем анбар — остаток порушенного хозяйства — притулился в стороне. Тонкие радостные березки уже поднялись стройными копьецами на старых пепелищах бывших здесь некогда, до Шевкалова разоренья, дворов.

Князю нонь много надобно, прошали и хлеб, и скору... Чего затевают опять промежду себя тверские князи с московским? Ноне рати б не нать, не выдюжить! Едва отдохнули от нахожденья татарского... Дедо никнет головой, тяжко думает, жуя скудную вологу. Каков был Михайло-князь! А и его передолили, замучили в Орде... Еще до того до всего, до Щелкана ентого... Он, щурясь, обводит взглядом свое невеликое поле, оглаживает по шелковой головенке приникшего внучка.

— Дедо, дедо! А там у нас терем стоял?

— Стоял...— рассеянно отвечает старик, чуя, как гудят ноги и плечи и как невмочь (а надо!) вставать и снова идти по стылой земле... А тамо косить, и жать, и снова пахать — под озимое, и отдавать с великими трудами добытое зерно наезжим княжеборцам... Токо б не стало рати! Вси пропадем. Не выдюжить тогда...

Крестьянину нужна земля. И оборона от ворога, татя ли, того, кто захочет порушить с потом и кровью нажитый крестьянский живот: жизнь и добро, дымную клеть, скотину и зажиток. Чего хочет каждый? Покоя в трудах. Но покой от татей — в казнях, в суде скором и часто немилостивом. Покой от ворога — в войске, которое надо сытно кормить, и укреплении княжеской власти. Почему и платят дани и несут покорно бремя трудов и дел нарочитых: городового и дорожного, хоромного и повоз-

ного; почему дружно и враз встают по первому зову на брань, и головы кладут на ратях, и снова терпят и несут свой нелегкий крестьянский крест. Почему от последнего ломтя порою отрывают кусок боярину и князю своему. Дорого стóит власть!

## ГЛАВА 6

Мина прибыл в Ростов, когда Василий Кочева уже окончательно увяз в долгой и неразрешимой пре с тысяцким города Ростова Аверкием.

— Как ся творилось при дедах-прадедах, так пущай и ныне поряду, по закону идет! А на грабеж волости Ростовския добра моего нетути! — твердо ответствовал Аверкий на все настойчивые попреки Василия Кочевы. Ростовская дань досюдова собиралась с трудом и не полною мерою, и старик Кочева уже из себя выходил, наливаясь бурою кровью, но переупрямить ростовчанина не мог никак. Да и сил не хватало. В большом Ростове, под сенью огромного, украшенного каменною резью собора, в тени красно-кирпичного терема Константина Всеволодича, в людной путанице улиц, торговых рядов, монастырей, книжарен и храмов, в разноязычном гомоне торга, среди дворов и переходов широко раскинутого княжеского дворца, московская дружина Василия Кочевы словно умалилась и исшаяла числом. Тоненькая ниточка ратных не могла сдержать литого напора народных толп, окрики московских воевод тонули в реве и гомоне ростовской черни. Серебра давать наезжим данщикам не хотел никто, о чем недвусмысленно, с хулами и поносным лаяньем, заявляли прямо в лицо Кочеве старосты и выборные от горожан и гостей торговых.

Юный князь, Константин Васильевич, семнадцатилетний мальчик, вместе с женой, Марией Ивановной, дочерью московского великого князя Ивана Калиты, укрылся в загородном поместье своем, что для московитов было и хорошо, и худо. Хорошо, что не перед лицом своей московской княгини вольны они были творить сборы даней во граде, худо тем, что никакой заступы делу своему от князя Константина добыть было немочно, а за Аверкием стояла как-никак ростовская городовая рать, да и уважение граждан ростовских к своему старейшине весило немало, грозя взорваться народным мятежом. Второго из юных ростовских князей, Федора Васильича, тоже было

не сыскать, да и с ним, владельцем Сретенской, неподсудной Ивану половины Ростова, бесполезно было бы и толковню вести. Потому и бесился, и рвал и метал в бессилии московский боярин Василий, потому и ждал обещанного с Миною подкрепления, яко манны небесной, без местнической спеси и зависти к сопернику — уже, почитай, и не до соперничества было ему теперь!

Города растут, хорошеют, мужают и старятся, словно люди. Но только ежели человек с возрастием утрачивает юную лепоту и уже — согбенный станом, в седине и морщинах — мало напомнит кому прежний отроческий облик свой, то город к возрастию сугубому, исполненный украсою палат и храмов, от прежних лет накопивший хоромное узорочье, величавую стройноту башен-костров и тяжкое великолепие боевых прясел, словно поясом опоясавших тьмочисленное скопление дворцов, повалуш, гриден, клетей, церквей, колоколен и стрельниц,— город к возрастию и уже к закату своему глядится еще более прекрасным и прилепым, чем в буйной, неустроенной и еще необстроенной юности!

Когда-то, в незапамятные годы, был град Ростов старейшим градом залесской земли, и оттого даже и вся волость сия звалась в те поры Ростовскою. Лежащий на великом озере Неро, Ростов долгие годы хранил мерянский языческий дух, и тяжко приходило первым епископам здешней земли побороть непокорливый и крутовыйный народ ростовский. За десятилетия со крещения едва-едва отодвинули великого идола Велеса от княжого дворца на окраину города, в Чудской конец. Но зато и светом истинной веры, мудростью книжною, ученостию своих иерархов прославил себя древний залесский град! И поднесь ростовский епископ не первый ли пребывает среди епископов Владимирской Руси?

Но прихотливы судьбы земли, и капризна река времен, и уже давно потуск, уступил первенство свое граду Владимиру, а там и Суздалю древний Ростов. А старинная слава — осталась. И не ею ли плененный старший сын Всеволода Большое Гнездо, Константин, не восхотев лишиться стола ростовского, порвал с отцом, раскоторовал с братией своей, лишь бы усидеть на ростовском княжении! И усидел. И еще украсил древний град, и обогатил библиотекою, равной которой не было в те годы на Руси, и... не возмог повернуть вспять реку истории родимой земли! Ростов так и остался уделом, украйной Руси Владимирской, а в споре городов поднялась выше

всех гордая Тверь, выросли Москва и Нижний, далеко обогнавшие праотца залесских городов. И уже старый Ростов склонял было выю под властную руку Михайлы Ярославича Тверского, и кабы не жестокая гибель Михайлы в Орде, кабы не долгая пря Москвы с Тверью, Ростов, возможно, уже давно откачнул к сильному соседу своему. Мельчая в частой смене малолетних князей, земля ростовская давно стала переспелым плодом, готовым, только тронь его, упасть в руки удачливому победителю.

Но город, пощаженный Батыем, великий и славный, все так же стоял, красуяся красою несказанною, и таковым, в тьмочисленном кипении и кишении своем, предстал взору московского боярина Мины в вечернем багреце заходящего дня, что алым облаком одел красный дворец Константина и розово-желтыми светами лег на величавую громаду ростовского Успенского собора.

Московляне въезжали попарно в Переяславские ворота города, и те, кто не был тут никогда, изумленно озирались на непривычное им многолюдство и хоромную тесноту городских улиц. Проминовали торг и собор. Скоро княжой двор наполнился ржаньем коней, гомоном и лязгом оружия. Мину с дружиною ждали. На поварне булькали котлы с варевом, у коновязей высились горы свезенного с пригородных слобод останнего сена, слуги, захлопотанные, бегали от поварни к теремам. Ратные, узнавая своих среди Васильевых кметей, громко переговаривали, делились новостями. Шумной толпою, толкаясь, набивались в челядню, к огненным щам, к вареному мясу и каше. Пока творилась обычная суета, пока накормленных ратников разводили по клетям, повалушам и горницам княжого двора, Мина только лишь успел перемолвить с Кочевою слова два. Но вот стих гомон, сторо́жа, бряцая саблями, разошлась по своим местам, улеглись спать ратные, и наконец оба московских воеводы уселись друг против друга за столом в особной горнице. И тоже — как не перекусить с дороги! — молча отдали дань и щам, и печеному кабану с яблоками, и пирогам, и каше с изюмом, нарочито изготовленной для жданного гостя... После чего Кочева кивком отослал слуг, сам налил кисловатого меду в две чары и, глаза в глаза, глянул сурово в мохнатое лицо Мины. Тот рыгнул сыто, откачнул на лавке, взъерошил и без того разлатую бороду, на невысказанные Кочевою немые слова отозвался ворчливо:

— Слыхал! Мирволишь ты им, Титыч!

Кочева, супясь, набычил толстую шею, засопел было — негоже Мине с ним, Кочевою, на равных-то! А — и не возразишь, сам ждал! Сдержал себя. Отмолвил понуро:

— У мыта, у пятна и тамги, у всех переволоков лодейных — наши люди. На заставах, всюду, мои ратны, а толку — чуть! Эко, словно бы и товару не везут во град! Аверкий ихний всему причина, не дает ходу и на́поди!

Мина отпил, перемолчал с прищуром, обмысливая слова Кочевы. Ответил погодя, не вдруг:

— С Аверкием твоим смолвим...— И опять умолк, и враз, решившись, поднял яростные глаза, и — словно холодом по спине, словно клинок обнажая: — Ты, вот што... Скажу нынь тебе об етом зараз! Данилыч двоих молодцов моих за татьбу казнил на Москве! Прилюдно, позорно, на Болоте!

— Дак... за дело? — пугаясь не столько слов, сколь яростного взора Мины, возразил Кочева.

— Дак не без дела, тово! — словно отбрасывая что от себя, отмолвил Мина.— А только робяты злы, кого хошь теперича разнесут! Я с тем к тебе послан, воевода! — продолжал Мина грозно, кладя кулаки на стол.— Серебро штоб, не то — головы наши! И, смекаю, не то чтобы выход царев, а сколь чего Данилыч в Орде раскидал, дак — вдвое теперича!

Он задохнулся, умолк, и молча — текли мгновения — оба, в колеблемом свечном пламени, бросающем долгие тени на тесаные стены хоромины, утупив очи в тусклое олово чеканного кувшина с медом, сопя и вздыхая, думали, не думали даже — ждали, что из них скажет другой? И Мина, отпив опять и поморщась от кислоты пития, изрек первый:

— Мыслю градские вороты перенять нынче же, в ночь! А из утра — шерстить всех поряду!

— Крови б не было,— пробормотал Кочева, исподлобья озрев сурового помощника своего. Сам подумал: как и не быть крови, а и без крови как?

— Пущай! — отозвался Мина.— Нам што кровь! (И опять воспомнились ему те, на Москве, на Болоте.)

— А Аверкий твой,— протянул он, с прежним прищуром глядя в глаза Кочеве,— Михайлу Ярославича забыть не может! Дак потому! Вишь, и опосле погрома Твери не прочнулись! Не сведали, чья сила теперь! — Он опять

охаписто сжал кулак, будто погрозив кому-то незримому, и довершил: — Чуток ищо молодцы покимарят, а там и почну будить. Подкинешь кметей?

— Бери, что ж...— отозвался, пряча глаза, Кочева.— Но, коли что... Твоя голова в ответе!

— Оба мы головами вержем, Василий! — возразил Мина неуступчиво.— Данилыч крозь простит... Коли с умом! А серебра... Серебра не простит, николи!

И — принялся за кувшин. Корявым, привычным больше к оружию, пальцем надавив на отжим, поднял узорную крышку, плеснул в чары себе и хозяину. Молча выпили. Баять было и не о чем теперь.

— Тута соснешь? — спросил Кочева Мину. Тот кивнул, показав глазами на курчавый овчинный зипун. Василий поднялся, внезапно почуяв старость в изнемогших членах, смутно позавидовал настырному младшему воеводе: «Резвец! Поди, с годами и в думу княжую попадет!.. »

— Пойду наряжу своих. Тебе душ полста?

— Возможешь, и сотню прикинь! — отозвался Мина.— Да пущай к первой страже будут готовы! Пока те дурни спят, мы с тобою и город переймем!

Скоро в полутьме весенней короткой ночи началось осторожное шевеление, топот и звяк, приглушенный говор множества кметей. Комонные отряды московитов отай разъезжались по улицам, сворачивая рогатки, глуша оплеухами и пинками сонных городовых сторожей. Первые вороты заняли без боя. У вторых створилась малая сшибка, у четвертых и до мертвого тела дошло. Ретивый попал старшой у воротней сторожи: пока головы не проломили, не восчувствовал, чья ныне на Ростове власть! К утру город был почитай весь захвачен московскою помочью. Местную дружину — кого застали на княжом дворе — лишив оружия, заперли в молодечной: пущай охолонут маненько!

Разгневанный Аверкий явился на княжой двор с синклитом бояр и выборных от града. Василий Кочева встретил его непривычно хмурый и неприступный — словно подменили московита! Сказал, уже не отводя глаза:

— Ордынское серебро брать будем со всех! Пото и вороты закрыли! И с тебя, Аверкий, не посетуй уж, и со всех бояр, и с горожан нарочитых...

Ростовский тысяцкий вскипел. С опозданием узрев московскую дружину за спиною Василия, готовую взять-

ся за сабли, рванул себя за отвороты дорогой ферязи, крикнул:

— Голову руби, смерд! А я не позволю! Не дам грабить града! Пущай великий князь с нами, с боярами, с вечем градским сговорит, а не с ханом своим поганым в Сарае, за нашею спиной! Возможем и сами собрать дань ордынскую!

Княжой двор начинала остолплять, тесня московских ратных, густеющая толпа горожан. Но в этот трудный час Мина, пробившись с помощью ордынской плети сквозь ряды смердов и кинув повод стремянному, вбежал в палату. Озрев и едва выслушав брызжущего слюною Аверкия, синклит и градскую старшину, что уже было со сжатыми кулаками оступала, загораживая, своего тысяцкого, Мина, громко позвав оружных кметей, врезался в гущу ростовчан и ухватил Аверкия за воротник. Бояре обомлели неслыханною дерзостью московита, а Мина, не давая никому прийти в себя, выволок Аверкия из рядов и, кинув в руки подоспевших кметей, рявкнул:

— Взять!

— Повешу пса! — возопил он в лицо ростовскому тысяцкому, меж тем как кмети, крепко взяв старика под руки, волокли отчаянно упирающегося Аверкия прочь от своих сограждан, которые, оказавшись в кольце копий и обнаженных сабель, лишь глухим ропотом выражали возмущение, не смея ринуть на помощь плененному воеводе.

— Пущай! — орал Аверкий.— Кровью! Моею кровью пущай! А не дам! Погину, яко Христос на Голгофе, а вы веси, гражана ростовские, разумейте, какова...

— Вешать! — взревел Мина, перебивая старика.— Вешать сей же час! Веревку сюда! Помост! Давай старого пса! Не за шею, нет, за ноги! Вытрясем из ево ордынское серебро!

И старый боярин, что уже было решил отдать жизнь, осиянный мученическою славою, нежданно повис под потолочиною, нелепо, по-скоморошьи, перевернувшись вниз головою, с завороченными полами долгой ферязи, хрипя и булькая, извиваясь и нелепо болтая руками. Старика лишили чести, лишили права достойно умереть!

Скованные ужасом, глядели ростовские старейшины на жуткий воздушный танец своего тысяцкого, только в сей час поняв наконец, что ярлык, купленный Калитою у хана,— это не пустая сторонняя грамота и что платить за тот ярлык придет им всем, и тяжка окажет граду Рос-

тову плата сия! И, озрясь на ощетиненное округ железо, старцы градские возрыдали и стали падать на колени, протягивая руки в сторону всесильного, миг назад едва ли не смешного, а теперь неслыханно грозного московита.

Аверкия, вдоволь поизмывавшись над стариком, вынули из петли едва живого. Вытаращенные глаза тысяцкого, в кровавой паутине, были страшны и едва ли что видели. Кровь шла из ушей и гортани. Слуги уволокли поруганного боярина к себе в дом, и тотчас вслед за ними явились оружные московиты и начали переворачивать хоромы сверху донизу, собирая серебряные блюда, чаши, достаканы, цепи и пояса с каменьями, лалами и яхонтами, вынося поставы драгоценных сукон, мягкую рухлядь, кожаные мешки новгородских гривен, арабских диргемов и западных нобилей... Брали без меры, счету и весу, оценивая взятое едва на глазок. Уже не брали — грабили! И такое же творилось в тот же час по всему Ростову. Брали, не очень даже разбираючи, где Борисоглебская, а где Сретенская сторона.

Обобрав город, принялись пустошить все подряд пригородные волости и везде творили такожде: дружиною занимали боярский двор, а там проходили по смердьим избам, из веси в весь, отбирая узорочье и серебряную утварь, стойно татарам,— разве только, в отличие от ордынцев, не жгли хором и не трогали храмового серебра.

И не в редкость было узрети в те поры, как за ревущею в голос раскосмаченной девкой гнался безстудно ражий московит и, ухватив беглянку за косу, заламывая назад голову, едва не с мясом выдирал из ушей серебряные серьги.

«Робяты» ополонились все досыти. Портами, оружием и коньми. Мина сам потрошил потом переметные сумы своих кметей, ругаясь, лупил по рожам, отбирая ворованное серебро. Ратники ворчали, словно собаки над костью, нехотя уступали воеводе. Добра хватало и без того, да жадность одолевала каждого. Когда так берут, охота и самому запустить руку в князеву мошну! Размазывая кровь на битых мордах, неволею развязывали торока. Мина отбирал, не жалея. Знал, что только собранным серебром оправдается учиненный им в Ростове грабеж и насилование многое.

Впрочем, и себя самого не забывал боярин, уже не один воз добра, не один десяток коней отсылал он восвояси, торопясь удоволить себя на ростовской беде.

В имении великого боярина Кирилла не удержался и от грабежа прямого. Боярин давал в уплату дани ордынской драгую бронь, что и великому князю пришла бы в пору,— с золотым письмом по граням синей стали, с блистающим зерцалом и наведенными хитрым узором налокотниками,— дивную бронь! Мина отобрал бронь за так и не стал даже класть ее в счет ордынской дани («Себе беру!»). А молодцам разрешил пограбить и все прочее оружие на дворе боярском.

Боярин Кирилл, высокий, сухой, красивый, вскипел было, потемнели синие очи, и тут же сник, уступил, сдался. А сыны его, те волчатами глядели на московского княжеборца. Особенно старший. Даже и броситься в драку был готов, едва удержали свои же холопы за плеча! Бог спас, не то пришло бы кровавить саблю, а там, поди, уже и ответ держать о погубленной боярской душе!

Не ведал Мина и после не узнал, кого грабил он в те поры и какие боярчата глядели на него ненавистно! А узнай — и не поверил бы, пожалуй, что тот, старший, едва не зарубленный им, будет духовник великого князя московского, а второй, отрок лет эдак семи-восьми, станет с годами самым великим подвижником Руси Московской. А бронь та, отобранная безстудно, доживет до горестного сражения на реке Тросне (ровно сорок лет спустя того соромного дела), где сын Мины, Дмитрий, в отцовой броне, защищая рубежи Москвы от нежданного набега Ольгерда литовского, сложит голову в том неравном бою, кровью искупив давний, позабытый уже, грех усопшего отца своего, и похищенная некогда Миною бронь достанется, в свой черед, удачливому литвину...

## ГЛАВА 7

Четверо великих бояринов тверских сидели в горнице небогатого посадского дома в маленьком городке литовском, где нашел приют бродячий двор изгнанного князя Александра Михалыча, когда-то великого князя владимирского, а ныне, вот уже второй год, беглеца, коему пришло распроститься с последним приютившим его русским городом, Плесковом, и теперь скитатися во владениях Гедиминовых. Бояре разговаривали, и разговор грозил уже перерасти в брань. Трое собрались выслушать четвертого, прибывшего утром из Твери, с той, русской стороны, оставленной всеми ими ради

своего князя. Вести были так и сяк, но не о них шла речь. Приезжий, Иван Акинфич, сказывал братьям — родному, Федору, и двоюродному, Александру Иванычу Морхинину, а с ними третьему в их тесном, почти семейном кругу, свояку Андрею Иванычу Кобыле, — о необычном деле, затеянном московитами.

Сам Родион Несторыч Рябец сватался к их с Федором сестре, Клавдии, вдове убитого некогда под Переяславлем Давыда, в том самом злосчастном бою, в коем сам Родион вздел на копье голову их батюшки, Акинфа Великого, и поднес юному тогда княжичу московскому, Ивану Данилычу Калите, нынешнему великому владимирскому князю и главному, после хана Узбека, ворогу их господина, Александра Михалыча.

Разговор шел как раз о том, что за сватовством этим стоит едва ли не сам князь московский. И что нелепо им, боярам опального Александра, идти на этот союз даже и ради вотчин переяславских, вновь отобранных у них Калитою.

Иван метался, выслушивая то тяжелые упреки Александра, то строгие покоры Федора, и лишь спокойно-вдумчивое молчание Андрея Кобылы рождало в нем надежду ежели не уломать братьев, так хоть заставить их выслушать его путем.

Слуг из горничного покоя удалили — не для них был разговор. Даже и оконца заволочили заслонками: не достоит иному любопытному уху знать то, о чем тут толкуют русские бояре промеж собой.

Дубовый жбан с молодым пивом уже сильно опустел; уже сильно оплыли свечи, от пляшущего огня коих по нетесаным бревенчатым стенам горницы мотались огромные тени. От лавки, застланной медвежьей, грубо выделанной шкурою, к глиняной черной печи и назад, туда и назад; мерил покой Иван, почти задевая головою черный аспидный потолок из накатника. Дорогое платье боярина, руки в золотых перстнях, востроносые сапоги цветной кожи казались здесь, в грубой и бедной хоромине, особенно богаты и необычайны. Но и трое, рассевшиеся на шкуре за столом, когда на них падали отблески света, тоже являли собою вид зело не бедный. Невесть, видывали ли когда в этом крохотном, не то литовском, не то полесском, городишке такие порты, такое узорочье, таких разубранных коней и такое дорогое оружие, коим величались наезжие русские бояра и их изгнанный великий князь. Право Ивана

Калиты на владение столом владимирским здесь не признавалось ни на словах, ни на деле. Ради того ушли с князем своим, ради того жили и ждали: воротить домовь и взвести Александра вновь на золотой стол владимирский! И об этом тоже была речь в тесной горнице, промежду четырех бояринов русских.

Все четверо были на возрасте, в зрелом расцвете лет и сил. Уже не юнцы, не холостые парни. Уже и победы, и поражения изведали они в жизни и судьбе, водили полки и спасались от татар. За каждым стояли сотни слуг военных, каждый мог поднять, явившись в Тверь, не одну тыщу оружного народу, кметей и мужиков, и потому даже изгнанные, даже и подвергшие себя добровольной, вкупе с князем своим, опале, были они силою немалой, с коей считался и Гедимин, приютивший беглецов, и московский князь Иван Калита, и даже далекий хан ордынский, Узбек, повелевавший десятками языков и народов.

— Корысть земную достоит имати нам вкупе со князем своим! Токмо! А без ево — не след! Мы — слуги господина нашего, и нелепо нам принимати дары от ворога московского! — кричал Александр Морхинин, пристукивая по столу кулаком.

— Дары? Карие дары? Дарят тебе Вески те?! — орал в ответ Иван, продолжая мерить горницу беспокойными шагами.— О сватовстве речь! О сватовстве! Вески... С Весками... в придано пойдут Родиону. Сестре даем, не чужой душе!

— Не мы даем, а нам дают! — уточнил Федор.— Дают и тут же назад берут. Уж безо князя Ивана не обошлось никак! Тьфу! — Он зло сплюнул.— Лис двухвостый! Вот кого Дмитрию-то Михалычу стоило убить в Орде заместо Юрия! Он всему злу притчина. Поди, и князя Александра имать не сам Узбек надумал, а Данилыч подсказал! А с Весками он давно крутит! Ох, Иван, дал ты промашку единожды, под Москвой, не отпирайсе, дал промашку немалую! С тех же Весок и началось. И что, сидим мы тамо? А одолел бы Михайло-князь, давно сидели на отчем мести мы с тобой!

Иван покраснел, побурел даже. О той, давней, полуизмене в бою под Москвой, когда он не перешел с полком в заречье и тем позволил московитам отбиться на бою, Иван Акинфич предпочитал не поминать. И уж брату не след бы поминать о том! Доходы с переяславских вотчин шли ему наравне с Иваном.

— А уверен ты, Федор, что тверские бояре, захвати тогда Михайло Москву, нас с тобою в думе княжой долго потерпели? Да те же Бороздины! И тебя и меня с великих местов живо согнали бы в городовые воеводы али еще подале куда! Мы все для тверичей пришлые! Родовые вотчины наши в Переяславле, понимай сам!

Федор хмыкнул, пожал плечами, представил себе лица природных тверичей и — смолчал. Брат Иван, пожалуй, угадал верно.

— Ты-то што молвишь? — отнесся Федор к Андрею Кобыле.

Высокий и широкий Андрей раздвинул румяные щеки, усмехнувши слегка, дрогнули усы, крепкие мощные длани приподнял от столешницы (такими лапами не в труд удавить и медведя), растопырив толстые пальцы, словно отодвинул от себя спор братьев:

— Мне што молвить! Дело семейное! Брат нашево князя, Костянтин, на дочке Юрия Данилыча женат и в походе на нас вои вел. Что ж, его тоже зазришь в дружбе с Иваном? — Повторил, опуская ладонь: — Дело семейное! — Задумчиво поглядел долу. Огладив широкую каштановую бороду, прибавил: — Сама-то Клаха как? Чать не маленькая!

— Ты, Андрей, что же думашь, лепо нам и с Иваном Данилычем поладить за спиною князя своего? — с обидою изрек Александр Морхинин.

— Почто ты так?! — спокойно, без обиды отозвался Андрей.— Я ить здеся сижу, с вами! И молодцы мои тута, в Литве! Мне ить и воротить во Тверь мочно было! Сам знашь!

Он бережно олапил глиняный кувшин, подержал, болтнул. Почуяв пустоту, приподнялся, осторожным медведем двинулся по горнице, пригибаясь, чтобы не задеть потолочин. Легко приподняв жбан, налил полный кувшин пива и воротил к столу.

— Пейтя, гаспада! — сказал по-псковски, для смеху, и широко улыбнулся. Не любил, когда при нем зачиналась какая брань. Самого Андрея Кобылу ни разобидеть, ни раззадорить на спор было решительно невозможно. Присев и отпив, он шумно вздохнул, поглядел в потолок:

— Хлеб уже убирают! — сказал, ни к кому не обращаясь, и хоть не примолвил ничего, а стало понятно, что убирают там, дома, в Твери. И еще показалось трем

другим, что не так уж и важно, пойдет ли нет Клавдия за Родиона, дело в сам деле семейное!

— Ты, Андрей, како мыслишь о делах наших? — посбавив тон, хоть и по-прежнему хмуро, вопросил Александр Морхинин. (Он сидел нахохлясь, глядя выпукло-рачьим взором, стойно родителю, и островато, неприступно отгораживался локтями от прочих.) — Како мыслишь, почто мы сидим тута и до чего досидим?

— А никак не мыслю! — добродушно и просто отмолвил Андрей.— Сижу! Был бы дома, пошел нынче сам, с горбушею, валить хлеб. Люблю пройтись эдак-то по яровому! — Он усмехнулся вновь румяно и молодо, давая сотоварищам волю подтрунить над его пристрастием к мужицкой работе. Пожал широкими плечами: — Как ни то да образует! Либо Узбек умрет, либо еще что содеет. Не век же нам по Литве горе мыкать!

— Плоха надея! — пробурчал Морхинин.

— А ты, Александр, каку думу думашь? — строго спросил его Федор, так и не тронувши пива, поставленного перед ним Кобылою. Он был суше Ивана, узкобород и неулыбчив ликом, а потому казался иногда годами повозрастнее брата, да и говорил так вот, строго и неотступно, почитай, со всеми и всегда. Федор был воин, стратилат, и вынужденное сиденье в Литве ему было тяжелее, чем Андрею Кобыле.

Александр повел рачьим выпуклым глазом в сторону двоюродного брата, передернул локтями, сказал— в стол:

— Мыслить надобно о Руси! А не о своих вотчинах!

— Дак и откажись от вотчин тех! — вскипел Иван.

— Почто? — хмуро подняв на него глаза, вопросил Александр.— Вотчины нам дадены за службу князю своему в володенье и в род! Пото надлежит и честь рода блюсти неотступно!

— А мы тут, в Литве,— круто остановясь, выкрикнул Иван главное, о чем молчали допрежь,— кому ся деем пользу: Руси али Гедимину литовскому? Он ить и веры не нашей!

— В веру православную Литву и перевести мочно!— примирительно прогудел Андрей Кобыла.— Тута и так православных християн поболе, чем невегласов литовских альбо католиков...

— Другую Русь зачинать? — вопросил Федор су-

рово. Ему в ответ промолчали. Другую Русь, Русь литовскую, с чужими князьями во главе, коих еще надлежало крестить в православную веру... О таком тяжко было и подумать. Нет, воротить бы Александра на великий стол да поприжать Москву... Но все поняли вдруг, что, пока они будут которовать с Москвою, Гедимин станет усиливать себя за счет русских земель, и кто знает, чем кончит этот настырный литвин, получивший стол непонятно как, едва ли не угробив своего покровителя, Витенеса. Такой ни перед чем не остановит! И в молчанье, обнявшее четверых, в согласную думу земляков Федор уронил колюче и жестко:

— Одно скажу: с Ордою Гедимин не сговорит! Да и с немцем, пожалуй, тоже... С Узбеком на Смоленске соткнутся они... А вот како надлежит нам ся вершить — не скажу. Ты, Александр, все знашь, все постиг, молви!

— Католики жмут...— отозвался Морхинич недовольно. И помедлив: — Видал сам, какая она, Литва! Сила есть, а вот броней добрых... Немец, он в железе весь. Без нас, без Руси, им тута не сдюжить! Понимай сам! На сем дели можно и Твери выстать, можно и новую Русь зачать. Не с Москвою ж нам лобызатися! Дядя Акинф убит под Преславлем, Давыд — с ним вместях. Мы-ста едва ушли! Михайлу-князя москвичи уморили, Дмитрия Михалыча тоже — без Ивана Данилыча не обошлось! Худой мир с таким соседом! А как великое княжение добывали? Юрий — из-под шаровар своей татарки; Иван — уж не знаю, не сам ли Узбеку ся давал... Нынче Ростов ограбил под дочерним подолом, дочиста, бают. Срам! Великий князь! Смердич, одно слово!

— Не скажи, Александр... Иван Данилыч умен...— раздумчиво возразил Федор.— И умен, да не наш! — круто окончил он и поднял глаза на брата: — Берегись, Иван! Окрутит тебя тезка твой, сам и не почуешь! Хитрее Данилыча нам с тобою не быть!

— Весок жалко! — просто сказал Иван.— А Клавдя что ж... Ей и я не укажу, коли не восхощет! Андрей вон бает: «Дело семейное!» Я и сам так мыслю... А потом... Мне-ста способнее станет туда-сюда ездить, может, и не столь хитер твой Данилыч, на деле-то!

— Он мой, как и твой! — возразил Федор и, помедлив, прибавил: — Повидь Клашу. Пущай сама решит! В сам дели, не Русь продаем, свадьбу сводим! Ты, Александр, как ся?

— Я двоюродный! Была б родная сестра, еще подумал бы, пожалуй. Только не по нраву мне это. Хоть и двадцать пять летов прошло, а все — убийца он, Родион-от!

— На бою ить, на рати дело-то створилось...— протянул неуверенно Иван. (Родион, и в самом деле, мог ведь не убивать родителя, или уж... Голову-то на копье — грех какой!)

— Над воином так не деют! — строго произнес Федор вслух то, о чем подумал Иван. И вновь решенное было ими дело невесомо зависло в воздухе.

— Андрей! — почти с отчаяньем вопросил Иван.— Ты-то как?

— А что я? — отозвался румяный великан.— Ты Клавдю прошай лучше. Ей жить-то! Или уж в монастырь пойти... И то — годы не малые!

И при слове «монастырь» вновь задумались братья. Как-то упустили до сей поры. Надо было Клавдии давно жениха сосватать, да вот... Ростила дочерь. Убивалась по Давыду. А там и дочерь болестью в могилу унесло, и годы прошли. Тут и знай, и думай!

— Вот что, Иван! — решился наконец Федор.— Прошай Клавдю, как она. А только... Знай, Иван, я с тобою, куда ты, туда и я. Уж братней доли не отрину. Только и ты, тово! О Руси думать надо в первую голову! Это Саша правду бает! А князю своему изменить — Родину порушить. Мы за Русь в ответе с тобой. Да что — все четверо! За людей, за смердов, за Тверь пожженную, за убиенных на той рати Шевкаловой... Тебя не остановишь, знаю. Может, и Клавдия решит взамуж пойти. А только — сказанного не забывай, брате!

Выпили. Про себя каждый подумал почему-то о браке Клавдии как уже о сговоренном, хотя и не знали, как еще решит сама сестра. Но и то сказать: сестра в братней воле. Ей, коли похочет своего добиться Иван, две дороги только: в монастырь или в постель супружескую. А отсюда, из Литвы, не усмотришь, не услышишь, коими глаголами станет улещать Клавдию старший брат! Потому и хмурились и молчали. И еще потому молчали, что было подозрение на Ивана: а все ли сказал им брат или еще и иные посулы принял он от князя московского? Горько было думать о сем Александру, а Федору и подавно. Но Иван, ради своего похотенья, на многое мог посягнуть, да и посягал

не раз! Было за ним такое, не скроешь, не забудешь, хоть бы и хотелось! И только Андрей Кобыла, широко улыбнувшись, простодушно остерег Акинфича:

— Смотри, Ваня! Сестру не насилуй, пущай сама решит! Так-то, по сердцу, лучше, способнее! И тебе опосле покой будет на душе! Противу совести да противу воли ежель чего сотворишь, после сам ся покаешь сто раз!

## ГЛАВА 8

Родион Несторыч после смерти первой жены и детей так и не женился вновь. Глухое отчуждение, вот уже четверть века, с того памятного боя под Переславлем, окружавшее его в среде бояр московских и несомое им уже привычно, как крест, как судьба, как неизлечимая нутряная болесть, да гордость, тем бо́льшая, чем больше чуял он это, после убийства Акинфа Великого, настороженное недружелюбие — верно, они и не позволили Родиону искать невесты среди этих чванных московитов: Редегиных, Афинеевых, Окатьевых, Кочевых... Все они не стоили его перста мизинного! Он один, со своей кованой ратью, весил больше их всех — так, распаляя себя, думал порой московский воевода, в иное, более спокойное время понимавший, что и Протасий, и Бяконт, да и не они одни, не менее его значат (а то и много более!) при дворе московском. Но так или иначе, а высокий седоусый красавец Родион старел один в своем сходненском гнезде, в тесаных хоромах, в окружении слуг, приживалов, собак и соколов (охоту любил он превыше всего), среди случайных наперсниц своих, коих часто менял, никогда и никоторую не приближая к сердцу, почему они и приходили и исчезали, не оставляя следа ни в домашнем быту, ни в памяти боярина.

Среди местных он был чужаком, и порою долило, что обширное имение Сходненское, а к тому и переславские, вырванные у Акинфичей, вотчины, останут какой ни то захудалой дальней родне или уйдут как выморочные в княжескую казну после его смерти — на бою ли али в постели своей... Но до смерти в постели было, положим, еще не близко!

Утром того дня, поломавшего, возмутившего и наполнившего новым смыслом всю его жизнь, еще ничего

не знал, не ведал Родион, в накинутом на плечи летнем посконном зипуне стоючи посреди двора, меж тем как конюшие выводили злого каракового жеребца, и тот, свивая змеем атласную тугую шею, приседал и храпел, кося глазом в сторону Родиона, и злился, и норовил то куснуть, то лягнуть едва-едва удерживавших зверя ражих молодцов-конюших.

Прослышав от подскакавшего вершника, что зовет князь, Родион, не без сожаления, велел увести жеребца и, воротя в хоромы, приказал подать выходные платье и сапоги. Ко князю надлежало явиться в лучшей сряде. Конь, обычный его верховой, степных кровей холощеный иноходец, уже ждал у крыльца, подведенный конюшими. Родион, переоблаченный, легко взмыл в седло, слегка повел бровью — четверо военных холопов уже ждали верхами своего господина — и, в опор, вылетел из ворот.

Воротился боярин поздно вечером, задумчив и хмур. Совет, а точнее сказать, приказ великого князя отвергнуть было бы трудно, но даже и дай ему Иван больше воли, Родион не знал бы, что ему содеять теперь. Новыми глазами обвел он свое жило, по-холостяцки запущенное (борзые свободно ходили по дому, а любимая охотничья сука так и ночевала под кроватью господина, подчас пугая нежданным лаем случайных его подруг).

Постельничий холоп стянул сапоги, унес дорогое платье. Родион, переодевшись вновь в холщовые шаровары и рубаху, лег на постель, закинул сухие жилистые руки за голову, прикрыл глаза. И тут поплылозакружило пред ним. И тот роковой, далекий уже, как жизнь, как время, бой, и белое горло Акинфа Великого, и его голова, вздетая на копье, и хруст, зловещий хруст ножа, когда он, обеспамятев, кромсал горло врага... Сглотнув сухую слюну, вымолвил беззвучно:

— Никогда она мне не простит! — И покачал головой. Безумно было это все. Совершенно безумно! И бесполезно все — и поездка во Тверь, куда князь Иван Данилыч посылает его с неважным поручением, а на деле затем, чтобы посмотреть на невесту, и все это тяжелое, нелепое сватовство... Да и поздно, поздно все! Сколько лет ему, сколько ей? Он совсем закрыл глаза, задышал часто. Две слезинки показались, почти незаметные, в уголках крепко смеженных век. Горячая, горькая обида на жизнь, на время, беспощадное

ко всему, что опоздал или не возмог совершить человек в годы своей юности, поднялась в нем и остановилась где-то у горла. Конечно, он поедет в Тверь. Исполнит наказ Ивана Данилыча. Ну и... и посмотрит Клавдию Акинфичну. И получит отказ. И сможет спокойно отмолвить князю... Спокойно отмолвить, спокойно отмолвить... Что? О чем?

В дверь постучали. Доезжачий прошал что-то, он ответил, и, как показалось, разумно, и тот, кивнув, вышел исполнять. Но Родион через мгновение уже не мог вспомнить: с чем приходил холоп? О чем и ради какой надобности спрашивал?

Едва поужинав и кое-как отделавшись от вечерних забот хозяйственных, Родион, зная, что не заснет, накинул тяжелый дорожный охабень и вышел в сад над речным обрывом. Здесь почти не донимали комары и можно было, кинув охабень под яблоню, прилечь (тотчас подбежала, ткнувшись носом в ладонь, любимая борзая) и, призакрывшись полою долгой, широкой оболочины, думать, глядя, как срываются и, прочертив мгновенный огнистый след, падают спелые звезды, исчезая прежде, чем успеваешь задумать желание.

Река журчала. Невдали глухо ворочалась мельница. Вода была, до осеннего обмолота, спущена, и работала только одна крупорушка, равномерно ударявшая пестом в высокую долбленую колоду, полную проса.

Он все-таки уснул, задремав, потому что среди ночи проснулся вдруг, словно ударили, и несколько мгновений думал: что такое, и в чем дело, и почему он тут? И тотчас припомнил все, и облился опять жарким стыдом, и без мысли, недвижно, расширенными глазами вперился в ночную, затянутую речным туманом темноту. Там, за рекою, скрипели-перекликались коростели; прямо над ним тянула свое «тьюить, тьюить, тьюить» зорянка; в отдалении прокричала выпь. Ночь вся жила тайною жизнью зверей, птиц, насекомых; что-то шуршало в траве, ползло, потрескивало, чьи-то усики щекотали кожу. Жизнь не кончалась, как порешил он когда-то. Она не кончалась никогда. И то, что предложил ему князь, было не нелепостью, не хитрым расчетом государских дел, нет! Это было его спасением. Единственным возможным еще спасением за всю прошедшую четверть века, за все то грозное

оцепенение, и уже привык и не сопротивлялся этому, не чая уже себе ни другой жизни, ни другого конца...

Он поедет в Тверь. Он, убийца Акинфа, вымолит у его дочери прощение себе. Вески, что станут теперь приданым Клавдии Акинфичны,— как малы они! Как мало значат перед тем, что ему теперь, на старости лет, обещала подарить жизнь! «Да пущай Акинфичи забирают Вески себе!» — мельком, как о ненужном совсем и далеком, подумал Родион. Подумалось — и ушло. Над ним было теплое, близкое небо, затканное золотыми россыпями звезд сквозь темные ветви и вырезную листву яблони. Он смотрел — и не мог насмотреться, дышал — и не мог надышаться и, кажется, плакал, сам не замечая того. К нему пришло спасение! Что бы ни затеивал вокруг этого брака князь Иван, чего бы ни хотели Акинфичи, все равно! То, что получит он, неизмеримо, безмерно больше! Если — «да». Если она захочет. Теперь он вдруг и сразу страшно испугался возможного отказа Акинфичны...

Странно, что во всю ночь ни разу не подумал он: как выглядит его будущая невеста? Когда-то он видал ее еще молодой вдовою. Видал — и не заметил, не разглядел толком. Была невысока, стройна. Сейчас, верно, и огрузнела, и постарела... «Не надо! Не думай!» — прокричал внутри остерегающий голос, и он легко, без сопротивления, послушал его. И тогда вновь приблизились к нему небо, и ветви яблони, и беззвучные мерцающие разговоры золотых звезд.

Было спасение. Жизнь можно было, перечеркнувши, повторить опять, переписав, как грамоту, на новую харатью!

Теперь на него стал наваливать сон. Он еще сколько-то боролся с ним, плыл, как на волнах подымающегося перед зарею речного тумана, но вдруг уснул и улыбался во сне.

А небо бледнело, зеленело, одна за другой гасли звезды, как свечи, зажженные господней рукой. Гасли звуки, только журчала река да глухо стукала крупорушка в отдалении. Все заволокло туманом. Приближался рассвет.

## ГЛАВА 9

После того как схлынула Туралыкова рать, волоча рабов, скот и добро, оставляя дымы пожарищ да пепел заместо деревень, уцелевших охватило отчаянье. Сама великая княгиня Анна жила в велицей скудости, а уж им, жонкам боярским, пришло и поболе того. Клавдия сама, и воду носила из Тверцы попервости. Покуль не приехал брат, не помог кое-как огоревать первую клеть на пожаре. А до той поры ей и досталось! Жили в земляной норе, в грязи, во вшах; госпожа и слуги — все в одном жилье. По стыдному делу какому — хоть отвертывайсе! Ни хлеба, ни дров... Брат Иван привез какого ни есть добра, пригнал корову первую. Клавдия как села доить, так и заплакала той поры... Великая боярыня тверская!

И все-таки Тверь восставала из пепла. Потихоньку строились купцы; возвращались, не разом и не вдруг, уцелевшие жители. Оживали деревни, и оттуда, из лесных глухоманей, вновь повезли скору и лен, зерно и убоину. Великая княгиня Анна всем подавала пример. Сама жила как холопки, а являлась на люди всегда прибранная, прямая, в строгой и чистой сряде; и, баяли, даже стирала сама, по ночам. С первых же ден устроила странноприимный дом, призревала убогих, раненых, увечных и обмороженных, детей, потерявших родню, жонок, оставших без мужа и крова. Сама ходила за болящими, перевязывала гнойные раны, не морщась от страшного запаха, и подвигом своим, иноческим терпением, а паче того — гордым достоинством, тем, как не роняла себя ни в облике, ни в повадке княжой,— подняла, вытянула и град, и княжество, почитай. Клавдия и сама снесла все это, только глядя на великую княгиню Анну. Стыд было перед госпожою себя потерять.

Едва оправились — мужиков снова погнали в поход: имать князя Александра Михалыча. Пока те топтали снег до Великого Нова Города и назад, уже по ростепели, по мокрым путям (обезножели и кони и люди!), здесь опять, без мужской силы, едва не надселись оставшие без помоги жонки и старики. Не чаяли дожить, пережить морозы, вьюги и стужу.

И вот пришла весна, и воротившие до дому ратники взялись за сохи и бороны, и стало можно вздохнуть, хоть дух перевести от непосильных трудов и

скорбей. Клавдия отъедалась, отходила; холопы ладили новый терем; уже бойко торговали по вымолам и на посаде купцы; строилась Тверь — и жизнь возвращалась в берега свои. Отвели сев, свалили покос, и стало вовсе легче дышать. Как всегда опосле трудов безмерных, когда отдыхают и тело и душа, мгновеньями чуялась радость беспричинная: идешь по двору — и радостно вдруг. Ни с чего! Птицы поют, начинают зеленеть обгоревшие, простоявшие год черными остовами дерева, куры роют горелый сор, что-то ищут, и — радостно. И хоть в легкий волжский ветер все вплетает и вплетает горько-кислым духом старого пожара, а все одно радостно, молодо словно. И жонки те, с коими сидела в земляной яме, так приветно, так улыбчиво встречают: беда связала паче господарства самого!

В те-то поры и приехал в очередную Иван с необычайным сватовством московским. Мялся сперва, а как сказал... Нет, даже и не поверила спервоначалу, думала — шуткует. Да нет!

— Ты в себе ли, Иван? — спросила сурово. Попервости и баять не стала, ушла. И ругать не стала — не ведает сам, что и говорит! Родион! Да лучше в воду, в омут головой! В монашки ли... Тьфу и тьфу!

Видала его как-то. Седые усы бросились в очи, и глаза недобрые, холодные глаза. И сам сухой, высокой...

А вечером Иван вновь приступил к ней с речами. Поняла уже, что не спьяну, не с проста ума несет, что просто так ей того не отпихнуть, не отринуть. Ночь не спала, ворочала так и эдак. Того горше, того обидней показалось, когда сознался ей, что уже баял с Федором и с Александром, двоюродником... «Меня преже того мог бы прошать! Аспид, одно ему слово!» И вспомнилось лицо брата: растерянное, словно прибитое. Да и сам ли надумал-то? Поди, без московлян и тут не обошлось!

Знала о делах брата досыти, потому и спросила, когда из утра пришел, не жалеючи, в лоб:

— Мною Вески купляешь?

Сказала горько, с неожиданной хрипотцой, задышалась (с годами располнела, ожерелок стал заметный). Как корову продают! Братья родные! И кому? Самому Родиону! Может, и надо было ей в одночасье за другого кого пойти... А уж теперь... Да и за кого? В те поры

сказали б такое — зарезалась, не вздохнув. А теперь лежит вот, думает. Отгорело, поутихло старопрежно-то! Что тут! Много летов минуло, ой много! И жисть уже на ту половину перешла. В монастырь уйти? И самое статочное дело! Себя не уронить. Хотела тут и вымолвить о монастыре, не сумела сразу надумать — какой? А мысли потекли по другой стезе. Одна. Дочерь умерла в мор. И внучат нету. Она еще в теле, в силе родить. И себя блюла, не как иные жонки... Што ему Вески?! Хочет досягнуть своего. Настырный! Не мытьем, так катаньем... А я? А как бы батюшко, покойник, содеял?

Нет, нельзя в монастырь! Просящие, словно бы и виноватые, и жадные глаза Ивана напомнились... Вздохнула, потрогала грудь. Все еще упругую, не в стыд мужику казать (уж не сама ли продавать себя надумала?). Усмехнулась зло, хмуро. И вспомнились седые усы Родиона... Может, судьба?

Как на бою, взявши город, озверев, насилуют жонок: рвут серьги из ушей с мясом, волокут, задирают подол... И ужас, и жаркий стыд. Так вот, батюшку убив, тут бы, тогда бы... Нагую, на снег, в кровь... Нать бы, верно, зарезалась опосле али удавилась со стыда! А Иван теперича... Звери вы, мужики!

Утром, когда Иван пришел, неотступный, жадный, встретила с глазами, обведенными тенью, побледневшая за ночь. Сказала, вдосталь промолчав и выслушав новые речи брата (ох и ненавидела же она его в тот миг!), сказала:

— Ладно, присылай сватов!

И — повело. Начала терять сознание. Все закружило перед очами, едва устояла на ногах.

И дальше все крепилась. Не плакала ночами. Давала себя одевать, охорашивать. Выдержала приезд Родиона самого. Что-то только он сказал ей — не поняла. Кровь так шумела в ушах, что и не слыхала, почитай.

И покатилось дело ближе и ближе к свадьбе. А она все не понимала, не верила, поистине-то не верила ничему. И поверила, уже когда огласили в церкви и стали собирать к венцу...

В ту-то ночь и приснился Давыд, молодой, розовый, как словно с мороза вошел, и в инее ресницы и усы. Свежий такой, холодный весь. Сердце упало, и как тающая льдинка за шиворотом прошло сладким

щекотным холодом, и онемели руки и ноги, а он прошал что-то и близко-близко был к ней... Обнять бы, а рук не здынуть! А у него и дыхание как словно холодом веет.

— Ты живой? — спросила.

— А ты? — вопросил и усмехается, и вот сейчас уйдет, растает ли, а рук не поднять! и в теле во всем такая истома молодая, давняя, так просит: обними, согрей! А после и поняла — она-то уж не та, не прежняя, и заплакала, а он смотрит и смеется, и смеется, и весь в инее, уже и белым-бело все вокруг — не то снег, не то вишенье, не то яблоневый белый цвет!

Так вот и проснулась — в слезах. А девки пришли одевать, казать сряду. Не́мо дала себя умыть, одеть и, уже оставшись одна (попросила сенных девушек выйти на мал час), поняла: не сможет! Ничего не сможет! И пусть будет проклят брат Иван и все его дела прехитрые с Москвою и московским князем! И пущай, коли хочет так, нагую, за косы, выводит ее на позор! А сама — нет!

Клавдия, обеспамятев, срывала с себя одежды, швыряя и шваркая тяжелые переливчатые атласы, бархаты, парчу и шелка. И когда брат Иван, тихонько тронув рукоять дверей, пролез было в покой, склонив голову под притолокой, сказать, что пора, то, едва возвел очеса, его как шибануло ослопом: сестра стояла нагая, в одном янтарном ожерелье и повойнике, нагая и тяжкая, широкая, с опущенными тугими грудями, со сведенными в гневе татарским излучьем бровями, и смотрела ненавистно и властно, словно даже гордясь стыдною своей наготой. У Ивана мягко ослабли ноги, и он привалился к притолоке, не разумея, что сказать, содеять...

— Ну, что ж! — звонко крикнула сестра.— Бери, вона! За косы бери! Выводи! Ну! Убийце мово... батюшкову... Ну! — И рванула повойник, рассыпав змеями посыпавшиеся косы.— Ну, чего оробел?! Веди!

Иван тут только, когда сестра, белая и гневная, грудями вперед, темнея каштанового отлива шерстью под мышками и в межножье, пошла на него, он опомнился, вывалился наружу, с треском захлопнув за собою тяжкую дверь покоя, за которой глухо взмыл крик и рыданья Клавдии, и, слепо, тупо глянув на подбежавших служанок, вымолвил:

— Воды! С госпожой плохо... тамо... — И, махнув рукой, не оборачиваясь, пошел вон.

Надо было сказать Родиону, гостям. Отказать... Повиниться али соврать чего. Иван, однако, понимал, что ничего не может, только так вот сидеть и ждать неизвестно чего. Его позвали. Он вышел, низил глаза, улыбался. Сестра задерживалась уже до неприличия, уже и Родион начал хмуреть и каменеть ликом, и гости перешептывались, отирая платами лица. В набитом покое было хоть и при отворенных оконцах, не продохнуть. А Иван все не мог сказать — отказать ли — и все ждал, чтобы эта стыдная безлепица как-то совершилась без него и помимо него.

И тут, уже когда он, прикрыв глаза, гадал, скоро ли негромкий ропот гостей перейдет в открытую брань, послышалось:

— Ведут!

Ну! Иван замер, не хотя глядеть. Почудилось, что Клавдия так и выйдет к гостям нагая, и тогда... тогда... «Свечи тушить скорей!» — нелепо и тупо подумал он. Но ропот стих. Поднялся снова... Иван поглядел опасливо.

Клавдия стояла, опираясь на двух вывожальниц, с огромными, как темные озера, глазами, бледная до синевы, ни в губах крови, в голубом атласном саяне и жаркой россыпи серебра, жемчугов и янтарей на груди, в ушах и надо лбом. Стояла и была красива так, что и сам Иван замер и побледнел, и Родион дрогнул усом, чуть растерянно склонясь в поклоне перед своею будущей женой.

«Упадет!» — подумал опять Иван, покрываясь то холодом, то потом. Но Клавдия не упала. Склонила медленно голову, прекрасная и почти неживая, проплыла по покою, приняла поднос с чарками и подала Родиону. И он взял, и вот теперь бы ей уронить поднос, но вывожальницы подхватили (за тем и следили!), бережно приняли из ослабевших невестиных рук.

И еще хватило сил у нее так же медленно, царственно, выйти из покоя. А дальше уже не помнила, довели, донесли ли, и долго оттирали уксусом виски, приводя в чувство, там, у себя, в задних горницах.

И только уже осталось пережить все: и пиры, и венчанье, и поезд — и после крикнуть тому, седоусому, в лицо: «Ну, что ж ты! Бери!», чтобы как гулящую бабу последнюю, как суку... И чтобы выть потом, стиснув

зубы, или грызть руки себе, или... Да что там! Может, и ничего. Только молчаливые теплые слезы потом, как весенний дождь. Может, и ничего... Может, и всяко! Да уже не увидит никто и не зазрит никто...

А только после родится у нее сын, и будет назван Иваном, белый и пухленький, прозванный потому смолоду Квашонкой, и станет он боярин княжой, Иван Родионович Квашня, родоначальник большого боярского рода, и проживет, и наживет детей, и, уже когда отойдут в лучший мир его матерь с отцом, а Иван Акинфич уже давно откупит у Родиона свою переяславскую вотчину и тоже умрет и много-много чего еще произойдет и свершится на Руси,— прославит он имя свое во главе Коломенского полка, на поле Куликовом, на реке Непрядве, у Дона, в тяжелом бою с Ордой.

## ГЛАВА 10

От тяжких ударов металла по камню закладывало уши. Едкая белая пыль покрывала тесовые мостовины, ограды, бревенчатые стены теремов, даже шатры и кровли городень. В белой пыли, как покойники, выныривали лошади; скалясь, напружив переплетенные мышцами ноги, круто сгибая могучие шеи, тянули скрипучие, оседающие в осях волокуши с глыбами белого камения. Люди в лаптях и рванье, в домодельном сукне и посконине, в поршнях и кожаных передниках, подвязав, по обычаю мастеров, волосы кручеными гайтанами, в жаре, в грязи и в поту, в шуме и крике, равно посеребренные белой каменной пылью, тьмочисленно шевелились повсюду: и под стенами, и на стенах, и вокруг возов, и у высоких костров сложенного камения, и там, где резкими всплесками, яро и часто, взлетала земля из-под лопат,— еще сводили церкву Ивана Лествичника, и уже начинали другую, во имя святого Петра, его честных вериг. Великий князь торопил. Обе церкви велено было складать и свершить до осени.

Федор Бяконт, морщась и задыхаясь — годы уже круто брали свое,— перелезал через кучи бревен, загородивших дорогу; кряхтя, опираясь на плечи слуг, приостанавливался, дабы отереть пот со лба: с безоблачного неба на Кремник щедро лилось расплавленное золото древнего Ярилы, солнцебога далеких языческих предков.

— Круто забрал Иван Данилыч, круто! — проговорил, отдуваясь, Бяконт, пряча мокрый, весь в каменной пыли, красный плат, и уже намерился двигаться дале, как узрел в стороне одинокого, в простом платье, густоволосого и тоже усеребренного пылью и недвижно стоящего горожанина. Вгляделся, узнал — ахнул. Подплыл, разведя руки поврозь. (К старости стал тучнеть неподобно и ходил уже вразвалку, колеблясь всем рыхлым телом.) Стащил суконную шапку с седой головы:

— День добрый, княже!

Калита дернулся, глянул нетерпеливо, прихмуря было чело,— узнав Бяконта, омягчел ликом, кивнул старику, спросил, приподымая голос (так оглушительно звенело и стонало под молотами каменосечцев, что впору было кричать на ухо друг другу):

— Успеют ли к Ильину своды свести?!

— Должны поспеть, князь-батюшка! — прокричал в ответ, с отдышкою, Бяконт.— Народу ить, что черна ворона! — И, решась (слуги замерли в отдалении, тоже признав великого князя), попенял:— Неподобно одному-то, княже, без догляду!

Иван остро обозрел старика, отмолвил, помедлив, с легким недовольством:

— Чать у себя. Во своем городи. Дома!

Бяконт понял, что князь зело нерадошен и заботен излиха. Чем? Мастера трудились на совесть, грех было бы на что и пенять... Прошать? Дак надобно безо спросу понимать-то! Подумал, прикинул то и это, почти уже догадывая, щурясь от пыли, примолвил:

— Феогност-то! Не видит! Его бы заботою...

И — угадал. Князь глянул ярым зраком. Отрывисто рек:

— На Волыни! В Галиче, в Жараве ле!

— Не ладит в наше Залесье? — уже уверенней вопросил Бяконт, понявши заботу княжескую. Калита промолчал, кивнул.

— На тот год Спасову церкву класти и монастырь переводить в Кремник? — сказал-спросил боярин.— Нать бы быти митрополиту при сем!

— Не приедет — за благословением пошлю! — отмолвил Иван так же отрывисто.

— И к делу, батюшка! — покивал Бяконт. Подумал. Переждав нарочитый грохот и стоны окалываемого камня, подсказал: — А и ждать неча! На

зиму Феогност, слышно, в Киев ладит, дак по осени и послать, как подстынут пути!

Калита посмотрел на этот раз в лицо Бяконту внимательнее, и странная для великого князя беззащитность проглянула на миг в его взоре. Только на миг, но и того хватило Бяконту. Давним умудренным смыслом своим постиг он тотчас тайный страх своего князя и отмолвил мысленно, скорее даже себе самому, чем Калите: «Что ж! Конешно, не ровня наши храмы византийским, что и говорить! Да и володимирским тоже! Дак — время-то тяжко! Сколь на ордынского хана да на силу ратную серебра уходит, страсть! Должен Феогност нас с тобою понять, княже! В ину пору и малое — великое есть, коли с верою да с прилежанием любовным!»

— Ко мне ле? — спохватился Иван.

— К тебе, батюшка-князь,— отмолвил Бяконт, вновь наклоняя голову.

Иван бегло глянул на Бяконтовых холопов и поворотил к теремам. Старик поспешил следом, колыхаясь и придыхая. Слуги не смели при князе взять господина под руки. Иван, обогнавши было боярина, придержал шаг. Уважал старика. Да и надобен был Бяконт, зело надобен! Преже самого князя сообразил дело-то!

Взошли в сени. Слуги бросились стремглав отряхивать метелками из тетеревиного пера платья, подносить воду в рукомоях, белые тонкие полотенца. Иван скинул верхний, посконный, зипун, ему подали домашний, шелковый. Прошли в верхний горничный покой. Здесь стонущие удары по камню звучали глуше, можно было говорить, почти не повышая голоса. Слуги внесли медовый квас, закуски, блюдо свежей зямляники. Иван дождался, когда уйдет последний, подвинул блюдо боярину, сам рассеянно стал брать по ягодке и класть в рот.

— Кого пошлем?

— Тако дело думой решать надобно! — возразил Бяконт.

Иван кивнул нетерпеливо:

— Колготы б не было! Босоволковы, отец с сыном, чести себе потребуют!

Бяконт прищурился. Великий князь слегка недолюбливал Босоволковых, хоть и сила у них была большая.

— Алексей-то Петров молод ищо! — раздумчиво протянул он.— Филиппа? Василья Окатьева ежели?

— Твоего сына хочу послать! — строго перебил Иван.

— Феофану, княже, то честь великая! — отмолвил Бяконт, не сумев скрыть удовольствия в голосе.— Одначе и он молод, зазрить могут! Надо бы старшего кого ни то из маститых, из думцев, из нас, стариков...

— Протасия не пошлешь! — возразил князь.— А Василий Протасьич опять же молод службою! И Сорокоум занедужил... Разве уж самого Окатия?

Но Бяконт покрутил головой:

— Михайлу Терентьича достоит, княже! Ему уж много за полста лет перевалило, и роду высокого. Не зазрят! А уж мой-то Феофан пущай под началом у его походит! И та честь не мала: к митрополиту посыл!

Иван подумал, положил еще ягоду в рот, раздавил языком. Рот наполнился тонким и терпким лесным ароматом. Умен Бяконт! Покойный Терентий Мишинич служил по Переяславлю, у родителя-батюшки был в чести, а тут, на Москве, ни вражды, ни зависти ни в ком не поимел. По покойнику и сына уважают. И дело не ратное, посольское дело. И посольство-то особое, к митрополиту русскому, не в ину землю... Ни Протасий, ни Окатий, ни Родион Несторыч не зазрят... Умно решил Федор Бяконт! Умней не решишь! Сказал вслух:

— Быть посему! Ты, Федор, преже думы перемолви с боярами!

— Меня не учить, князь-батюшка! — возразил Бяконт.— Протасию сам скажешь, поди?

Иван опять кивнул молча. К старику тысяцкому следовало сходить самому.

Все же было горько: столько серебра, и сил, и труды великие, а Феогност и глаз не кажет! Сидит себе в Жараве... С Литвой, с Гедимином ся ликует. А ежели и останет тамо?! Что делать тогда, он не знал. Не мог ничего решить заранеше. И, вздохнув, уже отпуская Бяконта, обсудив с ним попутно и те дела, из коих старый боярин шел в терема княжеские, помыслил, попенял было Господу, что явно не спешил помочь своему рабу в непростых его княжеских трудах. Но, попеняв, тут же и укорил себя за дерзкий ропот противу вышней воли, понять которую смертному не дано никак. Быть может, и это ему, Ивану, крест и испытание за гордыню?

Не волен смертный, даже и он, князь, указывать Всевышнему в путях его и в помыслах горних! И токмо одно надлежит каждому: нести свой крест, не ослабевая в трудах.

— Не ослабевая в трудах! — сказал Иван вслух, себе самому, и повторил глуше: — Не ослабевая в трудах...

Митрополит русский должен быть здесь, на Москве, а никак не на Волыни и не в Литве Гедиминовой. И сего должен он добиваться, не ослабевая в трудах! Тяжкие, стонущие удары по камню отвечали ему.

## ГЛАВА 11

Мишук сряжался в Киев. Катюха бегала зареванная. Дети прыгали и визжали на разные голоса. Тетка Просинья тоже добавляла шуму. Словом, в доме стоял дым коромыслом. Да и прямой был дым: печь чегой-то не налажалась — то ли дровы не подсохли вдосталь — кудрявый чад клубами ходил по хоромине.

Морщась, Мишук крутил башкой, поминая нелегким словом продавца избы и, с запоздалою завистью, дядину хоромину на Подоле, что продал когда-то большому боярину Окатию. Се лето с сенами не управили в срок, пото не поспел и печь переложить, а нать было, ох и нать было скласть печь погоднее!

Он недавно воротил домой, праздничный. Повестил было о великой чести, выпавшей ему: шутка ли, старшим поставили над обозом! И вот незадача! Катюха с первых же слов разревелась:

— Одну оставляшь!

Мишук, отстегивая саблю и переболокаясь, остоялся даже:

— Кого ты ревешь-то?! Да батя мой по посольскому делу всюю жисть! Пото и в чести был у князей великих! А я все на дворе да на дворе, с конями да в сторóже. Скоро и голову сединой обнесет! Так, што ль, из навоза не вылезти?!

— Да! А куды я с дитям, да на всю зиму! Ни хоромина не готова, ни сенов не навожено! Яков твой токо на печи и сидит! Что с него толку! Да и печь вон...

В говорю встряла было тетка Просинья:

— Поезжай, поезжай! Бабью-то брехню не переслушашь!

— Брехню, да? Брехню, да? Я для тети Проси всю жисть собакой была! Собака и есь! Век за детьми да за скотом, из скотнюхи не вылажу, все с пузом, детей полон дом, а в церкву выйти не в чем! Знала бы, за кого шла...

Просинья, конечно, в долгу не осталась, начала припоминать все Катеринины протори и промашки: и портны белит не так, и квашню путем не замесит, и дитю летось не сберегла, и мужик у ей не обихожен...

От ору бабьего изба готова треснуть. Мишук, хлопнув дверью так, что едва ободверины не вылетели из гнезд, выбежал во двор, к коню. В сердцах не знал, за что и взяться. Катюха вылезла зареванная, пришла в хлев. Мишук не глядел, слышал лишь, как шмыгает носом. Подошла сзади, охватила полными руками, вжалась. Мишук еще поежился, но уже и оттаивал — жалко стало жонку, огладил большой рукой. Катя подлезла к нему под мышку, все еще хлюпая носом, стала ластиться; сперва пожалилась на тетку, что век не дает ей жить, потом почуяла, видно, что этим Мишука не проймешь (сама уж залезла к нему и под зипун, совсем оттянула от дела: пригрей да приласкай! Распалила не ко времени...), и вдруг вовсе незаботным, а любопытным голоском:

— Скажи, как створилось-то? Почто и выбрали тебя? А каково тамо, в Киеви? Жонки красивые бают! Хучь гостинца-то не забудь, привези!

И всегда так: накричит, накудесит и — словно и не она — хохочет опять да дивует, словно девка... Не соскучишь с нею!

Скоро сынишка забежал (верно, тетка Прося послала), потом дочурка засунула нос:

— Я первая, я! Я тятю нашла!

Всё как пошлют которого за чем, дак оба и бегут, пихаются — кто первый...

Под вечер Катя носила воду с Неглинки — в колодце, что на усадьбе, вода была ржавая, только скотину поить,—а Просинья, малость отошедшая от ругани, хоть и все еще сердито, выговаривала, без меры дергая кудель на прялице:

— Поезди, поезди! Воспомнили батьку-то, Федора! Таку честь оказали! К митрополиту самому! Ты ето понимай: по отцу почет! Жону-то не слухай боле! Пока жива — пригляжу! Уж чего, какого сорому стыдного тута не допущу!

— Катя и сама...— не совсем уверенно возразил было Мишук.

— Сама-то сама, а привяжетце какой настырный али на страх возьмет... Дак и себя-то воспомни: али чужих жонок не трогал?!

— Был грех...

— То-то, грех! Езжай, не сумуй. Пригляжу!

Да и что сказать? И права и не права Просинья! Баба без дела, дак и сблодит, а коли дети, да дом, да воздохнуть некогда, тут не до чужих мужиков! А у Катюхи все ж таки пятеро по лавкам! А что по батьке честь, то тетка правду сказала. И дело створилось так. Большой боярин, Протасий Федорыч, с Михайлой Терентьичем собирали дружину, и оба, в одно, покойного батьку воспомнили. Михайло Терентьич его, как себя, знал, по Переяславлю, ну а старый тысяцкий, спасибо ему, напомнил, что вот, мол, сын еговый у меня. Так, по батьке покойному, и Мишуку выпала честь. Честь не мала, но и труды тоже не маленькие! В ближайшие дни как пошло: коней ковать, возы, сани, сбруя, припас... Кметей всех проверь, каждого в кажной промашке — не воздохнуть было! Уж тут не до печи, не до дома. И ночевал почасту в молодечной, на дворе у тысяцкого.

И в чем еще только самому себе признавался Мишук — оробел он малость. Порядком-таки оробел! Того, отцова, похотенья, чтобы туда и сюда, не было в нем. Коли жизнь шла ровно, то и нравилось. Кажен год — жатва и покос; по осени — бить поросенка; коптить, солить, везти бочку рыбы с торга... Ежеден служба, хозяйские кони, молодшие, коих он разоставлял в сторожу и по работам, да иногда лихая выпивка с холостежью, да иногда перекинуть в зернь, в тавлеи ли с приятелями. А тут, в одночасье, в Киев! Да на всю зиму, до весны! Часом, стойно Катюха, готов завыть: такая неохота навалит, все бы кинул и на печь залез! Но и не отопрешься уже. Да и отопрешься — сама же Катюха заест! Свой талан, судьбу потеряшь, тогды уж до конца коням хвосты чисти, и никаких боле... А детей поднять много еще станет ему труда. Вона парнишке старшему осьмое лето всего! И в Киев, и куда дале поедешь безо спору!

Обоз собирали на совесть. Осматривали каждого коня вместе с боярином. Ну, в конях понимал Мишук. Коней приготовил — лучше не нать. Кормленые кони,

выстоялись. Кованы на все четыре копыта. Вычищены, шерсть — что шелк! Любота! Кметей тоже подобрал справных, которые из своих, ну а боярина Михайлы Терентьича — те уж не его забота! Да и тоже мужики толковые, видать по всему. Оружие, припас, иконы — все честь по чести.

С обозом ехал архимандрит Иван, новый. Великий князь где-то добыл его. Слыхать, смыслен-горазд в книгах святых. Сам Мишук порядком-таки подзабыл грамоту, чел едва по складам. Сынишка — тот не в отца, в деда, верно, уже борзо складывает, дьячок хвалил давеча. Хвалил, конечно, еще и за полть скотинную, ну да ученье не дешево и стоит! Будь Мишук познатнее в книжном-то деле, дак, может, в отцово место и с грамотами запосылывали. А уж как без грамоты, дак одно знатье: сабля да конь!

Обоз отправляли после Покрова, когда уже плотно лег снег. Последнюю ночь Мишук ночевал дома. Дети залезли в постель, сперва Никита, потом Услюм: «Я тоже с батей!» Не успели оглянуться — и Любава тут как тут. Толстенькая Сонюшка, сопя, лезла вслед за нею: «И я! и я!» Все облезли, уместились, поталкивая друг друга.

— Батя, а меня возьми в Киев! — запросил Никитка.

— Зайчишка ты! — усмехнулся Мишук, ласково ероша волосы сыну.— Молод ишо!

— Заяц-скака́ец! — не вытерпела передразнить Любаша.

— Сама заяц-скака́ец!

— Ну-ну! Кто тут кого щиплет? Кого нашлепать? — прикрикнул он на расшалившихся малышей. Дети наконец уснули. Бережно переложив Услюма, залезшего меж матерью с отцом, на край кровати, Мишук повернулся к жене. Катя молча крепко охватила его за шею. Так потом и уснули в обнимку среди посапывающих ребят.

Выезжали в потемнях. Никита встал-таки, влез торопливо в валенки и выбежал за отцом:

— Батя, возьми!

Катя ухватила его за плечи, но сынишка упрямо вывернулся, и Мишук, из жалости, подсадил его на воз, прокричав Катюхе:

— До спуска!

У выезда на Неглинную поднял, прижал к бороде:

— Бежи!

Горько заплакав, Никита побежал вверх по улице.

Далее Мишук уже не оглядывался. Скоро, проминовав мельницы и мост, он подымался к воротам Кремника, где уже ждали, грудились у саней повозные, кмети, слуги, младший клир церковный...

Обоз растянулся от нижних ворот чуть не до Яузы. Мишук за хлопотами почти не заметил ни пышных проводов, ни службы, ни блеска одежд духовных лиц и боярской господы на белом снегу. Его забота была: сани, возы, гужи и завертки, упряжь, кмети, холопы, да кто там выехал излиха пьян, кого отматерить, кого, сраму ради, уложить на воз — оклемается дорогою. И уже поуспокоился малость, обрасывая пот со лба, когда наконец выехали гусем и парами запряженные боярские сани, когда проминовали возы, за которыми топали, на долгих ужищах, запасные кони, когда наконец последние припоздавшие розвальни с ратными скатились с Боровицкой горы и лихо, едва не вывернув седоков, с гоготом и свистом, под веселый звон поддужного гремка, устремились вслед за прочими. Лишь тогда Мишук воздохнул, отер лоб и, поправив шапку, последний раз глянув на Кремник на горе, на буро-серые городни, припорошенные снегом, на острые верха костров городовой стены и чуть видные поза стрельницами главы новых каменных церквей московских, ожег коня плетью и, взяв с места в опор, пошел наметом догонять головные сани.

До Коломны Мишук, в заботах об обозе, не мог путем и куска съесть. И лишь когда уже, отпировав в Коломенском кремнике, тронули Окою к далекому Дебрянску, и уже стал привычен походный быт, люди втянулись, приспособились ездовые, и стало можно вздохнуть, дать себе ослабу, тут лишь увидел он красные оснеженные боры на крутоярах, вознесенные над курчавою порослью орешника, одевшего, словно заиндевелою шубою, высокие берега, небо, сверкание снегов и почуял разымчивую молодящую радость дальней дороги. Вольно было не думать, временем, о доме; вольно, отдав наказы возчикам и дружине, привалить на сено, чуя, как, слегка кружа голову, виляют и ныряют сани, как весело и в лад ударяют копыта коней, взметывая снежные вихри; весело видеть, как идет крупной рысью, переходя в скок, привязанный к задку кошевки верховой Мишуков конь.

Уже дневали середи пути у костров, а не по избам и не по теремам боярским; ели кашу из котлов, и важные бояре уже не так чинились, как на выезде из Москвы, сидели с дружиной, и впервые Мишуку довелось хлебать из одного котла с самим Михайлой Терентьичем. Боярин — маститый, в пол-седой окладистой бороде — был еще ясен зраком и усмешлив, Мишука оглядел вприщур. Допрежь было речей токмо о деле, а тут вдруг, облизывая деревянную резную, с рыбьим хвостом ложку, спросил:

— Батьку-то добре помнишь?

Мишук отозвался степенно. Боярин вздохнул, поерзал на кошме — сидели на седлах, застланных кошмами, шатров на дневку не разоставляли,— сказал вкусно и уважительно:

— Нравный был муж Федор Михайлович! Помню, помню, как он большого боярина Окатия окоротил на Переславли! В те поры, как Окинф Великой с ратью под город подошел! Ты в те поры был ле?

— Я с полком Родиона Несторыча, с Протасьевыми, шел, дак батя нам встречу выехал из лесу, с вестью. Без меня ево и спознать не могли...

Последнее Мишук добавил с некоторым смущением: не подумал бы боярин, что хвастает! Но Михайло Терентьич глядел добродушно. Отнесся к архимандриту:

— Ты, отче, не слыхал о таком Михалкиче, Федоре? Еще до тебя помер...

— Не было ли братца у покойного, в нашем звании? — спросил монастырский эконом, косясь на боярина.

— Как же! Дядя Грикша! Он еще в затвор ушел у Богоявленья, а допрежь того келарем был в Даниловом монастыри...

— Как посхимился дядя, коим именем ся назвал? — вопросил архимандрит, внимательно взглянул на Мишука.

— Именем? Дак...— Мишук слегка смешался.— Гавриил, должно... Должно так!

— Дак и я знаю,— отмолвил архимандрит степенно,— муж смыслен был и строгого жития. Последнее лето, сказывали, болел, а все подвиг свой не пременил на иное и скончал живот достойно.

— Вот вишь, родня-то у тя, Федорыч, знатная! — подхватил боярин.— Что дядя, что батька! Я-то тово брата не знал, а Федора Михалкича знал близко. Батя

мой сильно ево любил! Скорбел, как помер Михалкич! Скорбел! Да и сам уж недолго жил после тово... Да, вот! Раньше, позже, а все мы на Москву потянули! Ты как, вовсе из Переславля ушел?

— Вовсе. И землю продал, и дом.

— Да-а-а...— протянул боярин. И замолк. Его-то родовая вотчина была под Переяславлем. Задумался. Покивал.— Ну, да...— сказал, словно бы себе самому.— Докуль Иван Данилыч велико княженье содержит, дотоль и Переслав в московской воле стоит!

— А што,— решился прошать Мишук,— могут и отобрать город, ежели?..

— «Ежели» допустить нельзя! — весело возразил боярин, рассмеявшись.— Пото и едем! Все, Федорыч! Отъели, отпили — подымай людей!

Скоро кошмы были свернуты, вытерты и уложены котлы и прочий походный снаряд, и долгий обоз вновь потянул темной змеею по слепящему извиву снегов вверх по Оке, мимо Лопасни, на зимние лесные переволоки к Дебрянску и оттоль вниз по Десне, мимо Чернигова и Вышгорода в далекий-далекий Киев.

Задал все же задачу Михайла Терентьич Мишуку. Вота как? Выходит, еще и Переяслав могут отобрать у московского князя, коли великого княженья ся лишит? Подумалось так, и стало жалко отцовой и своей родины. Хоть и вырван корень, и порушено все там, и весь он, со всеми своими, перебрался на Москву, а все ж: из земли можно вырвать, из сердца не выдерешь — родина! Ну, даст бог, Иван Данилыч великого княженья не отдаст никому. Не отдадим и мы, поможем, чем сможем! Хоша и здесь, в пути! Задальше Мишук уже не думал, далеко было. Это уж забота боярская, не его! Свое дело сполнить исправно — то и добро. Как батька покойный баял: честен будь да верен! Сам-то небось вон: великого боярина окоротил! — подумалось об отце с легкою завистью. Сам Мишук таково-то не дерзнул бы и помыслить.

Засыпанная снегами, в темных оснеженных лесах, в белых лентах замерзших рек и ниточках санных дорог, едва прочерченных катышками застывшего навоза, голубая под солнцем, серо-серебряная в сумерках и пугающе холодная темною морозною ночью, под высоким мерцанием звезд, лежала страна. Белою пылью снегов заносит поля и утонувшие в сугробах деревни, курящие седыми струями дыма, розового на заре.

Теряясь в лесах, пересекая поля, от погоста к погосту, от города к городу тонкою муравьиной вереницею, исчезающей порою в струях метелей, ползет по стране санный обоз. И крохотные, в отдалении, кони и сани, и еще более крохотные, чуть видные, седоки везут с собою, с поминками, дарами и грамотами великого князя владимирского, тяжкий груз тайных замыслов московского властителя Ивана Данилыча Калиты.

## ГЛАВА 12

У Феогноста, начиная с Жаравы, все росло и ширилось глухое раздражение: на увертливого Гедимина (сущего язычника!); на латинских патеров; на всю эту дикую Литву, приобщить которую к истинной православной вере едва ли возможет и он, Феогност; на бессилие и разброд среди христиан православных; на полное произвола и безлепицы самоуправство местных володетелей во всем этом краю, невесть кому подчиненном и неведомо кем управляемом. Ему удалось объединить вновь распавшуюся было митрополию токмо потому, что незадолго до его приезда (и к счастью!) скончался литовский православный митрополит Филофей. Но не успели сего митрополита предать земле, как уже оказалось, что имущество церковное — земли, стада и богатства — разграблено, расхищено неведомо кем, а частью присвоено князем Червонной Руси Любартом — Дмитрием Гедиминовичем. (Таковы здесь крещеные литовские князья!)

Феогност твердо намерился составить опись пропавшего церковного имущества и требовать возврата. Однако успех сего был явно сомнителен: слишком высоко сидел властный похититель. Восхощет ли злостный язычник, обманно принимавший крещение от латинян, великий князь Гедимин, заставить своего сына воротить добро греческой православной церкви?

Там в Константинополе, откуда его посылали, снабдив твердыми инструкциями: возродить престол митрополитов русских в Киеве и не допускать впредь послаблений ни великому князю владимирскому, ни великим князьям литовским,— там явно не ведали и не понимали, что же здесь происходит на деле! И чем они могли помочь ему теперь в его нелегком подвижничестве, когда новый император, Андроник Третий, как

он узнал только что от тайных гонцов, наголову разбит турками при Филокрене и зашатавшийся престол кесарей византийских начинает искать спасения в сближении с католическим Западом?!

Он ехал в Киев, все еще на что-то надеясь. Некогда, еще во граде Константина, он и сам хотел сесть на митрополию именно в Киеве, воротить сему древнему граду значение церковной столицы Руси и разумно править русской церковью, искусно лавируя меж Сциллою и Харибдой славянских земель — меж литовским и владимирским великими князьями, никому явно не отдавая предпочтения, но каждому указуя в делах духовных.

Подрагивая от холода в своем возке — осень уже переломилась на зиму,— Феогност нетерпеливо поглядывал в оконца. Мягкие увалы Карпат в тусклой позолоте буковых лесов, уже припорошенных снегом, отступали, изглаживаясь, и по мере того, как отходили и отступали леса, открывая взору далекий степной окоем, преображались жилища смердов: дрань на кровлях сменялась толстыми соломенными накатами, мазаные стены домов будто все более и более врастали в землю, менялись одежды и даже лица встречных селян, и сама славянская речь начинала звучать по-иному.

Встречали митрополита то пышно (порою до чрезмерности), то грубо, и всякий раз неясно было: Гедиминовы ли приказы стояли за каждою из этих встреч или сами князья и воеводы здешних городов измышляли кто во что горазд? Изредка попадались татарские разъезды. Жадно оглядывали поезд митрополита, а иные даже и ощупывали платье и добро митрополичьих слуг. К счастью, ханский ярлык действовал и тут — грабить явно их остерегались.

Киев, впервые увиденный им, был жалок. Зимний, безлюдный, утонувший в оврагах и в седой оснеженной путанице садов, на три четверти пустой город над текущею во льдистых брегах рекою казался скорее кладбищем, чем живым поселением русичей. Давно, едва ли не со времен Батыевых, не чиненные соборы — София, Михайловский Златоверхий да обрушенная громада Десятинной церкви — стояли одинокими памятниками былой славы Золотой Руси. Треснувшие своды Золотых ворот, валы с сожженными и не восстановленными городнями да мазанки, мазанки, мазанки среди

огородов, оврагов и садов — вот и весь некогда гордый Киев, столица обширной страны Руссии — древней Скифии!

Жидкая толпа встречающих, собранных наспех селян и гражан, да немногочисленный клир иереев и мнихов лавры Печерской тоже не прибавили радости новому митрополиту. Вечером, в плохо истопленных, бедных и низких хоромах, явно приготовленных наспех и зело давно не видавших значительных гостей, укрытый крестьянскою периною, Феогност с горечью почувствовал, что прежние митрополиты, перебравшиеся из Киева во Владимир на Клязьме, были, возможно, не так уж и не правы.

И все же ехать в Москву, согласиться на настойчивые намеки владимирского князя Ивана он не мог. Что-то отвращало его от этого — с тихим голосом и какою-то кошачьей повадкою — русича. Нет, не потому он тогда согласился наложить отлучение на псковичей, что его склонили уговоры (скорее — мольбы!) московского князя, не собирался он мирволить московитам, вовсе нет! Он сделал это ради единства церковного и нужного единоначалия в стране. Веление ордынского кесаря до́лжно было исполнить хотя бы ради спокойствия Константинополя и православной церкви. Как-никак ярлык на охрану церковных имуществ по Руси и свободу чина церковного от податей выдается в Сарае ханами Золотой Орды. Прочее — все эти споры и ссоры тверских князей с московскими, московских с литовскими и смоленскими, Новгорода с владимирскими князьями,— все это его, Феогноста, не должно касаться вовсе. Его задача — дела церкви, церкви и только церкви! Царство божие не от мира сего! Хотя, с горем и печалью, следовало признать, что и власть митрополитов, и само земное бытие церкви ох как зависят от мирских властей и сильных мира! Во всяком случае, ныне в Киеве, без доходов и богатств церковных, похищенных князем Любартом, ему́, Феогносту, приходилось очень нелегко!

За малое число недель пребывания в Киеве Феогносту многое удалось содеять. Нашлись и смысленые мужи среди мнихов лавры Печерской, нашлись и разумные иереи. Он деятельно исправлял чин служебный (дошло до того, что в иных местах крестили обливанием, а не погружением, сокращали литургию, как кто заблагорассудит, и прочая, и прочая), пресекал лживые учения,

проникшие сюда из Болгарии,— богумильскую и павликианскую ереси, приводил к порядку князей и больших бояр. И все же с горем видел, что в Киеве ему не усидеть. Слишком разорен и слишком беззащитен был сей край, коему ныне вновь угрожали война и раззор, понеже Гедимин был зело не мирен с Ордою. Сверх того, потребного всякому государству порядка здесь не было и в помине. Воспитанник строгой греческой иерархии, Феогност не иначе мыслил себе правление, чем в формах сложной, ступенчато восходящей ввысь лестницы званий и чинов. Синклит (на Руси это называется «думные бояре») должен управлять делами гражданскими, стратилатские чины (воеводы) — защищать («боронить», по-ихнему) границы, подчиняясь главе государства, народ должен любить своего государя, для чего потребны строгое соблюдение законов и разумные, отнюдь не чрезмерные налоги. Чин церковный, важнейший прочих, обязан мыслить о Боге и вести весь народ по путям спасения, предначертанным горним учителем, Иисусом Христом, наставляя, егда возникнет нужда, и воевод, и бояр, и даже самого князя. Здесь же царили полный произвол и безначалие. Литовский князь раздавал города и земли как подарки, в полное владение, и каждый получивший удел местный князек мнил себя уже богом земным, самоуправно не токмо взимая подати, но и вмешиваясь почасту в дела святительские. А церковные громы Феогноста мало воздействовали на здешних князей земных, да и кого можно было испугать отлучением от церкви в краю, где всякий, отторгнутый православною властью, тотчас попадал в распростертые объятия латинян!

Из Киева следовало переезжать. И все же не во Владимир Залесский и тем паче не в Москву, не под руку князя Ивана, нелюбовь к коему при слухах о церковном строительстве Калиты на Москве только усилилась в Феогносте. Так жалок и так ясен был сей обман, таким убогим было это возведение явно невзрачных и неискусных построек ради единой, совершенно случайно брошенной им, Феогностом, фразы. Что бы сказал сей московит, побывав даже и в нынешнем, зело оскудевшем после латинского господства Царьграде?! (Так русичи зовут град Константина.) Что бы сказал он, увидав одну лишь Софию, с ее божественно плывущим в аере куполом? И ведь скуп, а тратит серебро на строительство, совсем ему ненужное, надеясь возвы-

сить свой малый град над прочими. Смешно и скорбно сие! Заложить ничтожную церковь в день Константина и Елены и тем сравнить себя с великим основателем второго Рима? Да разве возможен там, среди лесных пустынь и полудикого народа, новый Константинополь, третий Рим, хотя бы и в грядущих веках! Прейдет, подобная вращению колеса, смена лет и правителей, и новый великий князь владимирский отринет или порушит эти убогие храмы, да и сам град московский сотрет с лика земли и утвердит стол где-нибудь во Владимире, Твери, Суздале... до нового поворота колеса, до нового предела этих земель и княжеств, зане́ неспособных создать единую империю, подобную римской и даже греческой, как бы низко ни пала она сейчас, при слабых и неспособных императорах...

Послы великого князя владимирского добрались до Киева уже в канун Крещения. Рождественские морозы укрепили пути, Днепр выше Киева встал, и санный поезд московитов благополучно перебрался на правый берег. За два дня пути к митрополиту был послан скорый гонец.

Феогносту сообщили о московском посольстве ввечеру. Он только что разоблачился, порядком утомленный минувшим днем. Проповедь, литургия, долгий обряд рукоположения новых священников; сверх того, пришлось венчать сына великого киевского боярина, пожелавшего непременно венчаться у самого митрополита русского... Было от чего и устать! Поэтому от известия о послах князя Ивана он почти было отмахнулся. Приедут и приедут! Какая-то новая затея владимирского князя, столь же наивная, видимо, как и его бурное строительство на Москве. Перед сном, однако, обмыслив известие до конца, Феогност задумался сугубо. Князь Иван посылал за благословеньем на свое очередное строительство, обходясь без всякого благословения до сих пор? А Гедимин той порою подводит ратную силу к границам Великого Новгорода и Пскова, явно намереваясь принудить к покорности и подчинить себе эти богатейшие русские грады? С кем же он, русский митрополит Феогност? Да, да! С кем же он?! Хотя так, прямо, его еще не прошали ни литовский, ни московский князья. Но вот уже близит и время вопроса! Рокового вопроса! И решить его надобно теперь, до приезда послов московских!

Феогност поворочался, уминая постель, натянул по-

выше перину. Подумав, приподнялся, сам, не вызывая служки, задул свечу в высоком свечнике у постели. Горница утонула в полумраке. Только жарко, подобно рдеющим угольям догоревшего костра, продолжали сверкать в лампадном огне золото, серебро и драгие каменья походной митрополичьей божницы да чуть видные строгие очи икон греческого письма требовательно и властно глядели на него из тьмы, сейчас, как никогда, напоминая окна, отверстые в тот, иной, потусторонний мир, где несть снисхождения лукавствующим и суд Господень праведен и суров.

Теперь, когда явно приблизился закат Ромейской империи (Феогност никогда, ни с кем не говорил об этом вслух, но про себя знал, что не обманывается и конец близок), латиняне или турки одолеют империю — все равно! И те и другие будут всеми способами уничтожать греческую церковь. Некогда императоры вооруженной рукою усмиряли не в меру дерзких православных соседей: ту же Болгарию, Сербию или Грузию... Теперь должно, наоборот, искать сильного соседа, кто поднял бы затухающую звезду Византии и силою земной власти, вооруженной рукою дружин, утвердил вновь сияние веры православной, пусть и в иных землях, далеких от столицы Ромейской державы!

У Литвы, как бы то ни было, есть силы спорить с Ордою, а у владимирского князя — нет. И ныне, после того как в Орде одолели мусульмане (и те же мусульмане грозно нависли над Константинополем, уже почти отобрав Анатолию!), ныне связать судьбу православной церкви с Залесьем — не значит ли заранее подчинить русскую православную церковь исламу?! Феогност даже приподнялся в постели, впервые столь стройно осознав и сложив эту мысль у себя в голове. Так что же, значит, надо помогать Литве? А католики? Но что лучше: спорить с силою или, явно не споря, подчинять постепенно эту силу духовному обаянию высокой культуры и тем обрести в конце концов новую почву для освященного православия, грозно стесняемого ныне и с Запада, и с Востока?

Он должен остаться здесь! Пусть не в Киеве, но хоть на Волыни! Он должен положить преграду католикам и ежели не самого Гедимина, то детей его обратить в православие! И тогда, быть может, столичный град Литвы-Руси возникнет опять именно здесь, на здешних плодородных землях и удобных путях: на

Волыни ли, в Галичине или даже (он допустил и такое) в этом, неудобном днесь для обитания, Киеве!

Князь Иван мог бы и не присылать своего посольства. Он, митрополит, никогда не поедет на Москву. Феогност откинулся на алые тафтяные подушки, казавшиеся во мраке почти черными. Смежил глаза. Решение его неизменно. Он едет на Волынь и начнет оттоле обращать в православие Литву.

## ГЛАВА 13

А утром явились московские послы. Ржали лошади, гомонили ездовые, краснорожие дюжие молодцы носили кули, бочонки и тюки с разноличною лопотью, скорой и обилием. Проносили устрашающе долгих вяленых осетров, бочки сельдей и нежной лососины, копченые окорока и ушаты с топленым маслом. Долгогривые мохнатые кони — дар великого князя митрополиту — выстроились перед крыльцом, храпели, натягивая узорные, украшенные серебряными прорезными пластинами, повода. Счетом вытаскивали из саней кули с рожью, пшеницей и гречей. Бояре кланялись, подносили грамоты с исчислением добра. Обилие (рожь, ячмень, гречу и пшеницу), оказывается, везли столь долгие версты лишь потому, что это были первые поступления, «осенний корм», с новых митрополичьих волостей, устроенных и переданных московским князем Феогносту. Впредь, поясняли бояре, митрополит волен за обилие получать серебром или как ему любо, поскольку путь зело не близок и везти хлеб оттоле сюда митрополиту станет накладно.

Прибыл киевский князь с боярами, затеивался пир. Феогност чувствовал, что его словно засасывает и уже крутит, как щепку, тем паче что ни явно, ни прикровенно на Москву его никто не звал, а посему некому и не на что было сурово отмолвить, как он собирался о днесь, не на что было возразить, незачем отрекаться от даров: от сукон, паволок, тонкого полотна, связок бобров, соболей и лисиц, серебряного ковша с бирюзою и серебряной же дарохранительницы, отделанной чернью и жемчугом.

От московитов говорил маститый боярин, осанистый, в пол-седой бороде, по имени Михайло Терентьич, и говорил хорошо, себя не роняя, просто и умно. После него говорил молодой боярин, Феофан. Этот рек с укра-

сами, приводя слова от писаний святых отец, и даже щегольнул греческим языком, хоть и с варварским произношением. Почему-то именно это варварское старательное произнесение слов родного ему языка нежданно умилило и растрогало Феогноста.

С архимандритом Иоанном он имел ввечеру, после пиршества, долгую беседу. Архимандрит знал греческий много основательнее боярина (впрочем, в духовном сословии знание греческого было не в редкость на Руси), и с ним Феогност чувствовал себя на равных, порою даже забывая, что перед ним как-никак русич, а не ученый грек.

Затея великого князя касалась архимандрита Иоанна кровно, ибо со строительством церкви Спаса в московский Кремник окончательно переводилась архимандрия из Данилова монастыря. Великий князь полагал, что дóлжно духовной власти быти вкупе с властью княжескою, а в делах духовных даже и надстоять над нею, указуя и самому князю, егда ся уклонит в неправый путь.

Феогност потупил глаза. Очень уж не вязалось сказанное здесь с обликом и повадкою московского властителя, как он его сам увидел и почувствовал. Архимандрит Иоанн, однако, говорил легко и прямо, не смущаясь. Наружно был спокоен и прост. Не зазрил, явно, ни бедности палат Феогностовых, ни скудости дворовой. На иконы митрополичьей божницы глянул опытным глазом ценителя и слово изронил пристойное, обличавшее знатца иконного, чем невольно польстил Феогносту. Иоанн, как оказалось, и сам был из Киева, из лавры Печерской, и мог повестить митрополиту многое, неведомое ему самому, о древней славе места сего. Лицо у Иоанна было простое, доброе, без особых примет: встреться такой в рубище на дороге — не отличишь от любого калики перехожего; глаза, когда вперял их в собеседника, умные и живые не по летам.

По тому, что рассказывал архимандрит, выходило, что в Московском княжестве порядок отменный, грабежа на дорогах нет и в помине, князь к церкви прилежен, нравом строг, богобоязнен и нищелюбив. Что сожаления достойная пря с Тверью, коей свидетелем был сам Феогност, ныне утишилась, да и творилась-то она более по слову хана Узбека, чем по хотению самого Ивана Данилыча. Князь прилежен книгам церковным и отнюдь не мыслит о себе высоко,— тут Иоанн

прямо и зорко взглянул в очи Феогноста,— но такожде, как от малого семени великое древо произрастает, такожде и от малой Москвы возможет проистечь град великий и земля пространная, ежели великое княжение володимерское останет в роду князей московских, ведущих начало от деда нынешнего властителя, святого великого князя Александра Невского, и от прапрадеда, великого князя Всеволода, и от пращура их, Владимира Мономаха, князя киевского!

Сказав это, московский архимандрит приостановился, как бы давая Феогносту время продумать сказанное, и вновь, просто и серьезно поглядев ему в глаза, продолжил:

— Не величаяся, не ровняя себя с Константином и град свой с древним Византием, нынешним Цареградом, заложил Иван Данилыч церковь Иоанна Лествичника в день памяти Константина и Елены, царей греческих, но токмо ревнуя о потомках своих, дабы им, далеким, указать путь и крест, принять который надлежит последующим нашему князю на рамена своя! Жизнь человеческая кратка, и чтобы свершить великое, одной жизни никогда не достанет. Ведомо тебе, яко кесари земли греческой из-за разномыслия почасту губили начатое предшественниками своими! Ведомы и нам таковые нестроенья в наших прежних князьях. Так пусть же и малый сей знак понудит потомков вершить великое, мыслить не о себе токмо, но о земле всей и о долготе жизни народной, проходящей века и века, а не токмо о своей бренной и быстротечной жизни!

Феогност сдержал улыбку. Подумал, покачал головой. Все это мог сказать любой из них и в любом ином граде владимирской земли! Почему же вот здесь, на этих древних киевских землях, уже не мыслят так и о таком? И даже те, кто, как этот вот архимандрит, сами родом отсюда, с Волыни и Киева, уходят туда, во владимирские окраинные палестины? Он вздохнул, улыбаться уже расхотелось. Еще раз обозрел временный свой покой... Зело временный, тем паче что и он, Феогност, не мыслит долее оставаться в Киеве! И с невольным уважением подумал ученый грек, что им там, на Москве, действительно понадобилось благословение от него, русского митрополита, благословение своему малому делу, которое они дерзают почесть великим, простирая мысль и волю свою в грядущие века.

Там, во Владимире-Волынском, куда он все-таки

поедет отселе, надлежит ему, Феогносту, воспитать в людях таковую же веру в грядущую судьбу земли своей и таковую же заботность о сущем, какую видит он в этих вот залесских русичах, не мудрствуя лукаво, проделавших тыщи поприщ пути, дабы пристойно основать монастырь во граде своем!

Русичи уезжали, так и не предложив Феогносту (чего он ждал втайне) перебраться в Москву. Лишь перед самым отъездом Михайло Терентьич с Феофаном и московский архимандрит, все трое, вновь явились к Феогносту — напомнить о землях и селах митрополичьих, заверяя, что села те будут под доглядом самого великого князя, доходы — неукоснительно высылаться ему на Русь, а буде он пожелает посетить град Московский, для него всегда будут приготовлены хоромы прежнего митрополита Петра в Крутицах и такожде пристойная сану хоромина в самом Кремнике, близ княжеских теремов.

Феогност, в долгой, дареной московитами шубе, вышел благословить обоз. Близко стоял старшой обоза, ражий мужик на возрасте, румянолицый и могутный, из тех, видимо, что до поздней седины не чуют ни хвори, ни слабости, ни даже ослабы лет. Детина широко улыбнулся Феогносту, снял шапку, и только он, в простоте сердечной, видимо, один и не выдержал — прямо позвал митрополита на Москву:

— Приезжай к нам, владыко! Князь-батюшко церквей настроил камянных, любота! Красовиты, высоки; кровлю едва мочно с коня достать! И дух у нас легкой на Москве, боры! Не зазришь, не покаешь тово!

Феогност улыбнулся и, подняв руку с крестом, начал благословлять обоз, каждые сани, меж тем как возничие и кмети, ответно кланяясь митрополиту, гуськом выезжали из ворот и там, снаружи, надев шапки и внахлест перекрестив коней, с веселым звоном, вскачь, все убыстряя и убыстряя бег, уносились к долгому береговому спуску, чтобы, в мах вылетев на ровное поле Днепра, крохотною далекою ниточкой исчезнуть в ровном снежном сверкании голубого предвесеннего дня.

## ГЛАВА 14

Князь Александр Михайлыч возвращался во Псков. Многое изменилось за неполных два года его невольного изгнания. В Новгороде сидел новый архиепископ,

Василий Калика, избранный вечем из бельцов, неревлянин, бывший поп Козьмы и Дамиана с Холопьей улицы, и деятельно воздвигал каменные стены Детинца, поскольку Гедимин все решительнее влезал в дела Великого Новгорода, как и в дела Смоленска, и на невыясненной границе великого княжества Литовского с Ордою было зело немирно. Будь на месте Узбека иной хан, давно, быть может, и пря великая разразилась. Во всяком случае, следить, где сидит ныне изгнанный тверской князь, ордынцам стало некогда.

Ехали полем. Крестьяне возили снопы сжатого хлеба. Высокие скирды ржи высились там и сям. Князь вольно сидел в седле, приопустив поводья и улыбаясь, и мужики приветно улыбались ему с возов, а бабы, разогнувшись и сложив руку лопаточкой, долго глядели вслед княжескому поезду. Колеистая и неширокая, прихотливо извивалась меж пригорков дорога в позолоченной солнцем пыли, в ярких пучках осенних сорняков по обочинам. Верхами ехала дружина, скрипели возы. Высокие редкие облака медленно плыли по осеннему, уже холодеющему небу, и редкие птичьи стада уже начинали тянуть на юг.

Немчин Дуск, поступивший на службу к тверскому князю в Литве, ехал обочь, говорил что-то, ломая русскую речь... Не думалось. Александр кивал, не слушая. Во Пскове ждали его жена и маленький сын, ждали псковичи, считавшие его и о сю пору великим князем. Большой, добродушный, подъехал Андрей Кобыла. Чуть покося на немчина, вопросил:

— Ночуем, княже, али успевать до вечера? Тогда и подторопить мочно!

Александр подумал, набрал воздуху в грудь, терпкого осеннего воздуха, с ароматом вянущих трав и сжатого хлеба, с чуть слышным запахом сырости и чего-то еще, возвещающего близкие холода и зимние, обжигающие ветра. Легко вымолвил:

— А, подторопи!

И тут понял вдруг, что счастье — вот оно! Не думая ни о чем и не спеша никуда даже, ехать полем, в родной стороне, следя золотое низящееся солнце, и думать о доме, о семье, о любимой, что ждет впереди... Думать и не спешить, и не медлить, а просто ехать вот так, опустив повода... И еще понял, что не остановить ему ни дороги, ни солнца, ни счастья,— все проходит, и надо все равно торопить вперед!

Он повернул красивую голову, прищурясь, озрел свой вьющийся среди полей обоз, и конную дружину, и бояр, далеко видных по платью среди простых кметей, и повторил, кивая:

— Подторопи! Возы пущай идут ходом, а мы — на рысях!

Псков показался совсем ввечеру, при последних лучах заходящего солнца, косо обрезавшего и облившего прощальным золотом верхи городских башен, главы Троицкого собора и, кое-где, крутые кровли посадских теремов. А затем последний раскаленный краешек дневного светила исчез, и лишь алая тучка на ясном и светлом небе долго-долго горела над медленно погружающимся во тьму городом, словно опрокинутым в воды Великой, где повторялись и прясла стен, и костры, и соборы, и даже алая тучка на светлом окоеме вечерней зари.

Александр шагом спустился с берега меж хором и клетей Завеличья, остановился у перевоза. Оттуда, с той стороны, спешили лодьи. Смолисто вспыхивали факелы, и черные на светлой воде лодки казались движущимися огоньками. Ударил колокол в Кроме, раз, другой, словно еще раздумывая, и тотчас залились веселым перезвоном малые подголоски, а следом отозвались тяжелые била на городской стене. Сквозь прорезные сквозистые верха псковских звонниц было видно отсюда на все еще ясном небе, как колышут взад-вперед, не в лад отстающим ударам, черные тела колоколов.

Подъезжали бояре. Рядом с ним остановились Акинфичи, Иван с Федором и их двоюродник, Александр; подъехал Игнатий Бороздин, сын покойного тверского воеводы, принятые немчины, Дуск с Долом, княжеский дьяк, казначей и прочие. Его уже встречали, уже обступили с поклонами и радостным гомоном, уже спешивались бояре, и черные смоленые лодьи уже подходили к пристани. Оттуда махали руками, подымали факелы. Князя встречали псковский посадник с вятшими, купцы, посадская старшина — все знакомые, все радостные. И — словно не было похода низовских ратей, проклятия, бегства в Литву — «Князь, князь-батюшка!».

И Александр смеялся, отвечал, здоровался со всеми, двух-трех обнял и расцеловал, и уже расступались, и уже стелили алое сукно по берегу до второй лодьи, с

которой — в светлых потемнях не сразу узнанная — соступила на берег жонка, замотанная в широкий убрус, в высоком очелье, и едва не споткнулась, заспешив. Князь узнал, подбежал, поднял на руки. В пляшущем свете факелов бережно понес свою княгиню назад, в лодью. А колокола с той стороны продолжали и продолжали бить радостным красным звоном, и весь берег, уже совсем потемневший, был теперь усеян огоньками факелов столпившихся у причалов и под стенами Крома горожан, что вышли встречать опального тверского, а теперь своего, плесковского, кормленого князя.

## ГЛАВА 15

Сидели в большой палате Довмонтова города, под янтарными, в обхват, балками тесаного потолка, за широким резным столом, покрытым камчатою тканою скатертью, за чашами с медом, квасом и иноземным красным вином. По стенам покоя тянулись опушенные лавки, стояли дубовые лари, ярко расписанные травами и обитые узорным железом, в коих хранились грамоты Пскова: договоры с князьями и гостями иноземными, купчие и дарственные на землю, домы и добро простых и нарочитых плесковичей, противни посланий архиепископских о делах градских и прочая, и прочая. Самые важные из грамот — вечевые решения и митрополичьи послания — находились в ларе собора святой Троицы, в самом Кроме.

Псковские посадники толковали с князем Александром и его боярами. Дело было для Плескова из важных важное: город хотел иметь своего владыку, дабы освободиться совсем от опеки «старшего брата» — Господина Новгорода. Обид накопилось много. Старший брат не урядил с немцы, не помог противу датского короля, не боронит от Литвы; меж тем: «владычное — подай, суд архиепископль — подай! Как што, наших в железа емлют и за приставы в Новгород, тамо сиди, не знай — жив, не знай — нет! И подъездное давай, и кормы, а коли не едет Плескову, все одно кормы давай да бор владычень по волости! Хотим свово владыку! Уж отвечивать перед митрополитом — куды ни шло, а владыку новагороцкова не хотим! Да и то смекнуть: Василий-от Калика не ставлен ищо, рукоположат ево ай нет, поди знай! Самая пора бы, княже! Самая пора свово владыку нам!»

Александр видел требовательно и заботно обращенные к нему взгляды, откачнулся на перекидной скамье, уложил ладони на стол. Следовало помыслить путем! Гаврило Олсуфьев, доныне молчавший, теперь взял слово:

— Уж у нас, княже, и иерей есть, прилепо сану сему, муж благ, сановит и смыслен — игумен Арсений!

Арсения Александр знал и не мог не признать, что выбор плесковичей сделан был основательно.

— Помысли, княже, о сем, посиди с боярами! — заключили посадники, подымаясь, и оба поклонились враз. Так-то, мол: тебе, княже, кланяем, а и ты нас не обессудь, градские заботы наши, ради чего тебя на стол пригласили, исполни!

Александру нравились плесковичи. И честны, и храбры, и осторожны, когда надобно, и добродушны зело, а и себе на уме — простецами не назовешь! Не думал даже, что свои бояре будут противу плесковской затеи, однако на думе княжой возникла пря, и немалая.

— Батюшка твой, княже, им воли не давал! — твердо говорили старики.— Сядешь, Бог даст, снова на стол великий, будет у тебя с ними муки! Как бы сии плесковичи повострее новогородчев не стали! Им только свово пискупа и не хватат! Уж иная власть, почитай, вся в руках ихних! Тебе, княже, татебное да княжую дань дадут, а боле ничего не проси!

Немчин Дуск важно кивал головою:

— Премудрый Аристотелиус тако глаголет: малым государствам, в коих один токмо град, подобно древним Афинам или граду Плесковскому, пристойно есть имати правленье демократикус, сиречь народное, а великим — единодержавие достоит, королевская либо цесарская власть. Ибо малые грады не возмогут землю вкупе устроить, подобно тому как и Новый Город со Плесковом немирны суть. И к сему потребно понуждение свыше, от цесаря, дабы по всей земле — един глава, един закон судный!

— Пристойно то али не пристойно, рассудити нать! — раздумчиво начал Иван Акинфич (он больше всех не любил немчинов — новых возлюбленников князя Александра) — А токмо вот чего прошать хочу: како о сем Гедимин мыслит? Не то мы тута наобещаем, а окажет после... хозяина, вишь, не спросили!

О «хозяине» Иван рек не без умысла и тотчас попал в больное место. Александр нахмурился. Брови сошлись

у переносья, потемнели глаза. Стал чудно хорош княжеский лик (сам знал, что хорошеет в гневе, почему, гневаясь, иногда любовался собой).

— Рано, Иван, меня в литовски холопы записал!

— Не гневай, княже! Молвил непутем, да и безлепицу,— тотчас повинился Иван, низя глаза,— а только митрополит-от ныне в литовских палестинах, сам знашь, княже! Могут и не пропустить!

— С братом моим, Гедимином, у нас ряд! — строго возразил Александр.— А еще и эта вот грамота!

Он выложил на стол развернутый свиток, показал Акинфичам. Оба, Иван с Федором, склонили головы, шевеля губами, стали честь про себя. Иван первый оторвал глаза от грамоты, поднял чело, как-то разом вспотевшее, вынул цветной плат, отер лоб. «Это что ж,— подумал,— эдак-то и с Ордою учнем ратиться?»

Грамота была тайной, далеко не все и ведали о ней. Александр мгновением пожалел даже, что показал ее Акинфичам. Не то что предатися могут, а — возревнуют, что без их ведома заключил тайный ряд с Гедимином. Жалеть, однако, было поздно. Федор Акинфич, в свой черед, дочел грамоту. Пробормотал:

— Это ино дело... Только как бы и нас Гедимин не подвел, яко немцев орденских в свой час!

Он тоже покосился на Дуска с Долом, и хоть сии немчины были не из кесарския земли, а все же и ему, как прочим, казалось, что все единако: что из Помория, что из датской либо саксонской али иной какой стороны — немчин он немчин и есть! Хоть бы и православную веру принял, а все не свой! Вишь, Аристотелевы хитрости вспомнил, а что рек? И так и эдак поворотить мочно! Однако договор с Гедимином — не их ли работа? Пото и приблизил к себе князь! Ох, не подвели бы нас католики, да и сам Гедимин Литовский!

Александр Морхинин, тот так прямо, колюче и брякнул:

— Отколе, княже, начнем мы собирать русскую землю? Отселе — дак мочно и епископа ставити Плескову! Токмо одно спрошу: мы али Гедимин?

Игнатий Бороздин о договоре тайном знал. Но все же и его смущала затея с епископом. Ежели, как молвят плесковичи, сам Гедимин тоже поддерживает Арсения, то не его ли думою все сие створилось? И еще поглядеть, кто стоит за спиною Гедиминовой? Нет ли здесь новых латинских козней?

А князь Александр, скатав и спрятав грамоту, не то чтобы подумал, а представил себе и лица вятшей псковской господы, и давешнюю толпу с факелами на Великой, и радушие, царившее на вчерашнем пиру, данном плесковичами своему князю... Было легко, хорошо было здесь после скитаний по Литве, и хотелось этим людям, что так его любят и так ждут помочи от него, оказать эту помочь широко, по-княжески, не думая о том, что произойдет из того в грядущем. (Когдато так же вот бросил Александр разрешающее слово там, в Твери, где чернь громила Шевкала с дружиною. Бросил, повелел... и вот сидит во Пскове, а Тверь сожжена и в развалинах!) Ах, сладко, все равно сладко подчас и не думать ничего наперед! Вот они сидят, толкуют, решают, опасаются предбудущего лукавства плесковичей. А умри Гедимин, и что грамота сия? Или Узбек? Или Иван Московский? Или татар поразит какая беда: мор, джут, рать неведомая? Сколь много решал батюшка-покойник, а чем кончилось? Оба, и он, и старший брат Дмитрий, в могиле, а ему, Александру, судьба пала бегать из веси в весь! О нынешнем дне помыслите, воеводы! Вот нас встречают, кормят, дали угол и кров над головой, встали за нас едва не против всей земли русской! Хранили нашу казну и семьи наши честно и ныне призвали опять к себе! Что ж мы будем боятися близких своих, заботно гадать о грядущем, коее то ли будет, то ли еще и нет, а упустим нынешнее — светлую радость дня сего на ничто обратим! Не прав ты, Иван, и ты, Захария, и ты, Онтипыч, не прав! Не все свершишь злою думою да насилием! Да и безлепо нам отказать ныне плесковичам — ужель вы, бояре мои, не набегалися по Литве?

Александр расправил брови. Улыбнулся соратникам своим. Поднял десницу, утишая. Рек:

— Ныне, бояре, достоит нам склонити слух к просьбе плесковичей! Церковь русская от того ся не умалит, а в споре с московитами лучше днесь поддержать братью свою! И даже, быть может, князя Гедимина Литовского!

## ГЛАВА 16

Нету в мире более красивой земли. Мягко всхолмленная, вся в светлых реках и цельбоносных источниках, укрытая зеленью густолиственных, золото-багряных по

осени буков, в зарослях орешника, дикой груши, берез и мелких лесных яблонь, а выше, по холмам, в густой щетине хвойных лесов, изобильная зверем, птицею, рыбой, плодородная и хлебородная, вся обжитая и ласковая, с красивым, видным, громкоголосым народом — истинно обетованная земля!

Во Владимире-Волынском Феогност устроился прилепо. Край был богат. Епископы Луцка, Перемышля, Галича, Полоцка на второй год его пребывания в здешнем краю поверили наконец, что новый митрополит уселся у них нешуточно. Горцы в своих черно-белых одеяниях дарили ему меха рысей и лисиц, оленина не сходила со стола слуг митрополичьих, хлеба был избыток, хватало и на узорочье, и на благолепие, пристойное двору митрополита русского. Уже не приходилось неволею радоватися дарам далекого московского князя. Отстраивались новые палаты митрополичьего двора. На выездах Феогноста ждали чудо-кони, запряженные в возок, обитый алой кожею и отделанный серебром. Он справил себе новый саккос из бесценного греческого аксамита, жемчужную митру с большим алмазом в навершии, зимнего ради хлада просторный запашной вотол на куньем меху и шапку из черных соболей, у торгаша-жидовина купил золотой потир древней киевской работы. Из Константинополя везли ему, в обмен на дары здешней земли, вино и елей, иконы и книги, многоценные ткани и узорную серебряную утварь для служб и трапез. Уже и далекая владимирская земля, похоже, склонялась к признанию совершившегося. Во всяком случае, нынешним летом Феогност смог с большою пышностью рукоположить нового епископа в Тверь, Феодора, и затеять пересылки с Новгородом, понеже избранный вечем из белого духовенства новый новгородский архиепископ, Василий Калика, медлил приехать к нему на поставление, ссылаясь на размирье с Литвой. (Хотя, как передавали, уже вселился в палаты владычные и деятельно правил епархиею, строил каменные стены в Детинце, собирал дани церковные и даже, не будучи сам поставлен, рукополагал новых попов.) Феогност сам послал к Гедимину за охранною грамотой, и наконец, уже зимой, митрополичьи слуги, Федорко и Степанко, отправились в Новгород, призывая Василия Калику ехать ставиться на Волынь. И новгородцы известили вскоре, что новый владыка не умедлит, выедет тотчас, как только сойдут снега и обсохнут

пути. Великий князь владимирский Иван вестей не подавал, хотя и дани святительские и поминки шли неукоснительно, да ему, верно, было и не до того. Летом 1330 года на Владимирщине стояла сухмень, хлеб родил плохо, а на другой год, весной, третьего мая, погорел весь Кремник: огорели новые церкви, погибли княжеские хоромы, житничий двор, дворы великих бояр, даже прясла и костры городовой стены обгорели и частью осыпались. Все пришлось рубить и отстраивать наново.

Даже и из Орды доходили до Феогноста приятные вести. Царь Узбек пожаловал сарайского владыку, дав ему охранную грамоту. Зримым образом дела церкви православной устраивались и там.

Феогност управлял, собирал, строил, был деятелен и, казалось бы, успешен в делах своих, но втайне, в душе, все более и более сознавал, что возводит здание на песке. Галичу и Волыни угрожали ляхи. Гедимин был пугающе непонятен. Католики наглели. Православные епископы Галича, Луцка и Перемышля не могли противустати латинянам, как должно. Торговлю захватили иноверцы: ломбардцы, немцы, ляхи, галицкие иудеи... Из Константинополя доходили злые вести: император Андроник Третий нынче терпел поражения в Болгарии, Ромейская держава разваливалась на глазах. Нечто неуправляемое, нечто неподвластное уму было во всем, что окружало митрополита. Даже в смиренной покорности селян на службах в соборе Богородицы было некое пугающее безразличие. Все склоняло к тому, чтобы сидеть и ждать рокового, как виделось уже, исхода. Но ни сидеть, ни ждать он не хотел. Слишком навидался этого безлепого ожидания гибели у себя, в Византии. Не для того он приехал на Русь, чтобы и здесь ведать одно лишь медленное умирание!

Нынче вдруг у Феогноста появилось странное чувство, что владыка новгородский обманет и вовсе не поедет ставиться к нему. Смешное, разумеется, опасение, и все же тревожное. Он посылал узнавать. Ему повестили: едут, выехали из Нова Города на Рождество Предтечево, двадцать четвертого июня. Выехали — и словно пропали. Шел июль, воздух был свеж и зноен, поспевали хлеба. Феогност только что воротился из города, отслужив литургию, в свои загородные хоромы. Разоблачаясь, с удовольствием думал о том, как выйдет в сад, пройдет по усыпанной цветным мелким галечни-

ком дорожке к заведенному им винограднику. Служки бережно помогали митрополиту, и эта бережность, почтение тоже были приятны. Он омыл руки и лицо, надел простой белый полотняный подрясник с широкими рукавами и уже принял из рук служки наперсный крест, когда в горницу поспешно и без соблюдения чина вошел, нет, вбежал дьякон Гервасий с развернутой грамоткою в руках и, смятенно поглядев на переоблачающегося Феогноста, протянул ему берестяной свиток. Почему-то сразу почуяв, не по свитку даже — обиходные послания писали на бересте всюду,— а по лицу, по растерянной поспешности дьякона, что речь идет о новгородском посольстве, Феогност, не отпуская креста, принял одною рукой грамотку с процарапанными по ней крупными и неровными строками послания: «Ко твоему святеишеству... неволею задержаны есьмы, по слову великого князя Гедимина... како попечалуешь по нас в таковыя нашея нужи... Олфоромеи Остафьев, сын тысяцкого, псал...»

Феогност стиснул грамоту так, что хрупкая береста треснула. Мгновением захотелось швырнуть в кого-то крестом, зажатым в руке, что-то бить, ломать и яростно топтать ногами... Да! Церковь не вмешивает себя в дела земные, но почто князь-язычник вступает в дела церкви и позорит его, митрополита, пред всею епархией?! Что он, сей грубый литвин, не возможет понять, яко сам разрывает тело церкви православной и неволею толкает к отделению от митрополии и Новгород Великий, и Русь Владимирскую? Что так править немочно и нельзя! Непристойно! Или понимает? Или и тут латиняне руку приложили? И кто, и что же тогда здесь он, митрополит русский: полновластный глава церкви божией или игралище князя, детский погремок в руце Гедиминовой, а такожде католиков, его окруживших?! Сегодня Гедимин схватил владыку новогородского, едущего на поставление к нему, и требует от задержанных бояр, дабы Новгород принял служилым князем его, Гедиминова, сына Наримонта (об этом было сказано в грамоте), угрожая посадить в железа всех послов с владыкою во главе, а завтра он восхощет удержать любого из залесских епископов и потребовать взамен вокняжения в Суздале или Смоленске?! Язычник всегда останет язычником, пути духовные ему неведомы, и ничто, кроме прямого грубого насилия, не может измыслить таковой в делах земных! Вот на какой основе,

вот на каком «камне», скорее схожем с хлябью морскою, воздвиг, он Феогност, престол русской православной митрополии! Како возможно полагать тут прочным что бы то ни было?! Сегодня Гедимину угодно одно и он, зарясь на Новгород, не придумал ничего более разумного, чем захватить поезд владыки, а завтра ему станет выгодно иное и он примет католическое крещение, дабы завладеть Польшей и землями Ливонского ордена! А послезавтра умрет сам и те же латиняне поворотят все инако, погубив и саму Литву, а не токмо православных христиан в Великом княжестве литовском! (Феогност сам не знал в этот миг, сколь недалек он от истины.) Нет, лучше московский князь со своим смешным храмоздательством — от того, по крайней мере, останет нечто, твердое созижденное, и, по крайней мере, вера православная в его земле нерушима суть!

Он уже овладел собой. Надел крест, разгладил порванную грамотку, отпустил служек, дьякону велел достать писало и вощаницы. Следовало немедля сочинить послание Гедимину и — ободрительное — новогородским послам.

Впрочем, бушевал Феогност, по-видимому, напрасно. Что-то было промеж Нова Города и Литвы, отчего задержанные новогородцы легко согласились на переговоры с Гедимином и, как выяснилось уже много спустя, не нарушили неволею заключенного договора.

Дело в конце концов устроилось. Великий Новгород обещал принять Наримонта на пригороды: Ладогу, Ореховец, Корельский городок и корельскую землю, а также на половину Копорья в отчину и в дедину, ему и детям, боронил бы Новгород от свейской грозы; и затем, уже к середине августа, отпущенное Гедимином посольство прибыло наконец во Владимир.

Другое приходилось решать теперь Феогносту, и решать не отлагая. Из Пскова, отправленный князем Александром Михалычем со плесковичи, а также поддержанный Гедимином и прочими литовскими князьями, ехал ставиться в епископы игумен Арсений. Сим поставлением учреждалась особая псковская епископия, неподвластная новогородской.

На церковное отделение Пскова от Великого Новгорода Феогност сразу по приезде из Константинополя никогда бы не согласился. Позже, замыслив сесть во Владимире, он, возможно, и рукоположил бы нового

епископа для Пскова, по согласию с патриархией, разумеется. Теперь же, начав понимать, что происходит тут, на Волыни, и в самом Литовском княжестве, Феогност задумался сугубо. Было ясно, что новая епископия во Пскове нужна не только плесковичам, коих он не так давно из Нова Города отлучал от церкви, и, конечно, менее всего изгнанному тверскому князю. Сиди Александр Михалыч в Твери, сам бы, пожалуй, тому воспротивился! Надобно сие преже всего Гедимину. И ежели он, Феогност, воспротивится поставлению Арсения — на Волыни ему не усидеть. А ежели не воспротивится?

Вечерело. Окончив дневные труды, свершив трапезу и отпустив служек, Феогност вышел в сад. Пахло свежестью, пахло ночными цветами, пахло чуть влажною землей. Будут добрые яблоки в этом году, быть может, будет и виноград! Уезжать отселе так не хотелось! Но все его труды рухнут и на ничто ся обратят, ежели он склонит слух к земному и отринет должное своему сану! Он много, очень много уже знал о плесковичах. Знал о нестроениях в службе сугубых, как-то крестили они обливанием, а не погружением, не делая разницы между тем и иным видом таинства, не было в Плескове правильного номоканона, ни уставов литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого, ни синодика, ни требника утвержденных. Святых тайн приобщали по окончании обедни, после отпуска. Даже и при освящении церквей допускали неподобное: антиминсы резали начетверо и давали в церковь одну четвертую долю... И все сие проистекало от своеволия прихожан, которые выбирали священнослужителей на вечевых сходбищах своих. Отселе и злоупотребления саном, и в службе упущения, и ереси. Возможет ли свой епископ (опять-таки избранный вечевым сходом!) исправить зло или, напротив, усугубит различия сии и тем приведет церковь псковскую к отпадению от православия и, паче того, к поглощению ее латинами? Почему сам Гедимин не примет православного крещения и не крестит землю свою в греческую веру?!

Феогност уселся на скамью, пригорбился, не замечая легкой прохлады, рассеянно растер пальцами лист смородины и, ощутив терпкий запах листа, уронил зеленый комочек себе под ноги, сцепил пальцы и замер. Нет, веры в Гедимина у него не было! Лукав и зол сый, и не прилепо имати веры ему! А тогда?

Ночь опускалась на землю. Теплая влажная ночь, украшенная россыпями серебряных и золотых звезд. А он все сидел, подрагивая в своем легком облачении, не чуя сырости обильно политого в навечерии сада, безотчетно вдыхая густой аромат зреющих плодов земных, и думал, постепенно с горечью отрешаясь от благоденственного уюта своего, и все же не мог отринуть его да конца, не мог решить, как должен поступить днесь, в таковыя святительския нужи.

## ГЛАВА 17

Назавтра встречали новгородских послов. Феогност слышал в отодвинутые окна конский топ, гомон и ржание, громкие веселые голоса челяди, твердый рассыпчатый говор «новогородчев» и не мог выйти, не мог собратися с духом, дабы встретить гостей, как подобало.

К нему уже заглядывали. Долее тянуть стало немочно. Он встал, перекрестил себя; вдруг и нежданно, глубоко, от души, произнес по-гречески старинные врачующие душу слова: «В руце твои предаю дух свой!» Вышел в приемный покой. Те уже ждали. Осанистый благообразный старец, Кузьма Твердиславль, знакомец еще по Новгороду,— его первого приметил Феогност в толпе гостей и слуг митрополичьих,— и второй, молодой, высокий и статный. Видимо, он и есть Варфоломей Остафьев, сын тысяцкого! — догадался Феогност. Василия Калику он сперва не узрел. Уже когда те двое с поклонами расступились, вышел из-за них третий, невысокий ростом, сухощавый, улыбчивый, с удивительно живыми, какими-то разом и детскими и мудрыми глазами, в легкой бороде и сам весь легкий, подбористый, точно странник, осененный благодатию. Вышел — и незримо отодвинул всех прочих посторонь. И голос был у него такой же, под стать облику, не старый и не юный, а — как вода — веселый голос, и речь стремительная, складно-простая. И что-то сказал: про дорогу, труды, красоту земную, осельную, и стало хорошо, просто стало. И страхи ночные кончились. Не знал еще, что решит, но уже понял: что бы ни решилось теперь, все будет на добро!

Был молебен. Была долгая многолюдная трапеза. И вот настало то, чего Феогност начал уже вновь страшиться,— они наконец остались одни. Он и Васи-

лий Калика. Весь напрягшись, Феогност ожидал, что тот с первых же слов заговорит о Литве и плесковичах. Но Василий мягко и как-то незаметно, не нарочито совсем, стал сказывать о Новом Городе, о волости Новогородской, о землях полуночных, о мореходцах (он произносил по-новогородски: «мореходчи»), о чудесах далеких морей, и говорил так легко и складно, что Феогност невольно заслушался, забыв на малый час все то сложно-грозное и неразрешимое, что вступило в митрополичьи палаты вместе с этим легким ясноглазым пришельцем.

Пока Феогност безотчетно отмечал в речи гостя незнакомые ему или непонятные речения: «шивера», «поветерь», «шуга», «наволоки», «луды», «корги»,— Василий Калика незаметно и легко перешел к тому, иному, чего так боялся Феогност:

— ...Намучатца так-то, наголодают, нахолодают, уж токо тем и живы — паки с прибытком на родиму сторону придтить! Хоша наши неревляна: тута ему свой конеч, улиця, братство, дом родной — таково хорошо! Без дома-родины всяк людин яко лист сухой вихорем гоним по лику земли! Пото и которы и ссоры промеж нас — кажен свое! И у плесковиць и у нас, дак како рещи? Приобижены от суда, от продаж... А все надо и обчу пользу блюсти! Мы вот великого князя московского посадили на стол — тоже и кормы, и дани по обычаю. Нельзя инако: един язык, едина Русь! Како ся согласить? И где пределы, где рубежи, кои прилепо указати власти судной? А мыслю: как Господь уж разделил языци по разрушении столпа Вавилонска, так тому и быть! Цего Господь постановил, не людям пересуживать! Языци-то разны по лику земли! У немець ино, чем у нас, и не можно с има вместях устроить, другие они, по-иному живут! Нашему подай тута работу, а тута пир — широко, а тому — чтобы все до последней векши счесть и во всем свой строй и наряд поставити. Русич от того наряда загинет, захиреет, а и немець — как пойдет с нашима в гульбу, тут ему и конець! Уж и не прочнутьце ему, и то потерят, цто преже нажил. Другояко живут, другояко гуляют — все другояко! И погодье в ихней земли иное, нету мразов таких, зим прежестоких. А фряги там, латины: у их и вовсе солнце, тепло, винограды обительны, яко же и в грецкой земли! Ты вот тута поселилсе, где тепло таково! Несладко тебе показалось в низовской-то сто-

роны? Иная она, другояка! Ну, тебе, отче, надобно все одно выбирать по уму, не по сердцу — один дак! И поставлен главою над народом русским, дак уж как все, так и ты... А что промеж нас и плесковицей, дак тако мыслю: свои дерутця, токо ся тешат! А уж с Литвою нам навряд сговорить! Может, и тако повернет, что примет она веру нашу и на ся поворотит, дак и то сказать: ин язык, ина молвь... Али уж русины тута возобладаюты! Не ведаю того! Не пригляделси ешчо... А и у вам, в грецкой земли, како ся туркам поддати альбо латинам? Сохранит ся черква православная? Како решишь, отче, а, по моему розуменью, не нать нама со плесковици врозь быти! Беда кака от немець накатит, иное цто, да и латинам повада немалая! Цегой-то Гедимин мыслит о себе? Вишь, по миру нас изымал, требоват сына всадить! Дак ладно, согласили. А токо будет ле боронити от немець? Почто согласили? А он, Гедимин, с немци зело немирен, дак нам с того прибыток! Но и то рещи: како повернет? Боюся, да ить мочно принять, мочно и проводить, у нас так! Великой князь-от у нас володимерской, не литовской! Конецьно, свою выгоду блюдем, не без того! И кончи-то в Нове Городи промеж себя не мирны! Ну, а Гедимину веры давать во всем не след. Может, ишчо захоцет и всю русскую землю под латинов склонити! А там и ляхи, и свеи, и ореньски немци... А не можно, не можно нам с има! Ни по цему не можно — ни по душе, ни по жизни, ни по земле своей. Все инако есть и пребудет! Помысли, владыко, о сем да на меня, грешного, не посетуй, не зри. Я ить в простоте рець молвил, ино слово коли и не так, и в обиду пришло, то мимо слуха, мимо сердця пушшай!

Еще не додумав до конца будущего решения своего, Феогност постарался обставить поставленье Калики яко возможно торжественнее. Прибыли пять епископов, пять владык здешней Руси: Григорий Полоцкий, Афанасий Володимерский, Федор Галичский, Марко Перемышлевский, Иоанн Холмский. Феогност уже назначил торжественное рукоположение в городском храме, когда прибыло посольство плесковичей с Арсением, требуя рукоположить последнего особым епископом Плескову.

Феогност все еще колебался, но поставленья Арсения слишком уж добивался Гедимин, а среди бояр Александра Михалыча, прибывших вкупе с плесковича-

ми, оказался немчин, Дуск, тотчас заговоривший о воссоединении церквей, в чем Феогност неволею углядел угрозу латинской ереси. И все приняло вид древлего византийского спора — спора императоров с патриархами, в коем решение дел церковных все же принадлежало патриарху, а не цесарю и не синклитикам.

Он принял бояр Александровых, Игнатия Бороздина с Александром Морхининым, и немчина Дуска, принял плесковичей, долго жаловавшихся на притеснения со стороны новгородского архиепископа. Им отмолвил, что, как бы ни решилось дело о поставлении Арсения, с новым владыкою, Василием, он сведет их в любовь, да отложат они все взаимные нелюбия.

С Дуском Феогност говорил холодно, чувствуя едва ли не кожею правоту слов Василия Калики: все было иное и неслиянное — взгляд, навычай; сам способ мыслить — и тот был чужой, противный греческому уму. Русичи — те изначала казались ему гораздо ближе и понятнее.

С Игнатием Бороздиным и Александром Морхининым Феогност, уже освободясь от Дуска, имел долгую беседу с глазу на глаз, и эти двое чуть было не переубедили митрополита. Во всяком случае, заставили помыслить о поставлении Арсения с иной стороны.

Бояре сидели на лавке за прибором. Митрополит угощал гостей медом и пурпурным греческим вином. В мисах лежали закуски: медовые коржи, вишенье, грецкие и волошские орехи, желтые палочки дорогого сахара, вяленые винные ягоды и сушеный виноград. Игнатий Бороздин почти не притрагивался к закускам. Александр, тот время от времени протягивал руку в палевом шелковом рукаве, схваченном серебряным наручем сканого дела, брал винную ягоду, клал в рот, задумчиво разжевывая, и слушал, уставя взор в столешницу, что и как говорит Игнатий, согласно кивал головой, иногда взглядывал сумрачно на Феогноста, временем добавляя что-нибудь и свое к словам сотоварища.

— Тверские князи по древлему праву русския земли суть великие князи! — строго рек Бороздин.— По лествичному праву и по приговору всей земли Михайло Ярославич, батюшка нашего князя, святой, убиенный в Орде от проклятого Кавгадыя и от Юрия Московского, получил владимирский стол, и паки сын его старейший, Дмитрий, и паки Александр Михалыч, коего согнали со стола силою, но отнюдь не по праву, и не

лишен посему великокняжеского достоинства своего!

— Так, так! — подал голос Александр Морхинин.— Чего хан думает и делает — одно, а по правде ежели, дак Александр Михалыч и о сю пору князь великой!

— Плесковичи нашего князя приняли яко великого, и Тверь ждет,— продолжал Игнатий Бороздин,— како ся повернет ище в Орде? А только и Данилыч может не усидеть на столе владимирском! А тогда Литва да мы в одночасье и татар, бесермен клятых, погоним вон из Руси! Ныне же надобно нам ся утвердить на плесковском рубеже, пото и Арсения привели, отче! Не посетуй, что токмо о делах княжеских глаголю, без их ить и церковь божия не устоит!

«Тверь или Москва? Тверь или Москва? — думал меж тем Феогност. Ежели Тверь вкупе с Литвою... Но ведь Узбек дал-таки охранную грамоту владыке сарайскому! И почто этот немчин Дуск с ними? Прост тверской князь, ох и прост! Но, может, в простоте-то и правда? А латиняне? А Гедимин, не принимающий православия? И что ся створит, ежели католики одолеют на Руси, с церковью православной? Да и на столе володимерском сидит-таки пока князь Иван (или... пока сидит?) Где, на чьей стороне сила, которую надлежит поддержать ему, митрополиту русскому? А он должен поддержать именно сильного. Это Феогност, византийский грек, весь строй мыслей и чувств коего создан был эпохою умирания великой империи, знал слишком хорошо.

Отпустив бояр, Феогност задумался сугубо. Кто из них прав? И что должен содеять он днесь, дабы не возмутить ни тех, ни этих? Мысли его всё шли и шли по кругу: Москва, Тверь, Новгород, Псков, Гедимин и снова Москва... И в последнем, литовском, звене этой цепочки чуял он все более и более тревожно незримую угрозу православию. Ежели бы Гедимин принял святую греческую веру! Сего, однако, не произошло и уже не произойдет. А посему, посему... Разумнее было... да, разумнее было проявить твердость, сослатися на старину, на обычай. (Ведь ежели одолеет Тверь, им же самим не станет люб особый псковский епископ!) А Гедимину... Гедимину повестить, что и ему не стоит выделять плесковичей в особую епархию, дабы не попала она впоследствии под власть орденских немцев. А буде примет Новгород сына Гедиминова на стол, тогда ведь

и Плесков пойдет под руку ему, поелику оба града суть одна архиепископия. И далекий князь Иван будет премного удоволен (дани с московских волостей поступали исправно, здесь же, в Литве, отнюдь не торопились наделять митрополита землями со крестьяны). Нет! Паки и паки рассудив, Арсения рукополагать не след! Не след потакать язычнику Гедимину! И он должен побывать в Орде. Получить новый ярлык и своими глазами узреть всесильного Узбека, повелителя Руси Владимирской и врага Гедиминова...

Еще через день, двадцать пятого августа, облаченный в цареградский саккос, в митре с алмазом в навершии, с синклитом из пяти епископов и с целым хором иереев, дьяконов, иподьяконов и певчих, среди толпы лучших гражан Владимира — бояр, гостей торговых, кметей, княжеских слуг, в присутствии обоих посольств, Господина Нова Города и Плескова, под оглушающий глас хора, в жарком мерцании сотен свечей в паникадилах и хоросах на расстеленном парчовом подножии, возложением рук на главу коленопреклоненного пред ним Василия Калики Феогност возвел того в сан архиепископа Господина Великого Нова Города. И тут же, в соборе, переждав гласы певчих и движение прихожан, торжественно отказал в поставлении Арсению, игумену плесковскому: «Зане не достоит розрушити прежебывшая, но яко от отец и праотец заповедано, такоже пусть и впредь пребудет Плесков в руце архиепископов Господина Великого Новгорода!»

Новгородская летопись сообщала впоследствии, что в тот день, когда Феогност рукополагал Василия Калику, во Владимире-Волынском «явися звезда светла над церковью и стоя весь день, светяся».

## ГЛАВА 18

Из Владимира выехали первого сентября, на память Симеона Столпника. Добираться решили (да и Феогност посоветовал так) кружным путем: сперва на Киев, оттоле к Чернигову и Дебрянску, а уже от Брянска на Лопасню и через Москву, Тверь и Торжок — к Нову Городу. Боялись грозы Гедиминовой. Как оказалось вскоре, боялись недаром. Литовский князь не мог простить неудачи с Арсением.

Ночи полыхали зарницами. Новогородцы с невольною завистью смотрели на плотные золотые ряды бабок сжатого хлеба на полях, на высокие суслоны ржи и пшеницы, приговаривали:

— Богатая земля!

Василий Калика любопытно выглядывал из возка, ясными быстрыми глазами озирал окрестные палестины. Велика Русь! И всего-то в ней хватает! И поля хлебородные, и сады благодатные, и винограды обительны, и овощь многоразличная, и звери, и птицы! Елени по нынешним местам, коих нету в волости Новогородской, зайцы так и скачут из-под ног, есть и волки, и лисы, и рыси, и медведи, и лоси, и дрофы, и гуси, и утицы — всего еси исполнена земля! Теперь, пережив и плен Гедиминов, и торжество поставления, в чаяньи грядущих дел и забот, Василий попросту отдыхал душою, любовался окрест сущею землей, легко заговаривал со встречными селянами. Весело тарахтел возок, весело шли кони, веселы были и слуги и ездовые, чая, что уже ушли от опасной беды.

Ночевали в поле. Василию Калике постелили в открытом возке. Притащили гору снопов необмолоченного хлеба из ближнего суслона, укрыли попонами. Мешаный дух созревших колосьев, конского пота от попон, остывающей пыли, прохлады и вянущих трав обнял, закружил, уводя в сон. Ярко горел костер, с треском выметывая беспокойные языки пламени в черно-голубую тьму. Искры золотою метелью, кружась и затухая, летели ввысь, к мерцающим голубыми огнями звездам, и не могли долететь, сникали, исчезая во тьме.

Василий Калика был ныне без меры счастлив душою. В такие вот миги, когда бесконечно струилась дорога и неведомое, чудесно-далекое манило и ма́рило где-то там, впереди, и возможно становилось отрешитися от суедневных дел и страстей, в такие миги и снисходило к нему счастье, счастье странника на путях Господних. Он и был странником, «каликою», новый владыка новогородский! Его и любили все как прохожего, путника, за незаботную простоту, за любовь к ближнему, не отягощенную никоим своекорыстием, любили как птицу небесную, ю же поставил нам в пример Иисус Христос, сын божий!

А ведь был Калика и быстр, и без тягости мудр, и деловит, и настойчив, и легок, и саном высоким не зря и не впусте облачен! Но ему и при этом ничто не

стоило, взяв посох, пойти по Руси из веси в весь, кормясь подаянием, утешая страждущих духом и радуясь благодати божией, разлитой окрест. Чуден мир! И велик! Коликою благодатью одарил человека Господь!

Ездовые варили остатнее хлебово. В котле булькало, донося сытный дух до возка. Кто-то шел с хворостом, большие тени двигались в трепещущем пламени. Прямо на земле, под возами, завернувшись в попоны, дремали отужинавшие кмети... Где-то есть Индей-земля, и в ней чудеса неведомые, зверь инорог, птица феникс, что живет тыщу лет и воскресает из пламени огня, и нагие мудрецы-рахманы, и храмы чудесные... Как бы сладко было дойти и туда — через горы и царствы, пустыни и реки — и озреть все тамо сущее, и беседовать с теми мудрецами-рахманами, яко же и Александр Македонский! Струи гаснущих искр сливались со звездами; небо плыло, кружась и мерцая. Вот сорвалась и пролетела куда-то спелая звезда,— не подумал, не замыслил ничего, а чего и желать? Скоро воротит домой, учнет вновь строить стены, мирить бояр, уговаривать вятших и меньших, утишать плесковичей и князя великого, а пока, едучи, и отдохнуть мочно, и порадовати всему сущему! Полна благодати земля и жизнь земная!

Он задремывал. Звезды плыли уже не в отверстом окне возка, а где-то над самою головою, ласковые, теплые, и говорили, шептали что-то. А он плыл, задевая за звезды, за их мохнатые, словно приморoженные еловые ветви, лучи, и даже больно ударился раз, другой о звезду... Его уже толкали нешуточно. Василий прочнулся, весь еще в кружении серебряных светил. Над ним склонился Олфоромей и сильно тряс за плечо:

— Вставай, владыко, садись на коня! Беда! Гонют по нас!

Сильно потерев виски и щеки ладонями, чтобы проснуться, Василий Калика выбрался из возка. Гомонили сбившиеся в кучу кмети, в дымном свете догорающего костра маячил взмыленный конь и над ним — горбоносое горячее лицо, разбойные глаза, светлые космы из-под бараньей шапки. Завидя Калику, гонец из-под расстегнутой, шитой узором и отделанной резною кожею свиты достал грамотку, протянул с коня:

— Батько митрополит тебе, владыко, шлет!

Весело крутя головой, он зачастил в толпу:

— А я ить издалека вас узрел! Костер во-она отколе видать! Ну, мыслю, они! Некому боле! Даве-то баяли мне, что вы проходили, так уж по следу скачу! Двух коней запалил! — хвастливо прибавил посланец. Ему, боярскому сыну на службе у митрополита, нынешнее поручение было особенно по сердцу: и скачка, и удаль, и опасность, коею можно станет похвастать после всего.

Василий еще только разворачивал грамотку, когда подошел Кузьма Твердиславль, повторил строго:

— Беда! Гедимин кметей послал на перейми. Женуть по нас! Ратных, литвы, с триста душ, бают!

Феогност в грамотке писал о том же. Великий князь литовский послал за ними погоню, хочет перенять владычный поезд и увести в полон. Василий поднял очи, еще не понимая. Спросил:

— Почто ныне-то?

Олфоромей Остафьев, вступив в круг огня, изъяснил почти грубо:

— Почто? Эх, владыко! С Арсеньем, вишь, не вышло у него, дак теперича засадит тя где ни то в Литве и станет твоим именем Новый Город под себя склонять! А ты и жив будешь, а не возможешь противу, что тогда? При живом-то владыке ить и нового нам не поставят!

— Свое хоцет взеть, не мытьем, дак катаньем! — подхватил кто-то из ездовых.

Василий окончательно проснулся. Озрелся с тревогою. Везде уже шевелились, свертывали стан, снимали шатры, торочили коней.

Горбоносый волынец, испив прямо с коня горячего взвару, покивал, попрощался, рассыпая улыбки и подмигивая, прокричал:

— Не горюй, браты!

Поднял коня на дыбы, поворотил лихо и ударил в ночь, в темень, только сухой топот копыт, замирая, прошумел вдалеке.

Бояре, посовещавши, приступили к Василию. Начал Кузьма:

— Олфоромей вот советует митрополичьи возы, с еговыми ездовыми, послать дорогою, пущай их и ловят! А сами — верхами — уклонити к Цернигову зараз! Выдержишь ле, владыко?

Василий покивал согласно.

— А не то люльку о дву конь сделам? — подхватил Олфоромей Астафьев.

— Не нать, Олфоромеюшко! — возразил Василий и поглядел весело: — Уходить нать, дак и подержусь!

Он взобрался в седло подведенной ему кобылы, поерзал, усаживаясь плотней. Ночь уже засинела, поля приодел туман. Делились, перекладывая что подороже — казну и серебро — в торока поводных коней, прощались.

Ратьслав, митрополичий протодьякон, что провожал новгородский обоз, уже сидел на коне. Ему Феогност отписал особо, и протодьякон с двумя слугами готовился ныне довести новгородского владыку укромным путем до Чернигова.

Кмети опружили котел воды в костер, с шипением взмыло облако серого пара, остро пахнуло сырым горячим угольем, словно на пожаре, и тотчас холодная передрассветная тьма обняла, охватила все: и возы, и коней, и всадников. В темноте кто-то принял повод Васильева коня, кто-то окликал, пересчитывая, людей; уже заскрипели оси возов, а верховые, один по одному, потянулись в сторону по темному полю, мимо темных суслонов хлеба, темными острыми очерками промаячив на синеющем небосклоне, уже порозовевшем с краю и отступающем от земли. Спустились в лог, в струю холодного тумана и теплого понизу, нагретого за день воздуха из-под кустов, один за другим пропадая в плотно сгустившейся белой и уже начинающей незримо клубиться мгле.

Ехали до рассвета, петляя по кустам. Солнце уже встало светлым столбом и вот показалось, брызнуло, разогнав туман, зажегши алмазами росу, осветив и согрев всадников, выезжавших вереницею на угор. Здесь, остоявши, посовещались и вновь уклонили, теперь к пойме небольшой речушки. Поймою, хоронясь по-за берегами, ехали, не останавливая, до полудни. Тут только остановили передохнуть и покормить коней. Кмети жевали хлеб. Оседланные кони, мотая головами, засовывали морды по уши в торбы с овсом, хрупали, переминаясь, позвякивая опущенными удилами. Василий с облегчением — не навык ездить верхом, так и размяло всего! — уселся в приготовленное ему из войлочной толстины место, выпил квасу, от хлеба отказался — есть не хотелось совсем. С удовольствием чуял, как издрогнувшее за ночь, а потом взопревшее на жаре

тело ласково сушит теплый ветерок. В изножии пологого холма стояли юные березки, листву коих кое-где уже ярко окропила близкая осень. Божий мир был чуден по-прежнему!

Задержались они только у Днепра. Не было перевозу; пока искали лодьи, пока плавились — упустили время и, верно, дали знатьё о себе. Уже в виду Чернигова их нагнал киевский князек Федор, Гедиминов подручник, с баскаком и пятьюдесятью человек дружины из татар.

К владычному поезду за Днепром пристали купцы-новгородцы, стан был многолюден, и Кузьма с Олфоромеем порешили не даватися татарам. Стали в западинке на холме. Нашлись лопаты, кто и саблей, кто и ножом — обрыли стан, загородились кольями, дерном. Князек, возможно, и от себя деял разбой, литвы не было с ним. Татары подъезжали с ругательствами, коверкая русскую речь, требовали датися в полон. Олфоромей в кольчатой рубахе и шишаке подымал лук, грозил, сам загораживаясь щитом от стрел татарских. Купцы перепали; слуги, у кого не было оружия, лежали ничью, укрыв головы толстинами. Двух-трех ранило. Василий Калика сидел, сцепив пальцы рук, и молча молил Господа. За себя он не боялся. Худо будет не ему — Нову Городу. За Новый Город и молил он всевышнего, молча шевеля губами.

Сидели так, орали, грозились с той и другой стороны до вечера. Новгородские кмети кричали неподобное. Татары и сам князь не оставались в долгу. Будь поболе оружия да народ побойчее, Олфоромей с Кузьмою, может, и ударили на татар, но с купцами, что лежали за товарами, уложив на землю лошадей, да с челядью владычною много не навоюешь! Из утра к Федору подошла помочь. Дело принимало дурной оборот. За ночь новогородцы углубили ров, попрятали погоднее людей, да что толку! Тута не перезимуешь! Да и пожди тово боле — литва подойдет! Ратьслав взялся вести переговоры. Вышел, высоко подняв крест. Две-три стрелы пропели у него над головою. Воротился протодьякон через час, довольный. Князь Федор за окуп обещал отпустить поезд владыки домовь. Подумавши,— было боязно: а ну как и серебро возьмет, и не выпустит! — все же, кряхтя, собрали кошель гривен-новогородок. Татары, покричав, отошли. Ратьслав с Олфоромеем и двумя кметями понесли серебро.

Киевский князек встретил их сидя на раскладном стольце, уставя руки в боки. Долго сверлил глазами того и другого, долго толковал, ломаясь и величаяся перед ними. Баскак глядел остро и тоже словно их обоих на рынке куплял. Когда Федор, нагло глядючи в глаза Олфоромею, сказал, что заберет того и другого с собой, татарин покрутил башкою:

— Не надо! Серебро бери! Их выпускай! Пайцза у них!

Федор зачванился, еще поспорив с баскаком. Олфоромея отпустил, Ратьслава же оставил у себя пленником. Ратьслав тихо шепнул вздумавшему было возмутиться Олфоромею:

— Оставь! Себе на беду деет!

Возвращаясь, Олфоромей все ждал в спину татарской стрелы... Обошлось, слава Богу! Уже был готов и сам лечь, и в полон датися, лишь бы доправить в Новый Город владыку живого и невереженого!

После встречи с князем Федором шли, наверстывая упущенное, день и ночь. Кони шатались, люди спали с лица. Начинались дожди, размякали дороги; все были в грязи, в сыром платье. Почасту не разжигали и огня.

Василий Калика терпел, читал молитвы, стараясь отрешатися от бренной и слабой плоти, хотя порою уставал до бесчувствия, и на привалах его одеревенелое тело бояре бережно снимали с седла. Василий улыбался, заставляя себя вставать, ходить, сам успокаивал и утешал слабых.

Начались наконец дебрянские леса, в коих могла и рать целая исчезнуть невестимо для литовской погони, и поезд архиепископа новогородского словно пропал, растаял, растворился в шорохе листьев, в рябом осеннем лесу, в обложном упорном дожде, лучше всяких засек перекрывшем пути и дороги.

## ГЛАВА 19

Феогност узнал о разбойном нападении киевского князя на владыку Василия вскоре. Князю Федору не повезло на обратном пути. У него стали подыхать кони, что молва приписала святотатству князька. Пеши и измучены, незадачливые грабители едва добрались до домов. Ни поведать путем о деле, ни повестить Гедимину князь Федор не мог. Великий князь литовский

тотчас спросил бы, почто были отпущены пленники, и еще того пуще — заставил бы отдать новгородское серебро в великокняжескую казну! А потому и с протодьяконом Ратьславом Федор не знал, что делать теперь. Потребовать выкупа? С кого, с митрополита? Федор чесал в затылке, уже крепко досадуя на себя, а тем часом о плене Ратьслава донесли Феогносту, и митрополит вскипел. Обещал отлучить князя Федора от церкви, наложить проклятие на весь Киев (он мог бушевать, понеже Федор действовал яко тать и не исполнил Гедиминовой воли). Пришлось Федору срочно отсылать Ратьслава во Владимир без всякого выкупа да еще виниться перед Феогностом, выслушивать от того укоризны и хулы: «Срам еси князю неправду чинити, и обидети, и насильствовати, и разбивати». Так, зело смягчая и изрядко сократив гневные поношения Феогностовы, передавал впоследствии летописец отповедь, полученную незадачливым князьком от митрополита русского.

Однако, выручив своего протодьякона и сорвав гнев на князе Федоре, Феогност всерьез задумался о дальнейшем. Подходила зима. В порубежье меж Литвой и Ордою начинались сшибки уже нешуточные. Осенью Гедимин послал сына Наримонта на татар, но тот был захвачен в полон в неудачливом сражении с ордынцами. Ежели возникнет большая война, по всей здешней украйне пройдет, обращая города в руины, а села в пепелища, татарская конница. И что тогда? Уезжать в Вильну, под руку Гедиминову, с коим отношения были испорчены после отказа Арсению всеконечно?

Сам не признаваясь себе в том, Феогност чуял, что глупый разбой киевского князя (у коего он недавно гостил во граде!) его доконал. Ежели и такие вот, вроде бы близкие, игемоны, крещенные в православную веру, не гребуют грабежом митрополичьих людей и имущества в здешней земле, то что говорить о прочих? О язычниках или католиках? Нет, холодно стало на Волыни и неуютно весьма!

В нем закипало раздражение противу палатина и синклита; противу неудачника-императора, который терпит на войне одни поражения и, в призрачной надежде спастись, хочет отдать греческую церковь под начало римскому папе; даже на патриарха с его причтом: не ведают, что содеялось тут! «Скифия»! Тот-то, Федор Киевский — прямой скиф! «Царский скиф!» —

исходил желчью Феогност, меряя шагами моленный покой. И сиди на митрополии в Киеве! У такого-то! Высидишь! А сами-то хороши! «Не мирволить владимирскому князю»! Тогда — кому мирволить? Язычникам? Католикам? Может, Ордену? Этим «божьим дворянам», как их зовут в Новгороде, убийцам и разбойникам! Что они все думают там, в Константинополе? Что он волен изменить течение времен? Подъять из могилы Ярослава Мудрого? Или, может, крестить Гедимина? Самому любо! Да токмо — крести его, попробуй! Это Пселлу вольно было учить императоров риторике да услаждать их слух красноречием, а здесь — кому оно надобно? Скажут — как отрубят! А надо — и сами красно баять горазды. Ничем тут никого не прельстишь. Писать патриарху? Без толку. Ничего не изъяснишь издалека, ничего и не поймут! Надо ехать самому. Отселе в Царьград. Он впервые назвал родной город славянским именем. Оттоле в Орду, к Узбеку, с коим надлежит поладить. А из Орды... Из Орды во Владимир Залесский, иного пути нет! К Ивану Данилычу. В конце концов, не так уж он и плох, по крайней мере, прямых разбоев над церковью не творит!

## ГЛАВА 20

Добравшись до Брянска (или Дебрянска, так чаще называли град в старину), отдыхали, приводили в порядок себя и коней. Брянский князь, недавно выдавший дочь за юного Василия Кашинского (последнего из сыновей убиенного в Орде Михайлы Тверского), радушно встречал и чествовал новопоставленного новгородского владыку. Остановили в Свенском монастыре, на горе. Вокруг церквей и келий широко раскинулись вишневые, грушевые и яблоневые сады, а с холма, со стрельниц, далеко и широко виделись леса, цветные по осени, и светлая излука Десны внизу под горою синела или серебрилась от набегавших влажных туч. В пределах брянских Василию уже не пришлось трястись в седле. Его везли в лодье, бечевою. Кони шли по берегу. Поворачивала река, быстрая от осенних дождей, проходили берега, на них — слободы, городки, погосты, подчас свежесрубленные. Здешняя лесная сторона полнилась народом, уходившим от обезлюженного Чернигова, от постоянной угрозы ратной. Покинув Десну, вновь

ехали переволоками и опять плыли, уже Окою. От Коломны вновь тянули лодьи бечевой. В конце октября достигли наконец Москвы и, не задерживаясь (князя не было в городе), пересев на коней — Калике опять достали дорожный возок,— устремились дальше.

Дожди прошли, близилась зима. Уже летела первая снежная крупа на подмерзающую землю, на жухлый лист, на сизые, потерявшие цвет, седые, с последними клоками яркой осенней украсы леса, на темные — в чаянии близкой зимы — пустые и гулкие боры, на сжатые нивы и потемневшие от влаги стога. И воздух был пронзительно горек и свеж, радостный осенний воздух близкой родины!

Прошли Тверь. Через Волгу, хмурую, тяжко-стремительную, возились ночью. И вот уже побежала с холма на холм знакомая волнистая дорога. Кмети тянули шеи, привставали в стременах: скоро ли? Сами кони и те чуяли, ржали, переходили на рысь. В Твери путники узнали, что в Новом Городе, не имея ни вести, ни навести, их уже оплакали, тем паче кто-то принес злую молвь, якобы литва яла владыку, «а детей его избиша»,— так что и Кузьма Твердиславль, и Олфоромей ворочались словно с того света.

В Торжок прибыли третьего ноября. Еще подъезжая к городу, завидели оживление и толкотню, а ближе узнали от встречных, что в Торжке великий князь Иван Данилыч с дружиною. Их уже у городских ворот окружила радостная толпа: хватали, гладили, не веря тому, что живые, крестясь, теснились к возку архиепископа. Василий, высовываясь, благословлял направо и налево, его ловили за руку — поцеловать, притронуться, у иных жонок слезы стояли на глазах:

— Приеходчи, осподи! Васильюшко ты наш! Заждались! Уж и не чаяли живых-то узрети! А истощали вси! Да как отерхалисе, обносилисе! Андели!

Бабы уже и калачи совали комонным. В воротах, где поезд, стеснясь, не мог пробраться сквозь толпу, какая-то жонка с мокрыми от радостных слез глазами поила ездовых молоком из деревянного ведерка. Черпала глиняной плошкой и подносила каждому, и мужики серьезно принимали и испивали, утираясь, и сами крестились радостно. Не близок еще Новый Город, а уже, почитай, и дома, уже родная, новогорочкая земля!

Ударили в било на воротах. Отозвались колокола в Детинце. И пошло радостным звоном по всему городу.

Московские ратные любопытно оглядывали новгородский обоз. Подъезжали какие-то бояра, прошали, кто и откуда. Уже поскакали повестить великому князю о приезде владычного поезда.

Василий Калика, мало передохнув, сам отправился к московскому повелителю на поклон. Иван Данилыч принял владыку учтиво, подошел под благословение, сам усадил за стол. Трапезовали с немногими боярами, слуги носили блюда. Василий, мало вкушая, приглядывался к великому князю. Иван постарел и, виделось, был скорбен, хоть и не являл того на люди. Порою, внимая рассказу Василия, взглядывал сумрачно и вновь опускал глаза. В густых волосах московского князя коегде проблескивала седина, которой раньше не замечалось.

«Годы под уклон пошли! — думал Василий.— А еще крепок! Не было бы худа от него Нову Городу!»

О том, что Гедимин потребовал всадить сына своего Наримонта на новгородские пригороды, Иван уже знал. Дошла весть из Литвы. Наружно, однако, не оскорбился ничем, не зазрил, не нахмурил даже, выслушав о том еще раз от Василия. Видно, решил что-то про себя заранее. Говоря про Гедимина, раз или два назвал его «братом». Узнав о нападении на владычный обоз Федора Киевского, глянул прозрачно и строго. Вымолвил:

— Надеюсь, брат мой Гедимин накажет примерно разбоев сих!

И только в конце беседы уже вновь вопросил Калику о Наримонте; правда ли, что захвачен Ордою на бою? Покивал. Подумал. Подымаясь из-за стола, вновь подошел под благословение.

Мрачен был Иван недаром. Весной, после того как в мае погорел весь Кремник, сильно занедужил и к исходу осени умер великий московский боярин Федор Бяконт, правая рука князя во всех делах посольских и господарских. Иван сам сидел у постели больного, сам закрыл глаза усопшему, сам стоял у гроба на похоронах. И теперь, направляясь из Новгорода Великого в Орду, к хану Узбеку, Иван с особою болью вспоминал Бяконта: как не хватало сейчас его совета, его мудрости, даже его старческого, с придыхом, тяжкого сопенья. Задумавшись, Иван иногда ловил себя на том, что словно бы опять и вновь слышит старика. Из бояр отцовых, ближних, оставался, почитай, один Протасий, седой, костистый, воистину бессмертный старец. Но и

он нынче больше мыслил о Господе, чем о делах, почти передав тысяцкое сыну Василию.

Приходит час, когда, оглянувши кругом, видишь, что те, к кому, как и в юные годы, прибегал за советом, уже ушли, отойдя мира сего, и некого вопросить по нужде, и не к кому прибегнуть, един Господь прибежище, и един он утешитель в скорби! А тех уже нет,— и хочешь того иль не хочешь, готов или нет к тому,— а уже сам-один прибежище и утешитель молодших себя, сам ты тот старец, к коему идут за советом юные. Возможешь ли ты не угасить света отчего? Возможешь ли сохранить и передать другим переданное тебе пращурами твоими? Возможешь — будет жив род твой и племя твое, и свеча твоей памяти не угаснет!

## ГЛАВА 21

Восьмого декабря, на память святого Потапия, в день недельный, Новгород праздничным звоном и толпами гражан, вышедших далеко за ворота, встречал своего архиепископа. Старый неревский боярин Варфоломей Юрьевич расплакался, увидав наконец Василия Калику, «своего» попа, коего сам снаряжал весною в далекий поход. И владыка, обняв боярина, долго утешал, теперь уже на правах старейшего властью и званием, старопрежнего друга своего.

А пока в Новгороде служили молебствия, творились встречи и пиры, великий князь Иван отправлялся в Орду.

Собственно, он выехал из Москвы даже раньше, чем Василий Калика достиг Новгорода. Медлить было и некогда. Узбек звал к себе. Хану опять требовалось русское серебро.

Не без злорадства Калита подумывал о том, сколь бездарно расходует Узбек доходы со своего русского улуса. Все уходило в жадные руки невероятно разросшейся и громоздкой иерархии разных чинов и начальников, крупных и мелких, заполонивших Сарай и прочие ордынские грады. Потому и в войнах неуспешен, потому и с Кавказа ушел и от Литвы терпит уроны! Гедимин, однако, становится все опасней. Пора хану вмешаться, не то заберет под себя и Смоленск и Подолию! И об этом следовало поговорить с Узбеком. Токмо осторожно. Намеками. И о Твери. Пущай утвердит

Костянтина на тверском столе! Александр, воротившийся во Плесков, висит над ним постоянной угрозою. А все великая княгиня Анна! Матери боится Костянтин, и жена не возможет противу нее! (На племянницу, Юрьеву дочь, супругу Константина Михалыча Тверского, Калита возлагал надежды немалые.) Нынче князя Костянтина он повезет в Орду вместе с собою. Авось и склонит хана к чему путному...

А главное, почему приходило ехать к хану не стряпая,— это была судьба града Владимира. Суздальский князь Александр Васильевич умер на днях. Сейчас поспешить — и все великое княжение будет в его руках!

Больная Елена просила:

— Не езди! Погоди, скоро уже... Чует сердце: не дожить мне!

Сын Симеон, заботно заглядывая в очи, предлагал послать его наперед к хану. Иван, молча отрицая, потряс головой. Ехать должен был он сам, только сам. Везти серебро, жестоко добытое им грабежом Ростова. (Еще в конце марта умер Федор Васильич Ростовский, и Иван тотчас наложил руку на Сретенскую половину города, принадлежавшую покойному. Молодой зять Ивана не смел возразить всесильному тестю.) Кочева с Миною потрудились немало. Передавали позорища самые безобразные. Градского епарха, Аверкия, москвичи, выколачивая дани, повесили за ноги, отпустили едва живого. Город роптал и разбегался... Но серебро — вот оно! Станет чем задобрить хана, чем заплатить за великий стол, за власть, столь необходимую для его замыслов, дел и свершений.

Последнюю ночь он сидел у постели больной жены. Сидел, с ужасом думая, что и она вскоре уйдет следом за Бяконтом. И что останет ему? С кем останется он?

Елена лежала тихая, изможденная. Рука была у нее влажная и дряблая, совсем неживая, все косточки прощупывались насквозь под желтою кожей. Иван, приняв ее ладонь в свою, едва сдержал подступивший к горлу жгучий комок. Она долго глядела на него, вымолвила тихо:

— А ты остарел... тоже...— Подумала, отведя глаза, спросила: — Кого губить нынче замыслил? На Ярославль, поди, кинешься? Ростов-то излиха пограбил? Не жаль тебе дочерь свою!

— Ограбил, Олена! Ограбил я Ростов! — с жестокою

горечью отозвался Иван.— Теперь везу серебро хану! Пойми и ты меня!

— Не понимала б, не жила с тобою... в монастырь ушла...— тихо отозвалась жена.— Дак не пождешь? Поедешь?

— Поеду. Ждать недосуг. Прости, коли мочно, Оленушка! Да и, даст Бог, увидимся ищо. Ворочусь вборзе!

Елена подумала, покачала головой:

— Деток не обидь, молодших... Всего Семену не давай!

Иван пал лицом на подушки, прижался, глотая слезы, к потному виску, к дряблой щеке Олениной. Она тихо гладила его по затылку, вспоминая, как ласкала когда-то. Теперь казалось, уже и очень давно, чуть ли не многие годы назад! Не хотелось отпускать. Чуяло сердце, что более не увидит. Пересилила себя, сказала:

— Поди, повались на мал час! День-от трудный грядет у тебя.

Утром Иван вызвал Протасия и, стараясь не глядеть в глаза старому тысяцкому, попросил об услуге:

— Из Ростова бегут. Бают, сирые там, разоренные, всяки... Дак ты поезжай, повидь тово! Может, и к нам привести, под Радонеж. Я те места по духовной младшему своему, Андрею, оставляю. Дак и населить мочно!

Старый тысяцкий не выказал ни удивленья, ни радости. Отмолвил:

— Погляжу, князь-батюшка! Сам поеду. Людей отберу добрых. Хлеба, снедного припасу надоть попервости.

— Леготу им устрой, я грамоту дам!

— Само собой, батюшка-князь! Народ истомленный, да и так — новы земли, поди распаши их да устрой домы, и хлевы, и все прочее.— Подумал, пожевал губами, поглядел прямо в глаза князю. Прибавил: — Да и для души легше! Сирого приветить — иной грех господь в доброту зачтет!

Не одобрял даже и Протасий грабительства ростовского.

Утром из Москвы на Коломну потянулись возы и возки, верхоконные кмети и снова возы и сани с разноличным добром. Двигались, уходили, покидали город,

на ходу прощаясь с оступившими дорогу посадскими жонками. Иван верхом, в бобровой круглой шапке, выставив бороду неощутимо отцовым движением, Даниловым, озирал спускающийся с горы бесконечный обоз. Князь Константин осаживал нетерпеливо рвущегося скакуна, готового ринуть вскок вослед проходящей коннице.

— С богом! — последний раз перекрестясь, произнес Иван, махнул рукавицей провожавшему его сыну и, под колокольный звон новостроенных церквей московских тронул коня.

## ГЛАВА 22

После московского разоренья жить стало невозможно совсем. В порушенном дому ростовского боярина Кирилла только и речей ныне: куда подаваться? В Белозерско — дак и дотоле уже досягнули долгие руки московита... На Шексну али Сухону? Страшно, не своя сторона! Посылывали слухачей и в Устюг, и в Тотьму, судили и рядили так и эдак, съезжались родней, с Тормосовыми, и вновь судили-пересуживали, и все об одном: куда бежать? Где найти укрытый угол, землю незнаему, за какими горами, морями ли, за какими лесами синими затаить, сокрыти себя от злобы людской, от власти ненасытной и предерзостной, не ведающей святынь отних, ни добрых навычаев старины? Куда спастись от московской грозы?

Ныне вновь ожила давняя легенда о Китеж-граде, и уже не татары Батыевы разумелись в предании том, не от них — от московского деспота уходил в глуби озерные зачарованный город.

Да ведь и велика же Русь! Протянулась непроходными дебрями семо и овамо, где высь, чудь, самоядь, дикая лопь и иные языки незнаемые! Можно и не на серебре, можно и без сорочинского пшена да ягод винных. Можно и в лаптях, и в посконине порою... Лишь бы свое, человеческое оберечь от гнуса и смрада, от унижения всеконечного, когда в лицо тебе наглый победный смех, и речи поносные, и заушение, а ты только низишь глаза или уж — коли душно станет и сердце сожмет во грудях — закричишь слезно и жалко, не ведая, камо рещи... Чем и как помочь себе в сраме и скверне, как спасти нажитое годами и трудами тут враз потерянное прежнее достоинство свое?!

...Единая свеча, оплывая, разгоняет сумерки в высокой боярской горнице. Две, чудом спасенные, погнутые и невзрачные видом серебряные чарки стоят на столе среди глиняных и деревянных кувшинов, мис и тарелей. Боярин Кирилл с Тормосовым сидят, горюнясь над недопитыми чарами кислого меду. Мария штопает старые дитячьи порты, благо уже ночь и не перед кем чиниться сейчас. Сторонний человек не зайдет, не осудит. Прохожая старица, давняя знакомая Марии, сказывает неспешно и устало, и голос ее звучит из темноты, словно доносясь откуда из дали дальней:

— В Заволжье было то, в лесах непроходных. Ноне и зраку нету, ни пашен, ни полей, все бором дремучим заросло. Озеро одно, ясное-ясное, и звоны, верным людям одним только и слышимые... Татары, вишь, искали полонить, ан Китеж туманом одело, и неслышимо так, незримо, тихо таково! Татарчонок один подбежал к воде, а тамо и зрит: град под водою, и домы, и костры, и церкви божьи, и звоны колокольные — все по-старопрежному, вишь, как при дедах-прадедах было, и не порушено, и не разорено, а и недостижимо уже содеялось ни для каких находников, ни для татаринов тех...

— Ни для московитов! — глухо подсказывает Тормосов.

Оба согласно кивают головами. Драться, отстаивать святыни ныне нельзя. Остается одно — бежать, сокрыти себя, яко Китеж-град, в лесах потаенных, в зачарованной глуби вод... И тяжко клонит боярин обнесенную сединою голову, ибо и бежать ныне, кажет ему, стало уже некуда.

Кирилл с горем чуял и видел, как доконал его московский раззор. Слуги стали совсем поперечны и грубы, чего накажешь — не содеют вовек. Оnомнясь сам взялся за секиру: взамен ленивого раба начал рубить дровы на заднем дворе. Начал сильно, да, задышавши, взопрев, скоро и бросил. Прошло, прокатило! Куда исчезли силы и на что истратились годы невозвратные? Бывало, тою же секирой играючи валил дерева; бывало, одною рукой, взявши под уздцы, останавливал он шалого коня! Не в той ли ордынской пыли, в долгих и пустых посольствах княжеских, не в той ли думе ростовской, где всё только и решали, как бы и за чьею спиной удобней прожить, исшаяли силы богатырские? И на что ушла вся жизнь, и было ли что ис-

тинно великое в ней, в жизни великого боярина ростовского, или так, даром, впусте и попусту... Вот мочи уж нет, и как наново зачинать жизнь? Не сыны бы, не отроки — впору и в монастырь подаваться!

Дети ходили смурые. Старший, Стефан, надежда отцова, тот уж и из себя выходил, почернел, почти забросил ученье (а был, как баяли, ума высокого и науку постигал легко). Так-то, промолвить, отроки из боярской семьи долго могут не замечать надвигающейся гибели дома! Ну каша взамен белой, сорочинского пшена, является пшенная на столе, ну коней поменело на дворе, ну шелковые порты стали надевать по одним лишь праздникам... Для второго сына, Олфоромея, что наповадился отдавать рубахи прохожим беднякам и потому, ради береженья, вечно ходил в посконине, то было и незаметно совсем. Да и не тем была занята голова юного отрока, что сызмлада, упрямо, не слушая увещаний матери, соблюдал все посты и часами выстаивал на молитвах...

Но все то было допрежь, до часу, теперь же не токмо Стефану, но и Варфоломею, почти младенно сущу, приходилось задумывать о грядущей их невеселой судьбе. Он с надеждою взирал на обожаемого старшего брата: быть может, Стефан придумает что-нибудь, что разом спасет и отца в его унизительной бедности, и мать в ее бессонных заботах, и весь их ветшающий дом? Но ничего не мог надумать Стефан, лишь мрачно сжимавший кулаки и мерявший горничный покой большими шагами. Рушилось. Военные послужильцы один по одному разбредались кто куда. На семью великого боярина Кирилла зримо и страшно опускался мрак всеконечного оскудения.

Тут и спас их стрый отцов, Онисим, как-то о Пасхе ворвавшийся в дом радостный, громогласный, с диковинною вестью в устах. По его сбивчивому рассказу выходило, что сам маститый тысяцкий Москвы, Протасий, созывает убеглых и оскудевших ростовчан переселяться на земли Москвы. Дают леготу на пять лет и справу на первое обзаведение.

К Ивану Данилычу? Ко вчерашнему лютому ворогу своему?! К тому ж, век проведя в думе княжой, так привык Кирилл держаться Твери и тверского княжеского дома, что сказанное стрыем в голове не умещалось никак. Кричали, даже поругались, едва не впервой. Криком выходила обида, погубленная жизнь, бессилие

перед днешней бедой. Но, поспорив досыти с Онисимом, погадав, помыслив, потолковав ночью с Марией, вдруг как-то, сам для себя, начал Кирилл понимать и принимать неподобную попервости весть. И место было названо — Радонеж, в полутораста поприщах от Ростова всего, не надо забиваться в дальние дали, где ай проживешь, ай погинешь с семьей непутем... И уже стало ясно, что ехать надо. Не минуешь, не усидишь за князем своим, что и сам целиком повязан Москвой. Начались хлопотливые сборы.

Стефан бегал горячий, пламенный. Варфоломею походя бросил как о решенном:

— Едем в Москву!

— В Радонеж! — поправил брата Варфоломей, которому по нраву пришло незнакомое красивое имя. Стефан подумал, кивнул как-то лихорадочно-сумрачно, повторил нетерпеливо: «На Москву!» Умчался, как убегал всегда, отмахиваясь от маленького Олфоромейки. Кая труднота ожидает их — неважно. Но в судьбе, в коей поднесь все только исшаивало и рушило, явились смысл и цель, словно слепительный просвет в тяжких тучах, словно предвестие ясных весенних дней — на Москву!

Варфоломей, брошенный братом, вышел на крыльцо, постоял, подумал, ковыряя носком сапога гнилую ступень. Спустился в сырь просыхающего сада. Была та пасмурная пора весны, когда все еще словно медлит, не в силах пробудиться от зимнего сна. Небо мглисто, еще кое-где в частолесье белыми островами лежат снега. Набухшие почками ветки еще ждут, еще не овеяло зеленью вершины берез, и если бы не отвычно легкий воздух, неведомою печалью далеких дорог наполняющий грудь, то и не понять: весна или осень на дворе?

Он оглянулся, вдохнул влажный холод, поежился от охватившего озноба и вдруг впервые увидел, понял, почуял незримо подступившее окрест одиночество брошенных хором, опустелых хлевов, дичающего сада, огородов, покрытых бурьяном, поваленных плетней, за которыми во всю ширь окоема идут и идут по небу серые холодные облака. Долгие ли ночные молитвенные бдения, посты ли, налагаемые им на самого себя, так обострили и обнажили все чувства Варфоломея? Или шевельнулось то смутное, что уже погнало в рост все его члены, стало вытягивать руки и

ноги, острить по-новому кости лица, то смутное, что называется юностью? Варфоломей был не по летам рослый отрок, сильнее и выше своих сверстников. И в нем уже начал означиваться край того пушистого, нежного и ясного, что зовется детством и что готовилось окончиться в нем. Еще не скоро! Еще не подошла к нему сумятица чувств, и глухие порывы, и первые проблески мужества (хоть и рано взрослели дети в те года), но уже в обостренной остраненности взора, коим обводил он родное и уже как бы полурастворенное в тумане жилье, предчуялась близкая юность, пора замыслов, страстей и надежд...

На мгновение ему поблазнилось, словно и правда уже вымерло всё и все уехали туда, в неведомый и далекий Радонеж. Он стоял, подрагивая от холода, и не думал, а просто глядел, ощущал. Что-то ворочалось, возникало, укладывалось в нем невестимо для самого себя, о чем-то шептали безотчетно губы. Грубые московиты, что жрали, пили и требовали серебра у них в дому, это было одно, а князь Иван, пославший ратников за данью, и неведомый московский городок Радонеж — совсем другое. И одно не сочеталось с другим, но и не спорило, а так и существовало, вместе и порбзнь. Это была взрослая жизнь, которой он еще попросту не постиг, но которую должен, обязан будет постичь вскоре. Сейчас об этом просто не думалось.

Волнистые, шли и шли над землею бесконечные далекие облака.

— Господи! — прошептал он, поднимая лицо к небу.— Господи!

Юность? Или горний знак господень? Или весна? Коснулось незримо, овеяв его чело. На миг, на долгий миг исчезло ощущение холода и земной твердоты под ногами и его как бы унесло туда, в это волнистое небо, в далекую даль, в пасмурную истому ранней весны.

Так Варфоломей, уже загодя, простился с домом своим, и уже все дальнейшее: сборы, ожидания, наезды Тормосовых, что тоже переселялись в Радонеж вместе с Кириллом,— шло мимо, мимо, мимо, оставляя одно — скорей!

И вот наконец долгий поезд, составленный из разномастных повозок, возков и телег, и скотинное стадо, ведомое знакомыми пастухами, зареванные жонки, мужики, бояре и челядь, благословясь, помолясь, набрав

родимой земли в ладанки, с плачем, возгласами провожающих, бесконечным маханьем платков, поцелуями и воем, тронулись в далекий путь. Прощай, родимый дом, прощай, Ростов!

## ГЛАВА 23

В Радонеж приехали ночью. От холода и усталости пробирала дрожь. Тело, избитое тележною тряскою, совсем онемело, а сон одолевал до того, что перед глазами все начинало ползти и плыть. Хотелось лишь куда бы ткнуться, хоть в какое-то тепло, и уснуть. Младшего братишку, Петюшу, сморило так, что холопы выносили его из телеги на руках. В темноте они стояли, дрожа, словно куры под дождем, маленькой жалкою кучкой, потом куда-то шли, спотыкаясь, хлебали, уже во сне, какое-то варево, носили солому в какой-то недостроенный дом, с кровлею, но без потолка, отчего в прорехи меж бревнами лба и накатом виднелось темно-синее небо в звездах. Тут, на попонах, тюфяках, ряднине, накинув на себя что нашлось теплого под рукой — толстины, попоны, зипуны,— они все и полегли вповалку спать: слуги, господа и холопы, мужики, жонки и дети. Варфоломей едва сумел пробормотать молитву на сон грядущий и, как только лег, обняв спящего Петюшу, так и провалился в глубокий, без сновидений, сон.

Утром он проснулся рано, словно толкнули под бок. Все еще спали, слышались богатырские храпы и свисты уломавшихся за дорогу мужиков. Какая-то жонка хрипло, спросонь, уговаривала младеня, совала ему сиську в рот. Прохладный воздух свободно вливался сверху, овеивая сонное царство. Меж тем небо уже посветлело, стали видны начерно рубленные, еще без окон, стены в лохмах плохо ободранной коры и висящие над головою переводины будущего потолка в сосульках свежей смолы. Варфоломей тихо, чтобы не разбудить братика, встал, укрыл Петю поплотнее рядном и шубою и стал выбираться из гущи тел, стараясь ни на кого не наступить. С трудом отворив смолистое набухшее полотно двери, он по приставной временной лесенке соскочил на холодную с ночи, все еще отдающую ледяным дыханием недавней зимы, в пятнах тонкого инея землю и, ежась и поджимая пальцы ног, пошел в туман.

Бледное небо легчало, начиная наливаться утреннею голубизной. Звезды померкли, и нежно-золотое сияние уже вставало над неясной зубчатою преградой окружных лесов.

Ясная, стояла близ деревянная островерхая церковь. Назад от нее уходили ряды рубленых изб, клетей, хлевов и амбаров. Над рекою, угадываемой по еле слышному шуму воды, стоял плотный туман. С краю обрыва, к которому приблизился Варфоломей, начиналось неведомое, за которым только смутно проглядывали вершины леса и светло-серый, почти незаметный на блекло-голубом утреннем небосводе крест второй церковки, целиком укутанной туманом.

Вот легко пахнуло утренним ветерком. Ярче и ярче разгорался золотой столб света над лесом. Белый пар поплыл, и в розовых волнах его открылся город,— сперва только вершинами своих костров и неровною бахромой едва видного частокола меж ними. Городок словно бы тоже плыл, невесомый и призрачный, в волнах тумана, рождая легкое головное кружение. Жемчужно-розовые волны медленно легчали, тоньшали, открывая постепенно рубленые городни и башни, вышки и верхи церковные. Наконец открылся и весь сказочный, в плывущем тумане, городок. Он стоял на высоком, как и рассказывали, почти круглом мысу, обведенный невидимою, тихо журчавшею понизу рекою. К нему от ближайшей церкви вела узкая дорога, справа и слева по-прежнему обрывающаяся в белое молоко.

Вот вылез огненный краешек солнца, сбрызнул золотом сказочные плывущие терема и костры, и Варфоломей, замерший над обрывом, утверждаясь в сей миг в чем-то новом и дорогом для себя, беззвучно, одними губами, прошептал:

— Радонеж!

Потом, когда светлое солнце взошло и туман утек, открылось, что не так уж высок обрыв и долина реки не так уж широка и вся замкнута лесом, и сказочный городок, как бы возникший из туманов, опустился на землю. Виднее стали где старые, где поновленные, в белых заплатах нового леса, стоячие городни. И костры городовой стены, крытые островерхими шеломами и узорною дранью, вросли в землю, как бы опустились, принизились. Но ощущение чуда, открывшегося на заре, так и осталось в нем.

Осклизаясь на влажной от ночной изморози, а кое-

где еще и непротаявшей, твердой тропинке, он сбежал вниз к реке, и напился из нее, кидая пригоршнями ледяную воду себе в лицо, и загляделся, засмотрелся опять, едва не позабыв о том, что его уже, верно, ожидают дома. И правда, по-над берегом доносило высокий голос Ульянии:

— Олфоромей-е-ей!

Он единым махом взмыл на обрыв и тут в лучах утреннего солнца разом узрел и стоящий на курьих ножках смолисто-свежий, изжелта-белый сруб, и в стороне от него грудящихся под навесом коров, что уже тяжко мычали, подзывая доярок, и веселые избы, и розовые дымы из труб, и румяное со сна, улыбающееся лицо братика Пети, с отпечатавшимися на щеках следами соломенного ложа, взлохмаченного, только-только пробудившегося, и заботную Ульянию, и мужиков, и баб, что, крестясь и зевая, выползали, жмурясь, на яркое солнце, и заливистое ржание коня за огорожею, верхом на котором сидел сам Яков, старший оружничий, прискакавший из лесу на встречу своего господина.

Звонко и мелодично ударили в кованое било в городке, и тотчас стонущими ударами стали отозвалось било ближней церкви. Грудь переполняло безотчетною радостью — хотелось прыгать, скакать, что-то, стремглав и тотчас, начинать делать.

— Ау-у! — отозвался Варфоломей на голос Ульянии и вприпрыжку побежал к дому, из-за угла которого, ему навстречу, уже выходил Стефан с секирою в руке, по-мужицки закатавший рукава синей рубахи. Начинался день.

## ГЛАВА 24

Вдоль долгих улиц Сарая мела метель. Ледяной снег вместе с замерзшей пылью больно сек лицо. Волга стала, и в город переправлялись по льду. Снег выбелил улицы. Мазанки Сарая стали как будто еще ниже. Верблюды жались к изгородям, мерзли. Мохнатые, в зимней шерсти, кони, ухватывая зубами пучки высокой травы вдоль заборов, прежде чем забрать ее в рот, фыркали, трясли мордами, стряхивая снег. Голубые минареты мечетей поседели от инея, поседели сады, поседели выложенные цветными изразцами

дворцы ордынских вельмож. Холод был чужой, злой, пронизывающий насквозь, и страшно было видеть нищих, пробиравшихся вдоль заборов в худых опорках, а то и босиком по снегу, едва прикрыв тряпьем синее тело, и с надеждою взглядывающих на долгий обоз конных русичей, сытых, закутанных в шубы, в мохнатых шапках, в вязаных рукавицах и валенках, что подымались сейчас друг за другом от перевоза и, достигнув ровной дороги, со свистом и окриками переходили в рысь, уносясь на другой конец города, к русскому княжескому подворью.

Иван, как начали подыматься с Волги, откинул слюдяное окошко возка; резкий ветер тотчас ворвался внутрь — незнакомый, чужой, тревожный. Он нéмо смотрел на босоногих попрошаек, собак, лошадей и верблюдов, на глиняные дворы и жердевые плетни. Рука шевельнулась было подать милостыню и осталась недвижной. Каждый раз, едучи сюда, собирался весь внутренне, каждый раз, подъезжая к Сараю, замирал, твердел, стараясь вызвать в себе тот потаенный подъем сил душевных, от коего паче, чем от слов, зависело все: и успех в делах, и милость ханская, и судьба Руси, и даже собственная жизнь. Недавно в Орде по приказу Узбека убили стародубского князя Федора Иваныча за малую вину — недоданное серебро, как баяли, а паче — за неловкое слово, не вовремя сказанное. Слово, стоившее ему головы...

Полюбить, заставить себя полюбить! Хана, его двор, жен и вельмож... Не прикинуться, нет! *Стать* другом Узбека! Еще и еще раз, как бы тяжко ни было, понять его, войти в душу, самому ся уничтожить пред величием воли ордынской! До дна души, до предела сил! Только так! И тогда простится Ростов, и дастся Владимир и Дмитров с Галичем, мозолившие глаза вот уже который год!

Великое княжение владимирское должно быть великим до конца. Единым. С единой главой, единою волею. Его волею, Ивана Данилыча Калиты! И потому еще, и для того именно здесь, сейчас принизить, уничтожить себя до конца. Нет во мне гордости, нет и воли, все ты, великий хан, все твоя воля, паче солнца, паче жены и матери! Только так.

Вечером он уже объезжал вельмож ордынских. Льстил и дарил, прозрачно-искренне глядел в глаза, готовно смеялся, присаживался по-татарски на кошму,

отведывал кумыс, вел речи о конях и соколиной охоте. Про дело свое вовсе не упоминал или только скользом, словно бы и не за тем приехал в Орду. Знал уже, что так лучше с ордынцами. И не важно, кто перед тобою: сам беглербег, угощающий тебя на золотой посуде, сидючи на бесценных хорасанских коврах, или простой торгаш ордынский, что сидит на пыльной кошме и пьет кумыс из медной чашки. Все одно с тем и другим сперва мех кумыса выпей да обо всем на свете перемолви, а после уж только о деле, с каким приехал к нему... Верно, и русичи единаки, дак близ того не узришь, что издалека видать! И они нас, поди, в одно считают!

На четвертый день великого князя владимирского принял сам Узбек. Хан, по случаю зимней стужи, переселился в свой кирпичный дворец, сложенный для него хорезмийскими мастерами. Сидел на золотом троне, закутанный в парчу. После недавней смерти любимого сына Тимура в черной бороде Узбека появились белые нити, две резкие морщины пролегли вдоль щек. Уже не восточный красавец с точеным, выписным лицом — усталый под бременем власти человек сидел на золотом престоле, в окружении своих четырех набеленных, словно куклы, неподвижных жен, в сонме придворных, среди чеканных курильниц, золота, шелков и парчи. Калита кланялся, по-татарски прижимая ладони к сердцу. Слуги носили дары. На беседу с ханом его позвали несколько дней спустя.

Теперь уже не было ни той пышности, ни того отстояния, когда хан — золотое божество на престоле. Узбек сидел на войлочном ковре, в лисьей шапке и простом разноцветном халате. Медные жаровни струили тепло, но хану все равно было холодно. Он заметно подрагивал, кутаясь в свой мелкостеганый, подбитый верблюжьей шерстью халат. Блюда, кожаные тарели с мясом, подносы с рыбою, буза и вино, дозволенное у мусульман ханефийского толку, мед и кумыс в узорных сосудах разных стран и различной формы были разложены и расставлены прямо на полу, и Калита, поклонившись хану, присел на край ковра, скрестив ноги по-татарски. Узбек усмехнулся надменно, ответил на поклон кивком головы. Подумав, произнес по-русски:

— Здрастуй!

По бокам ковра уселись два толмача; несколько

приближенных вельмож, до того находившихся за спиной Узбека, придвинулись ближе.

Ханский покой был невелик и весь, кроме потолка, завешан гладкими ткаными или войлочными коврами. Окон не было, или их тоже закрывали ковры. Комната освещалась многочисленными мерцающими светильниками, точно церковь, так что можно было очень скоро позабыть, день теперь на дворе, вечер или утро.

Сейчас, внимательнее вглядевшись вблизи в усталое лицо хана, Иван похвалил сам себя за то, что сообразил при известии о смерти Тимура, сына Узбекова, послать тотчас в Сарай соболезнования с поминками. И в летописании владычном отмечено о скорби хана — чтущий да разумеет!

Там, за стенами, мела ледяная поземка. Было холодно. Калите не было холодно в теплом русском платье, но он за Узбека чувствовал, как холодно, как не греют жаровни, как надоели жены, не радуют золото и шелка... Пили горячий мед. Шла осторожная цветистая беседа; наконец один из вельмож прошептал что-то на ухо хану. (Иван догадывал что. Вельможе тому было дано, и дано преизлиха даже!) И Узбек, змеистым извивом бровей и чуть заметным склонением головы показав, что услышал и понял, вопросил Ивана (и, вопросив, поднял чело, расправил плечи, в глазах зажглось грозно, и весь он стал как проснувшийся барс: властелин полумира, великий, славный, кесарь, царь царей, повелитель Руси):

— Просишь Владимир?!

— Александр Василич помре, теперь мочно и совокупить волость ту!

— Каждому свою отчину! — бросил Узбек почти сердито.

— Володимер преже всегда был в волости великого княжения! — возразил Калита, преданно глядя на хана.— По ряду, по обычаю так, от дедов-прадедов наших!

Узбек покачал головой.

— А ярлыки зачем покупал? Мало тебе Ростова? Теперь просишь Галич и Дмитров?

Узбек усмехнулся и вдруг, круто сведя брови, вскипел, вскинулся с подушек, пронзительно вперивши взгляд в Калиту, молвил с угрозою:

— Я тебе велел добыть коназа Александра! Ты не исполнил того! Ныне коназ Александр вновь сидит во

Пскове. Что ты сделал, князь?! Почто молчишь? Отвечай!

— Царь-батюшка! Дак ить немочно! Все Гедимин проклятый! Литва подвела! — возразил Калита и поглядел на Узбека таким бестрепетно-прозрачным взором, что Узбек, за миг до того почти привставший с подушек, вновь лениво и недовольно откинул стан, уселся, поерзал, отводя глаза.

— Я и то уж спас от беды,— прибавил Калита, слегка опуская взор долу.— Свово епископа прошали плесковичи, совсем отделитися чтоб... Не попустил Господь!

— Епископ, епископ...— пробормотал Узбек,— колдун... Где митрополит?!

— Едет, царь-батюшка! — готовно отозвался Калита.

— Едет...

Узбек вновь сгорбился, четче прорезались глубокие морщины щек.

— Во Пскове и всегда сидели твои коромольники, царь-батюшка! Галицкий князь Федор наместничал, сынок еговый и братец Борис Дмитровский, оба из руки Михайлы Ярославича, покойного супротивника твоего! Дак теперь вот и князя Александра Михалыча приняли! И волость-то Тверская еще за им, нать бы ее Костянтину...

— Крови хочешь, князь,— возразил Узбек, покачав головою,— мстить хочешь! Нехорошо! Не нада! («Не нада» прибавил по-русски, остро глянув опять в лицо Калите.)

Толмачи, тот и другой, засматривая в рот хану и Калите, переводили слово в слово. Иван, добре понимая речь татарскую, успевал, услыхав вопрос Узбека, еще и обдумать ответ, пока толмач переводил ему ханские слова.

— Ярлыки возьмешь, кто дань будет давать Орде? — спросил вдруг Узбек без связи с предыдущим.

— Великий князь владимирский! — готовно и сразу отозвался Иван. (Ростовские дани нынче были выплачены без задержек.)

— Ты лукавый, князь! — сказал Узбек и вновь покачал головой, как бы в раздумье.— Не знаю, стоит ли брать твое серебро, быть может, лучше взять твою голову, а, князь?

— Моя голова в твоей воле, царь! — отмолвил Калита, помолчав.— Только без меня ты и серебра

не соберешь на Руси! Вернее меня нету у тебя слуг!

И — строго поглядел. И сейчас, в миг этот, был и вправду самым верным слугою Узбека. Только на миг. И хан опустил глаза, вздохнул, вымолвил нехотя:

— Знаю, князь! Испытать тебя захотел. Прости...

И вновь вскинулся на подушках, почти прокричал:

— Меня все обманывают! Льстят и лгут! Никто не говорит правды! Я казнил стародубского князя за ложь! Только за ложь!

Узбек раздул ноздри, вновь яростно вперил очи в Ивана:

— Вот, я взял сына ворога твоего, Нариманта Гедиминова! Что велишь делать с ним? Ты! Русский князь!

— Знаю, царь. Сам хотел прошать тебя: выкупить Нариманта, ежели примет святое крещение.

— Почто хочешь так? — удивился Узбек.

— Наша вера, государь,— возразил Калита серьезно и устало,— велит любить даже ворогов своих! Выкупая Нариманта, творю угодное богу.

Узбек поглядел чуть подозрительно. Протянул не то с угрозою, не то удивленно:

— Смотри!

В этот миг Калита верил, свято верил, что только затем и выкупает Гедиминова сына, чтобы, окрестив его, сотворить милостыню господню.

Узбек склонил голову, вновь постарел и померк, долго молчал, думал. Наконец поднял глаза, что-то решив про себя окончательно. Сказал устало:

— Ладно. Бери все великое княжение! — И добавил хмуро, словно бы спохватясь: — Дани задержишь — отберу.

## ГЛАВА 25

Назад он ехал опустошенный. Хмуро подсчитывал протори и издержки ордынские. От подсчетов кружилась голова. Обросшие шерстью, отощавшие в пути, кони то и дело сбивались, дергали не в лад. Возок колыхало и било. Был март, и мокрый снег начинал налипать на полозья саней и проваливать под конским копытом. Он уже обогнал обозы, оставил тащиться назади, скакал в мале дружине: скорей, скорей, скорей! Что-то неясное гнало и торопило его воротить в Москву не стряпая. Странно, о жене он почти не думал тогда.

Разбираясь сам в себе, находил одну причину для беспокойства — потраченное в Орде серебро, возместить коее было нечем и неоткуда. Ярлык при нем, во Владимир он пошлет своих бояр тотчас же, после того как Алабуга, посланный ханом, возведет его на стол. Но обирать владимирцев так, как он обобрал ростовчан, нельзя. Круг замыкался опять, и вновь все приходило к тому, что взять неоткуда и не с кого... Только с Новгорода! А значит, надо требовать с них серебра закамского! Ежели бы не селетошний пожар московский! Всё ить и рубили и созидали наново. Сколь погорело добра! Обилия, мехов, портна, узорочья — о сю пору не сочесть!

Напоенные солнцем, еще оснеженные, еще дремлющие, но уже весенние, стояли боры, и синие тени от тонких, смугло-розовых, палевых и бумажно-белых, березок узорно чертили тяжелый, потерявший пушистую ласковость, оседающий на припеках снег.

Об Елене он вспомнил, почитай, уже под самым Владимиром. Подумал, что и как скажет ей, воротясь. С больною с ней стало трудно. Ну, хоть корить не начнет! Теперь и похвастать мочно: все великое княженье в руках! Жаль, Бяконт не дожил... Солнце почти пекло, снег оседал, орали птицы, призывно, нюхая воздух, ржали лошади. И он был великий князь, и шла весна, а радости не было. Была забота, еще бóльшая теперь, чем допрежь того. И теперь можно было признаться, как он смертно устал в Орде на сей раз!

Когда его торжественно утверждали на столе во Владимире — епископ служил службу и Алабуга гортанно читал ханский указ,— он уже почти не понимал слов, почти не чуял смысла происходящего, и все кричало внутри него: торопись! Скорей отделаться от пиров, торжеств, от Алабуги и скакать — в снег, в дождь, в распуту, но только скорее домой!

Великая княгиня Елена умерла, не дождав Ивана всего за несколько дней. Перед смертью приняла постриг и схиму. Положили ее первого марта в церкви Спаса. Иван узнал об этом, уже подъезжая к Переславлю.

Повестили — и в первый миг словно свет померк, и некуда стало спешить. Сидел на подушках, прикрыв глаза, безотчетно отдаваясь колыханью и тряске возка. Не дожила... Не дождалась... Почти враждебное чувство, детская нелепая обида переполняли его всего.

Не дожила! Не дождалась! Сейчас только понял, как он ее любил. И болящую тоже. Печальницу. Советчицу. Что ж ты, Олена, не дотерпела, не порадовала со мной! И сын встретит, и дочери, и младшие сыновья, а ее не будет. И уже дом не в дом, и очаг не в очаг. Только заботы, и холод, и нескончаемые труды господарские, кои немочно бросить, ни свалить на иные плечи. Годы и годы труда, а зачем?

Близилась Москва. Близились торжества, колокольные звоны, встречи. Как выдержать, как вынести, как, Господи, не возроптать в этот час!

Встречали хорошо. Не было ложного горя, напоказ, не было и пустой радости. По тому уже, как подошел, как поклонился старик Протасий, понял, почувствовал: берегут. Стало немного легче. И когда сын, Симеон, бросился на грудь и вдруг разрыдался совсем по-детски — оттаял, отлегло от души. Есть все же и семья, и дом, и свои близкие, родные.

В церковь, к могиле, прошел один, никого не велев пускать за собою. Долго молился. Хотел заплакать — не было слез. Как она не поняла, как не сумела... Да что я! Говорила ведь, упреждала: «Не доживу!»

Коленями чувствуя холод камня, стоял, думал. Кинуть бы все! Или уж пождать было... Нет, не понимала она его и в смертный, последний час не поняла. Или не хотела понять?

«Что же ты лежишь тут, под этою плитой, непредставимая уже, уже вся «там» — в том мире, где дух наш пребывает бессмертно. И свидимся ли мы еще? Или «там» уже и не узрим, и не узнаем друг друга, бо смертная плоть наша изгниет в земле? Или, как путники в краю далеком, что вопрошают друг друга, отвечая: «Я из такого-то села, а я из таковыя-то волости» — и так познают ближних своих — такожде и мы в мире ином, вопрошая, спознаем сродников и любимых?

Вот ты лежишь под этой плитой, в монашеском одеянии, отрекшаяся от мира. И как, и в коем облике встречу я тебя в мире том? Старой ли будешь, в черном куколе своем, юной ли девою, как в далекие прошлые годы? Или как тень, не имущая ни вида, ни облика? Или как солнечный луч, что сквозь высокое узкое окно лег горячим и светлым пятном на холодную

эту плиту? И, быть может, и все мы там будем как свет светлый и в хоре согласном, неразличимы один от другого, почнем славить Господа и благость его?

Быть может, мир этот, в коем и труды, и храмы, и нивы и города, и богатств скопление, и силы ратные,— быть может все сие токмо тень, токмо сон господень, а жизнь вечная там, непонятно где, и неможно узрети ее телесными очами своими?

Олена, Олена! Где ты?! Трудно мне с тобою! И что я скажу тебе? Что отвечу? Да, дочерь нашу любимую я не пожалел. Да, тебя оставил в последний твой час, и то — грех непростимый! Да, в душе у меня холод, и потому, верно, не могу я жить душою и для души! Иные могут, не я! Ты пойми меня, Олена, пойми и прости! Да, я такой! Я не могу иначе! Батюшка наш любил все это, был щедр и рачителен, к семье и к зажитку заботлив, копил волость и добро. Юрко, тот любил величатися, любил пиры и потехи ратные, коней и соколов, и всего преизлиха, и паче всего любил власть, у него и ладони чесались всегда, чтобы все заграбастать! А я, Олена, люблю тишину. Покой молитвенный. Нет, и его не люблю тоже! Я должен делать то, что делаю я, и не могу иначе! Я ведь, Олена, страшен! Я ведь всего добьюсь, Олена, ты слышишь меня? Я ведь нынче лукавил, я знал, что боле не свижусь с тобою! И все равно поехал в Орду! Я не могу иначе! Мне нечем жить, не для чего жить мне, жена, ежели это отнять у меня! Я не знаю, зачем это мне! Ты говорила: «Мне этого не нать, я не княгиня...» И мне не нать! И я не князь, я изгой, я меч господень! Я — проклятие, сошедшее с небеси! Мне остановить себя — умереть! Узбек меня не понимает, он... Он жалок передо мной! Да что я, зачем Узбек... Зачем о нем здесь... Прости меня, жена моя, прости меня, если можешь!»

Солнечный луч, медленно переползая по камню, коснулся надписи, и резные буквы четким узором проступили на полу.

«Даже и имя у тебя другое, монашеское имя, не то, не наше с тобой!»

Он склонился до земли, коснулся лбом холодной плиты. Долго лежал так, шевеля губами, беззвучно повторяя молитву. Кажется, наконец появились слезы на глазах. Солнечный луч уже сползал с плиты, и надпись опять погружалась в тень.

— У меня тут,— он показал на лоб, на выпуклое место между бровей,— у меня тут что-то такое, что не дает мне жить так, как живут другие. В простоте. День ото дня. Я должен собирать землю. Даже не землю — власть. Даже не власть — страну, язык русский! И не увижу сам, не узнаю, зачем и к чему. В этом и будет наказание мое и искупление грехов, иже содеял и содею. Да к чему я говорю тебе это? Не в том ведь причина и не в том жалость и злоба моя! Просто я должен действовать, как сеятель — сеять, как ратник — боевать, как дождь — снисходить на землю. Должен — и умру, ежели мне токмо воспретить сие! Ты пойми, Оленушка, родиночка жалимая ты моя, пойми и прости. Я не могу иначе!

## ГЛАВА 26

Первой вечерней трапезы с семьею — без нее, без жены,— Иван, не признаваясь в том самому себе, боялся. И хорошо, что были мамки, что слуги носили блюда, что он мог не смотреть в глаза дочерям и говорить токмо потребное к застолью. Но вот убрали столы, удалились слуги и дети. Иван, дав знак Симеону следовать за собою, прошел в изложню. Со старшим сыном они наконец остались одни.

Подумалось: пожалеет ли сын, станет иль нет говорить о матери? Сын пожалел. Спросил об Орде. Иван принялся рассказывать обстоятельно, спокойно. Перечислял вельмож ордынских, называя по памяти, кому что дадено. Вдруг, сорвавшись, замолк, проговорил, глядя мимо Симеонова лица:

— Мы въезжали... снег там... с ветром, с песком, ледяной. Собаку страшно выпустить. И нищие бредут раздетые, разутые, ноги уж, верно, как камень... Должно наши, русичи... Я не остановил, не подал... Не мог! А потом уж началось...

— Какой он, Узбек? — спросил Симеон.

— Тоже постарел. Сединою поволочило. Гневен. На всех. Сына помнит, жалимого, Тимура.

— А что про Тверь?

— Про Тверь ничего не сказал. Сам не знает, видно. К нему, чую, ворогов наших и пускать опасно! Да, Наримонта я выкупил. Крестился он, Глебом назвали. Уехал к отцу, в Литву.

— Не станем воевать с Литвой?

— Пусть Орда воюет. Нам не до того, сын. Смоленск бы только не потерять! Коли заберет его Гедимин, нам с тобой худо будет! На то лето женить тебя хочу. Время тебе приходит.

Симеон зарозовел, потупился:

— На ком, батюшка?

— Пока не нашел. У брянского князя невеста была на возрасте, да, вишь, Василий Михалыч перебил... Возможно, даже и в Литве! Нам с има нынче спорить не нать, пока Александр во Пскове сидит!

— Не отдали в Орде тверской стол Костянтину?

— И отдали бы. Не пойму я его! Кто ему милей, жена али мать? Только пока великая княгиня Михайлова, Анна, жива, он из ее воли навряд выйдет... Ярлык даден на Тверь ему. Тут и не в ярлыке дело!

— Батюшка, грех такое молвить, а не послать ли кого опять к Акинфичам!

— Грех не грех. Уже посылано, сын, и не раз! Теперь через Клавдию Акинфичну с има легко ся сносить. Да ведь доброго письма гонцу, будь он свой-пересвой все одно не дашь! Перенять всякого мочно! Из них троих Ивана бы и можно купить, а те двое — законники. Пока сами ся не решат, ни на что не обзарят: ни на сребро, ни на волости, ни на почет! А бояр надо собирать. Всех, кто батюшке служил и деду нашему Александру Невскому...

— Босоволковы опять с Васильем Протасьичем прю затеяли!

— Знаю, слышал. Как дядя его распустил, так и неймет ему о сю пору! Хочет тысяцкое под Протасием забрать!

— Не дозволишь, батюшка?

— Не дозволю, сын. Пока жив, не дозволю, а там уж тебе смотреть. Бояре ить как кони. В одной упряжке пока — везут, а распустишь — покусают один другого, и все врозь пойдет!

— Феогност приедет на Москву, батюшка?

— Мне доносили, что ладит в Цареград и в Орду, а после на Русь. Уж из Орды пойдет, Москвы не минует! Не знаю, перетянем ли к себе, а только при нем надо своего человека иметь. Надежного. Чтобы, коли что, и заменить мог!

— Батюшка...

— Я крестника хочу...

— Алексия? В одно удумали!

— То-то, в одно. На тебя надеюсь, Симеон! Ты уж мысли мои чуешь. Веди так, как я! Жизнь кратка. Одному ничего не достичь. Александр, царь Македонский, весь мир завоевал, а почему? Отец, Филипп, вишь, ему царство приготовил, все устроил ладом: и рати набрал, и воевод верных поставил. Сыну то и осталось, что весь мир полонить!

Иван помолчал, и вдруг само выговорилось то, о чем молчал доселе:

— Матерь жалко. Не дождала меня!

— Все в руце божией, батюшка! — быстро ответил Симеон. И Иван, благодарно взглянув на сына, опустил глаза.

Крестника Алексия Иван решил посетить тотчас, не откладывая дела, до того как двинуть полки на Новгород. (Он уже решил дорогою, что добыть серебро сможет только там и что добром ему цесареву дань новгородцы выдадут навряд.)

Елевферий Бяконтов, нынешний чернец Алексий, все эти годы подвижничал в одном и том же монастыре Богоявления близ Москвы. Когда-то монастырь стоял на отшибе, а ныне, обстроенный и стесненный клетями и избами горожан, уже, почитай, начал сливаться с Москвою. Город рос. Туда, за Неглинную, протянулись дымные печи кузнецов, гончары не вмещались уже в свой старинный предел, последние хоромы горожан уходили из Кремника, уступая место теремам боярским. После пожара Кремника новые строенья наросли, как грибы после дождя, повалуши и сени богатых теремов стали выше, стройнее, узорнее.

Князь Иван, сказав Симеону, к кому и зачем он едет, сел в крытый возок и приказал слуге закрыть полость наглухо. Кони дернули. С хрустом и чавканьем затопотали копыта по снегу, протяжно закричал ездовой, расчищая путь. Комонные кмети, «дети боярские», тронули рысью, окружая возок.

Иван, закрывшись, не видел, как проминовали торг, как спустились с горушки и поднялись на другую. Только по опасному порою крену возка чуялись спуски, подъемы и неровности дороги. Наконец, заскрипев, отворились монастырские ворота. Иван вышел, привычно озирая ряды келий, церковь и колокольню,

недавно срубленную, невысокую, с одним малым колоколом на ней. К возку подскочили несколько послушников и монахов. Выбежал настоятель.

— К Алексию! — кратко отмолвил Иван. Торжественных встреч в монастырях, памятуя митрополита Петра, не любил и поднесь. Настоятель засуетился:

— На молитве он...

— Пожду!

Оставив слуг за порогом, Иван прошел в келью крестника. Здесь мало что изменилось. Те же книги на полице, тот же медный крест, иконы те же, только вон та, большая, с Богоматерью, появилась вновь. «Верно, с отцова успения, из дому. И не в труд ему. И не жаль лишити ся хоромины боярския!» — подумал мимолетно Иван, усаживаясь на лавку.

Крестник заботил. В чем-то он все же, невестимо, обманул его. Ушел от трудов, от забот княжеских. Неужто так и просидит век простым мнихом в монастыре? Тогда, после смерти Бяконта, заходил к нему, думал утешить. Алексий был спокоен на диво. Словно и не любил отца. Ивану сказал, поглядев мягко и твердо в очи:

— Радовати надо о всяком, иже предсташе пред престолом Всевышнего и с ангелы и со архангелы пребывает!

В чем-то, возможно, Алексий его и превысил. Он, Иван, едва ли возмог бы так вот отрешить от себя все земное и уйти в келью. Но сейчас не об том дума была.

Алексий все не шел. «Мог бы и сократить молитву ту,— грешным делом помыслил Иван,— стражду ведь! Неужто не чует крестник?»

Алексий наконец вошел. Перекрестясь, поклонился князю. Сел. Все такой же, прежний. Строгий, большелобый, с клиновидною бородкой, невеликий собою, подбористый. Но уже и не мальчик, муж. Что-то выжгло, что-то отгорело в нем давешнее, понятное, детское.

— Здравствуй, крестник! — сказал Иван.

— Здравствуй, крестный! — ответил он глуховато.— Прости, что с молитвы не ушел враз,— прибавил он, помолчав,— но и тебе надобно было посидеть так-то, спокою ради!

Алексий угадал верно. Иван только сейчас начал понимать ясно, с чем пришел и к кому и сколь вели-

кой жертвы хочет потребовать от крестника своего, удалившегося от мира. И потому вздрогнул и вострепетал, когда Алексий, прямо поглядев на него, сказал, даже не спрашивая, утверждая:

— Хочешь призвать меня в мир?

— Митрополит Феогност, возможно, приедет семо. Хочу, чтобы ты при нем...

— Захочет ли сам Феогност? — бледно усмехнулся Алексий.— Быть может, довольно с меня и дел монастырских? Я тут, неволею, стойно батюшке своему, стал и кожи считать, и зерно мерять, все по просьбам отца игумена! И не возразишь — подвиг! Тишины хочу, крестный. Хочу молитвенного уединения. Быть может, в затвор уйду, ото всех, от мира.

(«Не уходи!» — чуть не крикнул Иван, сдержался.) Алексий взглянул внимательно, узрел, услышал немой крик крестного. Усмехнулся вновь. Налил воды в деревянную чашку, протянул, сказав повелительно:

— Испей!

Иван выпил, едва не поперхнувшись.

— Слаще ли сия вода той, что в серебряной или золотой чаре налита? — спросил Алексий.

(«Вот оно! — подумал Калита.— Ему и впрямь ничего не нужно! Но мне надобно! Мне!!!»)

— Я не в мир тебя зову,— произнес он с трудом и медленно,— не к радостям бытия, но к подвигу духовному в миру... В сей суете и скверне... Это, мыслю, зело трудней!

— Так, крестный! Но веси ли, яко пред Господом потянет чаша сия? Веси ли, яко во грех и в пагубу ведешь мя, крестника своего? Веси ли передняя и задняя, днешнее и пребудущее подвига сего? А ослабну? А не возмогу? А прельщусь пагубою мира? Суета сует и всяческая суета! И почто не веришь тому, кто от самого патриарха, из Цареграда, послан на Русь блюсти стадо Христово? Почто искушаешь Господа?

— Олферий! — выкрикнул, забывшись, Иван, невольно назвав крестника его мирским именем.— Я ведь не требовать с тебя, я сам покаяти пришел! Мне тяжко, помоги! Делатели делают зло в самомненье ума и прошают: что делать? — егда уже поздно. Надо знать наперед, что будет, что ся сотворит из хотений твоих!

— Что будет, не знает никто, кроме Господа!

— Что же должен делать человек?

— Приуготовлять себя к приятию воли божией.

— А народ? Я смертен, я уйду. Как приуготовить весь народ? Скажи, како мыслишь ты о власти земной?

— В бренном и временном житии нашем временно все. И власть предержащая прейдет, как и иное прочее. Вечен токмо Господь!

— Но народ, язык русский?

— Народ пребудет, доколе не исполнит предела своего.

— И что должен делать князь?

— Блюсти народ жезлом железным. Творить милость, но и понуждение: да каждый со тщанием возделает ниву свою! Пахарь пусть пашет, и сеет зерно, и сбирает плоды земные, и не ленится в трудах; ремественник да творит потребное пахарю и прочим, каждый по реместву своему; купец доставляет товар, кому что надобно; воин блюдет землю, боронит от ворогов; боярин правит суд, устрояет землю по слову князя своего; ученый мних, книгочий да чтет книги, указуя на прежде бывшее в языках и землях, дабы не впасть и самому князю в пагубные заблужденья и высокоумьем не истощить землю... Пусть иерей наставляет и учит добру; пусть вятшие не величаются, но с любовию, яко родители, взирают на меньших себя, дабы не возроптал простой людин в сиротстве своем. Пусть жена любит мужа, а муж блюдет и началует жену. Пусть дети малые чтят родителей. Пусть весь народ чтит государя, а князь денно и нощно заботу имет о языке своем. Пусть каждый приложит силы на ниве своей в ту меру, яко же возможет, и не ослабнет, и не почнет небрегати, и не возропщет. Ибо народ един, от князя до последнего черного пахаря, и сему ты, глава, должен быти причиною и обороной!

— Но ежели князь — зол?! Боярин — свиреп?! Раб — леностен и лукав?! Воин — робок на борони?! Ежели сын не в отца, и все ся врозь, и вражда у меньших на больших, а у знатных к меньшим остуда и небрежение?

— Тогда гибнет народ. Весь — и вятшие, и меньшие. И ничто и никто не возможет уже спасти языка того. Погибнет он, расточит по лицу земли, яко древле сущие языци и царствы: ассирияне, вавилоняне, римляне и иные многие.

— Мыслишь ли ты, яко и нам скорый конец надлежит?

— Такого не мыслю, крестный! Мнится мне, яко

много в языке нашем сокрытых сил, и токмо потребен пастырь добрый ему, дабы воспрял он над прочими, яко кедр ливанский. И тебе, крестный, скажу: ты еси пастырь добрый. Не ослабни токмо и не начни торопитися...

— Мне Петр-митрополит предрек, яко не увидеть исхода трудов моих, и я... Мне потребно знать, верить, что и после меня спасут, удержат...

Алексий понял, кивнул:

— Мнишь ли ты, князь, что Михайло Ярославич не возмог бы содеять сие?

Калита вздрогнул, когда крестник назвал его князем. Вперил взор в строгий лик Елевферия.

— Казнишь мя?

— Нет, княже! Нет, крестный, не казню! Думаю. Прав ты, крестный,— продолжал он, помолчав,— возможет и сильное царство рухнуть от правителя неправого! Чти притчу о Тифоне и Озирисе, царях египетских...

— И чем и как скрепляется государство, что держит и съединяет царствы и языки? Чрез годы, чрез смерти, от прадедов ко внукам ненарушимо? В чем преграда произволению власть имущих, в чем основа и краеугольный камень всякого бытия? Чем и почему созиждены царствы? Что заставляет кровью отстаивать рубежи земли своея? Почто и зачем отъединены от прочих и чем, чем съединены между собою? В чем и что высшее всякой власти? Где основа того, на чем зиждется наша земля? Пусть умру я, и род мой, и ближники мои — чем будет удержан от распада язык русский? Что съединяет княженья? — лихорадочно спрашивал Иван, наклоняясь вперед, сверля глазами лик возмужавшего крестника.— Что? Что? И кто? Кто удержит, и охранит, и, обличив, исправит или хоть... примером своим... Я мыслил: митрополит русский и ты...

— И митрополит не возможет сие, крестный!

— Так кто же? И что?

— Вера. Предание. И любовь.

Иван поник, прикрыл лицо руками. Долго сидел так молча. Вымолвил наконец:

— Тогда я не знаю, что нужно и кто нужен нашей земле, дабы спасти ее, ежели я, ежели мы с Симеоном... Словом, что нужно, дабы властитель не уклонил от бремени своего?

Олферий молчал долго-долго. И ответил наконец очень тихо, одними губами, не рек — прошептал:

— Нужен святой.

Иван поднял глаза:

— Ты, крестник?!

Тяжкое и долгое безмолвие повисло меж ними.

— Нет, не я,— еще тише отмолвил Олферий.— Я хотел — и не мог... Ты прав, крестный, что пришел за мною, мой подвиг — в миру! Но святой уже есть. Где-то близ, в русской земле. Скорее всего не у нас, а в том же Ростове, или Твери, Рязани ли — там, где тяжко!

— А мы — узнаем о нем? — с расстановкою вопросил Иван.

— Узнаем. И скоро. Токмо срока господня не уведати смертному. И — не прошай боле! Я сказал!

## ГЛАВА 27

Оснеженные озера полей незримо таяли в воздухе. Над землею, над лесами, напоенными солнцем, недвижными, ждущими и жаждущими весны, над синими, сияющими слепительным серебряным светом пашнями висел голубой туман. Весело, пропадая в голубом сиянии, уходили на рысях конные рати москвичей по тверской дороге. Заливались колокольцы, чмокая и хрустя, мяли снег конские копыта, летели сани, тяжко переходили в галоп боевые кони, отягощенные войлочными попонами и многоразличным кованым железом. Крики ратников, ржанье, разбойный посвист, стон и звяк харалуга разносились далеко окрест. Яркими пятнами, словно цветы на голубом снегу, горели одежды воевод, дорогие, крытые алым, голубым, черевчатым и зеленым сукном шубы, узорные конские попоны, золотая парча оплечий и золотое письмо на щитах и шеломах работы восточных мастеров. Празднично и тонко звонили колокола московских храмов, далеко-издалече вскипали радостные клики толпы. Полки уходили под Торжок.

На требование Ивана заплатить ему «выход царев» Новгород, как и следовало ожидать, ответил презрительным отказом: такого-де не бывало искони. И теперь Иван, верхом на высоком, нетерпеливо переступающем скакуне, удерживая одною рукою поводья,

другою, в зеленой рукавице, защитив глаза от золотисто-серебряного сияния, озирая издали свои рати, прикидывая: все ли и так ли исполнили воеводы, как велел он намедни? Сил было мало, и посему следовало ударить не стряпая, захватить Торжок и Бежецкий Верх с наворопа, пока еще не раскисли пути, и уже потом вести переговоры с Новым Городом, который, в таком разе, может и склонить слух к требованиям великого князя владимирского! Он шагом, удерживая скакуна, начал спускаться с пригорка, и за ним, с глухим шорохом, точно оползающая лавина, топоча и звеня, двинулся, утолочивая снег, княжеский полк. Глянув вбок, Иван краем глаза узрел Семена, который изо всех сил натягивал повода, удерживая коня на шаг позади отцова, дабы не обогнать родителя-батюшку. Молчаливо одобрив наследника — блюдет честь отцову! — Иван погрузился в думы. Посмеют ли новгородцы и теперь перечить ему, когда он займет Торжок с Бежецким Верхом? От того зависело зело многое. Зависел и успех задуманного им ярославского дела, да и Галич с Дмитровом трудно будет получить ему у хана без новгородского серебра!

Иван не думал, хорошо он поступает или худо. Он даже и не оправдывал себя, и уже не колебался, как тогда, впервые, покупая ростовский ярлык. Он знал: это его путь собирания русской земли. Только его, и ничей больше. Он многое, почти все, перенял у других. Одно у ростовских князей, иное у Михайлы Тверского, что и из Византии пришло по пригожеству. Так, глядя на соседей, заповедал Москву в нераздельное владение детям, наметил старшему, Семену, особую долю на старейший путь. Перенял навычаи мытного двора тверского, перенимал иное прочее, но затею с ярлыками измыслил сам. И об этом молчал. Запрещал даже и писать. Ни в летописании, ни в грамотах княжеских не было и следа того, что новый князь владимирский покупает у хана волость за волостью, серебром добывает то, что не удавалось добыть прежним князьям великим ратною силой. А измыслил давно. Еще когда был жив Юрко. И тому не сказал. Чуял — не поймет. А в те поры, как измыслил, даже не понял, почто таковое простое никому допрежь него не пришло в голову?

Каждый князь держал свое княжение по роду, по обычаю, от отцов, дедов, прадедов... Держал, доколе

не пришли татары. С той поры и начали русские князья ездить в Орду на поклон и получать там ярлыки на свои княженья. А что значил ярлык? Ярлык значил, во-первых, что хан признает князя владетелем и не сгонит его со стола и защитит, ежели кто другой его попробует согнать. Ярлык, во-вторых, значил то, что князь волен сам собирать дань для Орды со своего княжества и отвозить хану. Дань иногда отвозили сами, но чаще передавали великому князю владимирскому, и тут была долгая пря из роду в род, доносы, наветы, недоимки... И ярлык ханский постепенно стал означать, во-первых, право собирать дань, и уже во-вторых — все прочее.

И за ярлык платили. Давали дары, которые чем дальше, тем больше превращались в обычный выкуп своих же княжеских прав. А с воцаренья Узбекова и вовсе началась торговля. Тем паче хану постоянно не хватало серебра. Иван долго думал и прикидывал и наконец решился. Предложил хану (сперва выдав дочь за ростовского князя!) самому выплачивать ордынский выход с Ростова: взять на себя ярлык ростовский. Ну и, конечно, самому собирать дань! Не сгоняя князя со стола, ни с сел и волостей, самому князю принадлежащих, не трогая прав наследственных... И объяснил тому и другому, хану и Константину Ростовскому: так-де порядку станет более и выход учнет поступать в срок (Ростов сильно обеднел и постоянно задерживал дани). И хану спокой, и Константину легота. Пришлю своих бояр — только и дела! Константину, тому некуда было деваться, а хан — хан уступил, передал ярлык на Ростов Ивану. Недешево обошлось! Ну дак и Ростова опосле не пощадили! Не во своем княжестве, дак мочно было и сильно деять. Ограбили боярские терема (коих инако-то и тронуть нельзя бы было!) и дворы посадские не обошли. Выгребли серебро из скрыней, позабирали родовое узорочье, многих вельмож ростовских разорили дотла. Разоренные потянули теперь на московские земли, получают леготу, обживают и распахивают лесные дикие палестины... И опять прибыток великому князю владимирскому! Кто считал, сколь взяли на Ростове добра? Сколь передано хану, а сколь застряло в казне московской? Никто не считал. Иван один знал об этом, знал и прикидывал: хватит ли, чтобы выкупить у хана ярлыки на Ярославль и Дмитров? Яро-

славль стоил дорого. Да и зять упирался, не давал Ивану воли. И обвинить не в чем, выход идет в срок, Ярославль город богатый, торговый, серебром не скуден, не то что Дмитров, который, почитай, почти уже и весь в московской горсти!

Из-за Ростова ославлен Иван, обозван и кровопийцей, и иудою, и какими невесть еще поносными словесами... Знали бы, что в замыслах его тайных — таковыми куплями совокупити всю русскую землю! Чтобы великий князь владимирский — один! — ведал и дани и суд ханский и всю землю чрез то охапил в руце своя. Знали бы! Не знают. И добро. Стоит вызнать одному лишь суздальскому князю — и не усидеть Ивану на столе! А нужно не только усидеть. Надобно усилить себя настолько, чтобы уже и не дерзали противу. Еще, по грехам, надобно примолвить, что, когда задумывал он скупать ярлыки на княженья, не чаял той трудноты, что настала о днесь. Чаял, все пойдет глаже, быстрее да и дешевле. Чаял: серебром с одного княжества окупит ярлык на другое, да так и пойдет... Гладко оно в замыслах! А ныне без новгородского серебра не сдюжить. Так-то!

Сыну он рассказал, под великой тайною. Семен понял, как должно. Спросил только: не берем ли себе излиха? Пришлось показать отроку всю казну, грамоты, расчеты княжие... Другой бы обрадел, а этот враз о справедливости помыслил! И хорошо. Честь, совесть, правду терять не след. Можно и грабить (ограбили же Ростов!), но токмо для высшей цели и токмо для блага Руси. Власть — бремя. И пока она для тебя пребудет бременем, дотоле ты прав. Пусть отрок мыслит так, токмо так! Вырастет радетель делу отцову... Делить княжество тоже не след! Покойница матерь того не хотела понять...

Пахло талым снегом. Голубой туман струился и плыл над полями. Солнце обливало землю мягким сияющим серебром. Ржали кони. И небо было высокое-высокое! Близилась весна... Иван прикрывал глаза, отдаваясь плывущему конскому шагу, отмечал про себя веселые голоса ратников и думал, не замечая, как входит в него безотчетное томительное волнение, полузабытый голос далекой молодой весны...

## ГЛАВА 28

Торжок и Бежецкий Верх заняли без бою, но дальше все пошло не то и не так, как мыслил Иван. Новгородцы уперлись. Подступила распута. Пришлось отозвать рати. А там подоспело пахать да сеять, а там пала сушь, меженина по всей русской земле. Хлеб не родил, и стало немочно одному, без помощи прочих, управить с Новгородом. Все лето ушло на пересылки с князьями. Иван требовал ратных от суздальского и тверского князей, те жались. По тяжкой поре их и винить было трудно. Поход все отлагался и отложился наконец на зиму.

Иван вдруг потерял свое обычное равновесие, начал метаться, едва не раскоторовал с суздальским князем, слишком поздно уведал о том, что Смоленск мыслит передатися Гедимину. Донос в Орду запоздал. Дело спас брянский князь Дмитрий, затеявший ради своих обид порубежных поход на Ивана Александровича Смоленского. Привел татар, бился под самым городом. Смоленский князь, однако, отбился. Взяли мир. Мир взяли, и Смоленск, до поры, остался под рукою хана. Однако Иван чуял, видел, как крепнет Литва, как все дальше и дальше протягивает Гедимин властную руку, как то, что ему, Ивану, дается с трудом и борьбой, в руки литовские падает, как перезрелый плод с древа... Он злобился на хана Узбека, нерешительность коего больно ударяла и по нему, Ивану. Нет чтобы бросить татар на Гедимина, ослабить, а то и вовсе смести опасного соседа! Гляди, бесись, как полоняник со связанными руками, гадай, приедет ли Феогност, останет ли на Москве или нет?

Дома тоже все шло врозь и непутем, и уже не раз и не два намекали Ивану ближние бояре, что без хозяйки — дом сирота. Он сам понимал, что надо (и хочет!) жениться. Смущал сын, Симеон. Не хотелось обидеть отрока, приведя в дом мачеху. А посельские долагали о недородах, о голоде по деревням. Москва уже начинала полниться первыми беглецами, чаявшими хоть какого прокорму и заступы близ княжого двора. Вновь участились разбои по дорогам, почти было выведенные скорым и строгим княжеским судом.

Выяснялось меж тем, что вести рати под Новгород опасаются все (не выступил бы литовский князь на защиту!), а новгородцы деятельно готовятся к обо-

роне, скликают помочь, крепят город каменными стенами. Уперлись. Но и Иван уперся. Да и нельзя уже стало отступать. И все тогда слушать перестанут!

В чем-то она его спасала, покойница, от чего-то удерживала. Не кидался он при ней так преизлиха нерассудно, не столь спешил и деял успешливее, чем ныне.

Стояла жарынь. Осень, окончательно обманув все надежды на урожай, подходила, тяжело и тускло суша и свертывая пыльную листву дерев. Он вдруг понял, что должен, обязан жениться. Что-то запоздало в нем и требовало своей дани, своего «выхода»... Невеста, третья по счету (первые две не по нраву пришли), наконец-то показалась ему. Была тиха и робка, верно, и заботна и домовита (лишней, напоказ, красоты не любил Иван), а на великого князя взглянула с робким обожанием, и это решило дело. Понял: полюбит!

Накануне свадебных дел вызвал сыновей, прочел грамоту: что кому отойдет в случае его смерти. Оставшись наедине с Семеном, прямо и строго поглядел в глаза сыну (подумал: скоро женить, а я — сам!), спросил:

— Не осуждаешь?

— Тятя! — только и вымолвил Семен.

Иван осторожно привлек отрока к себе. Сказал:

— На тебя всё. Вся надея. Кто бы ни... Кого бы ни родила... Ты первый, тебе княжить!

— Понимаю, батюшка! — ответил Семен, пряча лицо на плече у отца.— Я не... не сужу... не думай, я понимаю все. Она... она добрая...— пробормотал он, меж тем как Иван вздрагивающей рукою гладил его по волосам.

Оба долго молчали. Потом Иван вздохнул, отстранился. Заговорил о Смоленске. Больше до свадьбы речей меж ними об этом не было. Но Иван чувствовал радостно, что и теперь сумел сохранить уважение сына при себе.

Свадьбу справили нарочито просто. Иван не хотел пышностью торжеств возбуждать лишние пересуды. Оставшись наедине с молодой, он привлек ее к себе, уже раздетую, в одной долгой рубахе, и, скорее ощутив, чем увидя, слезы страха в глазах, долго гладил, успокаивая, дожидаясь, когда она сама, согревшись под собольим праздничным одеялом, захочет неизбежного, того, с чего начинается семейная жизнь... Она уснула первая, прижавшись к его плечу, а Иван все не спал. Лежал, отды-

хал, думал. Было покойно (слишком покойно для первой ночи!). Жену следовало беречь. Это было теперь свое, родовое, как Москва, как добро в закромах и бертьяницах, как неотторжимые сокровища отцовы. Он осторожно повернулся к ней лицом, осторожно положил руку на нежные маленькие груди. Она легко и благодарно вздрогнула, вздохнула впросонках и с детскою готовностью, не размыкая глаз, теснее прижалась к нему.

Едва отпраздновав свадьбу, Калита во главе соединенных низовских ратей выступил в поход. Вновь засев Торжок и Бежецкий Верх, Иван, остановясь в Торжке, разослал дружины в зажитье. Начался грабеж Новгородской волости. Угоняли скот, уводили людей, жгли и увозили запасы хлеба и жита. Новгородская рать стояла по Ловати и Мсте, перекрывая пути к городу. Меж теми и другими ратями творились лишь мелкие стычки. Иван на этот раз привел крупные силы, и новгородцы опасались выйти на бой.

Иван сидел в Торжке от Крещения до Сбора. Новгородцы наконец прислали посольство к нему, звали на стол по прежним грамотам, что было теперь едва ли не насмешкою над Иваном. Он ничего не ответил послам. Грабеж Новгородской волости продолжался.

Упорство Великого Нова Города было не зряшным. Страдал торг, не поступало заморское серебро, столь нужное казне великокняжеской. На Сбор всех святых Иван воротил в Москву. Размирье с Новгородом затягивалось, и уже неясно было, кто кого берет измором: Иван ли Новгород или Новый Город Ивана?

Митрополит, по слухам, уже находился в Орде. Летом, по наказу Ивана, на Москве начали новый храм, архангела Михаила. Храм над гробами, как мыслил Калита, всех владетелей московского дома, начиная с покойного брата Юрия. (Была мысль и батюшков прах перенести сюда, тем паче что и монастырь Данилов перевел в кремник, но вспомнил завещание родителя и отступил. Убоялся нарушить отцову волю.) С сооружением этого храма устроялась главная площадь в Кремнике, окруженная соборами и теремами. Город принимал вид столичный. Храм воздвигали споро, как и прежние. Единым летом и начали, и завершили.

В начале июля, убедясь, что работы идут полным ходом, Иван выехал в Переяславль. Ехал верхом, медленно, дневал и ночевал в дороге. Молодую жену вез за собой в возке. Ульяна была непраздна, и не хотелось

излиха утомлять ее на тряских дорогах. Может, еще и потому, что ехали медленно, многое вспоминалось дорогой. Впереди, пыля, уходили за увал передовые комонные княжого поезда. Пыль относило ветром. Колосились, наливая, хлеба, и волны ходили по голубым хлебам, словно по морю. Бросались в очи там и тут недавние росчисти, густо поросшие щетинистою рожью, виднелись свежие избы. Радонеж расстроился, стал уже немалым городком. (А все пришлые, ростовчане, вон и огороды развели! Поглядеть? Поговорить с ними? Едва не решился уже, но отдумал: тяжко и недосуг...). В Радонеже остановили на ночлег. Ивану, по его приказу, постелили в путевом сарае, на сене, на продухах. Посвежевший к вечеру ветерок приятно холодил, обдувая лицо, шевелил волосы. Натянув до подбородка толстину, Иван лежал, слушая последние звуки угасающего дня, блеяние и ржанье скотины, петуший пронзительный крик, скрип калитки, затихающий гомон и топ. Хлеба нынче не по прежнему году, добры. И скоро жатва. Сейчас с поля приходят в избы, пьют белопенное теплое молоко, ужинают, укладывают детей... Кольми проще быть мужиком, чем князем на Москве! Что вспоминает он сейчас? Не косьбу и не жатву хлебов, а лишь бесконечные пути, да ратные станы, да тот, далекий уже, как детство, переяславский пополох, когда подступал к городу Акинф Великий и он сидел растерянный среди растерянных бояр, брошенный и не нужный никому, и как все поворотило потом! И ужас, юный ужас от страшного, на рати поднесенного ему Родионом дара — косматой и окровавленной головы Акинфа на копье, и тяжелые темно-красные капли, падавшие в белый, истоптанный копытами снег...

Как звали того послужильца, что привез им спасение? Никанор... Нет, Федор! Федор Михалкич! Вот как! Да ведь его же сын ныне у меня в обозе! Вспомнил, покачал головой. Как и запамятовал? Протасий ить напоминал, пото и отправил с ним, с дружиной... Мишук — вот как его зовут. Мишук Федоров. Не забыть, поговорить с ним тамо, в Переславли... Мысли начали мешаться, напомнилась почему-то Орда, и опять суровым и страшным. Он задремывал уже, когда раздался осторожный шорох сена. Иван вздрогнул и тут же улыбнулся. Это была Ульяна. Не выдержала, прилезла к мужу. Забралась к нему под толстину, посапывая, устроилась у плеча. Стало хорошо, покойно. Он уснул.

Но и во сне продолжал думать, считать серебро, которого все не хватало, никак не хватало для чего-то важного-важного, что надо было вырешить враз, а серебро лилось тонкою звенящею струйкой. Или то месяц заглядывал в широкие продухи сарая? И лунный серебряный свет падал на лицо уснувшего московского князя — старое, в заботных морщинах, суровое и во сне, словно бы совсем уже мертвое лицо...

## ГЛАВА 29

Он проснулся первый. Выбрался тихо, стараясь не разбудить Ульяну. Плотнее укутал жену, натянул сапоги и, съехав по сену, осторожно соступив по ступеням приставной лесенки, очутился наконец на земле и разом издрогнул, словно в молоко погрузившись в предутренний туман. Ратник, узнав князя (видно, дремал стоючи), подтянул кушак, тверже взял копье в руки, прокашлял, подавая знак другим. Иван, велев вполголоса не будить княгиню, проминовал ограду, остоялся, чуя речной холод и подымающийся передрассветный ветерок, следя, как начинает ясно разгораться заря и над лесом встает, словно бы золотой сияющий меч, предвестие солнца.

Вот сейчас выйдет к нему из тумана обещанный Алексием святой, весь светлый, в сияющей седине, окруженной сиянием, поглядит на него и скажет... Что скажет? Что-нибудь такое: «Темный ты! Проснись! Вкуси света горнего!» И что ответит он, Калита, святому из Радонежа? Упадет ли на колена, заплачет ли, каяти начнет — о чем? Или просто попросит благодати? Благословения ему, грешному князю русской земли? Туман тихо плыл, и казалось впрямь, что где-то тут, невесомо, реет сияющая тень того, кто должен прийти, дабы спасти и осенить светом землю языка своего.

Но не вышел святой, вышел мальчик в липовых лаптишках, в белой, подпоясанной крученым ремешком рубахе, высокий и ясный зраком, с расчесанными льняными кудрями, с удою в одной руке и связкою мелкой речной рыбы на самодельном кукане — в другой. Он сперва испуганно, потом с любопытством воззрился на князя, постоял, сказал: «Здравствуй!», верно и не признав в нем владыку Москвы. И когда Иван ответил, мальчик светло улыбнулся ему, покивав льняною головой. И так же

тихо исчез, растворился в тумане, словно и не был, словно привиделся князю перед зарей.

Уже когда золотой краешек дневного светила пробрызнул сквозь дальние вершины дерев, Иван воротил в избу, стал на молитву перед походным налоем...

## ГЛАВА 30

В Переяславле ждали дела многие. Следовало урядить старые порубежные споры с ростовским и юрьевским князьями, досмотреть, как чинят городскую стену. В Клещине-городке побывать удалось только через несколько дней. Обветшали стены, покривились терема. Гуще разрослись деревья. Иван взял с собою Мишука Федорова. И по тому, как тот притих, озирая все кругом, понял, что у ратника какие-то свои, дорогие воспоминания. Ему, Ивану, здесь уже было чуждо. Место, любимое отцом, почти ничего не говорило сердцу, и только из уважения к памяти родителя Иван подозвал ражего переяславца, спросил, здесь ли был дом Мишукова отца, Федора.

— Не здеся! — сглотнув слюну, супясь, отмолвил ратник.— Подале ищо, Княжево село слывет. Я уж был тамо, и на погосте был...— сказал он и умолк, отворотив лицо.— Извиняй, князь-батюшка! Я ведь рожден тута,— примолвил он погодя.— Дак узрел хоромы родителя, и таково стало... Ну, словом, пожалилсе непутем! Родина!

— Да,— отозвался Иван, подумав,— родина...

И не нашел, что сказать, измыслить. Широко виднелось синее озеро с холма. Стояли деревни, неотличимые от прочих. И кому-то — вот этому немолодому ратнику — тут, в здешней стороне, осталась от сердца неотрывная боль. И, верно, у покойного родителя было то же. Потому и добывал Переславль, и дрался за него! А ему, Ивану? Переславль он не отдаст, да теперь, после смерти Михайлы Тверского, некому и позариться на город! Но уже нет и сердечной боли, нет и безотрывной радости увидеть этот край. Так, в поколениях, заплывает все, и останет... что же останет ото всего? Родина, Русь! Которую еще предстоит завоевать и утвердить в роде своем!

Отвердев лицом, Иван приказал седлать. Припоздавший дворский кинулся было:

— Какие наказы будут, князь-батюшка?

Иван отмотнул головой: какие тут наказы! Чинить терема не стоило уже. Вдел ногу в стремя.

В Переяславле его ожидали новгородские послы. Приехал сам архиепископ Василий Калика с боярами Терентием Данилычем и Данилой Машковичем.

В городе у теремов было людно. Вся Красная площадь была заставлена возками и телегами. Рядами стояли кони. Конский дух покрывал все прочие запахи.

Иван принял посольство ввечеру, в большой палате старых теремов. Сидел прямой, в золотом оплечье, в шапке княжой. Склонив голову, принял благословение архиепископа Василия. Отметил, как за прошедший малый срок изменился Василий Калика. Ни росту, ни стати не прибавив, словно и выше и серьезнее стал. Прямой глава Великого Города! Строит и строит! Ему бы, Ивану, иметь столь серебра, чтобы каменными стенами окружить Кремник!

Василий сел в поданное ему кресло. Сели бояре. Василий поднес золотую чашу, бояре — розовый жемчуг, рыбий зуб и кречета. После уставных слов, уставных речей и приветствий перешли к делу. Пятьсот рублей предлагал Господин Великий Новгород великому князю владимирскому. Пятьсот! А Иван мыслил получить вчетверо больше! (И без этого «вчетверо больше», без двух тысяч серебра, не мыслил, как и чем окупить ему тайные замыслы свои.)

— Помысли, княже,— говорил меж тем Василий Калика, прямо глядя в глаза Ивану,— сколь раззору, и остуды, и горьких слез сиротских от нашей которы! Сколь купцам в торгу умаления, сколь злобы и нелюбия в русской земли! Уйми меч свой и утиши сердце свое! Возьми мир с Новым Городом, приезжай на стол, а мы примем тебя с открытою душою! Вонми, княже! Не дай остуды! Не отторгни от себя сынов своих!

(«Грозят? — думал меж тем Иван.— Нет, не дадутся они и Гедимину! Католики для них страшнее! Не уступлю!»)

— Княже, помысли о братней любви, ю же заповедал нам господь наш, пресветлый Иисус, приявший за ны муку крестную! — говорил Калика, а Иван думал: «А стены каменные почто в Нове Городе Великом? Вот та и любовь! Не уступлю ни за что!»

— Не можно нам дати более! И опричь того, ради

мира и тишины, полную дань, яко же по обычаю, по грамотам старым, и бор по волости, и повозное, и с Русы княжое, с варниц соляных, о чем допрежь того уряживали с тобою! — продолжал теперь уже боярин Терентий Данилыч.

Вельяминов с Михайлою Терентьичем и Окатий с Феофаном Бяконтовым на лавках переглянулись, выразительно поглядели на князя. «Не поладить ли уж?» — говорили их взоры. Иван внимал, не пошевелив бровью. Ему нужны были две тысячи. Вот так нужны! Паче смерти, паче любви.

Потом еще два дня толковали меж собою бояре. К Ивану приходили вновь и вновь. Но двух тысяч Новгород не давал никак. Стояли на пятистах рублях по-прежнему. А меж тем скорый гонец донес Ивану весть радостную и жданную им уже очень давно: в Москву ехал митрополит Феогност. «Не уступлю же я им! — решил Иван.— Пусть они мне уступят!»

Ничем кончилось посольство владыки Василия. Поворотили послы восвояси. А князь Иван поскакал в Москву — встречать митрополита Феогноста, гордый собою, отринувший на время все заботы господарские, помолодевший даже, едва ли не хмельной от радости.

Увы! Похмелье на этом пиру улетучилось быстро. Иван на сей раз недооценил новгородского архиепископа. Василий Калика из Переяславля прямехонько направился во Псков, где не был до того семь лет, помирил Плесков с Новым Городом, утишив давнюю прю двух вечевых республик, крестил новорожденного сына Александрова, Михаила, и уж одним крещением дело не обошлось. Были и речи, и замыслы, и дела тайные с опальным тверским изгнанником. И не успел Иван нарадоватися встречею митрополита (двадцатого сентября, на память мученика Евстафия Плакиды, Феогност освятил великим священием новую церковь Иванову, храм архангела Михаила, заключивший устроение и украшение кремника), как и новая весть прикатила на Москву: в октябре в Новгород прибыл Наримонт-Глеб, крещеный сын Гедиминов, и получил все, чего добивался некогда для него отец: городки Корельский и Ореховый, половину Копорья и Ладогу — в вотчину и род. Только тут понял Иван, что зарвался и едва ли не проиграл все, добытое с таким трудом. Гедимину проявить бы побольше терпения — и конец всем замыслам Калиты! Но

литвин, к счастью, зарвался тоже. Захотел круто и враз наложить руку на новгородские волости и тем спас Ивана. Новгород заколебался, а Калита, уразумевший, что против троих один бессилен, кинулся мириться с Гедимином. Семена как раз подошло время женить, и лучшего повода для переговоров с сильным соседом не выдумать было. Он вызвал Симеона. Напомнил сыну прежний их разговор. Помолчал. (Сидели вдвоем только.) Выговорил, выдавил из себя:

— Не хотел, не думал так с тобою... чтобы от труднoты, от высшей нужды княжой! Не ведал, что и тебе придет испытати однесь горечь вышней власти!

— Не надо, батюшка! — возразил Симеон раздумчиво.— Бог милостив! И у простых смердов родители выбирают невест детям своим!.

Симеон утупил очи. Иван поглядел на сына благодарными, увлажненными глазами. Повторил его же слова:

— Бог милостив! Бояре досмотрят, чтобы прилепа и красовита была.

Назавтра в Литву поскакали послы. Феогност, со своей стороны, помог, поддержав посольство великого князя владимирского. Хрупкий мир с Литвою, столь нужный для переговоров с Новгородом и утеснения Александра Тверского, кажется, восстанавливался.

## ГЛАВА 31

То, что помогло Ивану вовремя опомниться, было недавно пробудившееся в нем все растущее смутное ощущение вины. Перед кем и перед чем? Он спешил с окончанием храма, думая, что чувство это исчезнет, и, только воротясь в Москву из Переяславля, понял, в чем дело. Он не то что забыл, а отложил, отодвинул от себя тот, давешний свой разговор с крестником, за что и был наказан, ибо есть нечто, чего ни забывать, ни даже отлагать неможно в жизни сей. Но молодая жена, но ожидание дитяти, но кажущиеся успехи в делах новгородских, обернувшиеся нынешним поражением, но ожидание Феогноста... Знал же он, что Господь за леность духовную карает сугубо!

Ульяна, которую он из Переяславля отослал прежде себя (ей подошла пора рожать), встретила Ивана с дочерью на руках, вся трепетно тихая, с сияющими гла-

зами, вокруг коих еще лежали голубые тени недавней сладкой и трудной муки первого материнства. Иван осторожно принял сверток, поглядел на сморщенную красную мордочку, услышал слабенькое «уа, уа» — и, воротив ребенка, бережно обнял и расцеловал жену, грешным делом, однако, подумав при этом: хорошо, что дочерь, а не сын! Семену, да и Ивану с Андреем было бы обидно делить добро со сводным братом... Иван уже не принадлежал себе так, как прежде, даже в браке, даже в семье!

Крестника Алексия с Феогностом Иван свел сразу же, на второй или третий день по возвращении, едва урядив самые срочные дела.

И вот они сидят втроем, как когда-то сидели втроем с митрополитом Петром. (Иван уже намекнул осторожно Феогносту, что паки надлежит похлопотать о скорейшей канонизации покойного Петра, понеже чудеса у гроба святителя происходят, и исцеления и прочая многая... Пока так, скользом, ненастойчиво, давая сей мысли созреть в уме нового русского митрополита. Даже и то, что Петр родом из Волынской земли, подчеркнул сугубо Калита: пусть Феогност поймет, что там, в западных русских землях, канонизация Петра такожде не должна встретить препоны.) Сидят трое, и Иван, как и прежде, молчит, слушает. Молчит так, как умеет молчать только он, почти уничтожась, почти не существуя в покое. И лишь то отличает сию беседу от той, давней, что возмужавший крестник сам говорит, и говорит красно, подчас переходя на греческий, и улыбка снисхождения постепенно сходит с лица Феогноста, узревшего в сем молодом мнихе, невеликого росту, худоватом и большелобом, с острою бородкою клинышком, собеседника, равного себе и даже зело искушенного в греческих книгах.

Московское строительство Калиты вызвало у Феогноста невольное уважение. Город, показавшийся в первый приезд скучным скоплением бревенчатых хором, начал приобретать вид прилепый. Храмы, малые, но своеобразной, по-своему приятной архитектуры, расставленные по четырем сторонам, обочь и прямь княжого дворца, означили площадь внутри града, и от них уже и сам дворец выглядел иначе со своими резными крыльцами, опушенными кровлями и смотрильными башенками по сторонам. Приходилось отдать должное князю: времени он не терял и щедроту к церкви выказал немалую. (Се-

ла, переданные ему князем, также весьма и весьма омягчили душу греческого митрополита.) Феогност даже обмысливал, не перебраться ли ему в Москву? Но предпочел — так было пристойнее — остаться во Владимире, где как-никак располагалась кафедра митрополитов русских вот уже поболе тридесяти лет.

Конечно, строительство Калиты не равнялось еще ни с Новым Городом, ни с Владимиром, да и многим прочим градам русским уступала Москва, но все же... В таком духе, мысля не обидеть собеседника, ответствовал Феогност Алексию на прямой вопрос того, что он мыслит о храмах Москвы. (Калита совсем задвинулся в тень, когда речь зашла об этом, и только ждал, что же возразит митрополиту крестник.) Алексий чуть качнул головой, глянул Феогносту прямо в глаза. Колюче — не навык еще или намеренно пренебрег словесным вежеством — не сказал, брякнул:

— И бедны, и малы, и пред храмами Константинова града ничтожны суть? Тако хощеши ты сказати, отче? Так! Почто прямо не рещи о том! Так и паки так! — Калита приподнял было руку, не то защищаясь, не то останавливая Алексия, и смолчал. Феогност, тот поглядел удивленно, раскрыл было рот мягко возразить, но Алексий не дал ему молвить, голос его окреп, румянец проступил на щеках:

— Да, да! — жестко примолвил он.— Но зри и иное: единым летом возведены, не возведены — возникли! С тою же почти скоростию, с коей рубят у нас хоромы древяные после пожаров и воинского раззору! Я чел в хронографии Пселловой,— сказал он с запинкой, с тем юным смущением, которое часто постигает русского человека, вынужденного признаваться в своих познаниях,— житие кесаря Константина, супруга императрицы Зои, коему ипат философов, Пселл, ставит в особый упрек драгое храмоздательство: воздвижение и паки разрушение и вновь созидание в прекраснейшем и величайшем облике храма святого Георгия... Даже и в сем святом деле не была потребна суетность! Даже и тут достоит воспомнить завет Господень: «довлеет дневи злоба его» и «не заботьтесь, живите, яко птицы небесные»... То есть и заботно, и домовито, яко же и сии вьют гнезда и птенцов прилежно вскормят и воспитают, но незаботно, не погружаясь полностию в суету забот, оставляя главнейшее в себе Богу. Не быть рабами вещей созидаемых! Заботить себя, но

не утопать в заботах! И вот зри: храмы сии — это путь, а не конечный предел, не последнее, что возможет создать и произвесть наш народ. Да, малы, но бегучи, и горé устремленны, и слиты с бескрайностью окоема земли и небес! Зри! Означена площадь, и вырастут новые храмы окрест, роскошнейшие и огромнейшие нынешних, и такожде не станут пределом, а будут воспарять, намекать, ознаменовывать... Зри и в иных градах такожде! Просторны и в простор устремляемы, и за любою крохотною часовнею окоем безмерной широты указует зодчий ее! Русское храмоздательство ныне не суетно, это поприще, путь, а не конечная пристань. Оно отворяет врата совершенствованию, словно бы глаголет: «Да! Есть силы на иное, дражайшее! Есть силы подвигу, движению вдаль и отречению от злобы сего дня и от забот суедневных!»

— А София? — спросил серьезно заинтересованный Феогност. Но Алексий отмотнул головою, повторив неотступно:

— За предельным всегда надрыв и надлом! Надобно даже и в большем оставлять место движению, дабы возможно было свершить и нáбольшее! Но и предельное для сил человеческих доступно, ежели не суетно и не в себя самое обращено усилие, как пишет о том Пселл в хронографии своей. И София свершена — хоть и не зрел, но, по словам очевидцев и гласу мудрых, сужу о том — не всуе, не в себе, не суедневной красы ради, но обращена к безмерности божией, ради духа и в духе устремлена и парит в аере света! Всякое самоцельное земное бытие и самоцельное действование — богатств ли стяжание, произведение ли плодов земных преизобильное — лишь затем, дабы паки и паки воспроизводить, все увеличивая, создавая заводы многие, все новые и бóльшие прежних,— но не овеянное духом, но не осмысленное высшею целью, тленно и временно, и непреложно сокрушит себя, и даже само производство и само изобилие созданное изничтожит, ибо безмысленно, а потому безлепо и гибельно суть!

Алексий умолк так же внезапно, как и начал свою горячую речь. Поглядел чуть смущенно и мягко, словно бы извиняясь за излишнюю горячность, и заключил негромко:

— Отче! По нашим храмам можешь видеть ты, яко еще млады есьмы и не задавлены духом, имеяше

хотение и волю к подвигу, а посему многое возможем свершить в череде веков грядущих!

Иван с беспокойством глядел на Феогноста: не обижен ли? Но грек не обиделся. Думал. Неспешно склонил голову, как бы утверждая сказанное. После зорко оглядел Алексия.

— Како мыслишь ты, сыне, о княжестве Литовском? — вопросил он заинтересованно, и Иван сновь как бы исчез, как бы слился с полутьмой скудно освещенного покоя.

— Мыслю, что католики разорвут на части и сокрушат оное, стремясь к одолению церкви православной, и потому токмо на нас ныне надежда веры в русской земле! — строго ответил Алексий.

Иван отвалил к стене и мысленно, возведя очи горе, с жаром и трепетом воззвал: «Господи, сотвори так, чтобы он греку сему по нраву пришел! На сей малой нити зиждет ныне судьба земли моея!»

— Слыхал я,— медленно произнес Феогност,— что и в делах суетных, управляя заводами монастырскими, явил ты себя, сыне, зело рачительным и немалую успешливость оказал?

Алексий бледно усмехнулся, чуть заметно пожав плечами.

— Творил потребное по слову игумена своего! Покойный батюшка мой зело рачителен был и успешлив в многоразличных заводах, начиная от стад скотинных и кончая книжным делом и зодчеством храмовым. Неволею усвоил и я сию мирскую мудрость... Но и то скажу! Для успешного ведения дел мирских паки надлежит не погружать себя в них всецело. Отстояние, духовная высота и здесь потребны сугубо и сугубую пользу приносят! Мню так, ибо не пораз убеждался в этом. Мню, даже и гости торговые, что всю жисть свою ведают един товар и куплю и продажу оного, много успешливее в делах своих, егда мыслят не об одной лишь пользе суедневной, но и о благе духовном! Шире, крупнее мыслями, щедрее и взыскательней к людям, видят глубинное и главное за суетою дня, не страшат утерять сегодня малую мзду, егда грядет послезавтра бо́льшая и множайшая, а скончая живот свой, не скупо дарят церкви божии, вдов и сирот призревая, нагих одевая, насыщая голодных и напояя жаждущих, и тем великую пользу приносят Господу и народу своему.

Иван тут только решился подать голос, отнесясь к Феогносту из своего темного угла:

— Отче! Села ти, данные на прокорм дома святого, назирал и лелеял сей Алексий, сидящий зде, по прошению моему, и оказал в сем деле мирском, но потребном Господу тщание великое и талан немалый!

Алексий, прихмурясь, опустил лицо. Феогност вспыхнувшим любопытным взглядом озрел младого мниха, который определенно начинал нравиться ему, и подумал: «А почему бы и нет? Возможет и большее!» То, что без местных, выросших здесь, исхитренных в нравах и навычаях своей земли помощников ему не обойтись, Феогност знал с самого начала и сейчас уже без прежнего внутреннего протеста ко всему, о чем просил московит, воспринял эту новую подсказку князя Ивана. В самом деле, а почему бы и нет?

Судьба Алексия начинала, пока еще медленно, поворачивать, как медленно начинает движение тяжкий камень, стронутый водомоем с места своего, или рудовое бревно, поддавшееся наконец усилию плотника, или осыпь песка, или лавина тающего снега над оврагом, что сперва начинает неспешно, чуть заметно глазу, оседать, а потом уже с гулом и грохотом рушит в провал беснующей вешней воды,— так зачала поворачивать судьба Алексия к тому слепительному и многотрудному пути, по коему было назначено ему идти Господом в небесах, а на земле — крестным отцом, московским князем Иваном.

## ГЛАВА 32

Невеста, сысканная Семену среди многочисленных потомков Гедимина, была от роду четырнадцати лет, с белыми, как лен, волосами, крепкая, статная, «приятная зраком», как доносили послы, именем Айгуста. Крестить ее порешили на Москве, разом и крестить и венчать, и даже заранее подобрали новое православное имя: Настасья.

Семнадцатилетний Семен, не видавши жены, порядком нервничал, лишь одно понимая: брак этот был нужен, дабы спасти судьбу княжества, а раз так, он должен, обязан во что бы то ни стало полюбить чужую литовскую девушку, которую вот-вот привезут к нему на Москву. Полюбить, какая бы она ни была собою.

Для свадьбы старшего сына Иван, обычно скупой, не пожалел ничего. Кормить собирались всю Москву. Из деревень везли примороженные говяжьи туши, сыры, кади с маслом, битую птицу, дичину и медвежатину. Бочки с сиговиной и щучиной, норвежскую сельдь, шехонских вялых осетров, связки сушеной и вяленой рыбы доставляли торговые гости и княжьи осетрники из ближних и дальних земель. Студень готовили в котлах, на варку пива ушли все княжеские запасы солода, лагуны и бочонки с густой янтарно-коричневой хмелевой жижей выстаивались по погребам, ожидая своего часа. Греческое и фряжское красное вино; стоялый мед — без счета и меры; сорок разноличных квасов в сотнях бочек, привезенных из дальних дворов; редкие кушанья и специи иноземные — перец, шафран и имбирь, грецкие и волошские орехи, изюм и нуга; бочонки береженого уксуса, горчицы, соленых и сушеных трав; вареные в меду ягоды; соленые и сушеные грибы — все пошло в дело. Готовились пироги с вязигою и осетрьими пупками, блины с икрой, расстегаи и кулебяки, печеные лебеди и павлины — как есть, в перьях, с вытянутыми и выгнутыми на серебряных проволоках шеями,— целиком запеченные кабаны и печатные медовые пряники, каши простые и сорочинские, кисели, варенья, печенья, закуски и сласти... Каких только ед и питий не наготовил великий князь!

Гостей ожидали аж из Суздаля. Столы с яствами для простонародья и бочки пива должны были поставить прямо в улицах. Готовили факелы и плошки — свету ради в ночную пору. Накануне свадебного дня варили уху разом на сорока поварнях, улицы устелили хвоей, а путь от церкви до теремов бухарскими коврами и алым сукном. Венчать молодых должен был сам митрополит. Слуги сбивались с ног. Иван еще накануне сам проверял приданое и подарки гостям: куниц, соболей и бобров, паволоки, цветную зендянь, камку и сукна, кубцы и чары, иконы, узорную ковань, кречетов, коней и оружие для особо дорогих гостей. Был зван сам баскак владимирский, и для него готовили коня редкой голубой масти, русскую бронь и уклад. Изо всех погребов, чашниц, бертьяниц и кладовых извлекали на свет божий посуду точеную и глиняную, русское серебро и ордынскую поливную глазурь. От беготни, кишения прислуги по покоям и лестницам княжой

терем казался развороошенным муравейником, и, почти оброшенный, словно бы никому не нужный, жених в этом гаме, шуме и суетне, несчастный, исходящий потом и страхом, только и молил, чтобы скорее пронеслось, прошумело и кончилось это всесветное позорище, поздравленья, хлопоты, в коих он не мог принять никакого участия... Как бы сказать отцу, что не надо, не стоит! Что лучше во много раз так бы тихо, пристойно, как сам батюшка... И понимал, встречая захлопотанного, умученного, с немного растерянною улыбкой родителя, что не скажется, не промолвится такое, что тому и самому нужно все это: и шум, и гам, и роскошь пира на всю Москву — ради чего-то, что хочет отец закрыть, затушить, отодвинуть от себя, и потому жалко становилось родителя. О многих темных делах Калиты знал и догадывал Симеон и не судил отца, понимал: дóлжно так. Так зачем и пир, и шум, и расходы княжеские? Разве для соседей, для тестя, для Гедимина...

А Иван, и верно, старался затушить, скрыть от себя самого жалкую и противную мысль, что этим браком старшего сына не столько он связывает литовского князя, а его самого связывает и неволит к чему-то Гедимин. И еще одно было в душе, тщательно отодвигаемое и тоже жалкое, гадкое почти. То, что дочерей отдал не столь для них, сколь для себя: чтобы забрать Ростов, наложить руку на Ярославль... И, отдавая, думал, что уж сыновьям-то устроит семьи по-иному — по любви, по совету. И вот приходит любимого, старшего, венчать не с женою, а с Литвою, с литовским княжеским домом, ради опасу, ради мира, ради упрямого Нова Города, ради вечной занозы и угрозы своей — Александра Тверского. И мало еще ради чего... Прости меня, сын! Прости и пойми! Я и днесь не могу по-иному!

Хотелось посидеть с Семеном. Просто присесть рядом, обнять, по-старому, как прежде, и помолчать или начать неспешно сказывать о делах и заботах. Нельзя было. Никак. Некогда и даже негде. И он бегал, суетился, потеряв на время свою обстоятельную неспешливость, с жалкою добротою взглядывал на сына, и ловил ответные смятенные взгляды, и видел испарину на лбу княжича, и не мог ничем помочь, ни утешить, ни даже обтереть лоб сыну полотняным платом, прошептав слова ободрения...

В ризнице Успенской церкви меж тем все еще до хрипоты спорили: крестить ли невесту княжича погружением или окроплением? Пока грозный приказ Феогноста: «Погружением!» — не положил предела спору. И уже доставали огромную медную купель, и вешали занавесы, дабы пристойно приобщить к Господу молодую литвинку.

Уже звонили колокола московских звонниц, и тяжко отвечало им грузное било на городской стене. Поезд с невестою втягивался в городские ворота. Уже не пройти и не ступить стало от толп любопытных москвичей, уже сам Иван забежал в верхний покой, где одиноко ждал сын, уже наряженный, заполошно выкликнул: «Едут!»

И тотчас вбежали дружки — Редегин с Хвостовым, сыновья Михайлы Терентьича и Вельяминова, Окатьев с Афинеевым,— а за ними степенно вошел свадебный тысяцкий, Михайло Терентьич, и началось, и повелось пристойным старинным побытом.

Пока в церкви боярыни из старейших родов московских раздевают невесту и окунают в купель («Наклонись, милая! Наклонись! Так вот, так, еще пониже! Головушкой, головушкой погрузись, не жалей волоса!» — И старая Блинова, слегка нажимая на затылок девушки, заставляет ее троекратно нырнуть, меж тем как священник, отец Ириней, произносит уставные слова и крестообразно помазывает миром новообращенную. Литвинка, отфыркивая воду, охает и с веселым испугом оглядывает кружок разряженных московских боярынь, золотую ризу и седую бороду старика священника, худо соображая, что с ней, поскольку уже мысленно готовилась к тому, иному, для чего ее привезли нынче на Москву...), пока все это происходит в церкви, в палатах готовят столы и свадебную постель из ржаных снопов, рядами выстраивается стража вдоль дороги, и Симеон, побледнев, покраснев и вновь побледнев, умытый серебряной водою с вином, переряженный, готовится выйти в церковь, стать рядом с невестой, которой он до сих пор еще ни разу не видал. Поезд жениха медленно шествует по сукнам. Невеста — вытертая, переряженная, с влажными еще волосами — уже ждет в церкви, в окружении подруг, и тоже волнуется, боится не узнать жениха. «Который? Который? Этот? Тот?» — решает она торопливо, когда шествие начинает входить в церковные двери, но боится спросить, так как худо

понимает русскую речь. Жених тоже отчаянно вертит головой, отыскивая — где же невеста? И вот наконец они стоят рядом друг с другом (он не так высок, как ей хотелось бы, и слишком юный на вид, но зраком приятен, и не урод, слава богу, и не черный лицом — черных она не любит и боится). Невеста глядится Симеону какой-то чрезмерно простой, и слишком плотной телом, слишком белобрысой, может, и слишком большой для него, хоть не кривая и не косая, а зраком усмешлива и вроде приятна собой... Он, волнуясь, протягивает руку. Пальцы у нее твердые, прохладно-влажные от недавнего купанья, и что-то прочное, устойчивое исходит от нее, передается Семену. Ишь, даже и рука не дрожит!

Над ними подымают венцы. Митрополит Феогност спрашивает громко, и Семен не сразу понимает, что надо отмолвить ему. Потом они оба одновременно ступают на подножие, делают круг, другой... Ни он, ни она еще не думают ни о чем предстоящем, так волнуются и так стараются все правильно совершить. Она что-то говорит по-литовски. Он отвечает по-русски, верно невпопад, но их тотчас заглушают пение и колокольные звоны словно бы над самою головою.

Невесту отводят переменить головной убор с девичьего на женский, и Симеон опять стоит оброшенный, не зная, куда девать руки, как стоять, улыбаться или нет... Ее подводят снова, уже в повойнике, закрытую, и он вновь берет уже знакомые ему твердые пальцы сильной (излишне сильной!) руки и опять ощущает спокойствие, исходящее от нее, хотя девушка и волнуется не меньше самого Симеона... И вот они идут по сукнам назад, ко дворцу, осыпаемые рожью, льняным семенем и хмелем; и громогласно, вспугивая галок с кровель и крестов, кричат по сторонам горожане; и самостийный хор жонок оглушительно запевает свадебное славословие:

Выбегало-вылетало тридцать три корабля,
Ой, ра́но, ой, ра́но, ой, ра́но мое!
Тридцать три корабля, да еще с кораблем,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!
Да еще с кораблем, со уда́лым молодцом,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!

И, продолжая петь, заглядывают, улыбаясь, ему в лицо, лезут, пихая стражу, и гремит, гремит, все оглушая, праздничный хор:

Со невестою своёй, со Настасьей-душой,
Ой, рано, ой, рано, ой, рано мое!

Семен с трудом понимает, что они уже дошли до крыльца, едва не спотыкается о ступени. Гудит и кружит в голове; часто, толчками, бьет кровь в сердце; и сзади, словно подпирая, упруго вознося их на высоту, гремит несмолкаемый хор.

Михайло Терентьич подходит со ржаными пирогами в руках. Улыбаясь, скусывает острые кончики: не выколоть бы глаза молодой! Концами пирогов снимает плат с новобрачной, трижды обводит посолонь. Айгуста-Настасья, освобожденная, легко встряхивает головой, обводит глазами стол и гостей, заливаясь алым румянцем, и Симеон наконец-то видит, что она, и верно, хороша, хоть по-прежнему ничего к ней не чувствует такого и словно бы даже не понимает еще, что перед ним девушка-жена, с которой ему вечером предстоит вместе лечь в постель.

Их усаживают, кладут им одну ложку на двоих, и Настасья первая, с веселыми искрами в глазах, подносит ему что-то горячее и жирное. Он неловко глотает, черпает сам и, пряча глаза, сует ей ложку куда-то едва не мимо рта — только бы скорей исполнить стыдный обряд! А пир идет, и гости, сперва чинно выхлебавшие уху, уже начинают шуметь, уже озорные шутки и намеки достигают ушей Симеона, уже перебрали иные и фряжского вина и стоялого меду, пронзительно дудят скоморохи, гомонят подвыпившие бояре, нагрелась холодная поначалу столовая палата, распахиваются чуги, коротеи и зипуны, жар ходит волнами, колебля пламя свечей, щурят узкие глаза татары, глядючи на молодую. Все дру́жки Симеона уже полупьяны и веселы через край, готовятся весть жениха с невестою в брачный покой, и только одни молодые, двое, сидят, изнемогая, словно на чужом пиру, она — сожидаючи первой ночи (как это у них будет? Мечтала девочкою: он придет, сильный, большой, возьмет ее на руки, словно перышко, с маху кинет на постель...), а Симеон одного ждет — конца, конца духоты, шума, пьяни (тайно ненавидит с детства пьяных, не понимает и боится их) — и не мыслит даже, как ему быть с молодою женой...

А отец, с увлажненным челом, кивает ему, тоже хмельной, чего с родителем, почитай, и не бывало никогда, и мачеха посматривает на них обоих со значе-

нием — скоро пора и на постель отводить! Словно в тумане видит Симеон, как пробираются сквозь толпу гостей и слуг какие-то в татарском платье... Что-то створилось? Отца вызывают из-за столов. Беда? Какая? Хоть бы петь перестали! Не слышно же ничего! Он тянет шеей вослед отцу, брови сдвигаются заботною складкой: выйти? Узнать? Кто-то трогает его за рукав — едва не забыл о молодой жене! Рассеянно успокаивая, гладит ее по плечу, а она, заглядывая ему в очи, вдруг осерьезнивает, прошает трепетно:

— Воино? Рати? Ратни гроза?

И Симеон, опомнясь, берет ее за руку, твердо сжимает запястье:

— Нет, нет! Иное! Не страшись!

Она не страшится, но и не отнимает руки. Ей сладко, что он так, по-мужски, сжал ей руку, только теперь почувствовала она наконец, что рядом с нею не мальчик, но муж, мужчина, хоть и не подымет ее в воздух и не бросит с маху на постель. И она вздыхает глубоко-глубоко и слегка — не заметили б гости — прижимается плечом к своему московскому мужу.

Вот, расталкивая толпу, пробирается к нему дворянин, посланный отцом, говорит вполгласа:

— Посол из Орды. Саранчюк! Батюшку князя к Узбеку кличут!

Симеон кивает благодарно и, поворотясь к жене, поясняет ей:

— В Орду зовут! В Орду!

— Ты? — спрашивает литвинка, округляя глаза.

— Не я, не я! — трясет головой Симеон.— Отец, отец, батюшка! Отец поедет!

Она кивает. Кажется, поняла. Уж не огорчена ли, что не его зовут? От постели брачной — в Орду! И он только тут догадывает, что молодая литвинка хочет видеть в нем воина, мужа, и немножко обижается сперва: привыкли тамо, в Литве, к ратям да браням! А потом, подумав, к худу то или к хорошу, решает, что к добру. Жене должно гордиться супругом своим!

Но вот возвращается отец, освобождают место важному гостю со свитой, несут кубки, серебряные тарели и мисы. Лик у родителя светел и радошен. Слава Богу, значит, удача в Орде! Какая? О чем? И отец, отвечая на немой вопрос сына, произносит, усаживаясь, одними губами, так, что только Симеон и понимает его, одно лишь тихое слово:

— Дмитров!

Тихое, еле слышное, оно звучит меж тем как удар, как хлыст. За ним все те поносные речи, что говорили об его отце после ростовского взятия. Чем еще обернет ему этот новый ярлык? А отец светел и радошен, он снова поверил в удачу, он завтра же, едва справив свадьбу сына и едва ли не позабыв о ней, устремит в Орду, на суд с престарелым Борисом Дмитровским, что не хочет добром уступить свое разоренное и разоряемое княжество всесильному московскому соседу.

## ГЛАВА 33

В Радонеже стучат топоры. Стефан с плотником Наумом и с младшим братишкою, Варфоломеем, рубят новую клеть, торопятся успеть до покоса.

Парит. Облака стоят высокими омертвелыми громадами, не загораживая яростного солнца. Земля клубится, исходит паром. Лист на деревах сверкает и переливается в дрожащем мареве. Окоем весь затянут прозрачною дымкой. Все трое взмокли, давно расстегнули ворота волглых рубах. Волосы мокрыми космами ниспадают на разгоряченные, опаленные солнцем лбы. Бревна истекают смолою. Топоры горячи от солнца — не тронь. Чмокает и чавкает свежее дерево. Оба, боярин и мужик, молча, враз, подхватывают топорами бревно, круто, рывком, переворачивают (давно выучились понимать друг друга без слов) и тут же с двух концов, наперегонки, зарубают чашки. Варфоломей торопится разложить ровным рядом мох по нижнему бревну. Урядив свое, тоже хватается за топор, изо всех силенок гонит крутую щепку, вычищая паз. Готовое дерево тут же усаживают на место. Стефан мрачен, досадливо щурит глаза, прикусывает губу, зло и твердо врубает секиру (что означает у него какую-то настырную муку мысли), и Варфоломей, обрасывая пот со лба тыльной стороною ладошки, отдувая с лица долгую прядь льняных волос, коротко и преданно взглядывает на брата, недоумевая: чем же так раздосадован Стефан? Из утра уже обратали восемь дерев, и клеть, гляди-ко, растет прямо на глазах.

Наконец Стефан разгибается для передыху — сухощавый и высокий, в отца, просторный в плечах,— легко вгоняет секиру в бревно, обтирает чело рукавом и

слегка кивает Науму, который тотчас, соскочив с подмостий, проворно забирается в тень за грудою окоренных бревен. Сам Стефан медлит, оглядывая вприщур поставленный на стояки сруб, и роняет сквозь зубы — не то брату, не то самому себе:

— Единственная дорога — монастырь! Не прибежище в старости, не покой, а подвиг! Да, да, подвиг!

Варфоломей вперяет взор в лицо брата — строгое, загорелое докрасна, резкое и прямое, словно обрубленное топором ото лба к подбородку,— в его углубленные, огневые, обведенные тенью глаза.

— Фаворский свет? — переспрашивает с надеждою.— Как на Афоне?!

Про фаворский свет он может говорить и выслушивать бесконечно.

— Стефан,— спрашивает он робко,— ты ведь мне так и не дотолковал того, как надобно деять, чего там у их... мнихов афонских?

— Чего тут уведашь... В лесе живем...— рассеянно отвечает Стефан и присовокупляет досадливо: — О чем тут, в Радонеже, можно узнать!

— Научи меня греческому! — зарозовев, просит отрок. Стефан остро взглядывает на брата, отводит взор и покачивает головой:

— Недосуг! Трудно...

Учить Стефан не умеет совсем. Мысли бросает нежданно, урывками, даже не подозревая, какая муравьиная работа творится в голове меньшого брата после каждого очередного Стефанова словоизвержения. Он опять было берется за секиру, подкидывает ее в руке, что-то поправляет легкими скупыми ударами носка.

Солнце встает все выше и уже приметно истекает из середки своей тяжелою тьмой. Вот край высокого облака легко коснулся солнечного круга, пригасив и сузив его жгучие лучи. В густом настое запахов смолы, пыли, навоза почуялось легчайшее, чуть заметное шевеление воздуха. Хоть бы смочило дождем!

— Очень хорошо! — громко проговаривает Стефан, втыкая в ствол блеснувшее лезвие секиры.— Очень хорошо,— повторяет он,— что все так окончилось! Роскошь, палаты, вершники впереди и назади. серебряные рукомои... На кони едва ли не в отхожее место!

Варфоломей слушает, раскрыв рот, забыв в руке недвижный топор. Не понял было сперва, что Стефан бает про ихнюю прежнюю жизнь.

— Роскошь не надобна человеку! — режет Стефан, ни к кому не обращаясь, горячечным взором следя пустоту перед собой. Младший даже дыхание сдерживает, мурашами по коже поняв, что брат намерился сказать сейчас что-то самонужнейшее, о чем. думал давно и задолго.

— Господь! В поте лица! — Стефана распирает изнутри, и слова выпрыгивают оборванные, словно обугленные, без начала и связи.— А мы, все силы — опасти себя от тяжести! Облегчить плеча, от поту опастись! На том камени зиждем, что и сам тленен и временен! Алчем тех сокровищ, что червь точит и тать крадет! И на сем, тленном, задумали строить вечное! Москвляне правы, что отобрали у нас серебро! Плохо, что, пока не свалит на тебя беда, сами не можем! Слабы духом! Надо самим! Нужно величие духа! Да, в монахи! — продолжал он яростно, с жутким блеском в глазах.— Взять самому на себя вериги и тяготу бо́льшую и тем освободить дух! От роскоши, от гордости, от похвал, славы — ото всего! Тогда — узришь свет фаворский!

И сыроядцы нынь терзают Русь из-за нас! Нам, нам, русичам, надобно сплотить себя духовно! Чел ты слова Серапионовы? Мы днесь «в посмех и поношение стали народам, сущим окрест»! Единение! А затем — дух святой возжечь во всех нас! Вот путь! Для сего — и прежде — очистить себя от скверны стяжательской! Дьявол взыскует плоть, Господь — дух! И это должны мы! Бояре! Мужики — они еще не вкусили благ, а мы, отравленные ими, должны сами себя изменить! Хватит сил — духовно сумеем поднять всю Русь! Все прочее — тлен. Слова не нужны. Нужны дела! Подвиг! На Руси пропала вера в подвиги!

Когда поднялась Тверь, громили Шевкала,— ты еще мал был,— знаешь, я шатался по торгу. Собралось вече. И все, все! Знали! Что надо помочь! И никто, понимаешь, никто! Первым чтобы! Как старшина, бояре как? Как на́большие меня? И — предали! На поток и раззор ордынский предали тверичей! Я тогда уразумел, понял: дух! Духом слабы! Не силою! А в училище нашем, в Ростове, споры о тонкостях богословских, что там сказал Несторий... Что бы то ни, а — сказал! А мы — повторяем только!

И Дмитрий Грозные Очи! Бесполезная смерть в Орде. Как я его понимал тогда! Преклонялся! Героем

считал! Подвижником... А, быть может, и он, вовсе... от бессилия...

Подвиг! Идти вопреки! Знаешь, ежели бы вдруг разрушились деревни и, словно от мора некоего, народ побежал в города, стеснился в стенах, забросив нивы и пажити, я бы сказал тогда: паши землю! Но не опускайся долу, не теряй высоты духовной! Знай, что и там, на пашне, творишь ты не живота ради, а ради духа животворящего твоего!

Но народ жив! Он как раз в деревнях, на земле, вот здесь, окрест нас. Нужен подвиг духовный, надобен монашеский труд! Совокупление в себе Духа божьего! Фаворский свет! Это огонь, от коего возгорит новое величие Руси!

Стефан замолк, как обрезал. Варфоломей глядел на брата не шевелясь. Путь был означен. Им обоим. И — он знал это — другого пути уже не могло быть.

— Стефан,— спросил он после долгого молчания,— что нам... что мне,— поправился он, зарозовев,— надо делать теперь? Укреплять свою плоть для подвига?

— Человек все может и так...— устало возразил Стефан.— В яме, в узилище, в голой степи, в плену ордынском годами живут люди! Выдержать можно много... любому... когда нет иного пути! Сильна плоть! Важно самого себя подвигнуть на отречение и труд, важно... да ты все знаешь и сам! — Стефан вздохнул и вновь взялся за рукоять секиры.

— Я с тобою, Стефан! — серьезно выговаривает отрок Варфоломей, в свой черед подымая топор.— Что бы ни сталося впредь, я с тобой!

## ГЛАВА 34

Старый дмитровский князь Борис Давыдович оторвался от вощаниц, по которым вдвоем с ключником тщетно пытался вот уже битых два часа свести концы с концами. Дрожащею, в коричневых крапинах старости, рукою отер пот и, растерянно взглянув на ключника, с отчаянием вопросил:

— Слушай, Онтипа, где же десять-то гривен давешних?

Спросил и закашлял, с трудом, задыхаясь (мучила грудная болесть), продышался и без сил отвалил к стене. Ключник, покусывая бороду, вертел вощаницы так и эдак, вздыхал:

— Во Твери ежели, у того купчины, у Микиты Гюрятича, по заемной грамоте прошать? — нерешительно предложил он.

Борис, коего вновь начал мучить приступ кашля, молча затряс головой, продышавшись, отверг:

— Брали уже! И у ростовчан брали, и у новгородского гостя, Герасима Нездинича, займовали... Почитай, селетошний хлеб весь на корню продан!

— Разве скота посбавить? — предложил ключник.

Князь отчаянно махнул рукой. В прежние годы, еще при Михайле, когда ему довелось наместничать во Пскове, было много легче. Оттоле и серебро шло, и товар. А теперь московиты зажали совсем! Кабы не тверские гости, то и продать хлеб, лен или говядину и немочно было! Со́боля, что когда-то обильно водился по Дубне и Яхроме, княжеские добытчики, почитай, выбили совсем, бобра тоже поменело. Дорогих шкур, что шли в Новгород в обмен на серебро, нынче стало негде и доставать. Многоразличные ездоки из Москвы и в Москву, наглые, требующие даром кормов и постоя, до того разорили припутные деревни, что народ начал подаваться кто в тверские, а кто в московские пределы. А выход ордынский давай за всех, и за убеглых тоже, не сбавят! Князь притянул к себе вощаницы и невидяще уставил в них свой потухающий взор. Была молодость, сила, надежды великие, честолюбие паче меры... А ныне вон засаленные полы, драные рукава в заплатах — и это княжеские обиходные порты! Не на черный двор — к боярам в них выходит! Едина бархатная ферязь с серебряными пуговицами хранится как зеница ока, в ней он и нынче поедет в Орду. А подарки: хану, вельможам, слугам вельмож, нукерам, писцам, придверникам... Откуда их взять? Кого упросить, пред кем пасть на колени? Мужиков обложить лишнею данью, дак и вовсе разбегутся все! Боярам уже стыдно и в очи поглядеть. В Орду едут с ним на свой кошт, от князя когда полть мяса перепадет, а уж серебра...

— Дай кошель! — потребовал князь хрипло. Ключник высыпал на стол жалкую горку тяжких — безмерно тяжких, с кровавыми трудами добытых! — гривенновогородок. «Хоть по дорогам обозы разбивай!» — в отчаянии думал князь. Молодцы обтерхались все, ни одеть, ни оборужить путем. Приходит расставаться с дедовой дорогою бронью и саблю ту, аварскую, в подарок везти (мало будто у ордынцев своих сабель!).

Материны колты и жемчуг... Стыдновато вроде... А! Кожу сымают, дак зипуна не жалей! Просил у Ивана Данилыча, намекал: дозволь, мол, послать своих молодцов с московитами Торжок пограбить, хоша б зипунов добыли... Не дал. Кланялся и великой княгине тверской, Анне, ради мужа покойного могла бы чем и пособить! Не может, у самой руки связаны. Сын-то старшой на Пскове сидит! А и он, Борис, виноват! В те-то поры не поддержали Михайлу Ярославича перед ханом, вси откачнули от него, спрятались, поддались Даниловичам! И он тоже не возмог, да и не похотел... Нет, один конец: доставать последнее береженое добро и со всем, со всема в Орду, к хану на суд, на расправу... Выход, бают, не в срок даю! Дак выход тот даю преже великому князю, он и держит у себя излиха, а не скажи! Да князь я или нет?! И мы от великого Всеволода! И нас не замай! Нас посбить с уделов, а там и сам-от не усидит! Мор ли, что, али какой дурной родит, в семье ить не без урода, и тогда: где князи русстии? Кто возможет? А уже и нету! И никто не возможет! Как на Волыни створилось: побил Данил Романыч бояр да князей, сел сам королем, на столе, а после, глядишь, при внуках-правнуках, и обветшало-исшаяло и нетути никого. Ляхи да Литва все под себя и забрали! Так-то! Он разгорячился, выпрямил стан, смешновато вздернул бородкой, не видя себя со стороны, не ведая, что смешон и жалок в своем латаном-перелатаном платье, с этою худой морщинистой шеей и старческой дрожью рук. «Ужо! — пообещал он мысленно.— Нынче доложу хану, все доложу! Паду в ноги, пущай уймет князя Ивана, пущай...»

— Эй, Онтипа! Как думашь, уймет хан Данилыча? — вопросил он. Ключник пожал широкими плечами, взъерошил бороду, начал чесать за ухом, отводя глаза.

— Кубыть и склонит слух, дак тово... даров маловато! В Орде ить без приноса никуда и не сунесси!

Князь перевел глаза вкось, во взгляде ключника поймал невольное отражение свое — жалость, смешанную с небрежением — и поник головой. Надо ехать в Орду! А там — что Бог даст... Есть же правда хотя в небесах, у Вышнего!

## ГЛАВА 35

Иван Данилыч, прибывши в Сарай, узнал, что князь Борис Дмитровский уже четвертый день как прибыл и ходит по домам вельмож ордынских. Он недовольно поморщился: хожденье дмитровского князя грозило лишними расходами. Нать было попридержать дорогою! «Эк, не хватились вовремя!» — подумал Иван и отправился к беглербегу. Тот, получив московский принос, встретил Калиту как старого друга. За чашею хмельного кумыса, покачивая головой и щуря в улыбке непроницаемые глаза, попенял:

— Ай, ай, князь! Нехорошо! Бают, дань держишь у себя!

— Это кто ж, не предатель ли ханский, не князь ли Борис налгал? — Иван искоса бросил острый взгляд и продолжал с нажимом: — А ведомо кесарю Узбеку, яко сей служил Михайле Тверскому по Плескову и ныне сносится со плесковичи, со князем Александром Михалычем, а вкупе и со князем Гедимином, мысля град Смоленский под Литву склонить и тем нашему кесарю великую обиду учинить, а ханской казне умаление?

Беглербег застыл, загадочно и недвижно вперив взгляд в лицо Калиты. Потом быстро поставил чашу, склонился вперед, свистящим шепотом требовательно вопросил:

— Докажешь?

Иван отклонился, спокойно, допив кумыс, отер усы. Медленно извлек кожаный кошель, медленно развернул грамоту, старую, удостоверяющую одну лишь службу Бориса во Пскове. Дал прочесть неслышно подсевшему к ним толмачу. Потом извлек вторую — невинное с виду письмо в Дмитров из-за рубежа, перехваченное на Волоке,— подал и его, и, наконец, как главную свою козырную биту — послание Гедимина в Смоленск, попавшее в руки брянского князя и проданное Калите, где был неосторожно упомянут и князь дмитровский, неясно, правда, по какому делу, но... После двух предыдущих грамот... чтущий да разумеет! Ежели к тому подсказать и досказать, уповая на вечную подозрительность Узбека...

— А что выход задерживал еговый, то пустое! Недодавал, дак и приходило неволею задерживать! Эдак он и половину выхода привозить учнет, а я из своих плати? Тоже ить серебро не из земли рою!

Беглербег думал, щурясь и все не отрывая глаз от грамоты, потом довольно раскатился мелким дробным смешком:

— Умен ты, князь! Ох умен! — Вопросил лукаво: — Может, и поверит тебе хан! А?

Иван чуть заметно пожал плечами:

— Не поверит — потеряет Смоленск! — Взглянул прямо и простодушно, как только он и умел. Беглербег кончил хохотать, покачал головой, задумался. Иван осторожно поставил на ковер золотую чарку с красным камнем в рукояти, подвинул ее к беглербегу. Тот уставился на чарку, поцокал, покивал головой, одобряя, и, словно бы рассеянно, пододвинул к себе. Вздохнул, еще вздохнул, глянул исподлобья, уже без улыбки, сказал:

— Доложу повелителю!

Иван на всякий случай объехал в тот день и назавтра еще и других, всюду перевешивая дмитровского князя дарами, пока не почувствовал, что хватит — чаша весов, безусловно, склонилась на его сторону. Ему даже на мгновение стало жаль неразумного соседа, что поволокся в Орду тщетно спорить с ним, Иваном. Последнее добро, чать, выгреб из сундуков! Лучше бы о себе попридержал. Хоша супруге на прокорм оставить!

Жалость как пришла, так и ушла. Было не до жалости. Маленькое Дмитровское княжество стояло тем не менее на северных путях торговых. Москве или Твери, а поддаться оно должно было все равно. Даром ли при Михайле во тверских подручных ходили? «Забрать Дмитров — умалить Тверь, старого ворога своего!» — подумал так — и стало не жаль старика. Мешал. А потому — надлежало убрать.

И снова был Узбек. Свой, родной, до смутного ужаса любимый, капризный и изменчивый, как балованная красавица, явно что-то скрывающий от него на сей раз... И снова это загадочное:

— Не много ли ты хочешь, князь?

(Не много, ой, не много! Знал бы ты, кесарь, сколь безмерны желанья мои и какой малости добиваюсь от тебя ныне! Слава Вышнему, что он один веси тайная сердец человеческих!)

И снова улыбки и дары, дары и улыбки... Старые знакомцы постарались за него излиха. И все-таки был один миг неверный, миг, в который Иван едва не смутился духом. Это когда старый дмитровский князь, понявши наконец, что потерял все, что малые дары его

ни во что же пришли и даже последней жалкой чести — чести верного ханского слуги — ему не оставляют, обвинив в союзе с Литвой и измене, вдруг непристойно и нелепо, как не ведут себя никогда в ханских покоях, завопил, вытягивая худую шею, тыкая издали в Ивана острым перстом. Завопил, заорал надрывно, исказясь ликом, брызгаясь, выкрикивая что-то неразборчивое, взахлеб, где только и было слышно:

— Тать! Кровопивец! Тать! Тать! Тать! Ростов и нас!.. Ростов и нас! Пожди! Ужо! Погоди! Суда божья! Аспид! Тать! Тать! Тать! Кровопивец несытый!

И пока его выводили под руки, почти волокли по коврам — ноги князя Бориса не слушались, заплетались, цепляя,— все то время старик бесстудно орал и тыкал, тыкал перстом в Ивана, изрыгая хулы и проклятья.

Калите много стало поиметь сил, чтобы с пристойною жалостью и пристойными взглядами посетовать хану на безлепое поведение князя Бориса Давыдовича, попросить снисхожденья соседу, заверив, что сам он, Иван, никакой неправды творить не будет и сверх того, что достоит по закону ханского выхода, с дмитровцев отнюдь не возьмет. (Последнее лишнее было говорить, да так уж вымолвилось невзначай...)

А едучи домой и проезжая мимо Борисова подворья, боялся все, что вот сейчас выскочит дмитровский князь, рухнет под конские копыта или иное какое пребезобразие учинит... Ждал напрасно. Князь Борис, как приволокли давеча домой, так, сказывали, и не встал с одра. Сердце ли надорвал себе криком или иное что, только назавтра уже повещали о смерти старого дмитровского князя. И еще было искушение: идти ли в церковь? Себя пересилив, пошел. Дмитровские бояре расступились перед ним даже с некоторым ужасом. Иван приблизился ко гробу. Лик Бориса был строг и хладен, с печатью благородства древних княжеских кровей. То искажение черт, от бедности и бессилия бывшее, злоба и мука лица ушли со смертию, с миновением земных горестей и страстей.

«И с ним предстоит стати ми перед Господом!» — сурово подумал Иван, склоняя голову и осеняя себя знамением крестным.

В негустой толпе дмитровцев послышался подавленный всхлип. Кто-то из слуг покойного неложно страдал по господине своем.

«И что теперь? — думал Иван, остановясь и глядя на ледяной, отрешенный мира сего костистый лик смерти.— Теперь Галич (брат покойного такожде не молод зело!) и Ярославль. Паче всего Ярослаьль! И вновь и опять ему — творить зло, а им — проклинать его, яко изверга и лиходея. И что потом? Умереть, не доделав, не совершив и токмо питая надежду на детей, на потомков, что удержат, выдержат, возмогут и впредь сие!

И не зреть мне земли обетованной! Не узреть плодов взращенного древия! И грехи и скорби — на мне! И сия смерть... И одна ли она? И проклянут мя, и станут ругатися мене, и память мою изженят из сердец своих! А я? Я не могу и не хочу иного пути и иного креста Господня!»

Иван медленно отворотил лик от покойника и неспешно, твердо ступая, покинул церковь. В уме его уже слагалось, чем и как мочно воспользовати в Дмитрове (мытный двор под себя забрать, конечно!), дабы враз и с лихвою оправдать пожалованный ему ныне дмитровский ярлык.

Все, кто был до него на великом владимирском столе, разорялись, насыщая Орду. Даже Михайла Тверской споткнулся на этом. И только он, Калита, с каждым новым ярлыком, с каждой покупкою становится богаче, а не беднее. И, быть может, так и надо, чтобы было трудно, чтобы было столь трудно порой, что почти свыше силы! Должен ему Господь напоминать о язвах его, и о карах, и о суде грядущем, строгом и праведном, где предстоит ему стати одесную престола со всеми ими, загубленными здесь, и отвечивать Вышнему вся тайная сердца своего, и молить милости грешной душе своей ради единого в ней, ради того, что не для себя (вернее же, не для себя только!) творил он вся скверная и собирал... Не землю даже, и тем менее богатства земные, но единое то, без чего страждет разорванная и угнетенная агарянами русская земля, единое то, чем совокупляют себя народы и на чем стоят царствы земные,— власть.

## Часть вторая

# ТВЕРСКОЙ КОЛОКОЛ

### ГЛАВА 36

Колокол — великий, слитый еще убиенным супругом, чудом уцелевший в погроме и разорении Твери,— мерно отослал в Заволжье последний свой тяжкий удар. Томительный голос меди еще долго звучал в морозном далеке, или в ушах то звенело? Анна вновь и опять вспомнила покойного. Не так часто вспоминала и сына, Митю, тоже погубленного в Орде. Ныне, когда прошло и поотдалилось, позаросли временем острые подробности каждого дня, вновь не могла понять, поверить, какою судьбою столь гибельно поворотило в ту пору? Почему одолел Юрий? Почему одолела Москва? Почему возник, именно возник, словно наваждение бесовское, некогда тихий и незаметный, а ныне пугающе страшный Иван?

Сердце, ее старое сердце начинало сдавать. Вот и ныне, ощутив головное кружение и тягучую немоту в членах, отдумала идти в церковь, стала на молитву у себя, в иконном покое. Никто не должен узреть невольной слабости великой княгини тверской! Ни народ, ни бояре, ни Константин, ни тем паче золовка-московка, дочь покойного Юрия Данилыча, врага смертного, вековечного, убийцы и татя. Перед нею всегда старалась выглядеть сильной: пусть не ждет скорой смерти свекрови! Прежде пущай Сашок воротит во Тверь!

А паче того, не должно Анне сегодня утомлять себя излиха, ибо приезжает внук, далекий, жданный и еще, почитай, не виданный ни разу с младенческих лет! Едет на первый погляд! Федор, Федя, Федюша, Феденька, не знай, как и назвать ради нонешней встречи! На кого стал похож! Втайне хотелось бы, чтобы на деда своего,— и ошиблась. На деда походил (чего так и не узнала никогда) самый младший, по деду и названный, Михаил.

Окончив молитву, вместо того чтобы идти, как обычно, по службам, поднялась по лесенке,— закутавши плечи в долгий соболий, подбитый шелком, почти невесомый опашень, а голову — в пуховый плат,— прошла намороженными переходами и с них, проминовав двух сторóжей, почтительно отступивших перед старою госпожой, вышла на стрельницу городовой стены. Холод

отдал, и с Волги, издалече, тянуло свежестью и словно бы уже сырью неблизкой еще весны. Серповидно изгибаясь, уходила вдаль белая дорога реки, тянулись анбары, клети, пристани, сейчас запорошенные снегом, а весеннею порой кишмя кишащие народом. Глаз ловил привычно голызины того, давнего, разоренья, измеряя, сколь еще осталось незастроенных пространств в прежних пределах градских. Медленно подымалась Тверь! Совсем не так, как в прежние годы... И все ж подымалась, росла, густела людом, сильнела торговлею. Пусть скорее приезжает Федор! Старое сердце начинает сдавать. Умри она в одночасье, и — как знать? — отступит ли Константин перед Сашком безо спору? Или московская жена, вкупе с князем Иваном, склонят его к тому, чтобы не пустить старшего брата на отчий стол! Константин был ненадежен, робок, податлив на чужую волю... Бог с ним. Это ее вина! Робела тогда, когда носила во чреве, вот и... Другие не таковы были — ни Митя-покойный, ни Сашок, ни даже Василий. Митя, Митя! Грех на мне, стала тебя забывать! Почто это так сотворено, что гибнут всегда самолучшие, самые храбрые, самые честные. Им бы и жить! Им бы и детей водить! Скот держат, дак на племя всегда оставляют лучших, а в людях, словно бы слепы, лучших завсегда преже пошлют на убой!

Вон по той дороге от Торжка, мимо Отроча монастыря, едет он, внук, старшенький ее второго сына, Александра, Федор. Федя, Федюша... Что ему сказать, как приветить? Что насоветовать ныне?

Злоба лежит в ее сердце. Холодным камнем или свернувшейся дремлющею змеей. Не жить им с московским князем! Худой мир с убийцами мужа и сына! Или Москва, или Тверь (все-таки Тверь!) одолеет в этой борьбе. Но вместе им уже не жить, не поладить ни в чем, никогда. И пущай московиты ликуются с ханом Узбеком! Сами, почитай, отатарились той поры! После Шевкаловой рати не осталось у нее к ордынцам ничего человеческого в душе. Выжгло огнем. Нéлюди! И всё тут. Лучше Литва, немцы-даже! Объяви ныне папа римский крестовый поход на Орду, она бы, верно, сама снаряжала рати в помочь католикам. Александр в Плескове, слышно, колеблется, думает. Бояре еговые стали поврозь (не Акинфичи ли воду мутят?). Скорее бы ехал Федор! В мечтах видела уже четырнадцатилетнего мальчика взрослым мужем, воеводой, мстителем за поруган-

ный тверской род. Только сердце, старое сердце, в котором выгорело все, кроме единого желания отомстить московитам, начинало предательски сдавать. Погоди, сердце! Потерпи! Дай встретить внука! Дай дождать Сашка. Дай возродить город и утвердить снова тверской род княжеский! Дабы, отойдя туда, могла она покойному Михаилу сказать, что как могла, как умела своими слабыми силами женскими, а отомстила-таки за него, и за сына, за Митю, тоже, и возможет глянуть им в очи и стать с ними вместе одесную престола великого и грозного судии! А прощать, яко заповедал Христос, ворогов своих... Татей не прощают — казнят!

Она стояла — прямая, высохшая, с опаленным, навечно скорбным лицом, с огромными, когда-то прекрасными, а теперь зловещими, в черно-синих тенях обводов глазами,— стояла как статуя скорби и последней надежды, вглядываясь в кристальную, выбеленную снегами даль, в далекую дорогу, по которой скоро поскачет новый тверской князь, коему, быть может, предстоит возродить вновь величие своего города!

Но не ехал поезд, не бежали кони. Анна еще пождала, вся издрогнув. Как всегда, после приступа гнева ее начинало знобить и таяли силы. В конце концов, смешно было думать, что он прискачет именно теперь, в этот час... Погорбясь, она осторожно, почти как слепая, поворотила назад, в терема. Жизни оставалось мало, слишком мало, пугающе мало для всех дел и замыслов, что не оставляли и поднесь вдову Михайлы Тверского.

Федор приехал ввечеру и совсем не с той стороны. Глядельщики едва не проворонили княжого поезда.

Анна едва успела выбежать на крыльцо. Внук подымался, высокий, ростом почти уже со взрослого мужика, и только лицо — светлое, сияющее, румяное и такое детское-детское! — не давало ошибиться. В очи бросились знакомые лица бояр Александровых: Морхинина и младшего Бороздина,— но не до них было! Мальчик, сияющий, лучащийся светлым весенним солнышком, и в солнечных рябинках мягкий еще, детский, нос, и щеки, словно обрызганные зарей. А глаза веселые, озорные и умные, умные, конечно! Федюша! Внучоночек мой любимый! Анна обняла его не по уставу — по сердцу, вся прильнула к этой цветущей, юной плоти, к этой новой надежде своей, с падающей радостью в сердце ощутила его твердые руки (уже сейчас, верно, смог бы, откажи ей силы, на руках донести до покоя!).

И этот запах свежести, юности от лица, губ, рук, волос, ото всего... Господи! Пошли мне не узрети никакого худа над отроком сим!

Внизу, на широком дворе, теснятся возы, и кони ржут, и весело гомонит дружина, и слуги носятся стремглав, разводят коней по коновязям и стойлам, задают корм, размещают гостей по клетям и повалушам. Сейчас баня, молебен, а потом пир. Радостно благовестят колокола, сверкает снег — солнце взошло над Тверью! И снова надежды, и гордые замыслы вновь, и скоро, уже очень скоро — весна!

## ГЛАВА 37

Свечи в кованых серебряных стоянцах. Ордынская глазурь на столе. Ковры глушат шаги, заслонки окон задвинуты, муравленая печь пышет жаром. Свет свечей, колеблясь, отражается в кованом узорочье, в драгих окладах икон, резною тенью обводит лица бояр, великой княгини Анны и княжича Федора. На столе закуски, квасы и мед, но это не пир и не дума княжая. Скорее тайный совет. Князя Константина здесь нет. Анна боится сына, даже не его самого, невестки, которой придется, ежели воротится Сашко, уезжать из Твери. О сю пору справлялась, держала. И сына держала: Константин знал, что должен уступить стол Сашку.

Разговор идет уже второй час, и за многое, сказанное тут, можно ответить головой перед ханом Узбеком. Возможет ли Гедимин одолеть Орду? Не погибнет ли и Тверь под Литвою? О чем ся мыслят орденские немцы? Не подведут ли они в тяжкий час, предав Литву и укрывшись Тверью от ханского гнева? И паче всего: о чем мыслят владыка Василий и бояре Господина Великого Нова Города? Был бы Моисей на престоле святой Софии! Но Моисей удалился в монастырь, а Василий Калика ликуется с Москвой. Как поворотит Новгород, так и все ся повернет! Плесков готов поддержать Александра Михалыча, но токмо со старшим братом вкупе. И все они страшатся Литвы. О чем думает Гедимин? Это никому неизвестно. Гедимин неверен и опасен. Он никому не друг, и папу римского обманывает так же, как и патриарха цареградского. Какая вера победит в Литве? И как быть с ханом Узбеком?

Лишь о Москве и о князе Иване Данилыче речи нет. Хоть о нем думают все. И любое решение, любое слово,

сказанное в этом укромном покое, прежде всего, яко стрела оперенная, противу Москвы, противу великого князя Ивана.

— С ханом не считатися неможно, надобно ехать в Орду! — говорит наконец Игнатий Бороздин — и как припечатывает.

— Посылала уж...— нерешительно отзывается великая княгиня Анна.

— Посылать мало! — неуступчиво возражает боярин.— Надобен князь!

И тут доныне молчавший Федор подымает голос. Он необычно серьезен и сейчас кажется много старше своих четырнадцати лет. Голос у него ломается и звенит, но даже и по этому юному с переломами голосу видно, что мальчик уже понимает все: и меру беды, и меру мужества заранее взвесил и принял на рамена своя. Сдвинув брови (красив будет, егда возмужает, юный тверской князь!), он говорит как решенное, твердое, принятое, яко крест мученичества, на Голгофу несомый:

— Батюшке неможно. Убьют. Ехать надобно мне! Предстану перед ханом, вызнаю все, а тогда уж...

Анна приоткрывает рот в ужасе, хочет крикнуть, вопреки всему, вопреки горькой нужде и заботам княженья, участи Сашка и будущему Твери: «Не езди!» — и, сталкиваясь со взором мальчика — уже не мальчика, а мужа, героя, воина, юного князя тверского,— сдерживает и крик и стон. И, до крови закусывая губы, сникает. Ехать должен он — и боле нельзя никому. Не пошлешь ведь Константина, ни Василия не пошлешь! Не захотят, да и не возмогут ничто! Сама бы поехала! Нельзя, неможно. Надобен князь! Александр или его старший сын. А ей вновь не спать и молить ночами Господа Бога: да не попустит, да приведет живым назад из проклятой Орды!

И ничего не сказала, не изрекла: только в торжественной, стойно церковной, мерцающей полутьме покоя нашарила рукав внука и бережно коснулась сухою ладонью его молодой, мальчишечьей, и мужественной руки. Да еще, когда бояре начали обсуждать, кому и с кем сопровождать отрока в Орду, поймала на себе взгляд архимандрита Отроча монастыря, строгий, но и ободряющий. Взглядом, молча, ответила: «Внемлю, знаю, что все в руце божьей, а сердце томит, поделать ничего не могу!»

Так, единым днем, обрела и потеряла внука своего, потому что все, что было после,— долгие сборы людей и добра, наказы боярам, грамоты, явные и тайные речи,— все было уже: проводы, проводы, проводы! А она уже досыти напровожалась своих близких в Орду. Досыти! Глаза б не видали!

А ничего не можно содеять иного. Понимала сама. Не свержено иго ордынское, и не скоро ослабнет Орда. Или скоро? Или только их робость и мешает тому, неизбежному, жданному? Отместью за поруганные святыни, за кровь, за смерть, за гибель близких, любимых, родных?! И все равно! Надо ехать, клонить голову. Просить у хана Узбека своей собины, волости своей... Хорошо московскому князю: за кажен поклон по княжеству дарят, а им? А ей? А сыну ее, Александру? Но не пришло время железом решать споры с Ордой! Пока еще не пришло. Или пришло уже, и лишь рознь да робость мешают им ниспровергнуть проклятое иго? Да лесть московская, подлая прелесть Иванова! Его, а не Юрия следовало изгубить в Орде!

## ГЛАВА 38

Зима проходила, и уже в самом деле пахло весной. Протаивала земля на валах, обнажая сухую прошлогоднюю траву, кричали птицы. Волга засинела, вот-вот уже и тронет, с хрустом ломая лед. Уже давно воротил из Орды Иван Данилыч Московский, привезя новое пожалованье — на Дмитров. Передавали, князя Бориса по его, Иванову, навету уморили в Орде. Подступила пахота, потом сев. Скупые весточки из Сарая не радовали. Только и знатья было, что жив. Летом Иван замирился с Новым Городом, видно, прознал что-то. Свалили покос, потом страду осеннюю. Возили хлеб, молотили. А она, строжа посельских и старост, только одно думала: как-то там? Узбек кочевал, внука, верно, увез с собою, совсем и вестей не стало!

Анна пристрастилась гадать; знахарки говорили наразно, а всё лгали, чаяли утешить госпожу, а утешениям веры нет! Думала из деревни колдуна позвать — устыдилась. И так духовник косо смотрит. Анна начала строже блюсти молитвенный устав. Нынче и постилась не так, как в прежние годы, а со тщанием, ограничив себя и в пище, и в питии, и в одежде. Что деется в

Орде? Пока грамотки дойдут, той поры и сам Федя приедет, только приедет ли? А то и заложником оставят! Тогда шли и шли в Орду серебро, а после (как уже и было с Дмитрием!) удавят и не воздохнут. Или кожу сдерут с живого, или колодкой уморят, или ино как ни то... На это ордынцы завсегда мастеры!

От Сашка прибыл во Тверь немчин из италийской земли, Дол. Крестился во Плескове, села ему дадены под Тверью, а все не свой! И ласков, и искателен. Обык говорить с великой княгиней, и говорит красно, а только не свой, не свой! И не понять. порою, чего хочет. То затеет о папе римском сказывать, то о крестовом походе противу неверных... Раз не выдержала, окоротила:

— Что же божьи дворяне ваши пошли гроб господень освобождать, а сами християнский град Константинополь полонили? А и ныне: с турками ли ратитесь али с теми же греками? — не понять. И орденски немцы! Им бы только грабить наши земли да Литву зорить! Сами не хотят крестить ятвягов, не то окрестят, дак на кого потом станет в походы ходить?! Я и тебя не пойму, нашей ты вроде веры, а все в ту, в латынскую сторону глядишь! Почто на Орду не встанете? Тогда бы и мы с вами пошли! В новый поход крестовый! А то словно и не одна вера Христова у нас, а другояка совсем!

Задышалась, раскраснелась, руки стали дрожать. А немчин тонко улыбается, ладони к сердцу жмет:

— Госпожа! Если бы эта голова, это сердце могли послужить всей Руси, яко служат князю Александру! Увы, я не папа, не король, не император, что я могу сказать? — И начал долгое, увертливое, и о трудностях, и о тайностях, и о том, что в италийской земле фряги друг с другом раскоторовали, что сербский король Стефан разбил болгар и теперь угрожает ихним землям, и про немецкого кесаря, и про Казимира, короля ляшского, и про Карлуса, богемского короля... Ляхи потеснили чехов, а те враждуют с немцы, а ляшский король Казимир в союзе с Гедимином Литовским (вот и понимай тут, кто тебе друг, кто враг!). В толикой тягостной розни неможно собрать всех в крестовый поход на Орду...

Анна, стараясь изо всех сил утишить сердечное трепыхание в груди, почти не слушала. Не могут, не хотят — непочто и баять! Что для них Русь? Иная, чужая земля! В ляхах католики правят, а коли у них с Гедимином союз, дак и в Литве той порою католики победят!

А кто нам свой? «Может,— подумала вдруг и, подумав, сама удивилась,— Иван-то Данилыч, насмотрясь на таких краснобаев, и почал с Ордою совет держать! С Ордою... И передолить его надобно тамо, в Орде, у хана. Не на кого оперетися Великой Руси, сами ся должны и защитить, и обиходить, сами решить и о власти спор! И на Орду, как умер Тохта, нету боле надежды! Понимает ли хоть Иван, что творит? Землю родную бесерменам того и гляди подарит!

Италийского немца и после слушала. Много знал, о многом услышала от него в первый након. Чем-то и помогал коротать дни, ожидаючи Федю из Орды... И все одно был не свой. И не православный даже, хоть и женился во Твери и в русскую церкву ходил. Все было не то, и велись после бесед с ним мысли нехорошие: а ну как обадили Александра католики? А ну как и этот, как его зовут сенные девки, «наталинский немец», подослан от Гедимина или от папы римского? Надо остеречь Сашка! Не привлекал бы излиха чужих-то к себе, не печалил своих бояр! А может, ему тамо виднее? Может, меж Литвою и Орденом и такие надобны и без них не обойтись? Ах, Сашко! Скорее бы ты воротил во Тверь! Матери твоей уже невмоготу стало! Вернись, сын! Нет Узбека, нет запрета, нет московского князя, нет ни Гедимина, ни Литвы, есть ты, сын, и твоя мать, что ждет тебя уже из последних сил!

Федя с боярами воротился позднею осенью. Привез ханский зов Александру: «Да прибудет!» А она уже и не ждала, не могла, что-то надломилось в ней. Федя ли, Сашок — они оба объединились в одно лицо, в один лик надежды. И так сладко, не сдерживая бегучих слез, было смотреть на него! На это юное, обожженное до красноты степными ветрами лицо, слышать возмужавший, с низкими переливами голос, держать его за руки... Сподобил! Федя! Феденька! Внучонок, сынок!

Она выстояла службу в соборе, выдержала торжественную встречу и пир. Вечером слегла. И к утру уже сама поняла, что серьезно. Быть может, и не встанет! Сенные боярыни и девки суетились с питьем и лекарствами, растирали, согревали стынущие ноги. Она с удивлением глядела на хлопоты, на соболиное одеяло, на шелковые простыни... К чему это все? Потребовала переодеть себя в белое полотно, вместо душной перины

положить на солому. Исповедалась и причастилась. Решила, ежели станет хуже, принять постриг. Вызвала сыновей, Василия с Константином. Велела прочесть завещание. Василия, поцеловав, скоро отослала от себя. Как получил Кашин, так пущай и сидит на нем! Константина удержала. Долго-долго глядела в глаза, сказала наконец твердо:

— Может, умру. Останешь один. Помни, как убили отца! — Помолчала. Константин бледнел, белел, руки начинали трястись (и тут робеет!).— Великого, через меру сил твоих, не прошу,— сказала Анна, передохнув и не глядя на сына,— тебе жить. Но не смей... Ни ты, ни Василий... Костью моей не двиньте, брата старейшего не обидьте ни в чем! Ни в роду его, ни в сынах, ни во внуках, ни в правнуках! Иначе... Мне стати с тобою на суде пред Господом!

— Матушка! — только и вымолвил, склоняясь, и затрясся, спрятав в ладони лицо (не воин, не муж... Ну, пущай живет, как может, лишь бы этой подлости не свершил!).

— Помни, Костянтин! Все прочее забудь, а это помни! Тверь — Сашку!

— Буду помнить, матушка! — (Едва вымолвил, мальчик ты, мальчик! Зрел смерть отцову, а к смерти не привык!)

— Ну, сын, теперь поцелуй меня и ступай! Может, и не умру... Все одно помни!

Он судорожно кивнул несколько раз, слепо, едва не ощупью, вышел из покоя.

Она долго-долго лежала, смежив очи. Уже и священник, подойдя к ложу, с беспокойством заглядывал в лик великой княгини: не отходит ли света сего? Но Анна открыла очи, тихо и строго велела:

— Позови Федора!

Внука попросила взять ее за руки. Шепотом (громко уже не могла) попросила повторить опять, что и как створилось в Орде, у Узбека. Выслушала, хотя и с трудом уже заставляла себя внимать (все отходило, уплывало, становилось ненужным, неважным).

— Так... стало, Сашок поедет теперь? — спросила с придыхом, медленно выдавливая слова.— Не уморит... Узбек?

У Феди — видела, словно в тумане,— как остарело лицо. Он не сразу ответил: видно хотел, но не мог солгать.

— Наклонись! — велела она.

— Не знаю, мамо! Сулили, не тронут... а Бог весть!

Он даже сам не понял, что назвал бабу матерью, а она учуяла, чуть-чуть улыбнулась нечаянной ласке его, слегка раздвинув сухие морщины впалых щек.

— Ну, значит, не умру. Нельзя мне! Дожду... Сашка из Орды...— Что-то она еще хотела сказать, важнейшее... Что? Что? Неужели не вспомнит? Она наморщила от усилья лоб: что? Что? Наклонясь, внук ловил ее шелестящий прерывистый шепот:

— Пущай... просит... князем великим, тверским... Не будет в кабале у Ивана... Сам с Ордой ся управит...— сказала и, сквозь муть, сквозь туман смерти, вгляделась: понял ли? Федор затряс головой: понял, понял!

— Меж бояр наших о том тоже говорка была!

Анна вздохнула глубоко, освобожденно. Теперь, кажись, почти уже ничто не держало ее на земле... Нет, держало! Сашок... Золотая Орда...

Едва-едва слышные, прошелестели слова:

— Возьми... руки...

Федор взял ее уже холодные, почти неживые ладони в свои, горячие, сильные. Анна закрыла глаза. И тотчас хороводом, кружась, подступили к изголовью видения. Двое подошли к ложу. По темно-синим очам признала покойного Дмитрия, по светлому незаботному зраку — Александра. «И ты здесь?» — неслышно спросила Анна, удивясь ему, живому, больше, чем тому, мертвому. «А где же отец?» — спросила, не разжимая губ, и тотчас он, клубясь, словно бы из тумана, подступил и стал в изножии. Его бугристые плечи, его широко расставленные глаза... «Я старая, некрасовитая нынче!» — горько пожалилась она. «Ты всегда красивая для меня! Краше солнца, краше красного месяца!» И сладко, так сладко стало ей от этих его слов и, верно, почуяла, что опять молодая, с высокою грудью, и волнуется, словно невеста пред женихом... Се жених грядет во полуночи!

Чьи-то руки, едва ощутимые, держат ее ладони, не дают уходить. И это единственная тонкая ниточка внешней жизни, которая еще связывает ее с этой землей. Глаза Анны прикрыты. И пение — не пение, а гласы ангельские реют вдалеке. И трое предстоящих, муж и два сына, светлеют, тают, будто в тумане, у ее молодого ложа, весеннего ложа, ложа надежды, мира и любви!

Федор сидит и держит едва теплые, почти неживые ладони. Слезы капают на белый монашеский покров. Горячие слезы юности, слезы мужчины и воина у постели женщины-матери рода своего.

Да будет мир с тобой, баба Анна! Как бы хорошо, как бы нужно было тебе умереть теперь! Да не узнала бы ты и там, в мире горнем, грядущей судьбы сыновей и внуков своих! Так было бы лучше, много лучше для тебя! Ибо суров сей временный мир нашей вседневной скорби, мир, в коем живем и страдаем и ненавидим друг друга мы, живые, мнящие ся бессмертными, и уже обреченные праху и исчезновению в пучине времен.

Дверь покоя приотворяется, заботные лица иерея и двух боярынь маячат в дверях.

— Спит,— говорит Федор.— Не тревожьте ее.

## ГЛАВА 39

Юный тверской княжич Федор Александрович все еще был в Орде, когда из Новгорода прибыло к великому князю новое посольство архиепископа Василия Калики.

Пышно доцветало лето. Тяжелые высокие облака надвигались и таяли сине-свинцовыми громадами в тусклом, потемневшем, как и листва дерев, небе. Ветер, качая хлеба, обдавал душною сытной жарой. Тяжко брели стада, облепленные роями крылатой нечисти. Тяжко клонили долу усатые головы колосьев. На пригорках, на солнцепеке, уже зачинали жать.

Послы ехали во Владимир, к митрополиту Феогносту, просить заступы и посредничества перед Иваном, и перед ними развертывалось желто-полосатое Ополье в море хлебов, среди которых, словно утонувши в густых ржах, прятались по логам деревни с невысокими, словно тоже втиснутыми в землю избами, крытыми потемневшею от зимних непогод соломой. Люди были в поле, и деревни стояли почти вымершие. Редко брехнет разморенный жарою пес, да белоголовый льняной мальчонка в посконной рубахе, любопытно и долго-долго уставясь круглыми глазами, провожает по-за поскотиною чудной обоз, дивясь на боярское платье и на занятных мужиков-возчиков в сапогах и кожаных постолах вместо лаптей. Или древняя, уже совсем вышедшая из сил, старуха, что бредет обочь дороги, остановит, глядючи из-под ладони, и, догадав по платью, что перед нею

духовное лицо, торопливо семеня, поспешает принять благословение у проезжающего в распахнутом возке небольшого ростом и ясноглазого священника, не мысля даже и мыслию, что улыбчивый, проминовавший ее и легко осенивший крестным знамением поп — всесильный архиепископ новогородский, а верхоконные бородачи за ним — великие бояре далекого северного вечевого города...

Пыльный и шумный Владимир встретил торжественными соборами, торжественным звоном и суетой улиц. Бояре приоделись. Варфоломей Юрьевич вздел сверх шелкового рудо-желтого зипуна суконный алый, отделанный парчою, охабень, соболиную шапку и поминутно отирал тафтяным платом обильные струи пота, текущие по лбу и щекам. Зато и народ аж под копыта лез — позреть великого боярина новогородского!

Калика, не разделявший любви своих «детей» — новгородских бояр — к пышности, ехал в том же дорожном платье, и на него до митрополичья двора почти не обращали внимания.

Феогност принял послов не томя. Владыку Василия — как доброго гостя. С той еще, с волынской, поры по нраву пришел ему легкий и деловитый новгородец. Ныне прибавил важности — глава! А в чем-то все тот же любопытствующий странник на здешней бренной земле. (Много лет спустя узнал Феогност о возникшей меж Василием Каликой и тверским владыкою Федором пре о рае зримом и мысленном. Федор Добрый доказывал, что рай неможно узреть бренными очами, токмо духовными и в духе, ибо рай не от мира сего, а Василий Калика утверждал, что можно и смертными очами узрети врата райские, о чем якобы повестили ему северные новгородские мореходцы. Феогност умом был на стороне епископа Федора, но послание Василия о рае — чудесное, яркое, как сказка, полное удивления пред безмерностью мира и сугубой, детской почти, веры в зримое чудо, живо напомнившее ему прежние рассказы Калики,— очаровало его, и он велел переписать послание, сохранив его в ризнице Успенского собора.)

Новогородцы поклонились дарами: поднесли серебряный сион, посох с изумрудом в навершии, иконы — «Николу» с житием и Спасов лик — доброго новгородского письма, связки соболей, куниц и горностаев, шкатулку резную из зуба рыбьего, мед, миро и фряжское красное вино — и Феогност окончательно растаял,

теперь уже почти заключение мира своею прямою обязанностью. («Умерять гнев и сводить в любовь, яко отец чад своих...»). Он сам поехал в Москву, к Ивану, упреждая послов, и имел долгую молвь с великим князем («Достоит духовному пастырю Руси умерять гнев сильных и сводить в любовь паству свою...»).

Иван выслушал Феогноста с пристойным смирением, но угрюмо. Сам знал, что надо сотворить мир. До него дошли уже вести, что сын Александра Тверского принят в Орде ханом Узбеком. Да и Гедимин не оказывал того расположенья, коее надеялся Иван получить, женив сына на литовской княжне.

Новгородцы давали теперь тысячу серебра. Этого было мало, но... Дальнейшая неуступчивость грозила уже такими бедами, что следовало согласиться, и как можно скорей. Надо было переступить через себя! И Феогност молил, да и сам знал, что надобно, токмо упрямство одолело паче меры. Не свое, братнино, тупое, глупое упрямство, и держало, как коршун в когтях.

Новгородское посольство он принял. Вновь дивясь про себя лучащейся от Василия Калики деловитой радости, разглядывал он архиепископа Великого Города. (На стены каменные хватает небось серебра! Нынче и внешнюю стену у Славны сложили, не от него ли, великого князя, город боронят?)

— Достоит мне, великому князю владимирскому, имати власть во всей русской земле! И Новгороду Великому, мняща мя яко господина своего, надлежит вкупе с иными нести тяготы ордынские и прочие.

— Вкупе и согласно! — живо отозвался Калика.— Пото и просим о мире, и бор даем, и уряженное по прежним грамотам, како от нас великому князю надлежит! Соучастны есьмы в судьбе нашей, и в любви взаимной надлежит быти нам, не утесняя ничим же друг друга! Молим, княже, отложи гнев и сниди в любовь!

Да, они стояли на своем, давая Ивану после стольких долгих месяцев размирья и которы ратной ровно половину того, что хотел и мнил он получить. Да еще, сверх того, учили, как надлежит ему мыслить о власти княжеской!

Связь соучастия, яко у равных государей,— вот что предлагал ему Новгород Великий. Он же понимал, что неможно, нельзя позволить того, что власть должна быть связью подчинения единому главе, единой силе, иначе все вновь и опять пойдет вразброд, как это уже не раз

приключалось на Руси! Но у них была своя правда, и своя вера, и были силы, дабы веру свою защитить. И Иван ничего не мог совершить противу, ни сказать, ни содеять. Новгород не Ростов, не Дмитров! И надо, надо, надо заключать мир!

Вечером к нему в изложню пришел Симеон:

— Не спишь, батюшка?

— Заходи, сынок! — дозволил Иван и пригласил, помедлив: — Садись сюда, на постелю!

От целодневной при с новогородцами раскалывалась голова. Может, сын отвлечет чем? Порадует ли, опечалит? Но Симеон, присев на ложе, новый какой-то, суровый, помедлил, вздохнул и высказал, как твердо решенное:

— Батюшка! Достоит тебе заключити мир!

(«И ты тоже!») Иван вдруг почуял нежданные слезы в глазах. В покое было темно, скудный свет в отодвинутых ради ночной прохлады оконцах уже померк, уже побледнело алое на вечерней заре небо, и ярче стал невидный совсем по дневной поре лампадный огонек... Сына не прогонишь капризно, ему, Симеону, наследнику, надлежит объяснить все.

— Завтра подпишу, сын! Не хотел, а... передолю, заставлю себя... Надобен мир. Княжич Федор в Орде!

— Сын Александра Михалыча?

Иван кивнул. Привстав, поправил взголовье. Симеон, молча угадывая желанья отца, подал свернутый овчинный ордынский тулуп. Иван, устроив ложе, чтобы мочно было полусидеть, откинулся, поерзал затылком, уминая курчавый мех.

Сумерки сгущались. Лицо Симеона смутно белело в темноте.

— Батя! А почто нам так надобен Новгород? Не то я молвил! — тотчас поправился Симеон.— Почто надобно всех, несхожих друг с другом, как тверичи или новогородцы, склонять под едину власть? Нет ли в этом гордыни? Быть может, прав архипастырь Василий? Не нарушаем мы сим главную заповедь Христову: «Возлюби ближнего своего...»?

Если Иван еще видел сына, то Симеон в тени от высокой спинки княжеского ложа и вовсе не видел отца. Голос Ивана чуть хриплый, усталый, доносился из темноты и словно бы жил сам по себе.

— «...яко же самого себя!» — строго досказал этот голос и, помедлив, присовокупил: — Себя не токмо лю-

бишь, но и неволишь, и жестоко неволишь порой! К труду, к деянию. Из тоя же любви! Зри в черных людях: сын спит, а отец уже на ногах, ладит упряжь, лапоть ли починяет, какой обор оторвался тамо, али расплелось непутем... А хозяйка в дому? Еще и свету нет, а уже топит печь, кормит и доит скотину... Дак что ж ты сам себя, возлюбя, мнишь содержать в трудах и в законе, а ближнего своего — в неге, да в холе, да в беспутстве всяком? «Яко же самого себя», сказано у Христа!

— Это я знаю, отец, о том не раз баяли, а только...

— Власть надобна, дабы съединить, совокупить воедино всю землю русскую! Митрополит знаменуется «Всея Руси», и князь должен быть такожде «Всея Руси»! — возвысил голос Иван, перебивая сына.— Зри! Возмог ли Михайло добром да советом достичь того? И сам сильно деял по нужде! И у него в подручниках ходили князья! А токмо пришел час — и сколь жалобщиков набежало губить Михайлу?

— Мы же, отец...

— Да, мы! И прочие все такожде! И Новгород! И суздальский князь! И Ростов! Много я натворил, сын, такого, о чем лучше не сказывать... И ныне творю. С Ярославлем вот. Посылывал даже и к купцам ярославским, и бояр подкупал зятевых... А токмо — надобно сие! Для всей Руси Великой! Для смердов! Бояр! Гостей! Для всех, для всего люда русского!

Иван умолк, чуял, что все чело в испарине,— не нать было кричать так! Симеон выслушал, не перебивая, и только медленно покачал головой.

— Скажи, батя, а где, в чем залог нашей с тобою правды? Ведь такожде и всякий-любой речет: «Творю зло для добра!» «Горек корень болезни лечит» и всякая подобная.

— В чем? В строгих понятиях, в законе Христовом! Надобно быти примером для подданных и в семье: не прелюбы творить, а блюсти чистоту и честь дома... Я матери твоей ни разу пальцем не тронул! Был строг, а и гласа не возвысил никогда! В трудах, в богатств нестяжании. Должно всегда ощущать власть яко труд, долг, обязанность, данную Господом! — Иван передохнул, вновь отер потное лицо: — В сем дели церковь должна помочь государю. В одном удержать, в ином наставить. И сам пред собою, егда на молитве стоиши, являй Господу в умной молитве вся тайная и вся скверная души своея, да очистиши ум от лукавства. И духов-

ник такожде на то и даден тебе, и бдение нощное, и пост. Алексий, крестник мой, даже и некое сказал, важнейшее прочего: надобен святой! Чуешь? Святой! Дабы преклонились пред ним. И еще одно рек: что сей святой явит себя среди тех, коих я утеснил ныне... Сын, я, возможно, гублю душу, и это самая страшная жертва за други своя! — выдохнул Иван, приподымаясь на локтях, в белое, размытое, почти чужое лицо сына.— Но не похотьствую, не красуюсь в роскоши! Ни сладкоядением, ни сладкопитием, ни иным грехом — блудодейным, иным ли — не согрешил есмь!

Зри, яко мы живем! Те же щи и та же черная каша, то же молоко, масло и сыр, что у наших крестьян ежеден на столе! Та же говядина, баранина ли, те же рыбы и квас в пост! Не много баловал я вас сорочинским пшеном да изюмом! Обиходной посуды иной, кроме глиняных мис да деревянных тарелей и ложек, нету в дому! Дочери, сестры твои, все ткали и пряли, яко и прочие жонки посадские! Носили в будни и дома полотно и холст да овчину. Иное — лунское сукно да шелка, бархаты, камки черевчаты и прочая многоценная — на торжества, в церковь ли, на праздники надевывали, а отнюдь не ежедён! И роскошество пиров по приключаю творим: для приема ли гостей иноземных или иного чего. Серебряных мис да ордынских муравленых чашек видел ты, окроме пиров да гостей званых, когда на столе? С детьми — та же мамка, из деревни взятая, а и в любом справном крестьянскому дому няньку завсегда со стороны наймуют к детям малым! Того, что мы тратим на себя, на жизнь, на будничный обиход свой, не много боле уходит, чем в добром дому крестьянском! А иное все на бояр, на слуг, на дружину — дак на людей же! И люди те кажен свое творит: ткут, шьют, чеботарят, водят птицу и скот или на ратях труд свой, пот и кровь, прилагают, тоже даром хлеб не едят! На пирах сотни народу сыты от княжого стола! Во твою свадьбу, воспомни, всю Москву кормили! И черный народ не бедствует у нас! Как разбоеве утихли, повыбили шишей да татей мои молодцы, дак и клетей не запирают нынче! По доброй осени в каждой деревне братчины, странника, погорельца накормят и напоят в любой избе! Мы не грабим свой народ! — последнее Иван выкрикнул в голос, и задышался, и едва не пропустил тихого, шепотом сказанного сыном слова упрека:

— А Ростов?

— А бегут к нам! — вновь выкрикнул из темноты Иван.— Да, ограбили! Да, разбивали сундуки, примучили иных и богомерзкое и непотребное творили, где и жонок разволочили едва не донага, где даже и церкви божии грехом потронули... Все было! Так вот и собрали серебро! Но ты иное помысли: что, ежели бы я, тихо, мирно, по закону, налогами тяжкими их обложил и тем же путем, как и достоит, собирал дани? Кто пострадал бы тогда? Един смерд, един добытчик и кормилец! Он бы платил налоги те, а боярин, купец наживались на его беде. Богатые побогатели бы, бедные обеднели. А я взял и нарушил сей уклад! Налоги и дани в Ростове и ныне те же, что и допрежь того. Как давали кормы на Покров да на Пасху, дак боле и не дают! А серебро отобрано у богатых, у кого было в скрынях, паче всего у бояр да купцов! Народ не разорен, а токмо владетели ростовски подорваны. Многие из вельмож животов лишились, да гости потерпели торговые. Ну а кто разорен — пожалуйста к нам! Русские люди суть! Не бесермены, не жиды, не латины — православные! У нас им и легота, и кормы, и земля. Вон у Богоявленья, где Алексий мой пребывает, и мнихи ростовски появились! Дак где же здесь позор? Где несправедливость? Дмитров, гляди, от нашей-то власти токмо выиграет! Уже то одно, что мытный двор обчий, гостям во Тверь и из Твери лишнего налогу не платить! А мужик не пострадал, ему под Москвою того легше! Купец, гость торговый? К нам пожалуй! Боярин, ратник? Примем в службу московскую! Пострадал един токмо князь Борис! Да и то по своей дури! Поддался бы сразу — доднесь на столе сидел!

Можно, сын, и никого не убить! А зато всех голодать заставить! Да так голодать, что ни мяса в дому, ни молока на столе не станет! Дети попухнут с бескормицы, от репы единой животы раздует, а уж ни силы, ни здоровья не жди! Раззор ведь — когда часом нашло, да минуло — и не раззор вовсе! Отойдут, отдышат, срубят новые хоромы, взорют пашню — и снова сыт. Худо, когда данщики кровь сосут, когда налогами давят ежеден сверх силы, то худо! Тут и народу умаление, и княжеству гибель. Чти в летописании прежнем: «Отцы наши расплодили было землю русскую». Расплодили! И зри ныне по всей Московской волости: в семьях по пять, по шесть, по четверо, менее не бывает, а где и десяток деточек и бо́льши! По две, по три, по пять молочных ко-

ров во дворах; худо-худо — и то корова да две лошади! Овцы там да гуси, куры, свиньи — не в счет! И люд все ражий, красный лицом, здоровый, веселый, кормленый! Баба ведры дубовые в гору несет — лебедушкою плывет, мужик бревно на плеча здынет — не сбрусвянеет! А погля́нь-ка, в чем одеты москвичи? Посадских молодок за службою от боярынь не отличишь! А и наши крестьянские жонки, черные, деревенски, в церкву, на праздник ли — в янтарях да в серебре выйдут! На Велик день окроме нищего да погорельца и не сыщешь драного-то мужика на Москве!

— Тятя! — Симеон вдруг повалился на ложе, ткнулся пушистою головою в грудь отца.— Тятя! Знаю же я это все. Не сужу я! Понять хочу — и не мочно понять мне! Вот ты... я... А потом? А после? Что ить от человека зависит, с ним и уйдет! Где основа, в чем прочное, чего держатися, дабы и после, после нас, меня...

Иван приобнял сына. Молча слушал. Было хорошо. И не то, что говорено и сказано, а то, что сын не отдалил, не ушел от него, а вот тут, с бедами своими наиважнейшими, как всегда, как прежде, как в детские лета,— хоть и мужик уже, и князь, и жена на сносях,— притек к отцу.

— Я мыслю,— заговорил он медленно, подбирая слова,— основа прочности власти — предание. Должно быть такожде, как исстари, как принято, как от дедов и прадедов заведено, от верху и до низу, во всем. Налоги вот, дани, кормы — как прежде, по преданию, так и теперь. Уж коли предание утверждено, и худой правитель не вдруг его переменит! Дабы не истощить народ! Ни землю, ни лес, ни всякую тварь земную — не истощай, не порть, не выбивай занапрасно! Достоит потомкам оставить столь же богатую землю, как и мы получили от прадедов. Бояр я призываю прежде всего из старых родов! Кто служил тятеньке моему и дедушке, Александру Невскому, святому! Мыслю Прокшиничей опять перезвать, как Новгород замирю; пото и Мишиничей из Переяславля на Москву вызвал.

— И Акинфичей?

— Да, и Акинфичей! Надо и их переманить, сын! Бояре должны знать, что к ним уваженье по роду. Тогда за нас будут не люди, а целые роды: отец, сын, внук, правнук... Так и пойдет! А от уваженья к большим, к боярам, и прочим уваженье и честь надлежит, всем по порядку, поряду. Так и гость торговый должен ведать,

что безопасно и прибыльно ему у нас и что за князем никоторая гривна не пропадет! Ратник должен ведать, что ему за храбрость на рати, а не за иное что честь воздадут. Смерд, пахарь, паче всего должен быть в покое за дом свой, за клеть, за землю и добро. Ежели ведает смерд, что от отца — деда — прадеда все неизменно, прочно, вечно, то и он кровь свою положит за власть и за князя своего. И веру свою, православную, должны мы хранить нерушимо. Иного не мыслю, сын! И что бы ни вершил, сколь чего ни устроил и ни содеял, всегда стремлю к одному: дабы народ чаял во всем обрести прочность бытия.

Ну, а от иных... Тоже надобно требовати, дабы каждый в деле своем, от пахаря и до боярина, труд свой свершал со тщанием, яко же и ратные герои, яко же и богатыри, о коих поют гусляры.

— Тяжко, отец, требовать ото всех высокого! Величие разве не удел избранных? Я вот пьяных не люблю, даже боюсь...

— Пиянство от лени! — вздохнув и усмехнувшись, отозвался Иван.— Труженик, он не пьет, а пирует, да и то в свой праздничный час! А требовать ото всех, ото всего народа, величия надобно, сын! Иначе не стоять земле! Так мыслит Алексий. Так он и мне баял о том! Знаешь, сын, егда я умру... Молчи! Когда-нибудь это произойдет все равно! Алексий, он тебе... Слушай его!

— Батюшка,— вопросил Симеон, приподымая голову,— а не мыслишь ты, дабы Алексий стал когда-нибудь митрополитом русским?

— Молчи! — сурово оборвал Иван, почти зажимая рот сыну, и повторил тише: — Мыслю, но токмо молчи, не искушай судьбу!

## ГЛАВА 40

Падает пушистый звездчатый снег. Рождество. По Москве, только-только отстроенной после летошнего пожара, толпами ходят со звездой славщики, величают младенца Христа. Скоро Святки, гаданья, шумные игры, ряженые в личинах и харях, ковровые сани, кони в бубенцах... Эх, встретить бы дома! Мишук, покряхтывая, дотесывает стены в избе, мастерит лавку. Все сам-один, старшие парни усланы за сеном, не знай, воротят ли к паблдью? Клеть на пожоге сложили едва-едва до

снегов. И то добро, свои ратны устроили помочь старшо́му, выручили Мишука. Хоромина получилась добрая, получше прежней, почитай! А только не обихожена, да и хлев не дорублен. Огрехов тут — делать не переделать и до Троицы! Но великий князь и так отлагал, сколь мочно, помогал погорельцам и лесом и тесом. Велик был пожар, вся Москва, почитай, обновилась!

Нет, Святки дома не встретить, дружина уходит к Нову Городу. Ивана Данилыча вновь зовут на новогородский стол. Мечется Мишук, да уж, видно, бросать нать! Все одно всего не переделашь! Катюха хлопочет, дети, точно гусенки, галдят и так и рыщут под ногами. Тетка после пожара слегла, не встает. Катюха тяжела опять, с брюхом-то много не набегаешь. Походит, походит да и присядет, отдуваясь, поглядит на мужа. Зато Любава уже за хозяйку, летает стрелой. Санька, пострел, уселся на шею к отцу:

— Тятя! Но! Но! Поехали!

— Куда?

— В Новгород!

Мишук, смеясь, сволок озорника, шлепнул:

— Запряг батьку!

Мишук весел, помолодел, глубоко вдыхает морозный свежий дух (только со снегов и перестало нести горелым чадом). Сейчас уже все страшные труды осенние позади. А то было: бревна — до хрипа в груди, от топора гудят плечи и руки, едкий пот заливает глаза. Инова́ приздынешь бревно, дак и темные звездочки в глазах, и ноги дрожат, как у той заезженной коняги. А ничо! Сдюжили! Вона — клеть! И свершить успели! А что скот о сю пору на дворе, дак на крещенски морозы и в хоромину завести не грех, перестоит!

Весел Мишук, и любо, что идут в Новгород не с войной — с миром. Хоть поглядеть путем, каков таков Великий, бают, много чего там новый владыка настроил-наворотил! Стены да церкви камянны, неуж лучше наших еще? Воз с хлебом да кое-какой лопотью прихватил-таки Мишук на правах старшого. Мочно будет продать да и с прибытком домой. Воз уже отослан, уже двое молодших на санях прикатили, торопят. Отданы наказы старшим сыновьям. Катя, толстая как кубышка, выходит, замотав плат, к воротам. Мишук, наклонясь, целует жену. Она, зарозовев, тут только и решается, просит:

— Жемчугу привези новогородскова!

Младшие еще цепляются, лезут на сани: прокатил бы батька напоследях! Молодцы хмельны, добрый конь берет с места в рысь, Мишук валится в розвальни. И-и-эх! Хохочет. Бубенец под дугой заливается звоном, сани виляют, встречные сторонят, весело и озорно орут что-то... И-и-эх! Гони! Снег — пушистый, легкий, сказочный, святочный снег — игольчато холодит лицо, залепляет очи, усы, бороду. Славная зима! Славный конь! Славный поход! И кремник на горке, обновленный снегом, стоит как сказочный, точно и невереженный вовсе, и только непрестанное тюканье топоров внутри городни и на стенах говорит о минувшей беде, уже, почитай, и залатанной лихими секирами неутомимых древоделей.

Князь Иван, опустив поводья и морщась от попадающего в лицо снега, шагом проминовал новорубленый житный двор (про себя порадовал вновь, что пожар случился до того, как завезли новину: хоть хлеб уцелел!). Погреба с добром, бертьяницу и медовушу удалось отстоять, а терема сгорели целиком и о сю пору еще не отстроены. Уцелели каменные церкви, и еще, городовые бояре говорят, в межулках, где тупики были, огонь сникал. Впредь надо велеть так и строить город! Чтобы не продувало насквозь, огненной грозы ради от улиц велись бы не межулки, а тупики.

Он отер глаза рукавом. Выехать из Москвы, а там и в возок пересесть! Сам заметил, что с годами все меньше охоты у него к верховой езде. Неужели силы пошли на убыль? До чего короток век людской! Не так радует жена, в ину пору начинал уставать от нее, не радует снег, мороз не столь бодрит, как было когда-то. И даже теперь, сейчас, заботы не оставляют Ивана. Неужели Узбек простит Александра Тверского? Хоть скачи в Орду! Иначе все, с таким трудом налаженное, прахом, пылью — в ничто!

Едва проминовав Москву, Иван перебирается в возок, закутывается в тулуп, дремлет. Кони несут хорошей рысью, снежная дорога мягка и гладка, возок ныряет, словно на волнах. Иван дремлет, разрешив себе пока, до Дмитрова, не думать ни о чем.

Новгород встречает великого князя торжественным звоном. И как отстроился, как похорошел! Каменная

стена — словно дорогое узорочье, ожерелье, сжимающее море древяных хором. А терема расписные! А новые церкви, розовые, гордые! Быть может, они и правы! И до поры с Новым Городом надобно говорить, яко с равным себе! Город, равный князю великому! Могли бы хоша серебро закамское мне передать! Враз бы и ярославский ярлык куплять стало мочно!

Вот оно, серебро закамское! В этих церквах, что посановитее его московских храмов, в этих драгих портах горожан, в этих веселых рожах... Даром, что орут и машут шапками,— а смотрят как? Тоже, словно равен я им всем! Словно они меня на рати разгромили! Иван плотнее запахнул праздничный, крытый цареградскою парчою, куньим мехом подбитый, вотол (всю дорогу до Новгорода берег, вез в коробьи!) и сердито откинулся на полосатые ордынские подушки. Орут! Тысячу все-таки поневолил заплатить! Коими трудами только! Нет, правы умные — Михайло Терентьич и старый Протасий с Сорокоумом,— в одно баяли: с Новгородом надо добром! Добром... А где взять тогда серебро?! В Орде бесерменски гости торговые толкуют по базарам: де у князя русского, в земле его, серебряны рудники. Столь много серебра с Руси идет в Орду! Рудники! Вот он, единый мой рудник! Дак поди отокрой его преже!

Было шестнадцатое февраля, четверток мясопустной недели, память мученика Памфила. По случаю начала поста в палатах архиепископских угощали рыбой: тройная уха, сиг в наваре из ершей и окуня, алая лососина — гордость Нова Города, шехонская стерлядь, белорыбица, пирог с гречневой кашею и со снетком... Морошка, брусника, вяленые дыни, многоразличные пития, а на заед — белая, сорочинского пшена, каша с изюмом, винные ягоды и грецкие орехи, сваренные в меду. Угощать в Новом Городе умели! Мощные переводины тесового потолка лучились янтарной желтизной — палату нагревали теплым воздухом снизу, стройно звучала прилепая дню и событию музыка. С нижних скамей поминутно вставали, подходили с чарами к верхнему столу, где сидел на почетном кресле Иван, прямь него архиепископ Калика, а с двух сторон — свои бояре и вятшая новогородская госпо́да: Варфоломей Юрьевич, в серебряных с чернью сединах, сановитый, спокойный, грузный; Федор Данилович, Матвей Варфоломеич Коска, Остафий Дворянинец — посадники от Славны, Пруссов и Плотницкого конца; Федор Твердиславич;

Лука; Козьма Твердиславич, бессменный посол Великого Новгорода; а далее — житьи, купцы, старосты ремесленных братств. Подходившие степенно кланялись:

— Здрав буди, господине!

Иван пригубливал, наклонением головы отвечая на поклоны и здравицы. К нему тянулись, подмигивая, старики:

— Вишь, Данилыч! Нам с тобою вместях быти, дак от Литвы опас надобен. Вона! Стены камянны кладем! Спроси, какой ради беды? От Гедимина! И немечь орденских постереци ся надобно! Ты уж не сетуй на нас, не сетуй! Нелюбие отложи, отложи! Едины суть православные!

Иван — у него уже хмелем начинало кружить голову — хотел было возразить о Наримонте, что по договору продолжал сидеть на пригородах новогородских, но и тут его упредили:

— Не посетуй, княже! Нам тоже опас должно имать! И ты сына женил на Гедиминовой доцери! С Литвою нынь надо ухо да глаз!

И опять не скажешь — словно и правду бают! Иван встал из-за стола несколько осоловелый, почти убежденный в любови и дружестве председящих с ним вятших мужей Господина Великого Нова Города.

Назавтра Иван на Городце отдавал пир новогородской боярской господе. Тут смог и со стариком Прокшею поговорить. Звал его на переславские поместья.

— Вишь, государь! У нас ить, сам знашь... В твою службу идтить, здесь ся волостей лишить придет! Оно конецно, под Москвою земля, дак... Сын-от мал ищо у меня! Как тамо у тебя Терентьиць, слыхать, не обижен? За цесть спасибо, княже, а враз в таком дели не решить!

Он один, да и то в такой вот беседе, назвал Ивана государем, и Калита запомнил, понял: честь блюдут! Господин ты нам, принятый нами, а не государь самовластный! И приходилось принимать как есть, смирять норов, который с годами, чуял сам, становился все круче и порою, чаще и чаще, доводил его до беды, до ошибок непростимых от единого токмо нетерпения!

Он и тут, в Новом Городе, содеял промашку немалую. Не дотолковав с боярами, вызвал низовских князей с полками, мысля идти на Псков, разом покончить с Александром, избавить этой вечной висящей над ним

беды, упредить решенье капризно-нерешительного Узбека. Тем паче что Александр ни на какие его посылы не хотел отвечать даже. Стойно Юрию решал этот поход! И дружины начали прибывать низовские, да Великий Город стал поперек:

— Не хотим при с младшим братом! Отложи, князь, нелюбие на Плесков!

И вновь повеяло тем, прежним, как и тогда, в первый поход к Плескову, пугающим бессилием. Что могли поделать его низовские полки, ежели новогородская рать не желала выступать противу Александра со плесковичи!

Ратники исхарчились, пря с новогородцами затягивалась, а Гедимин меж тем нежданным набегом пограбил порубежные новгородские волости, мстил за мир с Иваном. И пришло ворочать рати в иной поход, на Литву. Поход в угоду новогородцам. А и сам понимал: Гедимину надобно дать по рукам, иначе не токмо Плесков, но и Новый Город вновь откачнет от него!

Мира плесковичам он все-таки не дал. Так, без войны, но и без договору мирного отвел войска.

Шла весна. Рыхлел снег, и последние сумасшедшие метели тщетно засыпали молодым снегом напитанные водою поля и пути. Шла весна, и полки возвращались домой. Иван стал в Торжке и отселе — благо подступившие запоздалые мартовские холода скрепили пути — послал воевод зорить порубежные литовские волости. Сожгли городки Осечен и Рясну, пограбили села, угоняли полон и скот.

Мишук Федоров на сей раз отличился под Осечной. Первым во главе своих молодцов ворвался в худо укрепленный городок, отыненный всего лишь стоячею, из заостренных бревен, городьбою с плохонькими кострами по углам. Накинув аркан на тынину, Мишук перелез частокол, спрыгнул, пав с маху на четвереньки, и тут бы ему и каюк: набежал один с рогатиною, а Мишукова сабля лежала посторонь. Да тот сам струхнул, видно, остоялся, стал доставать лук. Мишук успел вскочить и загородиться краем щита. Стрела, с тугим звоном полупробив бычью кожу и обод, застряла, мелко дрожа, в вершке от его лица. Кругом уже тяжко шлепались, перепрыгивая и перелезая ограду, Мишуковы ратные. Литовцы недолго били стрелами по нападающим, а потом, видя, что уже густо лезут через тын и разбивают ворота, ударили в бег. Город запылал почти

сразу. Добро и полон волочили и вели, выхватывая из огня.

Мишук на правах старшого уводил хорошего боевого коня, воз добра и лопоти и, главное, вел за собою, дивясь сам своей удаче, двоих полоняников, белобрысых полещуков, и все подзывал, оглядывая, то того, то другого. Будет кого на деревню посадить, и в дому, с конями обряжаться, мужик нужен! В кошеле, за пазухою, бережно хранилась горсть сверленого новгородского жемчуга, выменянного в Новгороде на хлеб. Обещанный подарок жене. Продавец уверял, что на праздничную головку хватит. Пущай к обедне в Велик день выйдет, дак не хуже иных боярынь московских!

## ГЛАВА 41

И все складывалось удачно, словно бы судьба смилостивилась наконец над ним и начала, как когда-то, дарить его тем, чего жаждала душа, не скупясь и не томя лукавыми умедлениями. Гедимин, занятый ссорами с Орденом, не начал войны. В июне Иван пышно чествовал на Москве новогородских бояр, отдаривая за прием в Новом Городе и словно бы навек хороня нелюбие между ним и вольным городом. В дому великого князя царили мир и согласие. Иван теперь уже уверенно намечал, что даст Симеону на старейший путь, что оставит младшим. Дети подрастали. Андрей был смышлен, красавцу Ивану, правда, не хватало твердости, да при старшем брате оно было даже и лучше: не станут которовать друг с другом! (Это думал про себя, отай, никому не выказывая. Хотелось, чтобы сыновья не растащили княжества по кускам.) Ульяна возилась с дочерью, удивляясь любому движению малютки. Вся ушла в дитятю, ею только и жила. И как награда за труды (Господи, веси, что ни мыслию не мыслил и никакою тайностию тому не по́мог!) умер галицкий князь Федор Давыдович, брат покойного Бориса Дмитровского. Иван тотчас послал к хану с поминками, прося себе ярлыка под покойным князем, а вскоре и сам отбыл в Орду, получать-покупать ярлык на Галич Мерской.

Ехал по осенней багряной поре, радостно вдыхая терпкий аромат вянущих желтых листьев, оглядывая убранные поля, скирды хлеба и удоволенно слушая

дробный стук цепов на токах. Он еще не чаял беды над собою, и даже то, что юный Федор Александрович остался в Твери, ничуть не насторожило его.

Спускались в лодьях по Волге. Осенняя вода быстро несла смоленые черные челны. Хлопали толстинные бурые просмоленные паруса. Гребцы изредка окунали весла в бегучую воду, направляя струги на самый стрежень реки. Иван озирал берега, отдыхал, думал, как удачно складывается все. И крестник Алексий пришел по нраву Феогносту и уже правит делами митрополии, и канонизация покойного митрополита Петра исхлопотана в Цареграде у кесаря с патриархом. Если бы не неожиданное упрямство Константина Тверского, не пожелавшего получить ярлык под братом! Да нет, куда ему... Рано ли, поздно — жена в постели уговорит! Пущай пройдет время, поутихнут возлюбленники Александровы... Великая княгиня Анна зело нездорова, передают! А там и Константин сам не пустит брата на тверской стол!

Урожай был добрый сегод. Мир с Новгородом дал ему новое серебро (не страшно нынче ехать в Орду!). Ярославль, вот где препона! Вот где он чего-то не сумел, не достиг. А после Ярославля суздальские князья окажут ему покорство, и... и Тверь! Все-таки все еще Тверь. Суздаль и Тверь. И Новгород, и Смоленск, а там и Рязань... Как еще много, Господи! Как долог путь! Но тогда, потом, когда все это сольет воедино и станет единою Русью... Великая Русь! О, тогда... Быть может, покойный митрополит Петр и не прав? И он сам (сам!) узрит, с высоты Синая, землю обетованную? Увидит грядущее величие русской земли?!

Мимо проходят зелено-рыжие берега, белые осыпи меловых гор, леса, пески и разливы степей. Великая река несет князя владимирского в Орду, на поклон хану Узбеку, откуда ворочаясь уж не раз находил он, глядючи в серебряное зеркало, новые и новые седые пряди в волосах. Тяжек сей крест! И все-таки в той страшной игре тавлейной, где на кону княжеские головы и любой неверный удар может стоить жизни самому Ивану, о сю пору всегда выигрывает он, а не Узбек!

Калита дремлет. Еще далека дорога. Еще томительно долго ожидание в Орде. Да, он воротит на Москву весною, получив ярлык на Галич, и будет ему эта новая удача точно заушение и позор, ибо узнает он,

что Узбек обманывает его, что в Орде уже ждут Александра Тверского и что вновь и опять начинает рушить, почти до подошвы своей, с муравьиным тщанием возводимая и лелеемая им башня власти, которую он мнил уже вскоре увидеть достроенной и свершенной.

## ГЛАВА 42

Князя Александра любили все. Любили смерды, коих предал он в грозный год Шевкалова разорения, и все равно любили, ждали, связывая с ним возрождение старопрежнего привольного жития; любила дружина, особенно молодшая, простые кмети готовы были в огонь и воду за своего князя; любили иереи и мнихи, тверские книгочии и философы, упорно связывавшие с князем Александром идею тверского величия и первенства града Твери в русской земле; любили гости торговые и тоже ждали: вот воротит на стол Ляксандра Михалыч, прижмет и новогородцев и москвичей, нашему купецкому званью легота настанет! Ждал князя посад, ждала церковь, ждали старые слуги княжеского дома, избежавшие разоренья и вместе с вдовой покойного Михайлы, Анной, сожидавшие теперь «молодого князя» назад, на стол. Среди этого общего ожиданья Константин, ежели бы и восхотел того, навряд сумел бы даже и после материной смерти что ни то содеять противу старшего брата.

Александр на первый погляд с лихвою оправдывал всеобщую любовь к себе. Был смел до удали в бою и на ловах, щедр и хлебосолен на пирах, ясен и ровен нравом, прост и дружествен с низшими. Был он и сам статен и широкоплеч, красив — не той надменно-холодною красою, что словно бы возносит над прочими, а красив спроста: румян, большеглаз, крупнонос, с красиво кудрявящейся бородою и алыми губами, с улыбкою, полною такого солнечного добродушия и веселости, что и всякий не мог не улыбнуться ему в ответ, а жонки, подольше поглядев в очи тверскому князю, надолго теряли и сон, и сердечный покой.

И не всегда, и не вдруг замечалось иное, что великая княгиня Анна издавна с тревогою подмечала в сыне своем: всеобщий любимец князь Александр был излиха легок, не любил раздумывать, в трудном деле решал срыву или отходил посторонь и мог не со зла,

а от той же легкости, незаботности душевной обидеть, а то и тяжко оскорбить иного из ближников своих, даже порою не догадывая о том.

В Литве, в первый год своего изгнания, Александр нерасчетливо сыпал сокровищами княжеской казны направо и налево, изумляя щедростью иноземных рыцарей, старался не уступить Гедимину в роскоши двора, потом же, поизмотав казну, начал все чаще и чаще залезать в мошну своих ближних бояр, оплачивая дорогие услуги туманными обещаниями, а то и позабывая о содеянном ими, и тем посеивал ропот в старшей дружине своей. Нерасчетливо, ради одной лишь выхвалы, приблизил он к себе немецких, датских, фряжских и польских рыцарей, гостей, даже духовных, не желая видеть, что оскорбляет этим своих тверичей, от которых меж тем ожидал и требовал прежней службы и прежней безоглядной верности себе. Если бы еще мать, великая княгиня Анна, была в тот год рядом с сыном! Многими из новых наперсников своих Александр, возвратясь во Псков, начал тяготиться, кое с кем и расстался тою порой, но из той же княжеской широты и щедрости не мог, не сумел, да и не восхотел паки отринуть всех прилипчивых иноземцев, тем паче таких, кто, как надеялся Александр, поможет ему в переговорах с иноземными государями.

Вот и теперь битых два часа отнял немецкий посол, уговаривавший князя принять, вкупе с Гедимином, католическую веру. Тогда-де перед двумя государями, Руссии и Литвы, откроется великое будущее — помощь самого папы римского, а такожде государя Богемии и ляшского короля Казимира. Понимал ведь, что немцу верить нельзя, что никакой союз противу татар с кесарем и папою ныне невозможен, а — слушал! Слушал, дивясь настырности католиков. И когда немец, угловато-прямой, мнящий себя непогрешимым, уходил, с некоторым уважением даже проводил иноземца. И не без досады поймал колючий, неуступчивый взгляд тысяцкого своего, Александра Морхинина, что встрел им на пути невесть почто. Хотелось крикнуть: «Да, да, знаю сам! Сам не люблю католиков, и уж Русь-то папе не продам ни за какие блага! Полно о том!» А воротясь, сник, повесил голову. Ну хорошо, тайный договор с Гедимином подписан и лежит в скрыне, но Гедимин-то имеет в руках Литву, а он? Ему, чтобы быть полноправным союзником литовского князя, на-

добно преже воротить Тверь, а и мало того — великое княжение воротить! Но Литва безпрестани спорит с Орденом, а он, Александр? Сидючи тут, во Пскове, ссорится с Великим Новгородом, угождая плесковским смердам и тому же Гедимину в его тайных планах... А и в сих делах многого ли добились его советчики? Епископа Плескову и то поставить не смогли! (Ныне сами бают: «И к лучшему!» Мол, воротим великое княжение, дак не стало бы со Плесковом лишней докуки...) От сына, из Орды, вести задерживались. Сами же Акинфичи с Бороздиным уговорили его послать Федора к хану Узбеку! Что ни бают, как ни льстят католики, а воротить свою волость он может токмо с соизволения хана Узбека! И пусть Александр Морхинин не хмурит чело! И его думою тоже отсылал он старшего сына в Орду! Немец им не люб! Без иных немцев давно бы мы все тут пропали!

Князь сердито глянул в небольшое оконце, прямь коего виделся плесковский кром с высоким храмом Пресвятой Троицы и грозными, вознесенными над крутизною обрыва башнями. Игольчато сверкал подтаявший снег на мохнатых опушках кровель. Кормленый князь! Вот он кто тут, на Плескове. Принято́й! (Весь обидный смысл этого слова, коим в просторечии обозначают бедного зятя, принятого к дочери в богатый дом, разом предстал мысленному взору Александра.) Нет, он прав, трижды прав, что послушал своих воевод! Но что порешит Узбек? Федя, Федя, возвращайся скорей! Ты-то хоть не заботь отцова сердца! Княгиня опять в трепете. Иван из Нова Города угрожает войной...

Александр встал, вышел из покоя. Морхинин, все так же невступно и колюче глядя на своего господина, посетовал:

— С немцем, княже, надоть соборно толк вести! Думою штоб! И со плесковичи вместях! Не то худые толки пойдут о нас... Уж и без того...

— Ну, хорошо, хорошо! Вперед того не стану...— морща брови, рассеянно отозвался Александр.— Чать с одного-то разговору не зазрят! Вели коня подать!

Они шагом, в сопровождении десятка кметей, проминовали несколько улиц. Снег сверкал. Небо лучилось промытою весеннею синевою. Бряцая оружием, проходили дружины горожан. Веселые, несмотря ни на что, ратники перекликались с жонками, что, выходя из ка-

литок, тоже весело отвечали ратным. Своя дружина нынче ушла к Порхову.

На въезде в кром князя, взбрызгивая снег, догнал гонец. Тяжело дыша, натягивая повода, укротил пляшущего жеребца. Достав из-за пазухи, подал грамоту, осклабясь всею рожей, примолвил:

— Уходят московляне!

Протягивая руку за свитком, Александр испытал мгновенное сожаление. Постоянные тихие угрозы Ивана до того надоели, что неволею хотелось боя, сшибки, открытого ратного спора с московским князем. (Хоть и знал о возможном мире заранвше. Плесковичи отай пересылались с новогородской господой, и те уверили, что отговорят великого князя от войны на Плесков.)

Александр с улыбкой оглянул на дружинников, прокричал весело:

— Слышь, други! Сробели московиты!

На миг расхотелось ехать в кром, вести долгие разговоры с посадниками и купеческой старшиной — ведь уходят, уходят уже! Подавив в себе желание заворотить коня, промчать в опор по Великой, тронул дальше. В уме сложилось: тотчас повестить княгине! Ждет, волнуется, поди! Рада будет, что обошлось без войны и на этот раз... «Ничего, Иван Данилыч! Будет срок, переведаем с тобою и на рати!» — пообещал он мысленно, успокаивая себя.

В низких воротах крома пришлось пригнуть голову. Его встречали. Похоже, об уходе москвичей отцы градские вызнали прежде него, Александра... Что ж, они мыслят, поставя своего владыку и отделясь от Нова Города, не попасть в руки Ордена или Литвы? Самим придет выслушивать послов иноземных, что только и нудят перейти в ихнюю веру! А ежели Гедимин примет католичество, как предлагают ему паки и паки папские легаты? Что должен тогда делать он, изгнанный тверской князь?.. Додумывать не хотелось. Да и не время было: уже доехали, и кмети спешивались, отводя коней.

Он легко привстал в стремени, не тронув подставленного плеча стремянного, соскочил в снег. Гавша с Григорьем Посахном, оба улыбаясь, как именинники, приняли князя едва не под руки.

— Ведаю уже! — Александр помахал трубкою грамотки.

— Господь, Господь отвел! — говорил Гавша, круп-

но крестясь на купола Троицы. И уже подымаясь по широкой тесовой лестнице вечевой палаты, глянул скоса, прищуря глаз, и вполгласа вопросил:

— У тя, княже, гость-от немечкой ныне побывал?

— А! — отмахнулся Александр.— Непутем и баял, все о вере да о посулах цесарских...

— Сулят много! — вздохнул Гавша, отводя глаза и вздыхая.— Католики на посулы падки...— Помолчав, уже когда входили в палату, примолвил: — Ты тово, княже, к нам посылай гостей-от иноземных. Прилюдно чтоб... Какой пакости али молвы худой не стало!

«И этот с советами!» — подумал в сердцах, но не сказал ничего. Послушно склонил голову. Рати ждали, дак не лезли с советами! А как мир, дак и вновь указуют: от сих и до сих... Не думал тогда, посылая к Феогносту о епископе для Плескова, как оно ся повернет потом. На выхвалу деял, щедрость хотел выказать свою! А стань он вновь великим князем владимирским?.. И опять не дали додумать до конца. Зарассаживались, пристойно загомонили. Сейчас почнут о кормах, подводах, вирах, мытном сборе... А ему скучать, улыбаясь, выслушивая и кивая в ответ. Ничего он не может и не волен решать здесь! Так и сидели бы заместо него тот же Иван Акинфов альбо Игнатий Бороздин! Пустые речи — боярская забота, не его! А приходит сидеть ему. Кивать. Соглашаться. Даже и сына в Орду без ихнего совета послать не возмог! Кормят. «Кормленый князь». На случай ратной грозы принятой воевода. И не упрекнешь! Кормят не скудно, любят... Пока свой!

Вечером он отослал вестоношей — воротить дружину из-под Порхова, и только тогда, уже в первых сумерках, воротил домовь, к заждавшейся Анастасии, к детям, к семье, ради которой и жил и нес тяготы своего нужного господарства, подчас несносно отяготительного, как ныне, когда (к счастью для всех!) ушла от него возможность на бою, лик в лик, встретить и поразить ворога своего, отобравшего у него и отчизну, и волость, и власть.

## ГЛАВА 43

Федор любил отца, быть может, больше всех прочих. Любил, понимая все его недостатки и слабости. Потому в мальчишеском обожании Федора была изрядная доля

материнского заботного чувства. «Жалел» родителя, как понимают это слово в народе, соединяя в нем в одно и любовь, и жалость-заботу, стремление опекать и защищать любимое существо. Он очень рано, семи-, восьмилетним отроком, уже умел по едва заметному движению бровей Александра понять, чем недоволен отец, и, в меру своих слабых сил мальчишеских, подчас вызывая невольные улыбки старших, пытался отвести беду от родителя-батюшки.

Мальчику многое пришлось увидеть своими глазами, о чем иные узнают лишь по книгам да от мудрых наставников своих. Во Пскове княжич бегал по улицам ремесленного окологородья, часами, морщась от жара, простаивал в кузнях, бывал у замочников, секирников, шорников, седельных или щитных мастеров; дрался со сверстниками на посаде, дважды едва не утонул, перебираясь в ледоход через Великую, не пораз падал с лошади на полном скаку, а воротясь с улицы, весь исцарапанный и в ушибах, садился за псалтырь, а потом и за «Историю» Малалы. Архидиакон псковского крома учил мальчика греческому, и к двенадцати годам Федор уже читал Омировы «Деяния», «Александрию» и труды Златоуста, Пселла и Григория Великого. Дома были речи и споры бояр, послы иноземные, и не один раз мальчик незамеченным просиживал в думной палате, слушая витиеватые речи с уклончивыми и цветистыми оборотами, и всем своим юным разумом, а больше по выражению лиц, по невзначай брошенному взору или мановению руки старался понять, о чем говорят и чего хотят эти взрослые важные мужи в дорогих одеждах.

Всех сыновей у князя Александра было пятеро, да две дочери родились им вослед (последняя уже в Твери). Но дружить Федя мог только со вторым своим братом, Всеволодом,— прочие были еще слишком малы. С ним они лазали по башням крома, рискуя сверзиться вниз, проходили по неохватным переводинам под кровлями костров. У них и место было свое избрано: противу крома на крутосклоне Гремячьей горы, почти под самою башней, близ моста через Пскову. Ископана пещерка малая, и ключик родниковой воды близ нее — своей, заветной. И там оба отрока просиживали, таясь ото всех; судили взрослых, рассказывали друг другу разные тайности, приносили детские клятвы один другому. Подрастая, Федор все реже посещал ихнюю

пещерку, вызывая тем ревность у Всеволода, но в этот день, когда решилась судьба его поездки в Орду, он сам вызвал брата на старое место и ломающимся баском поведал тому, что едет, быть может — на смерть!

Всеволод вздрогнул, прижался к брату:

— Как же ты?

Федор смотрел, раздувая ноздри, прямо перед собой:

— Меня будут мучить! Но я все равно не покорюсь! Умру, как дедушка! (Житие Михаила Святого они читали оба не пораз и затвердили, пожалуй, наизусть.) А ты,— он сжал до боли плечо брата,— поклянись, что бы со мной ни створилось... Нет! Повторяй за мной: «Честным крестом и пресвятой матерью Богородицей клянусь: егда погибнет брат мой старейший в Орде, не ослабну духом и не престану побарать на враги своея и град наш отчий, Тверь, ворочу под руку свою, како было при деде нашем, святом, великом князе Михаиле!»

Всеволод, бледнея, повторил клятву.

— Аминь! — хором заключили отроки. Помолчав, Федор, насупясь, добавил:

— А егда с тобою что ся створит, то передай клятву Мишутке, он как раз подрастет тогда, понял?

Всеволод молча кивнул головой.

— Ну и... посидим так!

Братья обнялись. Наступило долгое безмолвие.

— Тебе страшно? — шепотом спросил Всеволод.

Федор кивнул головой:

— Страшно, конечно! Но я все равно не боюсь! Дедушке тоже было нелегко... с колодкой на шее... Дак зато он святой, вот!

Опять помолчали.

— Ты бабу Анну увидишь...— начал Всеволод.

— Увижу. Передавали, ждет меня уже! — невольно похвастал Федор и, вспомнив, что Всеволод ни разу не видал бабушки и, верно, завидует ему, поправился: — Я ить недолго буду во Твери, разом в Орду поеду! А ворочу живой, все мы вместях к бабе Анне во Тверь поедем!

— Ты скажи ей,— стесняясь, попросил Всеволод,— что и я... что все мы... любим ее...

— Скажу! — Он крепче обнял брата и замолк. Так они и сидели молча, пока мощный голос ко-

локола над обрывом не напомнил им, что пора уходить...

Для Федора это было последнее детское свидание, последняя игра слишком рано оборванной юности и первое предвестие грозной грядущей судьбы.

Сборы были не быстрыми, не пораз пересылались послами, и в путь отправились уже в середине зимы. В Твери за хлопотами радостной встречи он едва не забыл о давней просьбе Всеволода и только уж перед отъездом в Орду вспомнил. Великая княгиня Анна прослезилась, услышав о любви к себе никогда не виданного ею внучонка, и порешила послать Всеволоду благословение — родовую икону, Спасов лик, древнего суздальского письма.

Федор, озрясь в Твери, которую любил всегда по рассказам старших и по смутным воспоминаниям, теперь, увидав все это повзрослевшим оком, уже и сам начал в юношеском нетерпении торопить своих бояринов. Воротиться в Тверь! Это была у него уже не мечта — дело всей жизни. И впервые, быть может, он трезво и тяжко помыслил о возможной смерти в Орде... Пусть! Иного пути не было. Сидючи отай в думе отцовой, он лучше Александра понял, что латиняне — многоразличные наезжие немцы — да и государи западных земель не спасут ихнего тверского стола и не помогут Руси в борьбе с Ордой. А значит, надо было ехать к хану Узбеку и пытать там, в далеком и грозном Сарае, удачи в споре с заклятою Москвой и непонятным князем Иваном Данилычем.

Бояр со своим сыном Александр отправил опытных, не раз побывавших в Орде, знающих тамошнюю жизнь и язык татарский. Были и старые связи, были и доброхоты тверские в свите Узбековой. Надлежало все это поднять, уведать, обновить приятельства, повестить кому надо, послать поминки (без приноса в Орду и не езди лучше!). Готовя поезд в Твери, с ног сбились. Анна отворила княжеские сундуки, пришло и тверским гостям покланять. Слава Господу, город ожил, отстроился, побогател за прошедшие леты. Было что доставать из сундуков! Обоз собрали уже к весне.

И вот они плывут по синей Волге, следя желтопятнистые солнечные берега, провожая погосты и городки, минуя тяжко выгребающие встречь купеческие караваны, и когда-то воротят назад!

В Орде Федор пробыл более года. Изучил речь татарскую. Начал понимать, как непросто тут все, простое издали, как тяжко порой и самому хану Узбеку, который четыре лета потратил только на то, чтобы выдать любимую дочь за египетского султана, ибо прежде, дабы получить согласие подданных и родичей своих, ему пришлось дарить чуть не всех вельмож ордынских поряду.

Узбеку по нраву пришел урусутский юноша, чем-то напомнивший покойного Тимура; он брал его на охоты, несколько раз подолгу беседовал с ним и был добр. Только провожая, глядел странно, как бы издалека, отчуждаясь: так смотрят вослед редкостной птице, пролетевшей над головой. И взгляд этот, скорее задумчивый, чем грозный, чем-то был страшен Федору. Что решал повелитель? Что решали вельможи его? Федор не знал. Бояре приходили то радостные, то озабоченные. Серебро уже брали по заемным грамотам у купцов. Федор невзначай услышал брошенное по-татарски одним из важных нойонов Узбековых:

— Коназу Александру дорого станет воротить великий стол!

И опять было непонятно, как уразуметь сказанное? Неужели отца, хоть и за большую мзду, не токмо простят, но и воротят ему великое княжение владимирское?! Он передал подслушанные слова старшему боярину. Старик покачал головой, повздыхал:

— Просим о том! Да вишь... Обадил тута Иван-от Данилыч почитай всех! Никакими посулами не своротить! Добро бы отдали Тверь, и за то надобно благодарить Господа!

Федор обветрел, загорел, огрубел и возмужал на режущих степных ветрах, на южном солнце; весь пропах запахами коня и полыни. Без него Иван подступал под Псков, без него отступил, не доведя дело до брани. И наконец, когда уже всякая надежда даже на возвращение домой покинула Федора, Узбек вновь вызвал его с боярами и, в своем роскошном шелковом и парчовом шатре, сидя на золотом троне в окружении двора, жен и вельмож, изрек, глядя куда-то поверх Фединой головы:

— Мы порешили так! Пусть твой отец сам приедет ко мне говорить о своей волости! Обещаем ему жизнь. Ступай.

Федор поклонился и вышел, пятясь. Дома бояре

толковали, что дело почти устроено. Конечно, ежели московской князь сам не прискачет в Орду!

Вновь потянулись, теперь уже вспять, берега великой реки, по которой так быстро плыть из Твери до Сарая и так медленно и трудно возвращаться назад.

В Орду уезжал отрок — воротился муж. Пусть не все понял он в сложных переговорах с ордынцами, но главное постиг. И то постиг, какова цена ему, княжичу, наследнику своего отца, возможному будущему тверскому князю. Едва не схоронив бабу Анну, Федор остался в Твери. Сам, без отцова подсказа и без совета бояр, понял, что так надо. Дядья, Константин с Василием, пересидевшие в Ладоге тверское взятье и воротившие в отчий дом вместе с великой княгиней Анной, стали за эти десять лет чужими семье Александра. И для того чтобы не разошлись старые слуги, не разбрелась дружина, чтобы волость, ведомая властной рукою бабы Анны, теперь, при ее немощи, не пошатилась и не отпала от их семьи, он, Федор, должен был остаться в Твери. И Федор остался. Отослал бояр к отцу, вызвал к себе воевод княгинина полка и имел с ними долгую молвь, после чего дружина великой княгини Анны присягнула на верность юному княжичу.

Дядя Василий скоро уехал в Кашин. Константин оставался в Твери, в родовом тереме. Обедали за одним столом. Тетка Софья, «московка», сразу невзлюбила племянника. И, глядя на ее тупой подбородок, чуть выставленный вперед, и весь упорно-самолюбивый очерк лица, Федор и сам чуял к ней глухую тяжелую злобу. Все поминалось, что именно ее отец, Юрий Данилыч, погубил дедушку, Михаила Святого, в Орде. Прошлое сидело перед ним за широким пиршественным столом. И подчас — глядя на тетку — кусок не шел в рот Федору. Добро еще, что Софья прихварывала и, верно, не могла, не имела сил выказать всю крутую властность своего нрава. Дядя Константин казался усталым, явно робел перед женой, на племянника поглядывал неуверенно, словно гадал: как себя вести с юношей? О делах говорили мало и всегда в отсутствие тетки и бабы Анны. Дядя горбился. Он был сух, поджар. Почасту страдал нутряною болестью и тогда вовсе ничего не ел. Когда-то красивое лицо Константина портили ранние мелкие морщины и общее выра-

жение брезгливой усталости и недоверия ко всем и всему. Юному Федору дядя, коему было всего лишь за тридцать, казался и вовсе стариком. На жадные вопросы племянника о той далекой ордынской трагедии Константин отмалчивался или отвечал кратко и сухо, словно и не был сам в Орде, когда убивали его отца. Раз, подняв глаза на племянника, спросил:

— Что, Александр мыслит и все великое княжение опять себе воротить? — И, не сожидая ответа, померк, оскучнел, отворачивая взор, пробормотав невнятно: — Навряд... Тяжело...

Почто старший племянник сидит в Твери, объезжает села, знакомит с боярами и купцами, Константин не спрашивал...

Пройдет совсем не так уж много лет, и он, уже при второй жене, обратясь от трусости к подлости, начнет ссориться с вдовой брата, Настасьей, вымогать серебро у ее бояр, утеснять племянника Всеволода, клянчить у ордынского хана ярлык на тверской стол и свершит и закончит весь свой невеселый путь от большеглазого мальчика, рыдающего в юрте царевны Бялынь, до едкого неприятного сухощавого старика с дурным запахом изо рта и общим старческим резким запахом, козловатого и жадного, не ведающего, что смерть сразит его нежданно и не в срок, посреди ненужных просьб и ненужных трудов суетных.

Новая весна выглаживала снега на полях, вновь суматошно и радостно орали птицы. Ржали кони, чуя весну, и томительной ледяною сырью несло вдоль потемневшей и посеревшей Волги — откуда-то оттоле, издалека, из-за синих лесов, от тревожных татарских степей.

Радостно и тяжко бил большой тверской колокол, и толпы горожан осыпали смоленскую дорогу, по которой ехал в город князь Александр. И Федор, поддерживающий под локоть слабую еще бабу Анну, глядя со стрельницы на приближающийся издалека поезд, весь исходил ликованьем и гордостью. Это была его встреча, его затея! Его думою тысячи горожан ныне встречают батюшку, и дядя Константин, на тонконогом, арабских кровей, жеребце, встречает брата за воротами города. Они победят! Должны победить! И Тверь, и великий стол владимирский — все будет снова у них, в их роду! И пусть сейчас Александр едет только затем, чтобы с ним, Федором, воротить во Псков, но те-

перь уже, после этой встречи, батюшка не отступит, не посмеет отступить от задуманного!

Юный княжич сбегает по лестницам, вскакивает в седло. Конь с места в опор, кидая позадь себя комья снега, выносит его на улицу. И Федор скачет, во главе своих кметей, радостный, под праздничный колокольный звон, встречу отца.

## ГЛАВА 44

Анастасия, или Настасья, жена Александра Тверского, прожив в браке шестнадцать лет и родив восьмерых детей, продолжала любить мужа столь же трепетно-безоглядно, как и в первые месяцы супружества.

Стройная сероглазая красавица с милыми ямочками на щеках, она с годами еще расцвела, раздалась и чуть-чуть огрузнела в груди и бедрах, пополнела-округлела лицом, отчего ямочки на щеках стали еще соблазнительнее. Дома, вечером, сняв повойник и расплетя тяжелою короной уложенные на голове две толстенные косы, она, тряхнув головой, могла тотчас окутать всю себя ниже колен густым дождем волос цвета темного гречишного меда.

Александр любил жену спокойной ответной любовью уверенного в себе и своей спутнице супруга. Дома, в семье, отдыхал, радуясь детям, что возились и кричали, лезли на плечи отцу, дрались за право подержать в руках его оружие, визжали от восторга, когда Александр подсаживал малышей на седло своего рослого боевого коня; снисходительно и терпеливо выслушивал рассказы мальчиков, почерпнутые из греческих книг и Библии. Ни храбрости, ни прилежанию учить сыновей не приходилось. Оба старшие от роду были и храбры, и кипуче-любопытны, почему и научение книжное давалось мальчикам без труда. Поворотись по-иному судьба тверского княжеского дома — и как бы не позавидовать этой семье!

Жизнь не баловала княгиню Настасью безоблачным счастьем. Грозный спор с Юрием Данилычем, казнь шурина Дмитрия в Орде, короткое, полное тревог и частых отлучек из дому великое княжение Александра и, наконец, тверской бунт и последовавшее за ним судорожное безоглядное бегство в Новгород, Ладогу, Псков — бегство в ничто! Затем вечные страхи

татарской мести, девять лет жизни на чужбине, во Пскове, откуда путь был бы уже один: за рубеж, в Литву либо в немецкие земли, а там ждали бы их нищета, тщетное обивание порогов сильных мира сего, унижения и измены, скорбь и потери близких... От последнего упас Бог! До сих пор Настасья, вздрагивая, вспоминает тот год, когда Александр ушел в Литву, оставя их всех во Пскове, быть может, на выдачу и плен Ивану Московскому. Тогдашний год разлуки показался за десять. Когда воротил наконец, обласканный Гедимином, празднично, с колокольным звоном, принятый плесковичами, так едва выстояла торжественную встречу и, лишь закрылась дверь, лишь остались одни, повисла на шее у мужа, вся вжавшись, судорожно ощупывая его руками, захлебываясь от слез,— мало не испугав Александра силою страсти. Отстранясь на миг, слепительным взглядом окидывала родное, как-то чуть изменившееся лицо, вдыхая чужие, литовские, запахи от иноземного платья...

И все всегда, всю жизнь, было для него одного: для мужа, лады, ненаглядного. Для него и густые косы, и лучащийся взгляд, и домашний уют, и дети. Даже нечаянную смерть первенца, Льва, перенесла легко, без отчаянья. При живом отце дитя и еще, и еще родить мочно! Мужа единожды дает Бог! Впрочем, когда Левушка погиб, уже ходила тяжела вторым, Федей. В одночасье и опечалил и обрадовал новым сыном Господь.

А ныне сама не знала, не ведала: чего пожелать, чему печаловать? Сперва Федя уехал во Тверь и оттоле, надолго, в Орду. Затем дошли вести о болезни свекрови. Сын, воротясь из Орды, задерживал в Твери — на добро ли? Звал отца, Александра, к себе. А ну как переймут, схватят дорогою? Вдруг деверь, Константин, переметнул к Ивану? Уехал ненаглядный князь, и у нее вовсе пропали и сон и покой. Что, ежели пропадут оба? А ну как московиты изымают на миру мужа с сыном да и посадят обоих в железа, в затвор, в проклятой Москве? И что ей одной с малыми чадами в чужом городе?

Многое передумала княгиня Анастасия в эти тревожные месяцы. Первая прямая складка залегла меж бровей. И почто так волновалась, так переживала всегда, когда уезжал от нее? Или чуяло сердце невзгодушку дальнюю и маячило где-то пред нею долгое оди-

нокое вдовство, ссоры и свары с родичами, горький вдовий хлеб грядущей судьбы? Где нашла она силы, чтобы жить, драться за судьбы сыновей, устраивать почетные браки дочек, все время гордо оставаясь великой княгиней тверской? Не сейчас, не в эти ли годы отбоялась она за всю свою грядущую судьбу, отжила, отстрадала все страхи и все страдания женские, чтобы после суметь быть мужественной уже навсегда — до конца лет, до предела жизни, до предела своей земной невеселой судьбы.

И ныне ждала, как тогда, девять годов назад, из литовской земли, неистово, страстно, как не всегда ждут и в юности. И беды не близилось никакой! Ни рати не было на Плесков, никакого иного нелюбия. Почему? Почто?

Услыхав, что едут, чуть-чуть не упала в обморок, в глазах поплыло, поплыло... Едут, едут же! Всеволод первый опамятовал, кинулся встречать. Анастасия, опомнясь, подняла на ноги всех слуг и служанок. Когда Александр с сыном прибыл к себе на двор, хоромы были готовы к приему, на поварне вовсю пекли и стряпали, и уже подсыхали вымытые до желтого блеска полы, а Настасья, сияющая, в праздничных переливчатых шелках, в жемчужном кокошнике, окруженная вымытыми и тоже принаряженными детьми, встречала супруга со старшим сыном на сенях, держа в чуть подрагивающих руках серебряный поднос с двумя чарами, налитыми до краев душистым «боярским» медом.

И была долгая толковня бояр, пря о том, что и как деять теперича. Шумный пир, длинное, томительное для нее, ожидание. И все повторялось: Орда, Орда, Орда, Узбек, великое княжение владимирское... Что ей были и кесарь татарской и дела господарские мужевы! Дотерпеть до ночи, остаться с ним наедине! И вот наконец ночь. Счастье — и наваливающийся дурманом глубокий покой. Обарываемая сном, Анастасия все еще ласкает мужа, гладит ему бороду, разглаживает пальцами складки на лбу, все еще удивляясь, что он рядом, следит в скудном плывущем свете лампадки поднятое вверх, с задранной бородою дорогое чело.

— Спишь?

— Думаю.

— Не думай, спи! — нежно просит она и не выдерживает: — О чем ты?

Вот смутно шевельнулась борода, вот дрогнули губы... И тогда она, уже все поняв, громко, отчаянно шепчет, перебивая:

— Не надо, не езди! Задавят, замучат тебя, как батюшку, как Митрия!

Он долго молчит, мерно и тяжко дыша, и потом, когда она уже начинает успокаиваться, молвит тихо:

— Князь я! И здесь покою не дадут. Отчину не воротить, детям по чужбине скитаться придет.

Настасья, вся сжавшись от острой боли сердечной, прижимается к нему, словно уже теряя навсегда, бормочет, шепчет — сама толком не понимая, что и говорит,— что-то жалкое, свое, неразумное, женское:

— Не езди, Саня, Санюшка! На кого...

И Александр крепче и крепче сжимает трепещущие плечи жены и сжимает зубы до дрожи в скулах, чувствуя, что и сам не может заставить себя оторваться от нее, поехать в Орду, на смерть, но что и не ехать уже нельзя.

## ГЛАВА 45

Уже всюду текли ручьи, солнце пекло вовсю и кое-где начинали просыхать улицы, а тут задул упорный сиверик, нанесло белесой мги и пошел снег. Дуром, что Пасха на носу, завьюжило, стойно Святок! На второй день сугробы выросли до крыльца, вновь замело обсохшие было пригорки, далекие леса и деревни по окоему утонули в серо-синем сумраке, а ветер все дул и дул, завывая в дымниках, все несла и несла метель белою тонкою порошей, и уже шапками молодого снега укрыло плесковские тесаные кровли, уже мужики лопатами начали разгребать сугробы в улицах, дивясь необычной весне. И уже совсем по-зимнему гляделся убеленный порошею простор Великой, за которым, неясные в снежной круговерти, вздымались островерхие плесковские костры с долгими пряслами стен и хороводом размытых метелью сквозистых звонниц и куполов над ними.

Андрей Кобыла стоял в долгом бараньем ордынском тулупе и бобровой шапке и с удовольствием подставлял режущему ветру разрумянившееся на холоде лицо, следил, как в снежном дыму то возникают, то скрываются башни псковского крома,— словно белый

холодный пожар бушевал над городом. (Когда летом Псков загорелся и выгорел весь, мало не дотла, Андрей вспомнил, глядючи на сизо-багровые, гонимые ветром облака огня, эту весеннюю небывалую вьюгу.) В дымно-белых вихрях, проносящихся вдоль Великой, маячил, то скрываясь в снежной круговерти, то появляясь вновь, одинокий вершник. «Ко мне али не ко мне? — гадал Кобыла.— А стало, быть седни гонцу!» Вершник, в очередную вынырнув из метели, издалека помахал рукой. «Ко мне!» — понял Андрей и шагнул встречь. Микита, тверской ключник Кобылы, с докрасна иссеченным ветром лицом, свалился с коня прямо в медвежьи объятья своего господина. Смачно расцелованный в обе щеки, обрасывая снег с усов и бороды, Микита полез было за пазуху — за грамотой.

— Постой! В горницу взойдем! — остановил его Андрей.— Екой ты поспешной!

Влезли в жило. Пока разоболокались, Андрей кивнул слуге,— мигом собрали на стол. Микита хлебал, обжигаясь, щи, ел хлеб, с удовольствием опрокинув в глотку чашу красного фряжского, налитого господином, а Андрей, хмурясь и крякая, шевеля губами, медленно читал грамоту сводного брата, Федьки Шевляги. Оторвавшись от письма, вскинул на ключника лохмы бровей:

— Серебро-то хошь прислал?

Тот, давясь куском, быстро закивал головою. Проглотив, наконец вымолвил:

— Четыре рубли новогороцких! А снедное везут обозом! — быстро примолвил он, видя, что хмурая складка на челе господина не разгладилась.

— Четыре рубли... Восемь гривенок... Мог бы и пять дослать! — пробормотал Андрей.— Шевляга, он Шевляга и есть!

Скоса кинув взгляд на тяжелый кожаный мешочек, достанный Микитою, Андрей воздохнул и вопросил будто нехотя:

— Как там, в деревне?

— В Спасах? — уточнил Микита.

— Вестимо!

— А Бог миловал! Даве глядел: кони справны, и сеять есть чем, рожь добра.

— Не блодит Офонька-то?

— Да... как ить баять? — Микита замялся.— Немного-то есть!

— Скажи, ворочусь — шкуру с живого спущу! — пообещал Андрей.

— Вот только в Замежье пакость приключилась, с Твердилою...

— Чего бы то?

— Человека убил!

— Ето постой... Какой же Твердило, кузнец?

— Он.

— Ну-у-у,— протянул Кобыла,— мужик доброй! Степенной мужик. Етот дуром и в драку не полезет! Князю доложено уже?

— Дак... В мертвом теле... князев суд...

— Мог бы Федька и пождать, не долагать! Узнай путем, што да как... Мню, не так-то просто тамо. За такого кузнеца, как Твердило, я и головную виру дам, не постою! — решительно присовокупил Андрей.

Микита почал было долагать о кормах.

— Ну, а Сивой-то, Мизгирь,— перебил Андрей,— какой ныне? Девок, поди, замуж повыдал всех?

— Дак што ж! Годы, господине!

— Уж и с приплодом, поди... Дивно! Помню, махоньки, едаки вот росточком, а востры... Утешные у него чада... А у Селянина, бочара, сын-от здоров?

— Которой?

— Да хошь... Верно, двое ведь у ево!

— Старшего-то Бог прибрал: кака-то болесть, не то остуда пала...

— А второй?

— Плотничает!

— Плотничает, говоришь? — переспросил Кобыла, поглядывая в маленькое слюдяное оконце, за которым бесновалась, завывая и шипя, вьюга, и с откровенною тоскою пробормотал:

— А как Селька косил! Загляденье! Меня ить не пораз окашивал! — И, крепко сжав щеки ладонями, покрутил головой.

— Стосковались, Андрей Иваныч? — участливо вопросил Микита.

— Не скажи! Во снях вижу... домой бы... с косою, по лугу...— признался боярин.

Встряхнувши гривой, Кобыла отогнал настырное, до боли, видение и вновь углубил очи в братню грамоту. Скрипнула дверь. Андрей было сердито повел глазом (не любил, когда дети мешают разговору), но

тут же и растянул рот в улыбке. Вошла боярыня. Ключник вскочил было.

— Сиди, сиди, Микитушко! — ласково остановила холопа Андреиха.— Добры ли вести привез?

— Федюха четыре рубли прислал! — отозвался Андрей.

Боярыня только коротко вздохнула. (Тоже ожидала лишнего, ой как нужного в хозяйстве рубля.)

— Покуда сами не сядем на селах, порядку не жди! — с сердцем сказал Андрей.— Вишь, Твердило, кузнец, каких мало, бают, человека убил!

— Надо помогать, Андрюшенька! — живо возразила боярыня (понимала мужа с полуслова).— Может, ко князю сходить?

— Князя в екое дело мешать! Своих делов... С ханом... До нашего ли кузнеца нонече?! — Подумав, примолвил: — Однако схожу! Сраму б токмо не добыть... А по правде судить, так тово: преже разглядеть надо, кто убил и кого? Труженик завсегда прав, а тать, вор, пьяница и не сблодил, да виновен! С иным ничо не сделашь, не хочет работать — и на-поди! Куды такого? Каких детей воспитат?! Ну, разве в степь, ордынских гостей зорить... дак и то... Не! Коли справной мужик сам напал на татя и татя порешил, дак все одно виноват тать! Иначе, коли всем равну исправу по «Правде» давать, дак татю-то и выгода, ему и своей головы не жаль, а справной мужик — отойди посторонь!

— Погоди, Иваныч! — примирительно, любуясь своим богатырем-супругом, отмолвила жена.— Вызнай путем, може, твой-от кузнец вовсе и не татя порешил, а из соседей кого!

— Пущай! — взъярясь медведем, заорал Кобыла.— Пущай! Грех не по приключаю... Все одно невиновен в сем! Стало, имел нужду убить! Може, тот его травил-измывал, до ноздрей дошло, може, над дочерью, женой ли цего сблодил! Може, еще иной какой тайностью одолил... А токмо... Знал ли кто за Твердилою хоша един грех допрежь? Никто никогда! На братчине иной свара, кто разнимет да утишит? Кузнец Твердило! По́мочь кому какая надоба, починить што али там подковать, хошь и даром,— Твердило! А ты... Вишь... По людину смотри! А справны мужики никого зазря не порешат! У корел, вона, рыбного вора поймают на дели — сетью опутают и в воду! Коневого татя наши

мужики изловят — кол в ж... и концы! Есь, всегда есь такой выродок, што не даст никому ни жить, ни работать, ну ни во что! Его, такого, не убивать — он весь народ перепортит, как паршивая овца стадо. На что ни пошли худое, каку пакость — изменить ли князю, свово боярина убить, мужиков пограбить,— такой сыщется...

Хлопнула дверь. Новый гость вступил в горницу. Усмехнувшись на громкую речь Кобылы, обтер багровое лицо красным платом:

— Кура курит! Чисто февраль на дворе! Кого ета честишь, Андрей? — смеясь, вопросил Иван Акинфов.— Здравствуй! Счас к тебе мой Федор с Морхиничем нагрянут!

Бояре обнялись. Микита, свернув грамоту, пятясь, исчез из покоя. Кивнув вслед уходящему, Иван полюбопытничал:

— Из дому ле?

— Да так, рублишка привез да и вести, братуха там...

— Почто шумишь?

— Кузнеца у меня в татьбе ищут. Доброй мужик, знатный мастер.

— Быват и добрый, а уж за мертвое тело заплатишь!

— Вестимо, заплачу. Не выдам мужика, а только обидно! Ни за што серебро князю Костянтину передавать!

— Тоже и самим-то разрешить...— возразил Иван.— Не дело! Иного порешат и непутем, глаз нужен! Нам с тобою разреши токо, вмиг кого ухлопаем, сами не заметим!.. Благодарствую! — отнесся он к боярыне, которая неспешно поставила на стол чарки, кувшин меду, вишневый квас и сейчас доставала приборы из поставца. Вошла жонка-прислуга, и в четыре руки стол был живо убран после трапезы Микиты и уставлен новою точеною и глиняною посудою.

— Щец не подать ле?

— А не откажусь! — весело отмолвил Иван, потирая застывшие на холоде ладони и посматривая на стол, на коем уже появились рядом с караваем хлеба, чашею топленого масла и кувшинами нарезанная крупными ломтями сиговина, миса вяленых псковских снетков, моченая брусника и рыжики.

Испив пока, до столов, кислого квасу, Иван ухва-

тил щепоть перевитых, скукоженных жаром снетков и, отправив в рот, хитро посмотрел на Андрея.

— Иного подлеца и к делу приставить мочно! Я справного мужика не трону: за конем ходить альбо там што подай да принеси...

— Холопья на што?

— Холопья ти тоже! Иного на пашню посадишь — и сам ему поклон воздашь! Всякой твари свое место.

— Ну и держи ту тварь на чепи! — вновь взъярился Андрей.— Кажен похочет... а потом вот!

Иван мелко смеялся, жевал снетка, крутя головой.

— Те бы дать волю, ты народ, как племенной скот, разделил, и которы худы — под нож их?

— Почто под нож? — возразил Кобыла.— А так... Воли не давать...

— Воли! Ить коли б по-твоему, ну, мужика ты оправишь. А боярина? А князя? А ежель на́больший такой народит? И его? — Иван показал пальцем по горлу. Андрей засопел, его ум не поспевал за быстрым умом Ивана.

— Запутал ты меня, Окинфич, маненько, а только одно знаю: так ли, сяк ли, а закон должон охранять труженика, а не тунеядца! А то втуне ядящих разведем и сами ся погубим тою порой!

— Закон, закон...— рассеянно повторил Иван Акинфич.— Как мыслишь, князю Лександру дастся княжение вновь?

— Баяли бояре, что с княжичем ездили в Орду, могут и Тверь воротить, а могут и все велико княженье. Ляксандр ить был великим князем-то!

Иван вздохнул, утупил очи.

— Чего вздыхаешь? — спросил Кобыла.— Я дак жду не дождусь домовь воротить! Плесковичи и добры до нас, а все воля не своя, не своя и отчина! А ты словно не радошен тем?

Иван Акинфич взглянул на приятеля без улыбки, устало и строго вымолвил:

— С Иваном Данилычем ратиться придет, Андрей!

Кобыла собрал брови хмурью. Как-то сам о том не подумал путем ни разу.

— Села твои переславски опеть...— начал было он.

Иван зло отмахнул рукой:

— Дались всем мои села переславски! И у Сашка села ти, и у тебя, Иваныч, село под Москвой! Не в селах дело! — бросил он почти с отчаянием.— А и в них

тож! Нам всем, всем, Андрей! И тебе, да, да, и тебе! Надобен единый глава, едина власть, един князь великий на Руси!

— Дак почто?! Лександр-от, батюшка, коли возьмет велико княженье, дак единым великим князем и станет на Руси?! — недоумевая воззрился на него Андрей. Иван Акинфич глянул на хозяина тяжело и недобро, словно гадая: говорить или нет? Слышнее стала вьюга, подвывавшая в дымнике. Но тут в сенях зашумело, двери весело расскочили, с гомоном и шумом ввалились, оба оснеженные, краснолицые, Федор Акинфич с Александром Морхининым.

— А, Иван и тут первый поспел! — прокричал Федор.

— Не шуми до поры! — возразил Иван.— Скоро тебе воеводить на дели придет?

— Против Иван Данилыча?

— Противу татар! — значительно изрек Иван, погасив веселье братьев.

Зарассаживались. Андреиха сама внесла обернутый полотенцем дымящийся горшок щей. Отложив взятую было ложку, Федор выпрямился:

— Чтой-то опять темнишь, брат!

— Снидай, снидай! — добродушно окоротил Иван.— Поснидашь, сам все скажу-выскажу! — Ты-то вот, Ляксандр, законник, ты у нас тысяцкой! — лукаво добавил он, глядючи на двоюродного брата.

— Не зуди! — угрюмо отозвался Александр.— Теперича буду и тысяцким вскоре!

Тверским тысяцким назначил князь Александр боярина Морхинина словно в насмешку. Где Тверь и где они? Но теперь, верно, вроде бы вскоре звание тысяцкого должно было обрести силу.

— И ты, брат, подумай преже: не под новый ли погром тверичей поведешь?! — продолжал Иван, словно не заметив обиды двоюродника.

— Да молви толком! — взорвался Федор.

— Повести мужикам, с чем пришел! — подал свой голос и Андрей Кобыла.

Иван кончил щи, рыгнул, сыто отвалил к стене.

— Дак вот, други! То были грамоты, а ныне полный договор с Гедимином подписан: Литве — Смоленск, а против хана — вместях!

Сотрапезники замерли.

— Как же без нас-то? — недоуменно протянул

Андрей.— Думу ить вместях думали! — присовокупил он с обидою.

— Немчин все, Дуск ентот самый, и тот, другой, Гедиминов, Жигимунт, Зигмунд, разом-то не выговоришь! Они и подвели. Дак вот и разглядайте, други, не дорого ли плачено за великий стол?

— Эх! — встряхнул головою Федор.— Непо́люби мне твои подходы, Иван! Ить стало б одно: альбо служить Александру Михалычу, а другояко — отъезжать от ево!

— Дак почто тогда естолько летов тута сидели?! — прогудел Андрей. И Александр Морхинин тоже покачал головой с осудительной раздумчивостью:

— Немцы — они немцы и есть. И Гедимин, дружья-товарищи, у ево своя беда на дворе! Ему с ляхами да чахами сговорить, да Орден ентот на хвосте висит, а в Подолии с татарвой рать без перерыву... Ево, други, понять мочно! А вот Русь как тут... Можем ли мы Русь спасти, коли правде изменим?! Задал ты задумку немалу, Иван!

Иван, ожидавший дружного возмущения друзей, молчал. Что-то — он еще не понимал, что,— не получалось, не выходило так, как он задумал сегодня из утра, да и сам он уже начинал колебаться в своих мыслях. А ну как правы братья и спешить с осуждением князя Александра вовсе не след?

И началась долгая пря, в коей хороводом проходили Москва, Литва и Орда и где решалось и так и другояк и всяко оказывало одно: надо годить, ждать, глядеть, как оно повернет. А пока безусловно и дружно помогать князю Александру.

Смеркло. Внесли свечи. Уже многажды, вновь и вновь, наполнялись кувшины с квасом и хмельным медом, и уже бояре, устав спорить, сникли, почуяв, что пора им и по домам. На дворе все так же мело, все так же выл ветер в дымниках, и уже совсем непроглядной чернотою гляделся размытый и смятый метелью простор Великой с чуть брезжившими вдали, по-за стенами, светлыми окошками псковских хором. Федор, выходя, рек:

— Пождем-ко Орды! До писанного на грамоту далеко! Хан и другояко порешить может!

— Худого б не створило ищо! — жестко примолвил Александр Морхинин.— Тяжка Орда, а и с Литвою беда! Не отдаем ли мы Русь Гедимину?

— Ладно, братцы! — устало заключил Иван, усаживаясь в седло.— Я вам, как на духу, а дале — никому!

— Вестимо! — отозвался Андрей, вышедший проводить приятелей.

Одного не сказал Иван Акинфов соратникам: что у него самого два дня назад побывал на дворе тайный посол Ивана Калиты. И другого не сказал, хотя ждал вопроса: примет ли их всех князь Иван и даст ли места в думе княжой? — что да, примет! И на почетные места! Но не спросили, и сам не возмог сказать. Как оно еще ся решит в Орде!

## ГЛАВА 46

Жарынь! В улицах Москвы клубами горячая пыль. Парит. Дождя б и не нать, покос, а так охота на эту едкую, пропахшую дерьмом, гнилью, людским и конским потом серую мгу, запорошившую дома, заботы и листву дерев, веселого звонкого дождика! Пусть грязь, да воздохнуть полною грудью свежий, лесной дух из Заречья, увидеть промытые синью небеса, мокрые крыши в резных опушках, упруго трепещущие ветви яблонь и озорные глаза молодок, что, завернув подолы на головы, со звонким смехом бегут укрываться под навесы торговых рядов...

На порядком обмелевшей Москве-реке стук вальков, бабы выколачивают портна. Вдали гомонит торг. Где-то бухают увесистые удары: загоняют новые сваи под причал. На въезде в улицу едва разминувши с мужицким, нелепо застрявшим поперек возом, Мишук рысью проминовал высокие частоколы сябров, кожевника и шерстобита, и у своих хором тяжело спешился, обрасывая росинки пота с чела и бороды, повел плечьми, чуя, как горячо налипла на спине волглая рубаха, пихнул заскрипевшие створы ворот, завел коня. Средний сын, Услюм, выбежал, подхватил повод.

— Никишка где? — недовольно обронил Мишук. Старший нынче начал загуливать непутем. То приятели, то беседа, уже и девок высматривает, молокосос! А у дела возьмись, и нет! Отец... Ну, отец в ево годы тоже был не промах... А все ж Москва не Переслав, тут и разбойного народу довольно — попадет в иную ватагу... Надо приучать к службе молодца! Сыну Мишук уготовал свою судьбу: служить на дворе великого боя-

рина Протасия, при Василье Протасьиче, в молодших. Сам с того начинал. Да о сю пору жалел молодца, все давал погулять, потешиться. А ныне... Он поглядел, как Услюм старательно заводит коня к коновязям и, пригнувшись, полез в полутьму домовой клети.

Катюха едва глянула от печи. Явно чегось не так у нее, опять какая поруха в обрядне, пото и небрежничает! Дети загомонили разом. В избе от мух и жары было не продохнуть. Трехлетняя дочурка вывернулась сбоку. Мишук походя торнул ее за вихрастую головенку, и она тотчас побежала хвастать перед братишкой:

— А батя меня потрогал за волосы!

Младшие, двойняки, паренек с девочкой, ползали по полу, и тут тоже оба покатили под ноги отцу. Подняв паренька, Мишук сморщил нос:

— Обмыла бы хошь! — недовольно крякнул он.

— Я все про все одна! Хоть разорвись! На естолько ртов, да скотина, да кони! Никита бегат непутем! Ково тута обмывать, не знашь присести за полный день...— визгливо, переходя в крик, завела Катюха, и пошла, и пошла... Мишук только махнул рукой. При тетке Просе все жалилась, что та ей век заедает, а померла Просинья — и рук ни до чего не найдет!

— Девку бы взяла хошь какую...— не удержал он все же укора.

— Найдешь тута девок, на Москве... Однова и гляди за ней! — остывая, пробормотала Катерина. Быстро подхватив малого, обтерла ему мокрой тряпкой ноги и рожицу, от чего тот тотчас залился в рев.

Ополоснув руки и шею, Мишук крепко провел грубым рушником; не столь от теплой воды, сколь от льняного рушника почуяв прохладу, вздохнул, перекрестил лоб и развалисто сел за стол. Катюха стала швырять из печи горшки, и уже маленькая Ксюша лезла ему на колени, а Сашок отпихивал ее, стараясь уместиться к отцу сам. Семеро по лавкам! Тут и не семеро, девять уже! Молодшие, парень с девкой, еще катаются по полу, а старшую дочь, гляди, скоро нать будет и замуж: двенадцатый год девке пошел!

Услюм зашел в избу, пристроился с краю стола.

— Никита где? — спросил Мишук.

— А где-та шастат! — живо отозвалась Катюха.

— Шастат... Не евши, не пивши... Ты мать, должна знатье иметь, где сын-та!

— А ты отец! — споро возразила Катюха и опять зачастила: — Уж такой лоб, где мне одной...

— Ну буде, буде! — оборвал Мишук. Придвинув глиняную мису — от огненных щей валил сытный пар,— он крупно отрезал ломоть хлеба, посолил. Ел молча, изредка срыгивая, вполуха выслушивая таратористую речь жены. Пахло потом, кожей, нечистыми детьми. От пойла, приготовленного поросенку, несло кислятиной.

— Хоша отволоки окошка-та! — вымолвил он, отваливая от щей.

— Мух налетит!

— Мух у тя в избе поболе, чем на улице!

Услюм кинулся отодвигать дощатые заволоки узеньких окошек. Молчалив и исполнителен. Работник растет. Меньшой, Селька (Селянином назвали), тот заботил. Оногды скажешь — будто и не слышит! Ну, може, вырастет, станет книгочий, яко дядя Грикша, по тому делу пойдет... Да Никита, Никишка, вот от кого днесь голова болит! Со старшим спасу нету уже и теперь. Придвигая горшок с черной кашей, Мишук проронил:

— Слух есть, поход ладят... На Двину. Черный бор собирать будто. Заместо новогородцев!

— Поедешь? — вскинулась и даже как-то прояснела голосом жена.

— Чево я там не видал! — недовольно возразил Мишук. Помолчав, прибавил: — Не. Покос у меня. Да и опосле, хошь... Вас тута вон больно много!

— С севера жемчугу бы привез! — разочарованно протянула Катюха.

Мишук глянул. Жена с последних двоён сильно раздалась вширь, ходила враскачку, маленькая, не ходила уже, а колобком каталась по избе... «Отбыло твое время, Катюха! — подумал он без злобы и жалости.— Ково нынче... Клуша-клушей. Только новогородцкого жемчугу тебе... Зады малым не подотрет!»

Он по-прежнему любил ее, любил ее привычно-податливое тело в постели, но нынче все чаще после любовных ласк подымалось в нем раздражение на жену, на ее неряшество, детскую незаботность, на вечное недуманье о том, что может случиться наперед. Пора бы и умнеть! Весь век в девках не пробегаешь!

— Наездилсе! — сказал он, невольно переходя на полузабытый новогородский говор.

— Сам же повторяшь, што тятя у тя всюю жисть ездил! — попеняла Катюха.

— Дак я у тяти один и вырос! Да и то чудом: Яшка, покойник, спас! Тут бы иной войны не было...— На недоуменные взгляды жены и Услюма (оба враз так и уставились на отца) Мишук, обтирая бороду и всовывая малому в рот кус хлебного мякиша, пояснил: — С Тверью! Ляксан Михалыч, слышь, ладит из Плескова к себе на стол... Тогды уж вси пойдем!

Поскреб в горшке, доедая кашу. Запил квасом. Уставать стал нонече. Али ко грозе? Жарынь!

— Покос, покос! — ворчала Катюха.— Служишь, служишь, а чево выслужил? Дюжину ртов с одной деревни кормишь!

— Службой и живу! — обиженно возразил Мишук.— Все сыты покамест! Вона: холопов привел!

— Холопи твои... Один там и вовсе, бают, нос задрал! Не деют ни лысого бесу! Никоторого тебе и покоса не будет!

Опешил Мишук, сперва не понял, подумалось грехом: так сболтнула. Но Катюха, твердо сев на лавку, глаза в глаза, ладом повторила злую весть, примолвив, что из деревни прислали, посельский Васюка Хромого приезжал, дак с им!

— Из двоих один, бают, работает, а второй, Офонька, блодит, не мое, грит, дело!

— Чего ж разом не сказала? — взъярился Мишук.— Чего молчала допрежь!

— А што, не поевши бы кинулси? — возразила Катюха, и на сей раз, кажись, была права. Мишук уже стоял, затягивая пояс.

Прорычал:

— Я ему покажу, чье то дело!

Выходя, уже с порога, повелел:

— Никишка пущай, коли сыщется, едет за мной не стряпая!

Мельком подумалось: худо, что не отдохнул, не выстоялся конь... Помедлить? Но уже и с тревогою взглядывалось на немо и безжизненно громоздящиеся в вышине словно выцветшие облака — а ну как ежели дождь? В покос ить и своих молодцов не созовешь! Кажен косит ежели не на себя, дак на боярина. Протасию, ему сколь ни буди косцов, все мало, при таких-то стадах коневых! Одно спасение нынче — эти холопы, приведенные из Осечны... Ну, ежели и они подвели! Все еще не совсем верил Катюхе, не хотелось верить. Мало ли и сбрешут чего!

Выезжая из улиц, Мишук мимоходом приметил две новые клети, срубленные днями. Москва расстраивалась на глазах. Все новые анбары, хоромы, избы прибавлялись по-за Неглименью, множились кузни, шорные, валяльные, седельные, щитные мастерские... Минуя ремесленное окологородье, он невольно придержал дыхание — такой кислой вонью несло от кожевен. Но вот начались огороды, пыльные сады, и уже пахнул, освежив лицо и разом наполнив грудь, вольный дух полей. Вот и первая березовая роща. Конь пошел резвее, начались перелески, рощи. Однако жарко было и тут. Парило! И Мишук, изредка взглядывая в небо, на неживые сизые громады, утонувшие в жарком мареве клонящегося долу дня, погонял и погонял коня. За Сходней пришлось спешиться, покормить и напоить взмокшего Гнедого. Заночевал Мишук уже в Красном и, едва вздремнув, еще в потемнях, уже снова был в седле.

Солнце пробрызнуло жарким золотом, всклубив речные истринские туманы, и уже высоконько встало над лесом, и уже ушли последние пятна ночной сыри из-под дерев, когда наконец показались знакомые угодья. Конь был добрый у Мишука! Зимой возы с сеном отсюдова до Москвы преже полутора дней и не доправишь!

Подъезжая, он привстал в стременах и закусил губу. Там, где Мишук ждал увидеть островерхие сметанные копны (новое слово «стоги» еще не укрепилось на Москве), лежали только безобразные кучи свезенного сена, и — никого! Зверея, он подскакал к летовке, швырком откинул дверь. Оба холопа сидели за столом, хлебали ложками квас из самодельной долбленой тарели. Завидя гневного хозяина, утопили ложки, и первый, бледнея, торопливо промолвил:

— Я один не помечу, хозяин, мне-ко одному-то немочно...

— А я не желаю тута боле вершить! — перебил его второй.— Я медник, за меня выкуп должны дава...

Не поспел докончить. Мишук, вложив в удар всю силу скопившегося гнева, ринул кулаком прямо в наглые рыжие глаза. Холоп, слетев с лавки, шлепнулся о стену, вскочил и кинулся на Мишука. Свернули стол. Бурый квас с зелеными перьями лука потек по полу. Мишук сгреб холопа в охапку и ринул в дверь, но и сам, не устояв, выкатил следом. Второй холоп вы-

скочил из дверей летовки с кичигой в руках, еще сам толком не понимая, к кому пристать. Мишук, мгновенно пожалев, что не дождал и не взял сына, вырвал кичигу у него из рук и, собрав в удар все и последние силы, огрел противника по голове. Кичига с треском переломилась. Медник пал под крыльцо. Мишук бешено глянул на второго — тот прянул в сторону. И тогда Мишук принялся обломком кичиги избивать вставшего на четвереньки противника. Тот уже не лез в драку, только прикрывал голову и лицо, бормоча что-то о правах и обельной грамоте.

— Права? — с хрипом выдохнул Мишук, приодержавшись (обельной грамоты на холопов у него, и верно, не было).— Я тя на рати ял! — прорычал Мишук.— На рати ял! — повторил он и, почти в визг: — Зарублю суку!

Взяв за ворот медника, он ударил его о стену и — прямо в лицо, в хлещущую кровь, в даве наглые, а теперь испуганные гла́за... И бил уже лежавшего на земле, пинал сапогами, в беспамятстве повторяя:

— На рати, на рати ял!

Задышавшись, остоялся, и уже вовсе мелькнула мысль о ноже, рука сама стала шарить по поясу.

— Хозяин! — судорожно крикнул второй, остудив горячую Мишукову голову.

Подтянув медника к колодцу, Мишук черпнул и вылил полведра на избитого. Пнув, приказал:

— Вставай, пади́на!

Тот, закачавшись, поднялся на ноги.

— Лезай! — велел Мишук, подогнав холопа к начатому стогу. Тот полез на стог и упал. Мишук, натужась, сам закинул его на сено.— Топчи!

В две рогули стали подавать. Избитый медник плясал на стогу, утирая кровь с разбитого лица, нелепо взмахивая руками, но клал, кажется, толково, верно, работать-то умел.

К паберью довершили первый стог. Подтащили сена и принялись за второй. Уже в багряных лучах снизившегося солнца, подоткнув обе копны порицами, пошли домой. Потянуло сырью, сено к ночи вбирало влагу. Ночью копны не вершат... У Мишука с отвычной работы дрожали ноги, руки тряслись. Ужинали молча.

— Ну,— угрюмо пообещал он,— хватит ночью дождем — убью!

Спать полегли вповалку, все трое в одном углу.

Засыпая, Мишук сунул нож под себя. Подумал: прирежет во сне! Ну, так и нать старому дурню!

На заре его разбудил тоненький всхлип.

— Ты чего? — пробурчал он спросонья.

— Медник я, мастер! А ты... За меня должны хороший выкуп дать! Тебе ж, тебе ж бы... Може, уже и выкликали, а я тут, в нетях...

Мишук черпнул квасу, долго пил, обмысливая. Сказал, протянув кружку:

— Пей! Какой ты ни мастер, а коней морить мне не след! А коли выкуп пришлют, твоя удача! У нас на Москве те дела строго блюдут, и тебя не минует, не боись.— Подумал, прибавил: — Ладно. Вставай. День долог.

В этот день поставили втроем еще три стога. Мишуку не след бы доле и задерживать, да на кого бросишь? Впрочем, к вечеру прискакал Никита. Завидя еще издали знакомые вихры и разбойные светлые глаза сына, Мишук вздохнул с облегчением. Сын подскакал, с любопытством озрел всех троих, приметив разом и синяки на лице медника, и смущенный лик родителя. Присвистнул, легко соскочил с коня. Невысок, а уже и теперь видно: будет широк в плечах и ухватист. Ладный сын! Кабы еще и к делу прилежанье имел! Никита, хмыкнув, сообщил:

— Тятя! Василий Протасьич тебя кличет!

Мишук подумал, почесал в затылке. Сам боярин кличет, стало — скачи в ночь! Сказал-попросил:

— Побудь, Никиша, здеся, пока останние копны не поставят! Снедного привез ле?

— Матка хлеба да пирогов послала! И сыру, вот...

С сомнением выслушав дружные заверения всех троих, что копны смечут и без него, и наказав Никите не отлынивать от дела, Мишук порысил назад.

Гроза, прошлою ночью разразившаяся над Москвою, миновала Звенигород, что только и спасло Мишуково сено. Он порядком устал за эти два дня сумасшедшей работы и едва ли не впервой помыслил, что уже перевалило за пятьдесят и со женитьбою он много припоздал в свою пору: дети малы, а силы уже вот-вот и на исходе! Верно Катюха ворчит: с одной деревни, с одного мужика ни дочерей приданым наделить, ни сынов в люди вывести... Батя и то имел земли поболе моего! А девок нать пристраивать! И Никита нравный, гордый, смотрит, куда повыше попасть. Ну, Услюм... Дак и тому

не в мужики ить подаваться! Добро отцово в скрыне да в земле Мишук сумел сохранить, кое-что и прикупил — прибавил к тому... Куплять землю? Коштовато! Да и не одюжить ноне ему земли...

Что-то сдвинулось в нем: убыль ли сил, близкая старость, смутная ли вина перед медником, коего избил он непутем. Нежданно возникла, как первое дуновение холодного ветра среди августовской горячей от зноя листвы, мысль: бросить все и пойти в монастырь. Далекая еще мысль! Детей поднять надо было прежде... И от монастыря, от детей перекинуло к походу на Двину, о коем упорно поговаривали на дворе у Протасия. Може напроситься и мне? Поди, и с прибытком воротят!

Да, вот так! Сходить на Двину, пограбить! Он усмехнулся сумрачно. Устроить сына в службу. Выдать замуж хотя старших двух дочерей, и — прощай, Катюха! Тогда уж уходить в монастырь...

## ГЛАВА 47

Жизнь в Радонеже идет своим чередом. Поправить на новом месте дела господарские, как хотелось и мнилось боярину Кириллу, так им и не удалось. Семья все больше опрощалась. Да и Тормосовы, приехавшие всем огромным родом своим, да и протопопов сын Георгий, и сам Онисим, некогда думный боярин ростовский,— все они стали тут, в Радонеже, простыми вотчинниками, рядовыми держателями земли, едва ли даже не черносошными мужиками... Все прочее зависело от рабочих рук, деловой сметки, въедливости в труде. Этими добродетелями, слава Господу, сыновья Кирилловы обижены не были. Трудились все, и по труду в доме был достаток и хлебный запас. Ежегодно подымали новые росчисти, выжигали пни, пахали, сеяли, жали. И отношения родичей стали сердечнее, проще. Охотно являлись на помочи, задушевнее пировали по праздникам.

...Вот хлопают двери. Вся облепленная снегом, румяная, сияющая, нежная в своем пуховом плате и шубейке, забегает Нюша, протопопова внучка, Анна Юрьевна, как вполушутя зовет ее по изотчеству Онисим. Ойкает, ласково и звонко произносит: «Хлеб-соль!» — и таратористо передает, с чем ее послали

родители, сама озорными глазами оглядывая по очереди всех троих братьев, что сидят за столом, хлебают щи и, каждый по-своему — Стефан снисходительно, Петя радостно, а Варфоломей застенчиво,— невольно отвечают на ее улыбку. А то ввалится дядя Онисим с каким ни то известием о том, что происходит там, наверху, на Москве. Куда поехал великий князь, куда усланы рати, кого созывают нынче в Орду, к хану. Рассказывает, а никого все то уже и не трогает взаболь. Иные заботы у всех на уме: не вымерзло б яровое, не залило б покосов водой, да почем сало, говядина, кожи? Нынче, как вышла легота, приходит и дани давать и на тот же ордынский выход опять собирать серебро!

Чередою проходят Рождество, Святки, Масленая, Пасха, Троица, с качелями и хороводами; пахота, сев, покос, жатва хлебов. А годы идут, и та самая протопопова внучка Нюша, что с озорными смешинками в глазах почасту забегала в Кириллов терем, уже превращается в невесту, начинает чиниться, не бегает вприпрыжку уже, а плавно выступает, трепетно опуская ресницы, и хорошеет день ото дня. Стефан начинает вдруг невесть с чего хмурить чело при Нюшиных приходах, безотчетно строжеть, а затем — тяжко и молча гневать на себя за что-то, непонятное Варфоломею. Старшие словно и не замечают ничего. Не замечает, не понимает ничего и Варфоломей. Он так сроднился, так сжился с их общим, как думалось ему, решением о пустынножительстве, что ничто мирское, казалось ему, уже не должно бы было коснуться ни его, ни тем паче брата Стефана. Прозрение приходит к нему нежданно, в один летний вечер, и потрясает Варфоломея до самой глубины естества, до тяжкого, неисходного отчаянья.

Он возвращался с корзиной из лесу. Низилось солнце. Уже багряные, схожие со старинным золотом столбы вечерних лучей, пробившись понизу сквозь мохнатый заплот могучих елей, легли на черничник и травы. Пламенно-темные стояли на закате стволы дерев. Варфоломей невольно замедлил шаги, следя тот миг, когда алые светы, багрец и черлень, угаснут и сиреневый холод, легчая, обоймет небеса и наполнит туманом кусты. На опушке, прямь заката, стояли двое, и Варфоломей не сразу узнал Стефана с Нюшею, а признав, остоялся растерянно и застыл.

Стефан стоял высокий, тонкий в закатном огне,

непривычно неуверенный, круто склонив чело и судорожно комкая пальцами кожаные завязки плетеного пояса, а Нюша — в вечной позе всех любимых, чуть наклонившая голову, покорная и загадочно-недоступная, с цветком в рассеянных и чутких пальцах, слегка отклонив задумчивое лицо от закатных лучей, вся уже словно овеянная бархатною лиловою голубизною наступающей ночи.

Варфоломей глядел, выпустив корзину из рук, и не шевелился. В нем не пробудилось ревности (это чувство было еще и чуждо ему, подростку), но зато поднялась глубокая обида на брата, что предал то, высокое, о коем говорил сам и о коем он, Варфоломей, мыслит теперь самой глубиною души. Обида и горечь, горечь одиночества, захлестнули его, словно волною. Он отступил, еще отступил, стараясь не хрустнуть веткою, не выдать ничем своего невольного присутствия тем двоим, на закате. Отступил еще и еще и, поворотясь, пустился бежать стремглав прочь, в лесную глухомань, с ослепшими от слез глазами, не разбирая уже ни дороги, ни преград на пути.

Варфоломей бежал по лесу, и ветки хлестали его по лицу. Бежал отчаянно, надеясь хотя устать, но сильное сердце не давало одышливости, и чуть только он останавливался, застывал, внимая красному гаснущему пламени заката меж еловых стволов, как тотчас перед его мысленным взором вставали те двое: брат, с опущенной долу головою, и Нюша, в задумчивом ожидании, с забытым цветком в руке... И в нем вновь подымалось отчаяние на измену брата, и он опять пускался бежать через корни, коряги, кочки и водомоины, спотыкаясь, падая, обрывая рубаху и лицо о колючие ветви, сбивая пышные, с болотным запахом, папоротники, и с надрывным отчаянием чуял, что беда бежит вместе с ним, не отступая ни на шаг.

Смеркалось. Уже угасли последние потоки расплавленного дневного светила, уже мохнатые руки туманов поднялись из болот и глухо вдалеке ухнул филин, а он все бежал и шел, шатаясь от горя и усталости, и снова бежал, неведомо куда и зачем.

Наконец сами ноги привели его на высоту, на сухую горушку, и тут, упав в жесткий брусничник и белый мох, он затрясся, исходя звучными в ночной тишине одинокими рыданиями. Неведомо почему, безотчетно, русич, даже и так вот, чтобы упасть и завыть от горя,

выберет место высокое, «красное», место из тех, которые исстари зовут «ярами» — в честь древнего славянского бога-солнца, Ярилы, выберет высоту и выйдет на высоту. Не память ли то о гористой прародине далеких пращуров, с которой разойдясь широким разливом по равнинам Руси, все равно выбирали русичи для поклонения солнцу (и выбирали, и насыпали сами!) высокие крутые горушки, где и водили хороводы в Ярилину честь? И позже хороводы водили всегда на «горках», и любовь к высоте осталась, хотя и в том, что церкви божии ставили на местах высоких, «красных», на холмах и крутоярах великих русских рек. Да и селились на высоте, предпочитая ходить вниз, к реке, за водою, лишь бы оку была открыта неоглядная ширь земли и небес.

На таком вот пригорке, с коего, верно, открывалась днем замкнутая чередою лесов уединенная долина, а теперь лишь сквозистая тьма облегала окрест, и лежал Варфоломей, затихая в рыданиях, лежал и думал, успокаиваясь понемногу и начиная смутно понимать, что потеряно далеко не все, что измена брата еще ничего не изменила в его, Варфоломеевой, судьбе, и от мыслей о Стефане он, невестимо, перешел к тому, чей великий пример всегда и во всем предстоит мысленным очам христианина.

Иисус ведь был, хотя и сын божий, в земном бытии своем такой же, как и все, человек. И, как человек, сомневался в назначении своем, страдал, мучался (и молил даже: «Да минет меня чаша сия!» — в последнюю ночь). Что же, значит, и всякий смертный может повторить путь Спасителя от начала и до крестного конца? Может и, значит, должен? И вот зачем и почему Христос и вочеловечился, родился, страдал, молил и погиб на кресте! И поэтому — можно! Он даже приподнял голову, ослепленный вспыхнувшею мыслью, безотчетно вперяясь в окрестный мрак. Можно и должно! Быть равным Христу — это не гордыня, а требование божие! Быть равным Господу! В трудах, в скорбях (не в чудесах, конечно! То уже была бы гордыня!), в повторении, вечном, как таинство святого причастия, в вечном повторении крестного пути!

Теперь он увидел и широту ночного окоема, и игольчатую бахрому лесов на закатной, охристо-желтой полосе и поразился тому, как близко увиденное сейчас к тому, что не пораз снилось ему ночами. Вот в такой же

лесной пустыне, на таком же холме! И пусть Стефан... только поможет ему... Пусть он будет для него, Варфоломея, словно Иоанн Предтеча. А Нюшу он полюбит. Должен полюбить, раз ее любит Стефан. Она ведь не виновата ни в чем!

Снова прокричало в отдалении. Сизые руки туманов тянулись уже к вершинам елей, и бледно-желтое мертвенное сияние осеребрило вершины. Всходила луна.

## ГЛАВА 48

— Отец, мы разбиты на Двине! Надо посылать новую рать!

Семен, с трудом отыскавший родителя, закашлял от дыма. Он пробежал повалушу и вышние горницы, заглянул и в нижние клети княжеских хором, прошал братьев, мачеху, но и она не знала, пока кто-то из слуг не сказал ему, что князь Иван Данилыч поизволили пройти в черную, откуда топят печи, и ныне сидит там. Калита действительно сидел здесь, в прокопченной дочерна задней клети, куда выходили устья печей спальных и гостевых горниц и где сейчас густо клубился серый дым и багрово отблескивали языки огня, выплескивавшие из кирпичного жерла муравленой лежанки княжой палаты. Сидел сгорбясь, под шевелящимся пологом сизого дыма, в холщовом некрашеном азяме, даже не на скамье, а на простом сосновом чураке, и смотрел в огонь. Склонив голову, он косо, снизу вверх, поглядел на Семена. В отсветах огня лицо его казалось очень старым, но в глазах от пробегающего пламени словно бы шевелилось, то пряталось, изредка выныривая наружу, лукаво-усмешливое. Чем-то сейчас отец напоминал юрода, и Семен поперхнулся, замолк, борясь с дымным удушьем.

— Знаю. Уже два дня знаю об этом, сын, — чуть помедлив, отмолвил Иван.— Садись! Стоем стоять — дым-от очи выест! Вон скамья.

Он опять помедлил, снова устремив очи к печному пламени:

— Даве гонец примчал. Да без грамоты. Я и не похотел тебе баяти.

— Грамота пришла.

— Что пишут?

— Пишут, что никакого бора не собрали, новогородская рать подошла, отбиты и разбиты. Теперь ворочают домовь, «посрамлены и ранены».

— Посрамлены и ранены...— словно в забытьи повторил Иван.— Посрамлены!

— Ты, батя, оттого здеся? — заботно спросил Семен.

Иван глянул на сына, усмехнулся; молча, отрицая, покачал головой.

Холоп вошел с дровами. Опасливо глянул на князя и на княжича в шитом травами белошелковом сарафане сверх голубого домашнего зипуна, на его булгарские, цветной кожи, сапоги. Споро подбросил дрова в печь. Вышел, плотнее притворив двери. Иван проводил холопа глазами. Когда закрылась дверь, возразил:

— Любо мне тут! Зри: живой огонь. И дым и горечь дымная — испод!

Семен возвел было брови, не понимая.

— У каждого дела есть свой испод,— пояснил отец.—Там, в горнице, изразчатая печь, тепло и благая воня, воздушная легота. Здесь — безумство огня и горечь дымная. Можно сидеть там и не ведать сего черного покоя, можно и отсюда зрети, не чая инова жилья! Но убери сей огнь, станет ли там тепло? И, напротив, не для того ли горнего тепла огнь сей возжигают? Похотети здесь чистоты воздушныя — загасити огнь, и хлад обнимет не токмо те вышние горницы, но и сию дымную клеть ознобит! Так и все в жизни переплетено и завязано и ко взаимной пользе живет, хотя бы и казалось инако! Не будем посылать новой рати на Двину. И на Новгород не пойдем. Ежели новогородцы паки разобьют московитов, боюсь, мы с тобою потеряем столько, что и всем серебром закамским нам того не окупити станет, сын! Ныне приходит сказать, что владыка Василий умнее меня.

Семен, только что кипевший воинским пылом, глядел на отца, остывая, но все еще не веря, что родитель прав.

— Не веришь? — словно читая в мыслях, вопросил Иван. Холоп снова вошел с дровами. Калита, паки переждав, уже в легком нетерпении, когда тот наложит печи, продолжил:

— В этой рати моя вина. Поспешил. И ты запомни отцову беду, Семен. Никогда не спеши с Новгородом!

Он понурил плечи, поник, глядя в огонь.

— Так блазнит при жизни своей все измысленное свершить! Вот и спешишь. А неможно. Да и пред Богом нельзя, наверное... Грешно! Ты, Семушка,— он поднял глаза на сына, и что-то молящее, жалобное, так что у Семена защипало глаза, прозвучало вдруг в отцовом го-

лосе,— ты, при смерти моей, дела моего не покинь!

Княжич круто согнул выю, пряча глаза, отмолвил глухо:

— Не покину, батя. Клянусь!

— Верю. Верую! — с тихою силой отозвался Калита.— Ваня... робок. Андрей... Нет того и в Андрее. На тебя, одного! Вся земля... Весь язык... Русь... Альбо уж не нать было нам спорить с Тверью!

— Что ты, батя?! — почти выкрикнул Семен.

— Александра зовут в Орду. С честью зовут. Я вызнал. Боюсь... Узбек...

— Великое княжение? — с трепетом вопросил Семен.

— Да.

Вновь раздались тяжелые шаги холопа.

— Пойдем в казну, здесь не дадут поговорить! — сказал, подымаясь, Калита.

Вышли. Переходами, вдоль сеней, потом мимо книжарни, спустились узкою лестницею под повалушу, мимо сторожи, почтительно расступившейся перед своим господином, вниз, еще раз вниз, во мрак и погребной холод, отмыкая тяжкие створы дверей.

Здесь, в хранилище государевой казны, было тихо. Сюда не дерзал заходить никто, кроме старшего дьяка, казначея и самого великого князя. Калита любил уединяться в своем казнохранилище и думать, перебирая сокровища, не такие уж и обильные, ибо многое — слишком многое! — долго не задерживалось тут, а уходило все туда, туда и туда, в Орду, к хану Узбеку. Власть стоила денег, а он собирал для себя не богатства — власть. И за нее платил. Столь щедро, что арабы действительно полагали за верное, что в Руссии, у великого коназа урусутского, имеются серебряные рудники.

Крохотные оконца в толстых решетках витого железа почти не пропускали света. Иван сам зажег свечи от лампадного огня. Осветилась врытая в землю и до полустены обложенная кирпичом палата, из коей, на случай огненной беды, вел лаз еще ниже под землю, куда по нужде удобно было спустить ларцы, сундуки и скрыни с бесценным добром великокняжеским.

Серебряные овначи, чумы, кубцы, достоканы, чаши, чары и блюда стояли тут прямо на открытых полках, в нишах стен, сто раз сосчитанные, учтенные, хоть и часто менявшиеся: подарки хану отсылались доста-

точно часто. Русская и цареградская работа густо дополнялась узорной восточной. То были отдарки Узбековы и то, что примысливал Калита, бывая в Орде. Семен невольно засмотрелся на густо выставленную здесь красоту. Ему пока еще бывать в казне приходилось не часто. Отец останавливал то у одной, то у другой полки, показывал, объясняя, что и откудова достано. Своим ключом отпирая сундуки, молча являл Семену связки соболей, куниц и бобров, тусклые груды гривен-новгородок, кожаные мешки с кораблениками, немецкими артугами и восточными диргемами. Уже в конце палаты, за особою дверью, бережно отпертою Калитой, и из ниши особой, с резною дверцею, где были поставлены и разложены вещи из золота и драгих каменьев, Калита вынул нечто, показавшееся издали даже и невзрачным. Сказал значительно:

— Вот это ты никому не отдашь. Вот этот золотой крест, Парамшина дела, эту иконку малую на изумруде, ларец-сардоникс — все то батюшково, наследственное, неотторжимое. Ларец сей, по преданию, цесаря Августа римского. И оттоле, через Византий, рекомый Царьград, передася в русскую землю. Зри! Мал и невзрачен, но с ним перешла к нам частица власти кесарей Рима и Цареграда — градов, одержавших мир в деснице своей! Но Рим пал из-за заблуждений пап римских и мрака язычества. А Царьград тяжко болен ныне. Возможет ли малая Москва, хотя и через века, стати третьим Римом? Взирая на ларец сей, помысли о том, и паки помысли! Мне того не узрети. И ты не узришь. Иные! Мы же, вот...

Семен с невольным смущением принял в руки тяжелую каменную коробку. Холод власти, холод далекого Рима — как показалось ему, самого кесаря Августа — проник в его ладони от узорного граненого камня. Как величава старина! Как далека и темна! И как вяжут, как обязывают мертвые! Он невольно выпрямил плечи, замер, смутно ощущая порфиру на раменах своих. А Иван снятым с пояса великим ключом уже отпирал окованную узорным железом дубовую скрыню, натужась, поднял тяжелую крышку. Дробный блеск чеканного золота бросился в очи. Семен осторожно поставил ларец-сардоникс, наклонился.

— Возил в Орду. Хитрецы бесерменски из аравитския земли украшали. Не пожалел и золота. Зри! — отрывисто, с тихою страстью сказал Иван.— Узнаешь?

— Шапка Мономаха! — выдохнул Семен.

— Она! — Калита поднял древнюю реликвию великих владимирских князей, заново обновленную ордынскими мастерами, и держал в руках, не надевая.

— Не грех, батюшка, что иноверцы работали над нею? — усомнился Семен.

— Не грех. Шапка сия освящена великим священием. И паки реку: основа ее древняя, самих цареградских кесарей. Вручена Владимиру Мономаху яко дар, и дар непростой, а сугубо указующий на божественность власти. Слово митрополита Иллариона о законе и благодати чел?

— Чел, батюшка!

— Вот. С шапкой этой вручена нам благодать сия. Нашему роду. И всей великой Руси! За то мы и боремся, сын. Не за себя, не за то, чего в быстротекущей жизни, в юдоли бренной мочно достигнуть прежде, чем, в свой черед, станем мы снедью червей... Земле! Языку русскому! Векам грядущим!

Семен смотрел на отца, расширив глаза. Редко видел он таким родителя! Калита казался сейчас очень стар и очень и очень мудр. Даже и следа лукавства не осталось в лике его, как бы вогнутом, самосветящем духовною силой. Что он зрел сейчас? Митрополита Петра? Дедушку Даниила, никогда не виденного Семеном? Или — страшно помыслить! — самого Владимира Мономаха?

— Примерь, сын! — властно приказал Калита.

И Семен с трепетом принял из рук родителя и надел на себя священную шапку кесарей. Соболиный мех мягко коснулся лба. Тяжесть драгого металла облегла голову. Тяжесть власти. Он стоял в каком-то неизъяснимом оцепенении и почти чуял, почти ощущал на себе века и века, о коих говорил отец.

— Сними,— тихо велел Калита, и в голосе его прозвучала усталость.— Спрячь. Закрой и запри. И помни! Всю жисть помни тяжесть сию! Дак почто я окупил у хана ярлыки на Ростов, Дмитров, Углече поле и Галич с Белоозером? Почто тщусь забрать Ярославль под руку свою? Мнишь ли, что сие легко, сын?

— Да, тятя! Не преизлиха ли опасны купли сии? Ведь стоит умереть хану...

— И прежние князья вернут себе ярлыки? Нет! — Калита усмехнулся и покачал головой.— Пока я жив, не вернут. А там останешь ты. Вестимо, не легко! Легко бы — дурак подобрал. И многотрудно, и дорого, и опас-

но, и неверна власть сия в череде грядущих летов! Всё так. Но это власть. И уже не поедут бить челом, яко на Михаила: мол, великий князь утаил дань ордынскую! Я сам сбираю дань! А утаю — не уведает о том никто, кроме Господа и совести моей. Конечно, вестимо, утаиваю, и уже утаил немало! Заплатим мы и без Нова Города ордынскую дань, выход царев! Только... и Новгород должен платить. Иначе не стоять земле. И это запомни, сын. Не ломи, но тихо сгибай. Зри: Литва спорит с Ордою о Смоленске. Помоги Орде, помоги хану противу князя литовского, но Смоленск склони под руку свою! Вот мой наказ тебе. Не упусти града Смоленского, град сей станет ключом всей Руси Великой! Сам не примыслишь — завещай детям. Пусть с молоком матери впитают оную нужу!

— Тяжко...— прошептал Семен.

— Тяжко, сын. И Рим не враз созижден! Века и века! — раздумчиво протянул Калита.

— Века! — эхом отозвался Семен.

— Сынишка-то как? — вопросил отец добрым семейным голосом.

— Василий? — встрепенулся Семен.

Новорожденному первенцу княжича было всего несколько дней, еще не сошла краснота, еще не наладилось с животом. Айгуста стала было кормить грудью сама, но малыш плоховато сосал, и теперь гадали, не взять ли кормилицу-мамку из деревни. Все это были мелкие заботы, смешные перед тем великим, что открывалось тут, в разговоре с отцом, и все же и от них, от здоровья наследника, от того, будет он жить или нет, зависела тоже судьба московского княжеского дома!

Семен отрывисто и кратко повестил отцу о насущных заботах своих. Иван выслушал молча, покивал. Сам подумал опять о том, постоянном, что незримо разделяло его с сыном. Была бы мать, а не мачеха, сейчас все сии заботы взяла на себя: и о малыше, и о няньке-кормилице, и о знахарке, ежели придет таковая нужа.

— Вот, сын, все сие оставляю тебе, и главные города, Можай и Коломну, на старейший путь. Надели братьев добром по грамоте моей. Москва да будет нераздельна вовеки. И поклянись, что, как бы ни повернула судьба, что бы ни совершилось в грядущем, ты не отступишь от дела отцова!

— Клянусь! — глухо отозвался Семен.

— Погоди, на иконе святого Петра поклянись! Ты еще не все знаешь, не все ведаешь о делах моих! Веси ли, что Дмитрия-князя погубили по настоянию моему?

— Ведаю, батюшка.

— Что дочерей любимых отдавал в замужество, дабы отобрать волости те под руку свою?

— Ведаю, батюшка.

— Что подсылаю с лестию, дабы Акинфичей из Твери перезвать паки к себе?

— Ведаю и то, отец.

— Что роздал сокровища многие, дабы в Орде уморили князя Александра?

— Того не ведаю, отец, но верую, что иначе ты не мог поступить.

— Это ты хорошо сказал, иначе не мог... А ежели мог? Ведай, что не одну покаянную молитву у гроба митрополита Петра выстоял твой отец, моля Господа простить его в делах таких! И знай еще: правы не мы, а тверские князья. Брат Юрий злодейством и клеветою погубил Михаила Святого, и я принял грех его на душу свою. И кладу на тебя — не согнешься, сын?

— Не согнусь,— еще глуше и тише отозвался Семен.

— Я не ведаю, что еще грядет ныне! — тихо и страстно продолжал Калита.— Какие злобы, какие казни, какие беды объемлют мир! Не ведаю! И даже того, уцелеет ли моя голова, не ведаю тоже. И посему говорю с тобой ныне. Помни! Не за богатства мы боремся — за власть. И единое искупление, единое оправдание наше пред Господом, чтобы власть сия когда-то обернулась благом всей Русской земли. Запомни, затверди, как молитву, как «Отче наш», три основы всякой власти, три условия, три камени краеугольных, коими упрочает всякая власть на земле и без коих не постоит и изгибнет.

Первое — сугубое единение всех граждан земли твоея, единение в любви, в совокупном дружестве!

Второе — уважение к родной старине, к навычаям и заветам прадедним.

И третье — всегда должно опору свою находить в большинстве языка твоего, в тружающих, в работниках добрых! Всем не угодишь, но коли начнешь угождать втуне ядящим и немногим за счет многих, не устоишь!

Мыслю, единение земли в любви сущее обретем мы

в православной церкви нашей, в заветах Иисуса Христа. «Возлюби ближнего своего, яко самого себя». Ближнего! Не врага! Но ближнего — яко самого себя! Сим заветом съединишь меньших и вятших, бояр и смердов, воинов, князей и гостей торговых. Помни про то!

Митрополита перезвал я к себе из Литвы. Мыслю, Феогност многую пользу окажет княжеству нашему! Будь с ним заедино. Ежели крестник мой, Алексий... Вот тебе первая задача на жизнь твою! Ты знаешь, что он мне сказал единожды? «Надобен святой!» И что святой тот уже нарожден в иных, утесняемых мною землях. Помни о том, разыщи, найди. Грехи твои и мои, их же днесь на тя возлагаю, он, неведомый, облегчит или снимет с тебя.

Такожде и о втором сказанном мною помни неустанно. В бурях лет, во тьме веков, яко утлый челн на волнах ширяясь, мечутся властители и языки. В славе — всякий друг и радетель тебе! Но в бесславии, в погроме, в упадке чем съединишь ты землю свою? Речешь, лучше ли живем мы, нежели прочие? Не станет того! Глад, и нищета, и всякая скудость, посрамление воевод, гибель ратей — все возможно, и всего не избегнет земля! Чем тогда, в час тяжкий, съединить Русь? Чем вдохновить, к чему воззвать? Токмо к старине, славе предков, к родным заветам, крестам могил отчих. Так не рушь, не ломай, не предавай поношенью и в час славы твоей родимую старину! Дабы всегда и во всякую пору можно было сказать: да, в смраде, в гнусе и в скверне днесь есьмы, но мы — Святая Русь! Не схожи мы с прочими, свои у нас заветы, свой навычай и язык, свое все, и за то святое, за веру отцов и навычаи народные можем снова и вновь драться на ратях, и труды прилагать, и спасать, и пасти свою, единственную, землю! Сего, сын, не ведают в Орде. Там, как на проезжей дороге в день ярмарочный, изо всех земель всякого народу, и все кричат: «Мы!» До часу скорби, до часу нашего величия и ихней скудости, сын. Посему во всем и всегда не рушь обычаев русской земли!

Мнишь, токмо из того, дабы ослабить Александра, зову я Акинфичей? Нет! Мыслю собрать под руку свою всех прежних бояр святого Александра Ярославича Невского, что одержал всю русскую землю! Все роды его богатырей, о коих летописи глаголют. И ты

продолжай то же! Мнишь, почто требую серебра с Нова Города, утесняю князей и отбираю земли? Дабы нашим смердам не учинить тягости. Зри! По старине, по навычаю кормы и дани, и повозное и городовое дело, и мыто и пятно, и — не сверх! Не паче того, что от дедов и прадедов заповедано! А надобно сверх, дак сам завожу и стада скотинные и коневые, и заводы многоразличные, и литейное дело, и иное. Уже Василий Калика прошал у меня мастера колокол отлить и по серебру заказывает на Москве! А давно ли за всякой нужею мы кланяли Великому Нову Городу? О том не напишут в летописании владычном, но зри, яко расстроилась и исполнена всякого мастерства и художества наша земля за малое число лет, в кои твой родитель правил градом сим!

Калита помолчал, покивал чему-то несказанному головою и добавил:

— А последнее сказанное мною такожде не забудь. Помни, что то прочно, что принято большинством и тружающему любо. Мыслишь чего изменить — не ломи, гни. Приучай, воспитывай. Да узрят многие пользу, тогда сами восприимут и новое. Посему не спеши. Сие, последнее, труднейшее прочих. Слаб смертный, мнит при земной жизни своей узрети всякий плод от труда рук своих... И ты, Семен, сугубо укрощай себя, не спеши! Но и не отступай. Я умру — в тебе чаю продолжить себя, сын!

Они еще постояли оба молча. Слова уже были и не нужны. Семен перевел плечьми, его начинал не шутя пробирать погребной холод. Иван, пригорбясь, запер последний замок, поворотил и пошел вон, на ходу задувая свечи. Вот и вся палата погрузилась во мрак, в коем одна лишь лампада едва-едва разбавляла плотную настороженную тьму. Где-то пискнула мышь. Немо молчали сокровища, ожидая часа, когда им придет потечь и поплыть в иные земли и страны, свершая замыслы господина своего. Вот и тяжкая железная дверь со скрежетом клацнула о косяк, и холодно пробрякало железо замка. А потом две темные фигуры гуськом, ощупью нашаривая высокие ступени, начали восходить из тьмы казнохранилища назад, наверх, к свету дня, к делам, трудам и суете суедневной.

## ГЛАВА 49

С тем холопом, Офонасом-медником, скоро расстался Мишук. По осени стали выкликать в торгу литовский полон, и один из молодших услышал знакомое будто имя, повестил Мишуку. Тот вызнал ладом. Вечером, в ужино, когда съели, отложил ложку, сказал торжественно:

— Собирайся, Офонас! Чего было меж нами, того не поминай лихом.

И медник (он немного обжился, уже начал и прирабатывать своим ремеслом) побледнел, потом густо пошел румянцем. Понял. Встав, в пояс поклонился Мишуку. Сказал торжественно:

— Не гневай и ты, хозяин! Свет велик, а когда, може...— отвел глаза.

Мишук склонил голову, просто, без обиды, отмолвил:

— Буде по торговой ли части али так на Москве побывать, милости прошу в гости, приму завсегда!

На второго холопа, которого никто не прошал, Мишук уже выправил обельную грамоту и поселил его в деревне, поближе к земле.

А про монастырь довелось подумать еще раз уже к исходу зимы, в марте, когда его, раненного, везли на санях обратно в Москву из неудачного двинского похода.

Увечная рука горела огнем. Думал уже, так и потеряет. А однорукого в службе кому нать?! Задремывая, трясясь, роняя редкие слезы, Мишук боялся теперь, что и в монастырь, поди, его, увечного, примут навряд.

Весть о разгроме московской рати уже долетела в Москву, и там взапуски бранили воевод, Блина с Окатием, жалились, гадали о своих: живы ли? Катюха охнула, кинулась промывать рану, парить, поить травами. Ввечеру, вымытый, тихий и слабый, Мишук с жалкой улыбкою приподнялся, достал кошель, высыпал горсть серого жемчугу на столешницу. Катюха повалилась ему на грудь и зарыдала. Сыны сидели непривычно строгие, смотрели не в лицо, а, со страхом, на увечную руку отца, обмотанную чистою тряпицей. Ночью Мишук повестил жене, что коли придет ему отрезать руку — уйдет в монастырь. Помотал головою: не отговаривай! Жена плакала, пеняла ему и клялась,

что не оставит, а он молчал, чуял: переживет. И была великая пустота в душе. Верно, что жизнь — только дорога, а ты — странник на ней. Пройдешь и уйдешь невестимо, и следы твои скроет пылью времен.

Рука, однако, ожила, резать не пришлось. Только по первости плохо слушала в работе. Топор, шило, долото ли — ничто путем не удержать было ею. А уж саблю тем паче. Только то и спасало, что не затеивал Иван Данилыч новой войны.

От увечной руки — так во всяком случае казалось ему — начались у Мишука многоразличные беды.

В июне опять горела Москва. Пожар, начав с тоя стороны, разом прокинулся в Занеглименье. (Передавали опосле: одних церквей сгорело по Москве восемнадцать штук.) От руки ли али с испугу завозились с лошадьми, не поспели враз ни запрячь, ни вывести. От страшного дыма кони залезали в ясли, храпели, кусались, не хотели выходить. Парни растерялись, Сашок заплакал, и Селька за ним. У Никиты с Услюмом и то прыгали губы. Катюха бестолково хватала детей, выкидывала из клети какие-то узлы, одеяла. Домы в улице занимались один за другим. С треском вспыхивали пересушенные клети, змеисто загорались плетни, рассыпая облака искр. В столбах горячего воздуха кружило мерцающие лохмы драни, обгорелые птицы падали под ноги, пронзительно крича. Жители бестолково мотались по дворам, морщась от жара, волокли скарб, сталкивались, не зная, куда бежать. Огонь ярел, пробрасывая языки через два и три дома. Кровли занимались, что свечи. Не успели оглянуть, как оказались в кольце огня. Опомнившийся Мишук, схватя за шиворот здоровою рукою Никиту, проорал:

— Скрыню волоки!

Скрыню с добром и что поценнее свалили в колодец. К коню, рискуя, что взбесившийся жеребец убьет его, Мишук кинулся сам. И верно, конь едва его не зашиб. Все же Гнедого удалось вывести из дыма, за ним мерина и кобылу со стригуном. Со второй кобылой, коровами и бычком уже не справились. Животные мычали и ржали, в смертном ужасе забиваясь в дальний угол хлева, жалко блеяли овцы и тоже лезли в загон, не хотели выходить. Поросенок выпрыгнул уже из огня и с визгом, обгорелый, кинулся куда-то по-за клетями, так и пропал. Скоро занялась соломенная кровля над головою, и Мишук с Никитою отступили,

выбежали из огня. Спасенных коней, посажав охлюпкой мальчишек на спины, Мишук выгнал в улицу, велел скакать, сколь могут, подалее от дыма. В улице уже становилось нечем дышать. Катюха, завернув подол на голову и подхватив младших, побежала по-за тынами к реке. Мишук, вслед за нею, торопливо уводил старших, волоча на веревке за собою спасенную овцу. На его глазах ихнюю клеть всю охватило огнем.

После пожара, не успели прийти в себя и разложить спасенную рухлядь, хлынул дождь, какого и вовсе не бывало на Москве. Толстые, в руку, струи били и хлестали по выжженной черной земле, закручивая в воронках сор и гарь, и скоро ручьи потоками пошли вдоль улиц, унося и смывая последнее сохраненное от огня добро: хлеб, порты, скору и обилие. Все, что могло намокнуть и подплыть, все изгибло, испортилось в дожде.

Ливень бушевал сутки. Сидели, словно на острове, застигнутые половодьем, натянув на головы мокрую обгорелую толстину. Голодные дети уже не плакали, только глядели расширенными в ужасе глазами, вцепившись друг в друга и в материнский подол. Мокрые и тоже голодные, испуганные кони жались к людям, вздрагивали, отфыркивая воду. На площадях стояли озера, и в них плавала только что вытащенная из погребов намокшая рожь.

Дождь утих к вечеру второго дня. Пробрызнуло солнце. По небу еще летели рваные лохмы туч, но уже зашевелились, отовсюду полезли пересидевшие водяной потоп жители. Чавкая и разбрызгивая воду, подскакал один из молодших. Прокричал с коня:

— Эй, живы тута?

Мишук выглянул, трудно разгибая спину, прошлепал по лужам. Спросил, целы ли молодечная и Протасьев двор.

— А! — отмахнул рукою молодший, зло и длинно выругавши по-матерну.— Велено собирать народ, а у тебя, гляжу, у самого... Заседлать-то есь чем?

— Нету. И седла, и сбруя — погорело все! — отмолвил Мишук.

Кметь покачал головой, присвистнул и, ничего не сказав, поскакал дальше.

Жалобно голосили бабы. Соседи перекликались друг с другом, шлепая по воде, собирали размытое и раскиданное добро. Мишук кромсал ножом мясо погибшей

на пожаре коровы, давал малым жевать сырьем. Не было ни трута, ни сухой щепки, чтобы развести огонь...

Тут уж довелось тронуть и то, что приберегал на самое черное время. Древние киевские серебряные колты сменяли на корову, материну головку — на упряжь и снедный припас. Береженым серебром да помочью своих кметей ставили новую клеть, подымали тыны и хлева. Грехом хотел Мишук пустить в дело и золотые серьги тверской княжны, да как достали (жили еще в шалаше на пожоге) и все собрались вокруг Мишука, восхищенно рассматривая маленькие узорные солнца у него на ладони,— до того стало жаль этой родительской памяти! И старший сын, Никита, первым заявил решительно:

— Не продаем, отец!

И Катерина, повертев и повздыхав, в то ж молвила:

— Убери, батька, до иньшей беды! Пригодят ищо!

Посудачив, убрали серьги назад, в изрядно опустевшую скрыню.

Вечером в шалаше, под сонный храп всего семейства, Никита вытянул из отца полузабытую повесть о том, как в деда влюбилась тверская княжна и подарила ему на память свои золотые сережки.

— Почто уехал-то он?

— Вишь, рассорили той поры Михайло-князь с Митрием... Ну, и батя должон был уехать... На расставаньи и поднесла!

— А ежели б деда женилси на ей?

— На княжне? — Мишук даже рассмеялся.— Экой ты! Рази ж возможно... (Сам он и тому, что сказывал сейчас, не очень верил, кабы не серьги. Но серьги — вот они! Не на бою ить взяты! Тута хошь верь, хошь не верь...)

— Ето как бы я, к примеру, к Протасьевой дочери посватал... Да собаками затравили б в тот же час!

Сын обиженно фыркнул:

— Собаками! Чать не зверь, человек! Я взаболь прошаю, а ты, батя, словно насмешничаешь надо мной! Хошь бы и не деда, а я, к примеру... Как мне жить тута придет?

— Как жить? Служишь — дак и служи! Тебе и корм, и все тут, а уж до вышнего не досягай! Руки обожжешь!

— Все одно, батя! Полюбила ж она ево! Баешь, в монастырь ушла после... Дак заместо монастыря... Мог

и князь дочку свою уважить! Не всем ить головы рубить заподряд!

— Эх, Никита! Всякому людину по земле, по деревням честь! По породе, по роду! А кака у нас порода? И каки селы ти?

— Ну а чем плох наш род? — не сдавался Никита.— Дедушко вон грамоту на Переслав покойному Даниле привез! Цело княжесьво подарил! Сам же ты про то не пораз и сказывал!

Мишук вздохнул, хотел протянуть руку, поерошить волосы:

— Зайчонок ты мой! Ничего-то ты не понимашь ищо!

Но сын вскинулся гневно. Выдохнул с обидою:

— Не замай! Уж я не малый какой! А и через женитьбу можно в бояры попасть! И по заслугам тоже, коли князь наградит! Перво-ет бояра села ти за што получали?!

Усмехнулся Мишук. Промолчал. Не то обидно было, что огрубил его Никита, а то, что всю его жизнь словом одним перечеркнул. Вот и не погладишь уже! Сын был чужой. Нравный и гордый. И хотел большего, чем он, Мишук.

## ГЛАВА 50

Тусклым золотом осени залиты поля. Леса в багреце и черлени. Холодно-звонкое небо над головой. И звенью дрожит и трепещет терпко-прохладный воздух, в коем призывно и ясно звучат рога и заливистые голоса хортов.

Серая щетинистая туша вепря метнулась из кустов под ноги коню. Александр на полном скаку ринул сулицею. Тонкое древко, словно зыблемая ветром трость, закачалось над мясистым горбом кабана. Зверь крутанул мордой, сунулся вперед, пытаясь загнутыми клыками достать пах коня. Александр вовремя поднял скакуна на дыбы и, выпростав носки из стремян, обнажая короткий охотничий меч, почти свалился прямь матерого великана. Тот порскнул, хрюкнул, сгибая шею, но бело-рыжий любимый князев хорт уже повис у него на боку. Александр, не позволяя зверю распороть брюхо хорту, пал на колено и изо всей силы вонзил меч снизу вверх меж передних ног обреченного вепря.

Тот издрогнул, стал, и темно-алая кровь хлынула у него из пасти. Вепрь задрожал, оседая на задние ноги, еще попытался, уже бессильный, ринуть на князя, едва не стряхнул вцепившихся в него псов и начал тяжело заваливать в смятые рыжие травы. В очи князю бросилось румяное лицо доезжачего и двух осочников, что мчали на расстилающихся, словно летящих, конях ему на помочь.

Александр встал, вырвал и отер меч. Ему уже подводили коня. Кругом множились разгоряченные охотою, на горячих, храпящих конях, люди — бояре и челядь. Псари оттаскивали собак. Кабан еще дергался, поливая траву темнеющей кровью. Даже и теперь, поверженный, он все еще казался велик и грозен.

Александр легко, чуть-чуть гордясь собою, взмыл в седло, отер невольный пот со лба, ясно оглядел сотоварищей. Вдали трубили рога, заливались псы, а по полю подскакивал к нему, махая шапкой, кто-то совсем чужой и ненужный в этой охоте... Верно, гонец? И князю на миг стало жаль прерванной ловитвы. Но гонец уже был близко, и, знаком велев подобрать добычу, князь, в окружении бояр, шагом поехал встречу ему.

— Из Орды, от цесаря Узбека! — выдохнул вестник, доставая из-за пазухи кошель и из него свернутую трубкой грамоту с вислыми серебряными печатями. Александр, прихмуря брови, принял и развернул пергаменный свиток и уже по первым строкам, не читая, понял: свершилось! Узбек звал его к себе, в Сарай.

Гонец говорил что-то, что-то толковали бояре. Все еще заливались хорты и трубили рога в дальних перелесках, а у него звоном стояло в ушах и гудом гудело в голове то, давнее, сто раз решенное, но только теперь подступившее так вот, вплотную. Уже не гонцы, не сын даже... Его, его самого звал к себе этою грамотою Узбек! И уже теперь медлить стало нельзя ни часу.

Он плохо помнил, как воротил с охоты домой, во Псков, как суетилась и плакала Настасья, ликовали и тревожились бояре, хлопотали и толковали о чем-то псковские вятшие. (Нынче, в чаянии славы Александровой, они опять отказали на подъезд новгородскому архиепископу Василию Калике, и тот проклял строптивый пригород.) Намечали путь в обход владений великокняжеских — не переняли бы москвичи невзначай... Александр уже весь был там, впереди, в Орде.

Он ехал один, сына, Федора, порешив оставить пока во Пскове. Мелькали пестрые леса, желтые поля со скирдами сжатого хлеба, проходили грады, рядки и починки. Мало задержав в Твери, княжеский обоз пересел с телег и повозок на лодьи, учаны и паузки — и пошли извивы Волги, города свои и чужие: Кашин, Кснятин, Углич, Кострома, Ярославль, Городец и Нижний... В иных остерегались приставать, даже и проходили мимо по ночам. Осенняя синяя река борзо уносила князя от дому и близких в чужие палестины, в Орду незнаемую, где ждали его (и уже немочно поворотить назад!) смерть или слава.

А он лежал под раскинутым шатром, следил проходящие мимо берега и думал, что вот так, как эта река несет и несет воды свои в далекое Хвалынское море и не возможет никогда поворотить назад, так и он обречен, вынужден ради дома, жены, золотоволосой утехи своей, ради детей, у коих иначе отымется и власть, и земля, и права княжеские, идти на то, чего он втайне совсем и не хочет: спорить с Иваном Московским о вышней власти в русской земле. Ибо только так, только победив в споре о великом столе владимирском, может он сохранить детям княжение свое! И еще была горечь: о гордости своей, княжеской, которую нынче должен будет он бросить под ноги хану Узбеку... А то, что кишело кругом: рознь с братьями, Константином и Василием, привыкшими уже править без него, Александра; хитрая возня католиков и Гедимина; надежды плесковичей и замыслы Великого Нова Города; ликование бояр, своих и иноземных (и рознь своих и чужих, лишь недавно открывшаяся ему); и судьбы Твери; и чаянья гостей торговых — все шло мимо, мимо, мимо, как зелено-желтые волжские берега, уплывавшие дале и дале, как родина, Русь, сокрывшаяся от него за кормой...

## ГЛАВА 51

Десять лет — немалый срок и в обычной жизни, а в жизни государя, отягченной суедневными заботами правления, это и вовсе великий срок. Чувства стареют, мысли меняют течение свое, и многие из тех, кто был кровно задет и изобижен тогда, уже упокоились в земле. И сам Узбек, повелитель четверти мира, постарел и

устал и на многое уже смотрит иными глазами... Любил ли он брата Шевкала, убитого в Твери? Он мстил за родича, мстил, потому что закон великого Чингиза велел всегда отмщать за убийство послов. Но уже и та Тверь погибла в огне, и наказана была преизлиха тверская земля. До самого далекого Чина докатила волна полоняников русских, уведенных татарами из Тверского княжества. И уже давно наскучила тайная возня придворных, доносы и взятки, шепоты и наветы, сокровенные борения страстей у него за спиной. Он знал, он уже понял давно, что то, что решат они все, он перерешить не сможет, если б и захотел. Брак дочери, которую он выдавал за египетского султана и четыре года не мог сдвинуть дело с места, пока не ублажил и не удоволил русским серебром всех своих жадных родичей, брак этот вразумил его паче поражения на Кавказе, паче неудачной, вялой и бестолковой войны с Литвой, в которой не было твердых побед, а после набегов, грабежей и убийств земля почему-то все больше и больше подпадала под власть Гедимина...

Но днесь, в деле с князем тверским Александром, советники тянули в разные стороны, и Узбек мог только догадывать, сколько тверского и московского серебра ушло в бездонные кошельки его вельмож и визиров. Днесь он мог решать сам, сам, своею волей, и не знал еще, что решит. Решения его ждали. Жены по ночам шептали ему в уши, выспрашивая, что сделает повелитель с коназом Александром. Женам тоже наверняка было заплачено русским серебром... А он не знал. Ждал приезда тверского князя. Ждал и не ведал, проснется ли в нем та, прежняя, ярость — и тогда голове князя торчать на копье,— или решит он быть великодушным с упрямцем, что десять долгих лет скрывался от него в далекой северной земле.

Лодьи тверского князя уже плыли по Волге. Узбек ждал, подрагивал от холода, протягивая руки над жаровней с углями. Кирпичный дворец казался (а может, и был?) много холоднее летней кочевой юрты. И во дворце этом его тоже заставляли жить придворные. Упрашивали, толковали, что так живут все государи мусульманских стран. Узбек иногда подчинялся, иногда капризно переезжал вновь в свои огромные бело-узорные шатры за городом.

Он и сейчас гадал: не принять ли ему тверского коназа там, в шатрах? Урусутам пристойно являть

обычаи Чингизовы и Батыевы, обычаи великих покорителей полумира и самой урусутской земли...

Была степь... Шатры... Долгие песни, что еще и сейчас тревожат душу неведомой тоской... Язычники-предки, его предки! Трепетавшие перед злыми духами степи и не трепетавшие больше ни перед кем. Воины, с коими он, пожелай того, играючи захватил бы и Кавказ, и Литву!

Такие мысли приходили к нему не часто. Славословия густобородых книжников, послания государей иноземных, подарки далеких земель — редкие камни и шелка умопомрачительного великолепия, парча и жемчуг, птицы, умеющие говорить, и диковинные звери, невиданные в подвластных ему землях, шкуры пятнистых и полосатых тигров, перья райских птиц и рогатые раковины, бронзовые китайские зеркала и бесценное оружие многих земель (гнутые хорезмийские сабли, тяжелые мечи франков, дамасские булаты, кольчатые брони и колонтари, изузоренные шеломы и щиты с алмазами и лалами в навершиях), седла, отделанные бирюзой, арабские и тоурменские кони, вина всех земель и красавицы многоразличных народов, подвластных и неподвластных ему,— все это тешило тщеславие, ласкало слух и ублажало плоть, а ежели и приедалось, то ненадолго. Вновь какой-нибудь редкий камень, конь или юная рабыня пробуждали на время его засыпающие чувства, вновь давали почуять ему то обманчивое и неверное, что называлось высшей властью на земле...

Узбек не стал добрее. Он просто устал. А усталость властителя подданные часто путают с добротой.

Да, конечно, князь Иван — верный раб! Верный и богатый. Очень богатый, раз покупает у него один за другим ярлыки на чужие княжества! Московит клянется, что не лишает местных князей власти, только берет в свои руки сбор дани, которую мелкие князья постоянно задерживали, не в силах собрать в срок потребного серебра. Где же находит это серебро коназ Иван? В чем-то он наверняка обманывает его, Узбека... Его часто обманывают! И... грабят. Да, да! Грабят! Иван собирает больше! Много больше! Зачем иначе ему покупать ярлыки? Не слишком ли много власти в обмен на серебро вручил он, Узбек, коназу Ивану? Не пора ли найти другого подручника на Руси? И тогда Александр... Сын коназа Михайлы, казненного по его, Узбекову, приказу... Возьмет власть и захочет ото-

мстить... Заключит союз с Литвою, о чем вот уже не раз намекал ему Иван? Но Ивану верить нельзя... Или можно? Где истина? И чего, в конце концов, хочет он, Узбек? Сын Александра, Федор, напомнил ему любимого Тимура, ныне покойного. Зачем, злой Ариман, унес ты в могилу мальчика моего? Будь он жив, и я знал бы, зачем живу, зачем несу на плечах тяжкий гнет державной власти! («Гнет державной власти» — это было красиво, и Узбек пристойно погрустил о своей судьбе, судьбе первого среди смертных и потому неизбежно одинокого.) А тверской князь плыл к нему по Волге и уже был как бы во власти его. И этим нечто развязывалось и нечто завязывалось вновь. Возвращалось прошлое, и тревожило, и томило, и сбивало с толку представленною ему полной волей. Как поступить? Полная воля! И перед ним встает коричневое лицо с жестко изогнутыми бровями, в черной, жесткой бороде, с жестоким и властным взглядом рысьих желтоватых глаз. Лицо-маска. Лицо и руки, навычные рубить на скаку и, как тростинку, гнуть тугой лук, так, что стрелы догоняют друг друга. Крепкие, коротколапые, с мощными узловатыми мышцами, руки-корни и мясистые губы, произнесшие еще вчера: «Сына Михаилова казни! Волчий корень выведи весь! Не верь урусутам, Узбек! Иначе — берегись! Предадут!» И другое лицо, в долгой седой бороде, надменное, усталое, с мудрым взглядом, сухо-морщинистое, и сухие, в коричневых пятнах, руки: «Ты выкормил змея, Узбек! Коназ Иван скоро станет сильнее тебя! Разве ты не видишь, что твоими руками он душит одного за другим своих врагов? Теперь настал черед тверского коназа Александра. Твой пращур, Темучжин, давно бы уничтожил Ивана, иначе не будет покоя твоей земле!» И это сказано ему тоже вчера. Полная воля... Воля, кого послушать, кому подчинить себя. Воля! Высшая власть! И все-таки он — высшая власть! И решать будет он! Он! Он!! Он!!! А не они... все...

Суда плыли по Волге. По сторонам тянулась ровная унылая степь. Кончились кручи, буераки и боры, где можно спрятаться и пересидеть лихую беду. Кончилась Русь, исчезла, сокрылась вдали, будто ее и не было. Бояре заготовили ему пышную речь, которую он должен будет сказать перед Узбеком. Но Александр не читал,

не твердил украшенных словес, а лежал и думал. Текла Волга, текли над головою, уходя в далекие мунгальские степи, облака. И он думал, чуть не впервые, о тех тверичах, что прошли избитыми в кровь ногами долгую эту дорогу, прошли и не воротились назад. И не он ли виноват в их гибели? И не должен ли он в конце концов своею головой выплатить сей грех перед родимой землей? Что сказала бы мать, ежели спросить ее об этом? Но мать не скажет, для нее он — единая надежда Руси! Поглядела на внука, поверила, что сын воротит и Тверь, и великий стол, а там отомстит за отца, и едва не умерла, счастливая своею верой... А есть ли иное счастье на сем пути? На пути власти, битвы за власть и битвы за то, чтобы удержать эту власть в деснице своей. Был ли счастлив покойный отец? Ему, Александру, чего-то всю жизнь не хватало. Самолюбия? Воли? Упрямства? Быть может, жестокости?

Теперь иноземцы, словно приклеившиеся к нему (и нет сил отделаться от них!), толкуют о единовластии, державной воле, крестовом походе против язычников... Татары давно уже не язычники! Толкуют, а не ведают путем, сколь в Орде было христиан несторианского толка еще до того до всего, до воцаренья Узбекова...

Едучи сюда, Александр благословился у митрополита Феогноста. От Феогноста епископу сарскому шла грамота с просьбою содействовать «благоверному князю Александру». Феогност — друг Ивана, но тут посчитал, видно, что всякому христианскому князю русской земли надобно помогать противу неверных. Как будто бы всё (или многое) за него... Но как поведет себя ныне князь Иван? И не на смерть ли едет он, Александр, даваясь в лапы своему древнему ворогу? Да и стоит ли вышняя власть княжой чести, что мечет он ныне под ноги татарскому царю? А может быть, так и сказать? Приехал на смерть, и вот я в воле твоей! Не поймет... А ежели не поймет иного? Этих вот красно украшенных словес, что ему почему-то так и не ложатся к душе!

Александр садится рывком. Со степи, издалека, идет горячий сухой ветер. Он смотрит, не видя, глядит сквозь марево лет. Сейчас — и никогда больше! — он способен на подвиг и смерть. Рука безотчетно сжимает свиток грамоты. Миг — и ничтожный кусочек

дорогого пергамена исчезает в струях быстро бегучей воды. «Великий царь! — Нет, лучше: — Господине царю! Много зла створил я тебе (и ты мне тоже!), и вот я приехал и готов на смерть»,— шепчут губы князя. А глаза, слепо устремленные вдаль, в тонкое марево степей, словно бы видят сейчас минувшее, невозвратно погинувшее, вместе с тенями дорогих и близких, сложивших головы в этой нескончаемой жестокой и кровавой страде...

Лодьи ходко и неотвратимо пенят синий стрежень великой реки. А на далеких обрывах берегов уже маячат степные всадники — дозорные. Близок Сарай, столица Золотой Орды.

## ГЛАВА 52

К Сараю подходили ночью. Дул сильный холодный ветер. Во тьме блеяли овцы на берегу. Верно, отара, пригнанная из степи и ожидающая ножа мясника. «На заклание!» — подумал Александр, ступая на шаткие скрипучие мостки. Глухо ударяли о причал, подрагивая и качаясь, суда. Дымно, вспыхивая и угасая, чадили факелы, выхватывая из темноты то серый разлив истоптанного песка, то чье-нибудь лицо, спину, мохнатую баранью свиту или острое лезвие копья. Запахом речной тины и дохлой рыбы, запахами пота и навоза, запахами скота, грудящегося во тьме и острого кизячного дыма охватило князя, лишь только он соступил с мостов на берег и стал в ожидании, когда ему подведут коня.

Подъехал важный татарин. (Александр уже был в седле.) Живо залопотали толмачи, переводя князю и от князя приветственные речи. Шагом поднялись в гору и под заливистый вой, визг и хрип псов, кидавшихся прямо под копыта коней, проехали улицей, свернули в другую, из той в третью... Давно не был здесь Александр! Что и позабылось, что, верно, и переменилось, расстроилось за протекшие годы! Сам бы он, поди, с трудом и разыскал ныне тверское подворье!

Его встречали, толковали о делах, усадили за уставленный снедью стол, знакомили с какими-то разряженными в шелка ордынцами. Александр улыбался, кивал, по-восточному прикладывал руки к сердцу, ел и пил почти через силу. Сам он хотел сейчас одного —

спать. И когда наконец (уже утро отделило землю от неба холодной зеленью ранней зари) добрался до постели, то словно нырнул в упруго-скользкое, покрытое полосатым рядном ложе. Тотчас вновь закачало под ногами, заскрипели мачты под мягким натиском смоленых парусов, и он на краткие часы уплыл ото всего, что ожидало его теперь с роковой властностью неизбежности.

Весь следующий день прошел в пересылках и переговорах с вельможами Узбека. На третий день князю был назначен прием в ханском дворце.

Роскошь. Полыхают усыпанные жемчугом, рубинами и бирюзою шелка. Парчою, сканым, волоченым и литым золотом залито все. От золотого трона лучится сияние. У нукеров при входе гнутые лезвия обнаженных сабель тоже украшены золотым письмом. От пестроты ковров, от чеканного узорочья светильников и посуды рябит в глазах. Лица эмиров расплываются, тонут среди великолепия и блеска одежд. Сам Узбек в парчовом халате — словно золотое изваяние на сверкающем троне. Государь, кесарь, султан, император, великий шахиншах, ильхан, несравненный столп дома Чингизова — и каких еще только прозвищ и званий не надавали ему, властителю Золотой Орды!

Александр медленно переступает порог. Медленно приближается и склоняет голову. Он никому не сказал, что выбросил свиток с заготовленною для него речью. И не взял второго, который тщетно совали ему в руки перед самым выходом к хану. В шатер повелителя Александр вступил уже отреченно, решась на все, заготовленное для него судьбою, и уже плохо слышал, что там говорили и переговаривали толмачи и послы.

Узбек сидел прямой на своем золотом троне, прямой и постаревший за протекшие десять с лишним годов. Кое-где серебро седины тронуло его тщательно расчесанную бороду. Суше и строже стало лицо, в глазах читалась усталость, и это слегка ободрило Александра. Больше, чем розданным дарам, верилось этой усталости монарха. Усталый Узбек, возможно, уже не захочет мстить!

— Господине царю! — начал Александр и, склонив голову, переждал, пока толмач, расцветив на восточный

лад его обращение, перескажет Узбеку по-татарски слова тверского князя.

— Много зла створил тебе аз! — сказал Александр то и так, как давеча придумалось ему на корабле.— Много зла створил, и вот се есмь пред тобою!

Александр возвысил голос, и толмач, испуганно оглянувши на русского князя, перевел на этот раз точно, слово в слово.

— Много зла створил и ныне стою пред тобою, готов есмь на смерть! — твердо закончил Александр. И умолк. И наступила тишина. Узбек глядел на него, глаза в глаза, разгорающимся взором. Умолкли придворные, затихли музыканты, не шевелились разряженные, набеленные и насурьмленные, словно куклы, жены. И были они одни в этот миг: усталый от роскоши и своей обманчивой власти-безвластия повелитель Орды и сын Михаила Тверского, принесший ему сам наконец, через десять лет ожидания, сюда, к подножию золотого престола, гордую голову свою и теперь ожидающий от него милости или казни.

Узбек закрывает глаза. Открывает их — коназ Александр здесь! Он стоит и ждет, как стоял его дед, Александр Невский, перед кааном Бату — Батыем, как его называют урусуты. И он, Узбек, сейчас равен Бату-хану в воле и смерти коназа сего! Сейчас он не помнит, кому и за что заплачено русским серебром! Сейчас он — полновластный повелитель четверти мира на золотом троне! Этот смиривший гордость свою храбрец-урусут, прямой батыр видом и статью, подарил ему самый редкий дар из даров, даримых властителю,— ощущение полноты власти! И Узбек вдруг, нежданно для самого себя, сузив глаза, начинает смеяться. Он смеется, сидя на золотом троне, а перед ним стоит упрямый русский коназ, и вот он весь во власти его! И Узбек смеется мелким тонким смехом, покачивая головой. И ждут визиры, вельможи, нойоны, стража и палачи, ждут, чем закончит свой смех повелитель. А Узбек смеется. Ему радостно. И Александр ждет, смущенный загадочным и — кто знает? — быть может, страшным смехом татарского царя!

Но вот Узбек протягивает руку, отстраняя, отводя от Александра готовых ринуть на князя вооруженных нукеров.

— Так сделал,— говорит он, все еще смеясь,— и получишь от меня жизнь! — Он взглядывает на тол-

мача и повторяет по-русски, для князя, одно слово, означающее жизнь и прощение: — Живот!

Узбек перестает смеяться. Сидит, задумчив и снова строг. Медленно говорит:

— Много послов посылал я за тобой, коназ, и ты не приходил ко мне, и никто не мог привести тебя. А нынче пришел ты сам, и я верю тебе, коназ, жалую тебя отчиною твоей и великим княжением...— Узбек медлит, ибо дать Александру все великое княжение русское он без совета визиров своих не волен, медлит и прибавляет: — Великим княжением в землях твоих! Гляди же, не обмани веры моей! — добавляет Узбек.

И вдруг оживает огромный шатер. Задвигались придворные. Ропот и гул текут меж рядами. Александру подносят вино, оглушительно ударяют по струнам музыканты, волна звуков, как водопад милостей ханских, обрушивается на него, едва не сбивая с ног. И он сам чует в этот миг,— миг, когда он, провисев над бездною, счастливо достиг края ее,— как его разом оставляют силы и как от головного кружения и тьмы в очах он вот-вот упадет ничью. И он едва справляется с собою, чтобы только устоять, принять вино, пристойно ответить на ласку и милость Узбека...

Торжественный прием закончен. Александр, пошатываясь, покидает шатер-дворец. Сейчас отдохнуть, прийти в себя... Но сейчас-то и начинается мышиная возня бояр и вельмож, тяжбы послов, уговоры и переговоры. Щедрость Узбека, особенно слова о великом княжении, порождают настоящую смуту. Великое княжение может быть только одно, но сторонники Калиты, а их немало, тотчас подымают свои голоса, и все путается, гибнет и гаснет в поднявшейся каше разнообразных мнений и воль. В конце концов так и выходит, что великое княжение Александра — по крайней мере пока, до часу, до приезда Ивана в Орду — это только право на полную власть в Тверском княжестве и право самому давать дань и отвечивать перед татарским царем. Но и этого не мало! Сим устрояются на Руси две независимые власти, а это не может удоволить ни тех, ни других, ни Москву, ни Тверь, и никого из русичей, мыслящих о единстве — хотя и под игом татарским — родимой земли.

И уже скачут гонцы в Москву, к Ивану Калите, и в Тверь, и во Псков, к семье и боярам Александровым, и уже разгорается спор. И кто победит в этом

споре, за коим опять и вновь: быть или не быть Руси Великой? И если скажется «быть», то чья в том будет воля и чья власть настоять на своем?

## ГЛАВА 53

Алексий сидел на грубо тесанной скамье в келье Геронтия и отдыхал душою. В этом монастыре провел он долгие годы, теперь же, управляя великим хозяйством митрополии, лишь иногда удавалось ему наезжать к родимому Богоявленью, погружаясь, как и ныне, в умную беседу с высокочтимым им старцем, на коего он по-прежнему взирал, яко на наставника своего.

Темные от времени стены кельи, уцелевшей в недавнем пожаре, навевали покой. Древние иконы на стене, цареградский крест кипарисовый. На столе печеная репа, хлеб, квас и глиняный кувшин с водою, да еще выставлена деревянная тарель яблок — ради гостей, собравшихся ныне к старцу. Хозяин, высокий, слегка согбенный, добродушно взирает на пришлых, словно на учеников своих, коим он разрешил поупражняться в красноречии. В келье сегодня многолюдно. На лавках, потеснив всегдашних слушателей старца, восседают виднейшие бояре московские. Тут и Феофан Бяконтов с Матвеем и Константином, с опасливым уважением взирающие на своего входящего в силу старшего брата; под иконами, заполняя собою весь красный угол, уселись только что вошедшие отец с сыном и внуком Вельяминовы. Тяжелый, массивный, уже изрядно заматеревший боярин Василий Протасьич с сыновней бережностью поддерживает за локоть своего отца, великого тысяцкого Москвы Протасия-Вельямина, а старик, весь серо-белый, сухой и огромный, трудно сгибая старые члены свои, усаживается наконец и слегка трясущейся рукою берет с тарели зеленое яблоко, начинает, крупно откусывая, мерно и трудно пережевывать его редкими сохранившимися зубами, словно старый конь. Супротив Вельяминовых сидит у стены отуманенный ликом Михайло Терентьич. Он ждет вестей из Орды, догадывая уже, что вести грядут недобрые. Рядом с ним поместился сын давнего врага Вельяминовых, Алексей Петрович Хвост-Босоволков, он тоже слушает, утупив очи в землю. Тут же свояк Босоволкова и двое Редегиных... Сходбища у старца Геронтия ради беседы

божественной бывают почасту, но нынешний сбор многолюднее прочих — сегодня ожидают сюда самого митрополита Феогноста.

Доселева шел богословский спор о свободе воли христианина перед лицом промысла божия — древний, как сама церковь, и никогда не стареющий спор, ибо от того или иного решения его зависело оправдание или осуждение всего пути жизни верующего, да и всех верующих вкупе, всех соборно живущих в Господе. Спор, впрочем, уже перешел в проповедь, ибо разговором безраздельно завладел Геронтий, и от свободы воли — к тому часу, когда в келью вступил митрополит Феогност,— перешел к иному, смежному с ним, вопросу: о слепой стихии бытия и направляющей воли божественного учения.

— Стихия, мощь плоти, сама по себе слепа и всегда разрушительна! — выговаривал Геронтий негромким, но ясным, журчащим, подобно пастушеской свирели, голосом.— Но и без нее, без силы оной, о коей только что рек брат мой Алексий, все иное не возможет стати — ни борения суедневные, ни подвиги духа, ниже́ и само умное делание,— ибо всему потребна сила, стихия, яко ветр крылатым ветрилам кораблей! Посему должно не изничтожати, а направляти силу сию!

Он с улыбкою взирает на Алексия и обводит глазами прочих, как бы делая всех присутствующих свидетелями дружественной беседы двоих близких по духу людей. Слушатели внимают прилежно, даже старик Протасий приложил ладонь к уху, следя погасшим взором лик старца, освещаемый сквозь узкое оконце последними багряными лучами вечерней зари.

— Сила, стихия суть безликое,— продолжает Геронтий.— Это чистая мощь, в коей начало вещей, это рождающая бездна, слепой напор, подобный напору волн в ярости бури! Безликое вечно алчет, вечно бунтует. Безликое тщит волнами своими прорвать всякую преграду, всю «ограду закона» разрушить и наниче обратить, ибо закон есть грань и твердота, определенье конца и предел мощи. Но существо мощи именно в раскрытии себя, доколе не иссякнет самая бытийственность ее. Существо титанического в напоре и в борьбе против граней!

Феофан напряженно внимает, посматривая на ученого брата. Михайло Терентьич слегка ерзает, устраиваясь поудобней на лавке. Он человек дела, но весь

внимание, ибо понимает, что всякое дело без духовной основы своей мертво. А свет солнца бледнеет, проходит, и келья, до того словно бы залитая отсветами темного багреца, холодея, погружается в сумрак.

— Лицо,— говорит Геронтий и слегка приподымает руку с подлокотника, как бы задерживая вниманье внимающих,— лицо, то есть ипостасный смысл, разум, ум, просвещенный светом Истины, полагает меру безличной мощи людского естества, ибо деятельность лица именно суть в мерности, в наложении пределов и граней. Безликое видит в грани, лицом налагаемой, токмо встречное, помеху, предел нежеланный, и в сем зрим слепоту безликой мощи титанического! Начало титаническое прекрасно, яко весенний ветр, подобно древним героям, доколе тщит содеять нечто. Завлекает сердце, и радует, и манит. Но яко лишь оно, безмысленное суть, осуществит себя до конца, тотчас содеивает ничтожно суть и гнилостно и смердит. Зри! Порывы не устроенной по святоотеческим заветам, не «умной» личной воли кажут нам переднюю свою красоту, но дайте им волю — и, сугубую скверну сотворив, личность сия сама сбежит от содеянного ею! Подобно буре: дайте ей во всей красе и мощи осуществить себя, и что иное, кроме гибельного разоренья, обрящете после нее?

Старик Протасий кивает. Он зрел дела покойного Юрия Данилыча, и ему душепонятно, что есть неовеянная духовностию стихийная мощь. Свет за окном вовсе смерк, и молчавший послушник вносит возжженные свечи.

— Помысли, брат Алексий, и вы все, братие, помыслите: не достоит ли злую радость имати, зря гибельное сие разложение титанического? — спрашивает Геронтий, обводя взглядом обращенные к нему внимательные лица братии и бояр. И сам же отвечает: — Отнюдь, возглашу я днесь. Отнюдь! И нелепо нам, братие, радовати сему! Ведь то сама природа человеческая, источник и ключ деятельности и деяний людских, самая мощь человека подверглась тлению! С титаническим, со стихийною силой умирает, воистину умирает и самый человек, лишаясь первого блага и первого сокровища своего — мощи, жизнетворения и самой жизни сей. И посему нельзя и не должно уничтожити его, «не научихомся телоубийцы быти». Нельзя уничтожить начало мощи! Титаническое само в себе суть не грех, а благо. Оно — мощь жизни, оно — само бытие.

Но оно ведет ко греху... Всегда ли? Нет! Ибо и добро осуществляет себя тою же стихийною силой, началом титаническим. Титаническое суть и основа всякого деяния, и посему,— Геронтий вновь, приостановивши речь, обводит глазами слушателей и договаривает с суровою твердостью: — посему оно по ту сторону добра и зла!

Феогност молчит, откинувшись в четвероугольном монастырском креслице. Он внимательнее многих слушает Геронтия, стараясь не упустить никоторого оттенка мысли. Византию сотрясают еретические учения; на самом Афоне возникла пря, и немалая, о свете фаворском, и ему, митрополиту, надлежит паки и паки следить, дабы мысль церковная не уклоняла в соблазны ложных толкований. Однако немалое мужество надобно, чтобы так вот сказать о стихии: «по ту сторону добра и зла», и не токмо сказать, но и продолжить, и вочеловечить сказанное!

— И посему,— продолжает Геронтий настойчиво льющимся голосом,— зри, брат (это опять Алексию), яко виновны обе и безысходна вина их, усии и ипостаси, вина бытия и вина смысла. Но неразрешимо столкновение их, и безысходна вина того и другого начала. Неможно истребити силу стихии, ибо с тем вместе будет истреблено и все человечество. Иной же исход — взять на себя вину стихии добровольно и просветить непокорную усию светом смысла. И это одно лишь было бы выходом, ибо титаническое не токмо сила греха, но и вообще сила жизни, и без него нет и самой жизни! Это стихия ночи, в коей воссиявает свет. Нет мощи — и ничего нет. Бессилен смысл, жалок разум, тщетна правда. Нет стихии силы — и нет деятельности осуществления. А без нее нет и бытия, ибо к корням бытия проникаем не иначе, как через свою усию.

В мощи — правда титанического. Исконная и непреодолимая правда земли. Ибо первая правда всякого бытия — само оно, данность его, и первая неправда — несуществование. И первое благо есть бытие, первое же зло — небытие.

Но человек — не только темное хотение, но и светлый образ, не только стихийный напор, но и просвечивающий в реальности его лик, явно выступающий у святых в видимом образе сияния. В Боге гармония усии и ипостаси. В человеке самом нет гармонии, ибо

темная подоснова бытия паки и паки восстает на лик, Господом данный.

Итак, заключим же, братие! Правда бытия и правда смысла, правда усии и правда ипостаси — их две суть. И не съединенные, они противоборствуют друг другу. Дух воюет на плоть, и плоть воюет на дух. Но это именно две правды! Их единение не возможет быть достигнуто угнетением той ли, другой ли стороны. Бесконечные в своем стремлении, оба начала человеческого существа требуют бесконечности своего раскрытия, требуют предельного своего утверждения. Всякая остановка — лжа есть! — твердо заключает Геронтий.— Достоит исчерпать искание бытийственности достижением окончательной божественной бытийственности, достоит исчерпать искание осмысленности достижением окончательной божественной осмысленности. Не иначе возможно удоволить оба начала человека!

Геронтий замолк, но слушатели все еще не шевелятся на лавках. Монах-изограф, прикрыв глаза, воображает себе сейчас сказанное Геронтием об усии и ипостаси зримо и видит усию как бушующие скользкие морские волны, жадно и гневно облизывающие каменную твердь, а ипостась — словно вознесенный над скалою, недвижно укрепленный нерукотворенный Спасов лик и от него по волнам серебряные полосы света...

И как по-разному понимают старца собравшиеся! Феогност, чутким ухом, привыкшим к тонкостям богословской схоластики, сопоставляет сказанное сейчас с писаниями святых отец. Алексий, переживая за Геронтия, взгляды коего суть его собственные, с тревогою поглядывает на замкнутое лицо Феогноста: не найдет ли митрополит отреченных словес в сказанном ныне? Служка только лишь ждет, когда можно станет переменить догорающую свечу, не нарушая мудрой беседы, и сейчас, с окончанием речи, торопится водрузить новую взамен огарка в кованом железном свечнике. Старец Протасий не думает ни о чем, отдыхает. Мудрые слова возвышают его и уводят от докучных забот дня. Василий Протасьич, тот вникает в речь старца сугубо, стараясь повернуть сказанное на свое, и одобрительно склоняет голову при словах об ипостаси, ибо стихия — это чужое ему, а подчинение стихии разуму — душепонятное и близкое по делам и заботам многотрудной должности тысяцкого, выполняемым Василием за престарелого отца своего. А молодой Алек-

сей Босоволков, напротив, находит в истолковании стихии внутреннее оправдание себе и поступкам отца. Да! Права стихия! (Убийство рязанского князя Константина нет-нет да и поминают ихней семье.) И в безудержном и долженствующем дойти до конца стремлении бессознательного ищет он сейчас оправдание своему настойчивому желанию когда-нибудь свалить ненавистную власть Вельяминовых и самому, самому стать тысяцким Москвы!

Инояко воспринимает сказанное Михайло Терентьич. Прикидывая так и эдак слова Геронтия, он кладет их к совести своей и думает: раз так-то... сам он дошел ли до конца? Все ли содеял в многотрудном деле, порученном ему Калитою,— переманить на Москву великого тверского боярина Ивана Акинфова? Ощера ездил — без толку. Должно ли ехать ему самому? Князь просил, не настаивал, просил лишь (и то было лестно Михайле!). И следовало, быть может, попробовать теперь самому, с иньшего конца... Через Зерна Митрия Александрыча разве? Он еще не решил окончательно, когда сказанное вполгласа, точно шелест, вошедшим в келью братом достигло его ушей:

— Александр-князь... Александр... Ляксандра Михалыч... Тверской князь, с ярлыком, великим князем...

— Великим? Владимирским?! — шепотом переспрашивает боярин.

— Тверским. Да как ся еще повернет! Только-только гонец подомчал! Едет из Орды!

На лавках зашевелились. Подымается ропот. Тревожная весть переходит из уста в уста.

— Великий князь знает ли? Иван Данилыч? Невесть!

— Должно, доложат ему!

И Михайло Терентьич, продолжая взирать на старца, коему сейчас один из братьев повещает о произошедшем в Орде, почуял: вот оно! Главное. Тяжкое. Даже и страшное. Подошло. Нынче Акинфичей особенно трудно, почитай, и неможно перезвать станет. И должон он сам, только сам удоволить князю Ивану! Мыслей отступить, оробеть не является у Михайлы Терентьича. В ихней семье так повелось искони. Не лезть наперед за славой альбо почестьми, но зато в тяжкий час не стоять назади. Сам поеду! Решил — и по решению пришли слова Геронтия о стихии, что до конца должна раскрыть себя, и обуздании ее светом

истины. В том, что истина тут, за Москвой, Михайло Терентьич не сомневался. Митрополит, духовная власть, здесь! И с ним истина.

Думает ли так, однако, сам Феогност? Этот Михайло Терентьич не ведает, да и не гадает о том, как и иные прочие. Здесь, с нами сидит, чего ж больше! И лишь Алексий воззревает с внимательною тревогой в остраненный лик главы русской церкви, где-то, самой глубиною души, чуя, что одолей в споре тверской князь, и Феогност примет его руку, дабы не ввергать Русь в соблазн разномыслия.

А он? Он избрал свой путь давно и уже не пременит его. И уже все искусы и все шатания пройдены им тогда еще, при покойном Юрии. Почему? Потому ли, что он попросту рожден на Москве? Нет! Но за Тверью, за тверским княжеским домом незримо стоят для него католики, Запад, ждущий и жаждущий полонити и поглотити Русь. Но почему Тверь должна поддаться латинам? Чуял так. Соблазн идет через Литву. Чуял, что днесь, по тяжкому времени днешнему, даже и велемудрость и хитрость книжная тверских книгочиев может оказать плохую услугу стране. Да, московиты грубее и проще. И, быть может, от сего со временем произойдет новый соблазн на Руси. Но ныне, днесь, в сию годину тяжкую, подобно тому, яко смерд сущий, пахарь, выносит тяготу бóльшую, нежели боярин в высоте и величестве своем, так и Москва пред Тверью может оказать большую опору вере православной и самобытию Руси. Равно и Иван Данилыч пред Александром...

Знает ли уже крестный? Сказано ли ему? И не отступит ли он теперь от прежних замыслов своих? И в тайная тайных сердца понял: нет, не отступит Иван! И даже ужаснулся Алексий, поняв, почуяв, чтó теперь означает для крестного — не отступить.

## ГЛАВА 54

Ивану весть о вокняжении Александра принесли рано утром другого дня княжеские гонцы, в грязи осенних дорог, сквозь серую мгу и снежную заверть домчавшие из Владимира. Князь выслушал запаленного кметя спокойно. Склонил голову. Приняв грамоту, передал ее старшему дьяку и кратко распорядился накормить и наградить гонца. Потом отстоял утреннюю службу,

оделил нищих, сожидавших князя на паперти. Дома отдал наказы ключнику и отпустил бояр, пришедших к нему с делами. Жене, что, почуявши недоброе, заботливо заглядывая ему в очи, прошала: «Почто кручинен, князь?» — сказал, что хочет помолити Господа о здравии прихворнувшего младенца, внука Василия. Ульяна отступила, зная навычай Калиты при всякой трудноте или с тем, дабы помыслить спокойно, скрыватися в церкву (и в те поры туда к нему уже никого не пускали).

Накинув охабень, он неспешно прошествовал к церкви и затворился, оставя стражу за порогом. Малый храм, недавно расписанный изографами, был еще пуст и гулок. Еще веяло сырью от сияющих стен. Опускаясь на колени, на холодные плиты пола, Иван вздрогнул, перевел плечьми. Вспомнил покойного митрополита Петра. Осенил лоб крестным знамением. И тут, когда он остался наконец один, наедине с Богом, охватило его отчаяние.

С новым ужасом глядел он в пронзительный лик Христа, читая напряжение страсти в каждом движении кисти, в каждой морщине и складке, в изогнутых пробела́х и в упорном, яром взоре Спасителя.

Было такое, словно полжизни своей плел он хитрую паутину, протянув ее и туда, в Орду, опутывал страну, губил мелких князей, и все для одного-единого — власти, бремя коей восхотел он взвалить на плеча своея. И тут вдруг в эту сквозистую, прехитро переплетенную, пространно, семо и овамо, раскинутую сеть влетает с громким жужжанием мохнатый шмель и единым мановением, единым махом сверкающих крыльев своих рвет в клочья плоды долгого, из себя самого вытягиваемого созидания.

Он с детства любил пауков. Как-то, со тщанием рассмотрев единого из них, восхитился крестообразным узором на спинке, нарядною росписью всего округлого тела, оценил мудрую их работу и уже негодовал, когда паук, упуская добычу, боялся приблизить к великой мухе. Иван мог не уставая смотреть, как восьминогий труженик сперва издали, перебегая по вздрагивающей паутине, ссучивает задними лапками нечто незримое, а потом, приближаясь и приближаясь, легкими касаньями запутывает упруго трепещущую муху и вот, в какой-то миг приникнув к ней, гасит отчаянное металлическое жужжание крылатой серой гадины... Мух, приставучих, кусачих, пачкающих все, на что они ни сядут, он ни-

когда не любил и не жалел их вовсе. А пауков жалел и уважал за великий труд, совершаемый ими в тишине, за тонкую красоту прозрачной паутины: в лесу ли — усыпанной каплями жемчужной росы, на слюдяных ли окнах княжого терема — где ее безжалостно смахивали вениками сенные девки.

И вот он теперь — как паук, потерявший даром весь труд свой, создававшийся многие годы! Чем взял, как сумел единым часом победить его князь Александр? Иван его никогда не боялся, не уважал, как покойного Михайлу, долгая пря велась, по сути своей, с ляхами, латинами, Гедимином, плесковичами... Александр, казалось, был лишь расхожею битой в этой игре, и вдруг... И как мог Узбек! Да, он за долгие годы уверток, хитростей и обманов успел даже и полюбить по-своему ордынского деспота и потому с сугубою горечью думал сейчас об измене Узбека.

Чем? Как? Коим тайным или прехитрым измышлением, коею злобою или лестию обадил Узбека Александр? Или не бысть злобы и лести и прочая тайная, а явил себя и рек и одолел истиною и правдою слова своего?

Или тут вот и отмстил Господь им, ихнему дому, за все шкоды и пакости Юрия и его самого, Ивана Калиты?

Иван прикоснулся лбом к каменному полу, замер. Холодные плиты вразумляли паче молитв.

Соименный ему Иоанн Лествичник, слезный дар имеяше вечного плача, живяху там, в далекой пустыне Синайской, в горе каменной. И не перст ли то, указующий путь и ему, Калите? Уйти, посхимиться в монастырь Богоявленья, к крестнику своему. И — в обет молчания. И — в затвор. Да ведь и силы его предельны, и годы ветхи́. Годы, быть может, и не столь великие, но сил уже нет. Губя других, он и сам надорвался! (А ежели не уйти, то драться и убивать. А тогда — где же совесть? И в чем? И совсем ни в чем! Токмо греховная жажда власти!) Он уйдет, исчезнет, растворит себя в Господе, и будет Тверь столицею Новой Руси, и будет уже не ему, не Москве и не роду его стояти во главе Руси Великой!

Калита мысленно перебрал детей: Иван слаб, Андрей нестоек... Во мраке отречения одна лишь ниточка кровоточила сердечною болью: Симеон! Его готовил себе на смену, ему изменить приходило в сей час.

Как заблудивший во тьме пещерной страждет добратися скорей до крохотного света вдалеке, так и ему сейчас, склоненному на холодный камень, блазнит далекий свет — светлое видение пред мысленными очами: белый отрок в рубашонке белыми ногами стоит в высокой траве. И видит Иван, что отрок сей — Симеон, дитятей, и, стоючи так, спрашивает его:

— Ты почто меня родил?

— Прости сын, прости! — молит Иван.— Господь повелел мне иное!

— А ларец кесаря Августа, а шапка Мономаха? — обиженно прошает дитя.

— Выдумал я, сын, не ведаю про ларец, и шапку сию отец мой привез, яко древлюю, из Володимера.

— Нет, то шапка Мономаха! — упрямо возражает мальчик. И тает... И глас трубно звучит с высоты:

— Но Мономах изрек: «Каждый да держит отчину свою!» Ты же изменил делу его и преступник есть на земли!

— Нет, я собираю власть, дабы совокупить землю по мысли Мономаховой! — возражает другой неведомый голос.

— Господи! Не сможет он! Не удержит! — взрывается и взывает Иван, подняв очи горé.

Промчал шмель, порвал натянутую преграду, и вот на тоненькой, невидной глазу ниточке вновь повис паук, неустанно восстанавливая свою прехитрую сеть! И эта ниточка — первый крик души, первый протест смертного господу своему:

— Не удержит!

И человек, распростертый на плитах, жалкий прах бренного бытия, начал восставать на господа своего, не желая, не в силах смирить и отринуть себя самого от содеянного им дела.

Право и правда! Право было за ним, врученное ханом ордынским, и правда служила ему, доколе не вышел срок, ибо не он, а Юрий начал великую прю с Михаилом. Теперь же он строил здание свое противу и права, и правды.

— Юрий первый, не я! — кричала его душа.

— Не лукавь! Юрко не имел совести, с него, как с язычника, и спрос другой. С верного спросится. С властителя больше, чем со смерда. Кому больше дадено, с того больше и спрос: с взрослого — не с дитяти, с боярина — не со смерда, с князя — паче боярина, с верного

господу — паче язычника и невегласа, с честного — паче плута. Пото и нет большего преступника, чем отметник («ренегат» — скажут в иные века), отступник Родины и Бога своего. Иуда Искариот потому и больший всех отступников на земли, понеже был избран в число верных самим Иисусом.

— Господи! — кричит Иван.— Ты дал мне власть и волю похотеньям моим, ты оберег и возвысил меня над прочими в русской земле! Я исполнил волю твою и невиновен есмь!

Пусть я смраден! Но иные, пошедшие за мною?! Земля, язык, присные, поверившие в меня! Соблазнил их аз, и ты днесь оных, соблазненных мною, караешь вместе со мной! Не прав ты, Господи!

Ввергни дух мой в геенну огненную! Разотри кровь мою по плитам собора и плоть мою изжени птицам на съедение, но сохрани дело мое нерушимо!

Чему казнишь, чему поражаешь мя перуном своим! Помилуй мя, Господи! Помилуй и спаси еще раз в сей великой нужде! Помоги! Изреки слово жалости! Протяни луч света и нить спасения недостойному праху моему!

Господи! К тебе воззвах и к тебе прибегаю! Изжени мя из числа праведных, но дай довершить начатое!

Да, я возносил главу свою гордо и величахуся в ослеплении сердца своего. Прав ты, наказуя мя, Господи! Но спаси, яко спасал дондеже, и вновь не отринь! Веси ли ты моление мое, и скорбь, и жажду мою, и тоску, и печаль, и муку мою? Отзовись!

Молчание. Лазорью, желтою и красною охрой сияют расписанные стены храма. Лики святых строго взирают с высоты на смертного, что мечется внизу, в отчаянии вздымая руки горé.

— Веси ли ты днесь смирение мое, и скудоту мою, и страсть перед тобою, Господи! Внемлешь ли ты покаянию моему? Отзовись!

Вопль человека падает в пустоту. Молчание.

— Господи Боже! Не могу я отринуть содеянного уже и токмо об одном — о спасении земли моея в веках пребудущих молю тя, великий и грозный! Спасешь ли ты, сохранишь ли землю мою, ю же запятнал и пятнаю мерзким деянием своим? Молви, Господи!

Молчание.

— Господи! Ты молчишь при скорби раба твоего! Ты наказуешь мя сугубо! Наказуй! Губи! Но токмо еще об одном молю тебя ныне! Пусть грех мой со мною единым

снидет во тьму кромешную, туда, где вопль, и воздыхание, и скрежет зубовный, но очисти грядущих по мне! Наследника моего Симеона не погуби десницей своей! Изреки днесь, яко пощадишь род сына моего и за грех отца дитятю праведного не накажешь!

«Накажу!» — отвечает Господь.

Судорога пробегает по членам коленопреклоненного. Потемнело в глазах. Он поднял очи, увидел глаза Спасителя, и все поплыло пред ним. Князь, сжав зубы, плашмя, ничью упал на каменный пол храма и тяжко застонал, не разжимая зубов.

— Все равно, Господи! — прошептал он, роняя слезы и перекатывая воспаленное чело по холодному камню.— Все равно! Я не могу иначе!

## ГЛАВА 55

Александр возвращался в Тверь победителем. Правда, с ним вместе ехали татарские послы, Киндяк с Авдулом, от коих вскоре тяжко пришлось тверской земле, ехали данщики и должники, коим изрядно задолжал Александр, раздавая подарки в Орде. Вновь и опять повторялась старая политика обирания Твери Ордою. Правда, нелегкое будущее ждало его и в Твери, где как-никак десять лет правил Константин Михайлович, где многие и многие успели умереть, и подрасти, и народиться вновь, где должны были начаться свары и споры старых бояр, оставшихся в разоренном княжестве и вместе с великой княгиней Анной подымавших обезлюженную землю, с теми, кто бежал вместе с Александром, а сейчас победителями возвращались восвояси, на прежние поместья и селы. А еще большие свары — тех и этих с пришлыми иноземцами, что теперь облепили Александра в чаянии его успеха и уже не желали уступать мест коренным русичам.

И еще должен был Александр брать теперь на плечи бремя споров с Господином Великим Новгородом, как никогда усилившимся под руководством легкого и ясноглазого строителя — архиепископа Василия Калики.

И еще, и главное: хоть и великим князем ехал Александр из Орды, но не великим князем владимирским. И титул давал ему только независимость от Калиты, право самому давать дань татарам и как с равным вести дело с московским государем, но власти вышней, власти

в стране, во всей земле залесской титул великого князя ему не давал. Так, полно, победителем ли возвращался к себе Александр?!

И все-таки Александр возвращался в Тверь. И с ним возвращались надежды великого города.

— Едет! Едет батюшка наш! — весело кричали друг другу купцы в шумной толчее лодейного и людского толпления на вымолах, где груды и горы товаров сгружались и перегружались с лодей на причалы и с причалов в паузки и лодьи. В кипении торга, в звонкоголосых кличах братчинных сходбищ, всюду повторялось одно: «Едет, едет батюшка-князь!» Князь, который властно возьмет в руки кормило тверского корабля и поведет его вновь к богатству и славе, к новому одолению на враги. Посадские радовали, поминая позор давешнего погрома и сожидая от князя щедрот и льгот родимому городу. Бояре чаяли княжьих милостей и богатых кормлений, ратники — походов, добычи и славы. Книгочии, в тиши монастырских книгохранилищ переписывающие скорбные строки летописей, готовились торжественно возвеличить и запечатлеть на века деяния сына Михаилова.

Возвращался князь из легенды, князь-спаситель, князь величавых надежд, коим он стал за десять лет своего отсутствия. И били, и били красным праздничным звоном колокола, и гудел самый большой, еще Михаилом Святым литой колокол, и благовестили в звонкие била по всем великим и малым храмам, сущим окрест.

Мог ли он, живой, удоволить их всех, содеявших его чуть ли не святым, чуть ли не воскресшим Михаилом? А он к ним — с татарами, с данями, поборами и долгами... Мог ли? И какову надо было бы быть ему, дабы уцелеть, устоять на такой высоте?

А колокола били и били красным праздничным звоном; и разубранные, под коврами, кони, и клики, и радостные слезы посадских жонок; и слишком уж деланно-радостные объятия братьев и братних жен (этим в радость ли возвращение на стол старшего Михайловича?), и вопли прислуги, и стройное пение причта церковного, и тысячеустая языческая «слава», покрывшая все прочие звуки и гласы, даже и звоны колокольные...

Александр воротился в Тверь. Вступил в княжеские, заново возведенные на пепелище, терема. Толпою своих бояр, слуг, холопов, дружинников, гостей и послов иноземных наполнил дворы и горницы княжеского дворца. Послал бояр за женой и детьми во Псков, и уже для

семьи великого князя спешно готовили, убирали, чинили и украшали особые палаты, из коих по сему случаю выбирался его младший брат, Константин.

И все казалось легко, все было радостно и ясно в нем и кругом него. Словно спешил отплатить весельем за то страшное, что довелось пережить и перетерпеть в Орде. И охоты, и щедрость, и дары великие излиха пролияста на ближние своя. Но среди пиров, празднеств, встреч и торжеств ждали и, не дождав, отступали позадь дела и труды злободневные, коими лишь и мог бы уцелеть, усидеть, удержать себя на нужной высоте князь Александр. И уже начинали роптать ближние бояре, коим прежде всего должен был удоволить и не удоволил воротившийся князь. Сегодня пренебрег, завтра отодвинул, послезавтра огрубил невниманием того, и другого, и третьего. Даже незлобивый Андрей Кобыла был обижен, и нешуточно, князем, когда Александр уравнял его с крещеными немцами, что прибились ко князю на чужбине и тут стали хватать и чины и поместья, раздаваемые щедрой княжеской рукой.

Александр того словно и не заметил. И на заботное слово матери с Настасьей, пожелавших его остеречь, дабы не забывал слуг старых, отмахнул небрежно:

— Ноне я великий князь, а не изгой беглый! Хочу — милую, хочу — казню!

Не свои были и слова, теми же немцами подсказанные, и сказались легко, не думая. А нать было подумать Александру! Паки и паки нать было помыслить о сем! Велик вопрос сей — о единовластии и соборном правлении на Руси, велик и не прост, и в веках не прост, и не прямо, не вдруг разрешим!

Выгоды и невыгоды единовластия кто измерил в череде лет передних и задних? Да, в единовластии — единство земли и строгая воля к действованию, единому и целенаправленному. Но вот вопрос: кто станет во главе действования? Кто воспользуется совокупною силою народа и для цели какой? Обычно после великих (Александра ли Невского, Михайлы Тверского, Ивана Третьего или Петра) надолго укрепляет мысль о спасительной полезности единодержавия. Даже и мудрейшие не видят ничтожества потомков и того, что вышняя власть становит игралищем недостойных, пресмыкающих у подножия трона.

Мог ли Александр Михалыч воспринять идею единовластия в ее глубине, в мере ответственности государя

пред подданными и землею народа своего? Легок, излиха легок был князь Александр! Легок — на горе себе и городу своему...

Но и за всем тем, и все это — еще слухи, сведения утерянных рукописей, быть может, даже измышленные Татищевым изъяснения трагических событий. Но есть одна строка летописная, дошедшая до наших дней, и строка та глухим и неясным смыслом своим навевает смутный ужас. Печатью обреченности, неизбежности рокового конца веет от нее. Вот эта строка: «Своя домочадая начаша вадити на Александра». Своя домочадая? Свои домашние? Доносить? Кто?! И тут рука теряет стремительность, перо цепенеет и смущается ум. Даже и днесь, и через шесть веков, трудно заглазно обвинить кого-то... А вдруг именно он невиновен, и клеймо предателя запечатлит и предаст на поругание праведника, обойдя сущего предателя, кто и в самом деле «вадил» на тверского князя?

Но есть одно лицо, коего ежели и не коснулась укоризна древнего летописца, то само сцепление и стечение событий почти обвиняет, почти указует на него... И вновь цепенеет перо: а вдруг не он? И все же... И все же мысль возвращает все к одному и тому же: князь Константин. Родной брат.

Да, да! Страшно подумать о сем! Но вспомним весь путь третьего сына Михаилова, свидетеля убийства отца, насмерть и на всю жизнь испуганного, взятого Юрием и женатого на дочери Юрия Софье — властной, в отца, и нравной девушке (годами старше своего мужа!), за которой как-никак стояла непреложная воля Москвы (ее и в Твери так и продолжали звать «московкой»). И еще не забудем вкрадчивого и такого внимательного в мелочах, подарках, приветных посылах и прочем дядю Софии Юрьевны — Ивана Данилыча Калиту.

К своим сорока годам «московка» заматерела. Упорно-самолюбивый очерк лица с мясистым подбородком отяжелел. Она, как и покойный Юрий, толстела носом, с возрастием делалась коренастей, грубее и жестче. Константин, так за все годы и не выучившийся быть господином в семье, по-прежнему робел перед женою, звал ласково: «Соня, Сонюшка!» И когда после этих слов появлялась грозноголосая, обычно гневная, решительно пушившая слуг и холопок княгиня, то чужой человек мог бы и усмехнуть невзначай несоответствию нежного имени тупо-властной, твердомясой и коренастой

бабе, в которую обратилась прежняя тоненькая София Юрьевна.

И вот о чем нет в летописях даже и намека, и слова нет, и будто выдали ее замуж во Тверь и исчезла она, обратясь в тверянку... Да и не в обычае русских летописей писать о бабьих вычурах и норове женском в делах вышней власти. А ведь и норов не уберешь, коли он есть, и вычуры не скроешь, хоть и не пиши о них ни единой строкой!

— Мозгляк ты и есть! Не мужик, баба сущая! Нежить! Шевляга! Падина! Ты уже с хоромами и меня отдай ему зараз! Не то пошли куски собирать по Твери! Десять лет, выходит, сидели на чужом добре, да? Воры мы?! Или того ж княжого роду?! В Орду съездил, вишь, хану ся покланял! Сам не можешь съездить к Узбеку? Хоша бы и послать к нему! Сидень ты! Спать-то с тобой и то противно!

Константин лишь вздрагивал, точно конь в оглоблях, коего хлещут кнутом по морде, и лишь об одном думал: не услыхали бы слуги по-за дверьми, как честит его любимá семья — княгинюшка его ненаглядная. А Софья стояла, высясь над ним, в тяжелом бархате и парче, скрестив руки, словно каменная баба над степным курганом, и метала в мужа, сгорбившегося на лавке, тяжелые, злые слова.

Терем, что приходило очищать для старшего деверя, села и волости, что приходило очищать для него же, выводя из них своих посельских и ключников, казна княжая, что приходило передавать плесковскому беглецу — всего этого ни понять, ни принять, ни простить Софья не могла. А тут как раз письмо ласковое с поминаньем и дарами от московского дяди Ивана — не забывает вот уже который год! А тут и иные посылы тайные. И вот она изливается гневом, не желая уступать ничего и ни в чем, не желая понимать и принимать ихние эти нелепые семейные счеты и тонкости. «Мое!» — кричало в ней все. Родовое, Юрьево: «Не отдам!» — бешено восставало против навычаев тверского княжеского дома. И ежели ранее, под властною рукою великой княгини Анны, в разоренной Твери, московка не дерзала так яро восставать противу, то теперь пробил ее час.

И тут вновь перо начинает тяжелеть... Она ли заставила своего робкого мужа написать Узбеку, или сама посылала доносы в Орду? Или повадила кого третьего на злое дело противу князя Александра?

Так ли, иначе, но и году не сидел на столе Александр Михалыч Тверской, как «своя домочадая начаша вадити на него», как началась и взорвалась возмущением и отъездами на Москву рознь боярская, как страшно заколебались весы, на коих весились и власть, и сама жизнь великого князя тверского.

Величие трагическим событиям истории придают размеры сил, вовлеченных в круговерть борьбы. Мы с полною верой принимаем за истинно великое какую-нибудь семейную распрю в королевской семье, не видя, что такие же по накалу страстей события сплошь и рядом происходят у нас на глазах, в обычных «рядовых» семьях, где есть и свои Борджиа, и свои Катоны, где найдутся и Иваны Грозные, и Марфы Борецкие. Но исходы трагедий, случающихся здесь, мало тронут наше внимание. Размах и величие страстям придает мощь вовлеченного в семейную прю множества иных воль и судеб человеческих. И трагедия тверского княжеского дома была великой трагедией прежде всего потому, что за нею стояла судьба самого сильного города Владимирского великого княжества, города, что чудом вставал из пепла руин, который не хотел и, казалось, не мог умереть и даже уступить свое место кому-то другому.

Десять лет назад тут были пепел и смерть, и десятки тысяч уведенных в полон сгинули в бескрайней степи. И вот вновь — анбары, лабазы, магазины, вымола и пристани; хоромы, избы, клети, поварни, повалуши, дворцы. Товары Востока и Запада: сукна и бархаты, лен и шелка, русские брони, уклад, франкские мечи, хорезмийский булат и свейское железо, замки, узорная ковань, златокузнь многоценная, лалы и яхонты, жемчуг и яшма, бухарская бирюза и закамское серебро, хлеб, соль, скора, русские и сибирские соболя, бобры, связки белок, куниц, горностаев, медвежьи, волчьи и рысьи шкуры, поливная глазурь и стекло, резная, точеная и расписная посуда, рыбий зуб и мед, сахар и сушеные фрукты, рис и вино, церковные облачения и княжеские порты, иконы и книги...

Изографы тверской школы тонким узорочьем знаменуют страницы рукописей, удивительной живописью покрываются стены храмов, дивно прекрасны иконы тверского письма. Кузнецы и златокузнецы в художестве

своем спорят с самим Новгородом и даже далекою Византией. Казалось, что́ могло воспретить этой силе жизни, этой мощной струе бытия, этому возрождающемуся бессмертному древу? Срытая и сорок раз перекопанная, изменившая весь облик и даже имя свое Тверь, что знаешь ты днесь о великом прошлом своем?!

## ГЛАВА 56

Странное то было застолье, ежели поглядеть со стороны. Пятеро великих бояринов трапезовали келейно, одни, без толпы кравчих, блюдоношей, певцов и гудцов, словно бы и не гостя принимали у себя, а татя ночного. Словно как там, когда-то, в далекой Литве, в черной избе посадской, где они толковали о замужестве Клавдии и Иван точно так же, срываясь, бегал по горнице.

Было такое, что приходилось пировать отай. Татьба не татьба, а чего и похуже татьбы говорилось за этим столом.

Все ж таки пир не пир, а стол был уставлен пристойно, и двое-трое самых верных молчаливых слуг неслышно появлялись, принося и унося мисы, блюда и кувшины и исчезая тотчас по миновении надобности. Разварная севрюга дымилась в серебряной немецкой супнице, и груда жареных рябцов ждала внимания сотрапезников, благоухая лесною изысканною горечью. И вина, и меды, и многоразличные квасы в поливной и кованой посуде, и сдобные пшеничные пироги, и белая, сорочинского пшена, каша, и восточные сладости, из Орды привезенные,— вяленая дыня, изюм, рахат-лукум, пастила, нуга и миндаль в меду,— все было пристойно, и всему отдавали должное пятеро за столом, но не затем и не к тому направлялось сугубое вниманье сотрапезующих.

Иван Акинфов, в бледно-зеленого шелка распашной домашней ферязи сверх тонкого привозного голландского полотна вышитой рубахи с парчовыми наручами, то присаживался к столу, то беспокойно вновь начинал ходить по палате. Брат Ивана, Федор, настороженно и недобро следил за ним, переводя подозрительный взгляд с Ивана на московского гостя, Михайлу Терентьича, ради коего и собрались они ныне. Двоюродника, Александра Морхинина, не было, зато сидели Андрей

Кобыла и костромской боярин Дмитрий Зернов, внук великого Захарии, сын убитого некогда в костромском бунте Александра Зерна, приглашенный особо, ибо с ним, с этим немногословным и паки осмотрительным боярином, сидела тут, за столом, едва ли не вся Кострома, готовая откачнуть туда, куда склонит Зернов, крупнейший и сильнейший из костромских природных вотчинников.

А речь шла не о малом. Московит предлагал тверским боярам отъехать на Москву, ко князю Ивану Данилычу Калите. И как-то так сумел повернуть разговор Михайло Терентьич (впросте рек, но в простоте-то и есть сугубая сила!), что словно бы уже и говорил, и сговорил тверичей московский правитель. И чинами не обносил, и в думу сажал званых бояр князь Иван, и переяславские родовые вотчины наконец-то возвращались Акинфичам насовсем, без иных каких особых условий. Им бы возмутиться или рассмехнуть ныне, когда Александр вокняжил в Твери и стал тверским князем великим. Им бы и рассмехнуть, и указать на нелепость днешнего посыла и зова! А московский боярин, не смущаясь, к тому и вел. О том и баял в застолье. Именно ныне. Именно по этой поре. Теперь. Был бы в сирости, в бегах тверской князь, нужен и скорбен — то было бы зазорно им отъехать князя своего. А ныне мочно отъехати с честию.

— Почто надобны так? — угрюмо вопрошает Федор Акинфов.

— Всех бояр, что служили по роду великому деду, Александру Невскому, собирает к себе Иван Данилыч. Всю землю суздальскую, что была при прадедах, при великом Всеволоде, тогда еще, до татар...

— Изменить князю своему! — взрывается Федор.

Но Михайло Терентьич, обращая к нему внимательный лик, отвечает спокойно:

— Не об измене речь! О русской земле!

— Тяжкое слово молвил ты днесь! — задумчиво подает голос Зернов. Иван вновь вскакивает с лавки, начиная беспокойно ходить по горнице, и тени мечутся по тесаным переводинам высокого горничного потолка.

— Мнишь ли, что в малой Москве узрим мы грядущее величие Руси Владимирской? — спрашивает осторожно Дмитрий Зернов.

— Мню и верю сему! — твердо отвечает Михайло

Терентьич.— Ибо духовная власть православная на стороне московского князя. А духовная сила превыше земной и временной силы ратей и воевод.

— Тверские книгочии глаголют инако! — возражает Иван (но в голосе и мятущихся всплесках рук неуверенность).— Указуют на единодержавие государя, яко на способ возвысить землю, указуют на пример государей западных! (Тут он краем глаза глядит на Федора. Братьев да Андрея Кобылу убедить, а сам он почти уже на стороне князя Ивана.)

— Слыхали и мы, яко сотворяет на Западе, да и в Византии кесарской тож! — отвечает Михайло.— Какой круль, деспот ли поддержан землей, дак и побеждает, а слаб — не люб никому, терпит беды и одоления ратные, яко кесарь Андроник! Без своей, римской, церкви католической и они бы там, на Западе, не много выстояли с единодержавием своим!

— Орда поддержала Александра! — упрямо возражает Федор.— Хан Узбек дал же ему великое княжение!

— Великого княжения владимирского не дал Александру Узбек. Мню, и не даст. А и даст — отберет вскоре! И учнет Александр Литву Гедиминову на Русь наводить да Новгород под себя склонять, и новые смуты затеются на Руси! Земле раззор, языку умаление. Михайло Ярославич, покойный, не тот был князь! А все ж и он в сей трудноте не устоял! Ни Орда, ни Литва, ни латины, ни фряги не спасут Великой Руси! Мы сами ся должны и спасти и возвысить! Ты, Федор! И ты, Андрей! И ты, Иван! Припомните, бояре, великую киевскую старину! Како рекут ветхие летописи: от нас дрожала сама Византия! Мордва, черемиса и вядь бортничали на князя великого! Угры железными вороты творили каменные грады, боронясь от Руси! Литва и голядь на свет из болот не вынькивала; немцы радовахуся: далече суть за синим морем! Половцы именем нашим страшили детей в колыбелях! И по всем языкам и землям текла громозвучная слава Золотой Руси! А ныне: где Галич с Волынью? Где золотой киевский стол? Где Тьмуторокань, и мордва, и Булгар великий? В посмех и поношение стали мы народам, сущим окрест! Где величие церковное, где гордость книжная, где слава ратная? Где единство Великой Руси? Сами ся грызем и вадим один на другого! Глядим с надеждою на Запад и на Восток, мыслим себе спасения от бесермен и ла-

тинов... Посмех и позорище велие! Мы — великий народ! И на нас взирают все и поныне, яко на язык великий! От нас ждут иные спасения себе, и от нас же сожидают гибели вороги наши! Ибо низвели на себя и любовь и ненависть — да, да! И ненависть сущих окрест! Сломимся, не устоим, и они нас изгубят всеконечно! До корени, до последи последния, до малого младеня истребят! Не простят прежебывшего величия нашего, яко же и римлянам, и ассириянам вороги ихние! И сами возможем забыть отни заветы и прадедни святыни земли — нам не забудут и не простят того! Ибо великим в беде велией не прощают прежебывшего величества их! Паки реку: в единении языка русского ныне спасение наше на земли! В любови и дружестве гражан земли нащея, всех — и бояр, и кметей, и смердов! Колико весит пред тем рознь княжая и бремя власти, врученной ханом Узбеком тверскому князю в Орде?

Федор ворчливо отмолвил:

— Все реченное возможно сказати и про князя Александра!

— Договор с Гедимином заключен? — спросил в лоб, точно кидаясь в сечу, Михайло Терентьич.

Тверичи переглянули: договор был тайный. Доселе молчавший Кобыла, что высился глыбою в углу, проговорил тут, впервые за вечер разомкнув уста:

— Не с нами решал! — и в голосе прозвучало явственно отчуждение от князя Александра и ото всех дел его. Вроде ничего не говорил, а сказал больше, чем прочие.

Михайло Терентьич, уже на сенях, покидая терем и уже опоясавшись, глаза в глаза, негромко рек Ивану:

— Договор сей возможешь ли достати? Князю Ивану тем великую помочь сотворишь в тяжбе их с Александром перед Ордой! Подумай, Акинфич!

## ГЛАВА 57

Разумеется, ни мира, ни ряда с Александром Тверским заключить не удалось. Да и какой ряд мог быть между двумя равно великими князьями? Узбек своим решением, действительно, вверг нож в тело владимир-

ской земли. Приходило скакать, баять с самим ханом Узбеком. Осенью Калита, бросив все дела на бояр и Симеона, устремил в Орду.

В Сарае Иван понял, что дела плохи. Тверские бояре, раздавая направо и налево заемное серебро, спешили упрочить успех своего князя, и уже собирали жалобщиков, дабы охулить Калиту перед ханом, и уже повели разговоры о том, дабы воротить Александру и весь владимирский стол.

Разумеется, дары и поминки Калита раздавал тоже. Однако думающие, что от обилия даров меняются судьбы истории, ошибаются жестоко.

Ибо подарки всегда дает и та и другая сторона.

Ибо при любом решении дела дары жалобщиков обратно не возвращаются, и потому кто мешает, получив мзду от тех и других, решить дело все же по-своему?

Ибо, наконец, берущий дары имеет и свою голову на плечах и ни за какие подарки не решит дела к явной невыгоде своей!

Только в том мелком и неважном случае, когда судье решительно все равно, кто окажется прав и кто виноват, тяжущихся судят по приносу. Но ежели от исхода дела зависит участь самого судии, любые преизобильные подношения окажут бессилие свое. А такое дело, как утверждение великого князя владимирского, кровно затрагивало и Орду и Узбека, ибо грозило и непоступлением дани, и смутою и войной, и даже — в случае союза с Гедимином — полным отпадением Руси от Орды. Так что подарки с обеих сторон, и с тверской и с московской, не значили ровно ничего и ничего не могли изменить.

Против Александра, как и против Ивана, стояло только одно: страх Узбека и опасения его визиров. В первом случае — боязнь союза Твери с Литвой, во втором — чрезмерного усиления Ивана и, значит, также опасности последующего отпадения Руси от Орды.

Так сама неизбежная логика развития мусульманского султаната на Волге, утвердившегося вместо веротерпимой монгольской державы, в коем русские стали уже не союзниками немногочисленных монголов, а райей — бесправным податным населением, поставила правительство Сарая во враждебные отношения ко всем русским князьям без исключения. И Орда уже не просила у Руси вспомогательных войск для борьбы на южных и западных рубежах своих. Уже не ходили влади-

мирские полки под Дедяков или в Болгарию. Духовная рознь по рубежу разных верований пролегла трещиною взаимного страха и ненависти, и трещина та все увеличивалась и увеличивалась, как забереги на весеннем льду, и надобно было только, чтобы подул ветер невзгоды, дабы разнести и разбить вдребезги прежнее неустойчивое равновесие. Скажем так: с того часа, как в Орде победил ислам, неизбежным стало Куликово поле. Тяжкое для Руси духовное это противустояние оказалось еще более тяжким, прямо трагичным для самих татар-мусульман, ибо ислам не помирил ханов Золотой Орды с иранскими Хулагуидами, союз с султаном египетским ничем не вознаградил Узбека, так как Египет отказался выступить вместе с Ордою против ее южного врага, и разноплеменная, все еще страшная соседям степная держава осталась в одиночестве и начала разваливаться уже при ближайших потомках Узбековых, сокрушаемая всеми подряд: Русью и Ольгердом Литовским, ханами Синей Орды и железным хромцом Тимуром.

Мы знаем, что произошло так. Но могли ли знать это Узбек с Иваном? Провидеть грядущее не дано никому, а прорицателям начинают верить лишь тогда, когда обещанное ими уже совершилось.

И потому в гордой столице Орды решали и не могли решить, кто опаснее из двоих князей, возглавляющих русскую райю: Иван или Александр? И решили, быть может, не так уж и глупо с ближайшего погляду. И уже не поняли, не могли понять, что вели заранее насмерть проигранную тавлейную игру. Ибо относиться к Руси как к райе было нельзя.

Калита знал, что единственное, чем он может пошатнуть доверие к Александру, это союз ворога своего с Гедимином. Но где доказательства измены тверского князя?

Скорее с отчаянья, чем по расчету, Иван извлек старинное послание Александра «Ко всем князьям, женущим по мне», посланное им некогда из Плескова. Все там было: и призыв к единенью, и к борьбе противу татар... Но Узбек прочел грамоту и пожал плечами, недобро глянув на Калиту:

— Что ты мне суешь грамоту, коей десять лет? Тогда должен был дать ее мне! Тогда, не теперь! Эта грамота против тебя, князь! Зачем держал, зачем скрывал от меня во все прошлые годы? Что еще прячешь ты от

меня, как камень за пазухой? Ты многого хочешь, много берешь, князь! Ты ненавидишь врага своего. Нехорошо! Твой Бог должен наказать тебя за это!

Калита почуял, как покрывается испариной. Они сидели в том же покое, на тех же коврах и подушках, что и всегда, и те же кованые светильники многоразличных стран освещали покой. Но не было больше близости, пусть даже опасной прежней близости между ним и Узбеком. Не сотворялась она, не получалась теперь!

— Тогда повелитель потеряет Смоленск...— начал было Иван, но Узбек оборвал гневно:

— Смоленск? Почему Смоленск? Кто сказал про Смоленск? Ты сказал! Ты вечно говоришь про Смоленск! И когда брал ярлык на Дмитров, тоже был Смоленск! Всегда Смоленск!

Уже не испарина — холодный пот тек по щекам и по спине московского князя. И тогда Иван решился на такое, на что не решился бы никогда в жизни. Только с отчаяния, только при виде гибели главнейшего дела своего мог он пойти на то, что, казалось, само излилось у него из груди. Иван закричал.

Закричал бешено, так, как кричал когда-то Юрко, брызгая слюной, мешая русские слова с татарскими и ненавистно глядя прямо в расширенные от удивления очи Узбека:

— В конце концов, если ты слаб, то и я, я сам переметнусь к Гедимину! Молчи! Я не могу спасать тебя, хан, ежели ты хочешь только позора! Тебя теснят на Волыни, ляхи скоро отберут Галич, Литва уже стоит у ворот Чернигова! Во всех западных землях смеются над тобой! Дай рать! Дай пять, нет, десять туменов конницы! С ними я сотру в пыль Литву и голову Гедимина брошу к твоим ногам!

Он еще кричал что-то, сам уже не понимая, о чем. Его трясло; смолкнув, он едва утишил пляшущие зубы и руки. Но на Узбека нежданный крик Ивана подействовал как чаша воды, выплеснутая в лицо.

— Нету десяти туменов,— сказал он вдруг просто и устало.— Не поднять! Возьми два, пригрози смоленскому князю, как можешь. Ты простец, князь, а тут все не просто... Мне самому нельзя покидать Сарай, нельзя уводить отсюда войска.

— Тогда позволь мне...— начал было опомнившийся Иван, но Узбек решительно вздел запрещающую ладонь:

— Привезешь новую грамоту — поверю тебе! А ныне ступай! Я сказал!

«Что же теперь?!» — лихорадочно думал Иван, возвращаясь к себе на подворье. Свидетели! Свидетели! Где они? Иначе, в лучшем случае, все останет по-прежнему, а в худшем...

Дома, при входе, его предупредили, что в горнице гость, проситель. Иван скинул верхнее платье. Ступил в покой. В полутьме с лавки поднялся встречу ему высокий литвин с немного растерянным, белесым, какимто неопределенным и смятым лицом.

— Здрастуй, князь! — сказал он, и Калита тотчас — по голосу прежде, чем по виду,— признал его. То был Наримонт-Глеб, снова угодивший в ордынский полон.

— Помоги, князь! — проговорил он жалобно, в то время как двое слуг, суетясь, возжигали свечи и накрывали пиршественный стол.— Выкуп сулил, не хотят... Помогай!

— Садись! — промолвил Калита, указывая на расставленные блюда и жестом удаляя слуг.— Садись, крестник, и будь гостем моим!

Мысленно Калита возвел очи горе и горячо восхвалил Господа. Кажется, он был спасен.

— Я вновь помогу тебе, князь, ежели только смогу помочь! — толковал Иван несколько позднее, когда уже слуги убрали кушанья и греческое вино порядком размягчило нежданного гостя. Толковал, сидя близко прямь Наримонта и повелительно заглядывая тому в глаза.— Помогу, ежели не одолеет Александр! Ежели не возьмет подо мною великого княжения! Тогда мы погибнем оба, и я и ты! Первое, что сделает Александр,— изгонит тебя из Нова Города. Второе — поддержит Ольгерда в борьбе за престол. Не тебя! Твой отец стар — пусть Господь продлит его годы! — твой отец стар, а Ольгерд с Кейстутом не оставят тебя в живых, меж ними уже был уговор, ты знаешь это?

Наримонт был бездарный полководец, и труслив. А как всякая бездарь, в придачу самолюбив и завистлив. И Калита знал, что и кому говорит. Достаточно напугав и разохотив гостя, Калита перешел наконец к той взаимной услуге, которую должен был оказать ему Наримонт-Глеб.

— Только одно! Тебе должно подтвердить, когда придет время тому, что у твоего отца действительно был

заключен ряд с Александром противу хана. Подтвердить правду. Ни твой отец, ни Литва не потеряют от этого ничего. А Александр потеряет... многое. И тогда решать русские дела стану я один. И тогда в нужный час ты, а не Ольгерд сядешь на стол великих князей литовских! Запомни это! Ты, а не Ольгерд! И твоя голова не скатится с этих плеч!

Иван был достаточно умен, чтобы не посылать Наримонта к Узбеку тотчас. Всякое зелье целебное потребно во время свое и в меру свою. А выпустят из Орды Наримонта-Глеба, даже и по заступничеству Калиты, еще не скоро!

## ГЛАВА 58

Как украсть тайную договорную грамоту и сделать это так, чтобы ее не хватились возможно дольше? Быть может, переписать? Но тогда недоказуема ее подлинность! Или, изготовив противень, подменить одну другою... Но серебряные вислые печати? Но оттиски личных княжеских клейм? А только по ним и удостоверяется подлинность грамоты! Иначе к противню (списку) должна быть приложена иная грамота, удостоверяющая подлинность первой, и грамота эта должна быть написана и запечатана лицом по меньшей мере княжеского рода. Я не знаю доподлинно, что происходило в тверском княжеском дому в 1338 году от Рождества Христова, и не могу и не хочу изобретать романического сюжета, ночных сцен, подкупленных слуг, тайных похищений и прочего. Грамота была, однако, взята и передана Ивану Акинфову княжеской, и быть может даже женской, рукой. И взята так, что ни Александр, ни дьяк его, обязанный следить за сугубою сохранностью тверских государственных хартий, не хватились ее до последнего дня и часа. Могу здесь повторить только одно, доподлинно известное мне, а именно, что «своя домочадая начаша вадити на Александра».

Иван Акинфов был во многом очень похож на своего отца. Для него, как и для Акинфа Великого, понятие родины не отделялось от родового добра, сел, угодий, животов и зажитков. Он и пришлых немцев не любил первее всего потому, что они могли оттеснить и оттес-

няли его от сытных кормлений и почестей княжеских. Получая от Ивана переяславскую вотчину свою, он не изменял Александру, не предавал князя в руки московитов, он токмо возвращал родовое добро.

Но так думал один лишь Иван. Уже родной его брат, Федор, думал иначе. И между братьями створилась немалая пря — до крика, до пребезобразного разбивания дорогой ордынской посуды, когда Федор одно орал:

— Не хочу! Не хочу! Не хочу!

Федор Акинфов, впрочем, и сам чуял, что творится и накатывает нечто неотвратимое. И уже Андрей Кобыла отшатнул от князя Александра, и уже Сашка Мор-хинин угрюмо смолкал при вспыхивающих то и дело толках о переходе под руку Калиты. И все же, когда дошел черед до грамоты тайной, все перевернулось и закипело в Федоре:

— Не хочу! Не буду! Иное что ежели, а в сем дели я не потатчик!

И едва не захлебнулся отъезд Акинфичей на Москву, да недаром пословица молвится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»...

Перед холопами мало чинились в те поры. Верный слуга знал и ведал дела семейные паче господина своего. Почасту и тайности всякие творили при слугах. Свой холоп умрет, да не донесет! Так было. Но так было не всегда.

Князя Александра любили все. За стать, за щедрость, за ясноту княжескую. И молодшие любили его паче вятших, кои одни ведали переменчивый и незаботный норов тверского князя. И нашелся, выискался один из слуг Ивана Акинфова, из верных верный, из близких близкий,— стремянный боярина, коего Ивана не обинуясь посылывал со всяким делом и перед коим не скрывал самых заветных замыслов своих. И единого не знал Иван: что перед ним не токмо ратный холоп, до живота преданный своему господину, но и человек с совестью и честью, всеми помыслами своими, всем тихим криком души влюбленный в вышнего повелителя, в того, кто как солнце в небе освещал и давал ему с боярином жизнь и надежду,— в князя Александра Михалыча. И он, сей холоп, стал на дороге, на пути господина своего, он восстал противу, и не пострашил, и изрек в глаза хозяину суровое слово правды:

— Внемли, боярин! — молвил стремянный, остано-

вясь посреди покоя и нагнув голову, исподлобья глядя в лицо Ивану Акинфову.— Долг холопа служить господину до живота своего! И мы все, и ты и я, холопы великого князя Александра. Внемли, боярин! Ведаю я о грамоте тайной, ю же намерил ты предати князю московскому, и не возмогу сего и тебе, боярин, не дозволю! Посмеешь — сам паду в ноги князю! Воротит тебя в железах и с грамотою той!

— Ты... холоп! — только и нашелся Иван.

— Да, я холоп! И кровь и пот должен отдать за господина! За тебя, боярин, но и за князя нашего! А ежели ты ся явишь князю отметником, то и не господин для меня больше!

— Убью! — возопил Иван, сорвав со стены бухарским обычаем повешенную над ковром саблю.

— Убивай! — ответил стремянный, усмехнув и сузив глаза.— Убивай! Ибо днесь открою я все тайности твои! Тебе, боярин, много чего терять! Вотчины, добро, слуг верных, почет! А мне? Едину жисть, ее же отрину не воздохня, по слову Господа! Убивай, ну! — повторил с угрозой холоп и, сжав кулаки, подступил к Ивану.— Не то сей же час прибегу ко князю и паду на колени и все мерзости твои поведаю батюшке Александру, яко на духу! Повинись лучше сам, боярин!

И Иван, неразборчиво что-то бормоча, задрожал, затрясся, не ведая, что обнаженная сабля трепещет в его руке, и отступил перед безоружным. А холоп, помедлив и презрительно поворотя спиной, отворил и затворил дверь...

«Ушел! Погибнет же все! — молнией вспыхнуло в голове боярина.— Догнать! Остановить!»

Вскрик, стиснутый стон... Иван ринул к двери и, с треском откинув тяжелое тесаное полотнище, остановился, чуя, как медленно подгибаются ноги. Во тьме сеней висело перед ним словно бы неживое лицо брата Федора. Ужасное лицо. И уж потом, слабея, опуская очи долу, узрел он сперва короткий охотничий меч в братней руке, с коего тяжко и редко капала темная бархатная кровь, а после — недвижное тело на полу в луже той же темной, почти черной, крови.

— Грамота у тя? — сурово спросил Федор.

— У ме-ня...— ответил Иван, приваливая к косяку.

Федор глянул по сторонам и, коротко, под ноги себе, катнув носком сапога недвижную голову стремянного, молвил:

— Теперя не донесет! Слыхал я вас... Оба хороши! — продолжал он, с ненавистью глядя на взмокшего брата. И, вбрасывая меч в ножны, уже поворотя, бросил через плечо:

— Морхинича упреди! Седлаем коней!

## ГЛАВА 59

Отряхивая иней с ресниц, усов и бороды, разрумянивший на морозе, Александр соскочил с коня. Он был чудно хорош сейчас — в своей бобровой шапке и шубе сверх короткого охотничьего кафтана, в зеленых востроносых, расшитых жемчугом сапогах с малиновыми каблуками, в перстатых тимовых рукавицах на меху. Осочники стаскивали добычу с саней, особняком вынимали примороженные туши двух вепрей и лося, добытых самим Александром, балагурили и хохотали в предвкушении сытного ужина, отдыха и бани. Доезжачие проводили на сворах повизгивающих рыжих хортов, вываливающих длинные красные языки из узких долгих пастей.

Князь пробыл на охоте три дня. Ночевал на соломе в дымных избах и теперь сам с удовольствием предвкушал банную негу, княжую трапезу и встречу с женой. Отмахнувшись от боярина с грамотою и двух цесарских немцев, сожидавших князя с позавчерашнего дня, Александр легко взбежал по ступеням, на ходу скинув шубу и шапку в руки слуге. Холодный с мороза, вступил в горницу. Настасья была с младшим сынишкою на руках. Отрок тотчас потянулся к курчавой влажной бороде отца.

— Погодь! — Александр со смехом отклонил лицо.— И ты не обнимай таково крепко, в избах ночевали! Вели выжарить платье сперва!

Парились вчетвером, со старшими осочниками и стремянным. Яро хлестались, поддавая и поддавая квасом на каменку. Докрасна раскаленные, вываливали в снег, катались и снова ныряли в духмяный разымчивый жар.

Переодетый, чистый, сияющий, князь явился к столу, и пока не насытил волчьего голода своего, пока рвал и грыз сочное мясо зубами, запивал квасом, крупно откусывая, почти глотал пироги, жена молчала, преданным лучащимся взором обливая своего ненаглядного

повелителя, по коему успела уже соскучать за протекшие три дня. Княжичи тоже молчали, и грызли, и улыбались отцу. Только Федор взглядывал почему-то сурово, да мать, Анна, едва притрагивавшаяся к блюдам, тоже взирала на него с непонятной тревогой.

Трапеза подходила к концу. Александр потянулся, с неудовольствием подумав о делах, кои сожидали его, и докучном бояpине с грамотой, верно исчислявшей зело немалые расходы великокняжеской казны. Завалить бы сейчас в постель! Мальчики вышли один за другим, попрощавшись с отцом. Няньки унесли младших. И тут только Настасья опрятно позволила себе спросить, опуская глаза:

— Отпускаешь Кобылу?

Александр вдруг увидел, что и Федор не ушел, а тихо стал у двери, и матушка, великая княгиня Анна, продолжает сидеть, и невольно поморщил чело.

— Акинфичи уехали и Морхинин тоже! — принялась перечислять мать.— Дак теперь и Андрея остудил!

Смолчать бы!.. Но жена, мать и сын ждали ответа. И Федор, видать, хоть и не прошал ничего, очень ждал. Застыл, потянув шеей, вперил очи в родителя-батюшку. Александр, построжев ликом, недовольно перевел плечьми:

— Что мне эти бояре?! Гедимин! Вот наша опора теперь! За то, что сидели в Литве со мною, прошают ныне первых мест в думе княжой. Что ж мне, материных бояр совсем отодвинуть посторонь, что здесь, из пепла, град подымали? Либо иноземцев, содеявших союз с Гедиминосом, утеснить? Довольно! Пора быть владетельным государем в своей земле! — молвил, возвыся голос, и брови сдвинулись грозно.

Настасья вдруг встала, спросила грудным, глубоким голосом раненой лебеди:

— А если... Акинфичи... доведут на тебя?!

— Кому? — возразил Александр. И сломался взором, понизил глаза.— Узбек мне верит...— неуверенно договорил он.

— Отец! — прозвенел юношеский голос Федора.— Друзья в беде и в славе тебя не покинут!

— Друзья б не покинули! — возразил Александр, тяжело поглядев на сына.— Кто уходит — не друг!

— Потолкуй с Андреем, сын! — просительно проговорила Анна. Александр осуровел совсем. Не отвечая матери, поднялся покинуть палату. От дверей сказал:

— Молодшая дружина вся за меня! Из них наделаю себе бояр великих!

— Остеречь хотела,— молвила Настасья, едва за князем захлопнулась кленовая дверь, и в голосе ее прозвучали близкие слезы,— не дает! Гордый!

— Незаботный он! — тихо вымолвила мать.

И только Федор молчал, свеся голову. Отчаяние и жалость к отцу попеременно разрывали ему грудь. Как батюшка не чует, что скользит над пропастью!

День отъезда Андрея Кобылы был светел. Синее небо, напоенное солнцем, дрожало и переливалось над прижмурившейся сияющей землей, над синею белизною снегов. Закроешь глаза — так и не представить враз-то, что снег на полях! Солнце греет, тепло, звонкоголосо орут птицы. Весна на дворе!

Андрей Кобыла, большой и грузный, в рыжей мохнатой лисьей шубе до полу, стоял на дворе. Александр вышел на крыльцо, остановился на рундуке, не сходя вниз. Андрей, сняв шапку, медленно поклонился до земли, распрямил стан. Складна́я, о службе, грамота уже вчера была вручена княжому дьяку.

— Не гневай, княже! — сказал Кобыла.— Служил я тебе без упрека и за хлеб-соль твою земно кланяю ныне! Худа от тебя не имел, и камня за пазухою не держу, а токмо не могу больше! Прощай, княже!

— Ступай! — громко сказал Александр и процедил вполгласа: — Ступай, пока собаками не затравил!

Псы заливались на сворах. Александр едва сдержал бешеное желание спустить хортов вослед уходящему со двора боярину. Резко поворотив, сокрылся в тереме. И лишь одна Настасья из малого окошка вышней горницы долго-долго смотрела вслед уходящему обозу, с которым, как чуяла она, скрывалось последнее, что оберегало ее супруга от близкой беды...

Синий март стоял на дворе. Ранним утром синего марта с гиком и свистом, раскидывая копытами снег, на стелющихся вдоль дороги мохнатых конях, с мотающимися лисьими хвостами на шапках, мчали в Тверь гонцы великого хана Узбека. Мчали стремглав, не останавливая, и, заслышав гортанный окрик, мужицкие возы сворачивали прямиком в снег, и бабы крести-

лись, уволакивая ребятишек с дороги. Стремительно проносились кони, мелькали пригнувшиеся к седлам коренастые всадники; пересаживаясь на подставах на свежих лошадей, торопливо опружив по мисе горячего взвару, на ходу запихивая в рот куски полусырого мяса, они летели, почти обгоняя ветер, сгустком степного огня, осуществленною волей державного гнева: Узбек звал Александра в Орду.

Синий март синим сиянием стоял над землей. С тихим, еле слышным, шорохом опадала капель с отяжелевших еловых лап, оседали напитанные водою сугробы. Налитые светом, готовились пробудиться кусты. И птицы, едва видные в сиянии голубого дня, реяли, ширяясь, над главами Спасо-Преображенского собора.

В большой столовой палате княжого дворца шумно. Александр чествует ханского посла Исторчея. Исторчей неумело сидит на скамье, перед ним мясо (русские мяса не едят — пост), вино, мед. Он глядит, сузив глаза и улыбаясь по-бабьи, на князя Александра. Князя приказано звать «не с яростью и жестокостью, но с тихостию и кротостию». И Исторчей выполняет приказ, объясняя Александру, что хан зовет его с сыном Федором в Орду, дабы вручить ему все великое княжение владимирское.

Татары пьют и едят. Для них нынче зарезали жеребенка. Все послы получили подарки. Татары довольны. Звучит музыка. Длится веселый пир.

— Не затем тебя зовут в Орду! — говорит вечером Настасья в спальном покое, оставшись с мужем наедине.— Не затем!

И Александр отуманен челом, и он чует при всей незаботности своей, что не затем. Он хочет утешить жену, легко подымает ее на руках, подбрасывает. Но губы княгини сомкнуты, и в стиснутых веках сверкают две малые слезинки, точно две капли алмазной росы. Ох, не затем зовут в Орду ладу милого, не затем!

— Я поеду один! — решительно говорит Федор утром другого дня, явившись к отцу.— Татары толкуют промежду собой... Плохое толкуют! Лучше не езди, отец!

И просит жена, и остерегает княгиня Анна, и бояре не советуют господину очертя голову кидаться в опасный путь:

— Пошли сына! С Авдулом, с татарином! Коли

наградить восхощет, дак не зазрит, чать! А сам, батюшка, не торопись! Разузнай сперва!

И Александр сдается на уговоры. И словно кусок от себя отрывает, бросает хану Узбеку — Федор едет в Орду.

## ГЛАВА 60

Неистовый бег коня. Ветер и время. Грай ворон, шарахающихся мимо и вкось. Распуганные куры по-за плетнями. Собачий брех, пропадающий вдалеке...

Баба сонно оглядывает вставшую дыбом пыль, зевая, крестит рот, гадает: что за вестоноша промчал таково споро? И уже с легкой тревогою думает: не от той ли беды нагрянут грубые ратные, потопчут хлеб, погонят в полон, дочку продадут где-то за тридевять земель? Осядет пыль, и снова утихнет тревога. Надо пойти подоить корову, вывесить портна. Скоро хозяин воротит с поля домой.

Тут — покой неспешной жизни. Там, в вихрях закрученной пыли, проносятся всадники, и тенью ратных знамен, как ненастной чредой облаков, пятнает чело земли. Сталкиваются страсти и вожделения, звенит громозвучная слава; одолевает, рушит, и падает, и клонит долу чья-то гордая власть.

Для чего скрипит гусиное перо летописца, заносящего в харатьи летопись бед и побед, одолений и гибели?

И не все ли равно в свитке грядущих веков, что могло бы быть на земле и чего не свершилось? Почему невозможно забыть или хоть поиначить прошедшее? И даже того, что могло совершиться, тоже не должно отринуть летописцу минувших времен?

Прошлое незримо живет в потомках своих, и премного разумнее знать, чем не знать — так же как знахарь должен провидеть прошлые боли болящего, дабы излечить его ныне; так же как сеятель должен знать, с коего злака добыто зерно, предназначенное в новый посев; так же как рудознатец должен догадывать о прежебывших — в далекие тьмы веков, до того еще, как и сама жизнь явилась на нашей земле,— потрясениях недра земного, ибо тогда только возможет понять, где и что искать ему, какая руда или камень зело драгоценный скрыт под убогою насыпью песков и тяжестью влажных глин. И забота о том, что могло лишь случиться и чего не явилось, не было,— не праздная игра ума, не досуг летописца, а вторая истина жизни, под первою

скрытая, но и через века и века могущая дать всходы свои! В Духе живем. Духовную истину жизни должны мы провидеть за суетным кишением временного и преходящего мира сего! В Духе живем, но Дух воплощает себя во плоти и в событиях явлен.

Баба пройдет по воду, поворотит голову, глянет из-под руки, семилопастные вятические кольца серебром прозвенят в уборе. Жатва хлебов. Белоголовые дети пьют молоко. Тишина. Дети, что приходят, звонкоголосые, из небытия через год на другой. И молоко, и говядина, и сыр, и хлеб на столе. Да кусок алой камки на праздничные рукава дочерям, лоскут пестроцветной зендяни на вошвы. Тишины и мира взыскует земля, наливая зерно. Созревают плоды, клонят долу тяжелые ветви яблонь. И прахом истории, пылью войны и беды тревожит цветущую землю бешеный бег коня...

Люди прейдут, и жизнь прейдет и сменит новою жизнью, и не окончится вращенье времен, доколе пребудет земля и все сущее в ней. К чему твое перо, летописец? И гордость имеющих власть без этих смердов безгласных — ничто, и босой девичий след в горячей пыли на дороге долговечней скрижалей твоих, ученый монах! Что можешь ты дать этой земле и люду сему? Какою хитрою прелестью, с Запада или Востока пришедшею, смутишь красоту городов и покой деревень? Куда повернешь ты реку сию, текущую в брегах своих нерушимо? Что можешь ты им обещать? Иную, лучшую жизнь? Иная жизнь, чем та, кою они ведут, не нужна никому. Кусок, добытый без труда, не идет в горло. Нажитое легко, легко и уходит от нас. Две истины становятся явны всякому, взявшему в руки топор, молот, серп, рукояти сохи, тупицу, горбушу, кузнечное изымало или иной какой трудовой снаряд: чем больше работает человек, тем он богаче; но чем больше богатств у человека — хором, рухляди или скота,— тем больше надо труда, чтобы их соблюсти, обиходить. И сколь ни заставляй работать иных на себя, сколь ни исхитряй ума клеветой и обманом, сколь ни доказывай, яко творяяй работу грабительское богатство творит, сколь ни утесняй добытчика, брата твоего во Христе,— в конце-то концов выйдет одно на одно и всё то же: труженику даст Господь по трудам его, у втуне ядящего — отымет. И нет иной, большей, правды на земле.

Так почто и проносятся кони, и тени ратных знамен

ползут по земле, и слава гремит, и рушат и вновь городят города? И прехитрою молвью толкуют послы меж собою, и стенает земля под копытами ратных дружин? Может, жить и трудиться можно без этого?

Нет! Нельзя. В Духе живем, и жизнь — вечное напряжение духовное, вечный напор и борьба с коснотою бытия. Исчезнут войны, отпадут шелухою скорби минувших времен, но не престанет свершатися, всегда и всюду, пусть в иных, высших ипостасях своих, очищенных от грубизны животного насилия, вечное борение первоначал. И без напряженья того, без напора и спора, сникает и гибнет неотвратимо всякое бытие. Зло и добро так же не живут друг без друга, как без ночи рассвет или вода без огня. Убери противоборство начал из жизни — и порушишь и истребишь самую основу ее. И борьба Твери с Москвою была нужна первее всего духовно — нужна для блага всей русской земли. Без этого напора, борения и противоборства сил не сотворилось бы великой страны.

Норовистый конь несет на себе путника, а кляча падает при дороге. Ветер на море вздувает паруса кораблей, а тишь недвижна, яко покой погоста. Жив ли народ? Молод ли он? Охотно ль выходят рати на бой при кликах врага? Быстро ли строят вновь сгоревшие города? Множат ли семьи? Тучнеет ли скот на полях?

Не дай боже земле моей устать и ослабнуть духовно! Не Тверь и Москва, не Узбек или Гедимин и даже не Иван с Александром — русская земля лежит предо мною свитком исписанных желтых страниц, далекою памятью предков, уснувших в земле. И бешеный бег коня взметает горячую пыль. Летят вестоноши — в грязи осенних путей, во вьюжных вихрях зимы, сквозь снег, и распуту, и ветер, и время. Лишь топот копыт замирает в веках, вдалеке.

## ГЛАВА 61

Тусклое золото свечей. Маленький гробик. Запах дорогого ладана. Странность того, что сын не шевелится больше. Сдавленные рыданья Айгусты.

Симеон немо вглядывался, стараясь уловить в восковом личике мертвого — прежнего Василька. Но тонкий сладковатый аромат тления не давал обмануть себя.

Было недоумение: как же это возможно? И пока

закрывали полотном и старик Захарий, протопоп княжой церкви, посыпал тело крестообразно освященною землею, Симеон все еще не понимал, не верил, не мог взять в толк совершившегося. И уже когда долбленую колоду закрыли, и княжие отроки взялись за концы полотенец, и подняли, и понесли — он затрясся в немых рыданиях, едва не пал на домовину, обморочно превозмог себя, на миг привлек и тотчас отстранил Айгусту-Анастасию, заметался, не ведая, не зная, что делать теперь.

На выходе из церкви его ослепил яркий, отвычно белый молодой снег поздней весны — больно ударил по глазам. Хоронили под стеною Спасского храма, в тесном пространстве княжеских и боярских могил. И столь убогой и сирою была эта яма, черневшая в белом снежном покрове, и столь мал резной дубовый крестик с островатою кровелькою из двух тесин — все, что осталось на земле от его с Айгустою сына!

Отец зазвал его к себе перед поминальною трапезой. Иван был задумчив и пасмурен. Спросил бегло, однако внимательно глянув:

— Как Настасья?

— Рыдает. Первенец.

— Вестимо.

Перемолчали.

Плетеные, в свинцовых переплетах слюдяные окошки мало давали свету, и в покое горели высокие свечи в медном стоянце. Мачеха неслышно вошла и вышла, не похотев мешать разговору отца с сыном. Калита промолвил, отворотясь:

— Надо ехать в Орду! Возьму с собою тебя с Иваном. Андрейку даве отослал с боярами в Новгород...

Возвращаясь из дали дальней, куда увела его смерть Василька, Симеон приложил ладони к вискам, вопросил:

— Дадут бор?

— Дадут! С Тверью размирье у их...— отозвался отец, продолжая думать о чем-то другом. Наконец поднял глаза: — Ты на трапезе нынче молчи! С Ярославля-города бояра у нас за столом: к поминанью как не пустить! А ярославский зять тревожит меня! Овдотье писал — без толку...

— Василий Давыдыч?

— Едет в Сарай по ханскому зову, а не стало б пакости!

— Почто? — Симеону все это казало в сей час суетою сует и всяческою суетой: скакать в Орду, спорить, выпрашивать ярлыки...— Хан рассудит! — сказал он, пожав плечами.

— Признаюсь тебе, сын, я не токмо задерживал, но и недодавал ярославские дани... Не суди! Мнил обадить Давыдовича перед Узбеком, не удалось. Теперь осталось одно: удержать всеми силами на Ярославли до нашего, сын, приезду! Даже... и ратью имать, ежели потягнет на брань!

— Неужели нельзя без того?! — с мукою выговорил Семен.

Отец поглядел с сумрачной горечью:

— Я сам мнил льзя, ан... неможно... А коль доберется Давыдыч до Орды, худо будет нам всем!

— Значит? — трудно понимая отцову заботную речь, вопросил Семен.

— Значит, вы будете заложниками у хана... Или Александр... Ежели не приедет раньше меня! Его тоже зовут, с сыном. По просьбе... по извету моему!

Симеон медленно поднял взгляд и с жалостью поглядел в очи отцу.

— Да! Да! — зло продолжал Калита.— Воззри и помысли! Слыхал, как дядья покойные, Андрей с Дмитрием, резались? Всю землю залили рудой! Переслав до пепла сожгли! Кто виноват?

— А по-божьи?

— Не сговорить! Сговорил Костянтина, когда обессилил Ростов!

— Маша тебе помогла! — с упреком возразил Симеон.

— Да! Сестра твоя! Да! Я и тебя и себя отдал в жертву! — Калита задышался, замолк. Остывая и отводя глаза, выговорил: — Ныне не столь и боюсь! Грамота есть у меня. Акинфич привез. Дорогая грамота. Должна пересилить все тверские посулы, ежели с умом ее явить Узбеку!

Симеон слушал разгарчивый говорок отца, и его мутило. Любовь к родителю боролась с отчаянием, горе делало его несправедливым. Хотел — и не смог, не удержал в себе:

— Отец! Есть ли что-нибудь, от чего мы уже не отступим и ради чего возможем приять, ежели придет такое, и язвы, и крест, и муку крестную? Есть ли святыни для нас? В чем нас уже не согнуть, не повадить...

Помимо добра и власти?! Вера? Во что? В Господа? В вечное терпение господне? Хватит ли терпения того хотя на нашу с тобою жизнь?

— Молчи, сын, молчи! Не смей! Не смей! Даже смертью сына не волен судити мя!

Мачеха вновь, уже с ропотом, явилась в дверях:

— Настя зовет, и бояре с батюшкой Захарием уже за столом!

Калита махнул рукою, Ульяна исчезла.

Симеон шагнул к отцу:

— Прости, батюшка! — Поцеловал родителя в плечо.

Иван прижал голову сына, прошептал:

— И ты прости... И моли Господа о терпении! Самое страшное токмо грядет! Я нынче выправил грамоту на духу, отец Ефрем с Федосием и поп Давыд на послухах... Тебе Можайск, Коломну со всеми волостьми, Городенку, Мезыню, Песочну на Пахре, Усть-Мерьскую, Брошевую, Гвоздну, Иваничи, деревни Маковец, Левичин, Скульнев, Канев, Гжелю, Горетово, Горки с Астафьевским, в Пахрянском уезде села, Константиновское, Орининское, Островское, Копотенское, Микулинское, да Малаховское, и Напрудниинское село у города... Кажись, ничего не забыл. А что из золота, из портов, из судов серебряных и стад конинных — то все на грамоте исчислено. И что Андрею, Ивану, Ульянии — безо спору! Москву нераздельно имейте. Удержим великое княжение — твои Переслав и Владимир...

— Тяжко мне об этом ныне, отец! — Симеон закрыл лицо руками, помотал головой.

Калита вздрогнул, пробормотал с напряженною мукой:

— Даже когда тяжко до ужаса... Держи!

Симеон наконец вгляделся внимательней в лик родителя, понял:

— В толикой мы трудноте, батя?

Калита утвердительно потряс головой:

— Все возможет... Одначе,— с тихою угрозою договорил он,— мню, не моя, но Александрова голова погинет в Орде!

Мачеха вновь с молчаливым укором явилась на пороге.

## ГЛАВА 62

Никита, зло сплевывая, хвастая и привирая, сказывает, как имали ярославского князя, Василия Давыдовича, и как тот отбился и утек. Рукой, ребром ладони, чертит, где кто был, как надо было охватить, зайдя с тыла, вражеский стан, кто не поспел из раззяв-воевод перенять княжескую лодью, и как бы и что бы содеял он сам, кабы воля была еговая и он, Никита, стоял во главе тех пятисот кметей, что посылывал Иван Данилыч всугон за ярославским князем.

Младшие братья и сестры слушают, раскрыв рты от восторга и удивления. Катюха вся сияет. Ради приезда старшего до блеска надраила избу, испекла кулебяку и пирог с вязигою, наготовила целую гору блинов и ушат киселя. Никита сидит красуясь, развалясь на лавке, разбросав ноги в востроносых сапогах. Не прошая родителя, подливает себе стоялого меду из корчаги.

Мишук уже отвалил от стола, починяет упряжь — не любо сидеть без дела. Слушает, прихмурясь, покачивая головой, словно бы про себя, молодого, и выхвалу сыновнюю, и рассказ, да понимается оно теперича все по-иному!

— Не по-божьи деяли, вот и не благословил Господь! — говорит он громко, почти неожиданно для самого себя. Не навык красно говорить и сказал не то и не так, как хотелось. Хотел припомнить было родителя-батюшку, да и язык заплелся.

— Да не, батя! Ты не понимашь! — горячо возражает Никита. Он уже хмелен: видать по тому, как лихо отмахивает пятерней.

И Катюха тут же подомчала на защиту своего старшенького:

— Не окорачивай парня! Вы, с родителем твоим, тоже не больно умны были!

Мишук брусвянеет. Не находя, чего баять, подымает увечную руку:

— Вона! Сходил на Двину! Пограбили! Пошли по шерсть, воротили стрижены...

— В кои веки сползал в поход, да и то непутем! Всюю остатнюю жисть теперя и будешь поминать! Другие вон и оттоле с прибытком!

Мишук, вскипев, шваркает упряжь под ноги себе. Услюм подбирает, опрятно подает в руки отцу. (То только и успокоило.)

Катюха, почуяв, что пришло по больному, переводит речь на иное:

— Кудесишь! А я дело говорю! Дочерь вон замуж пора отдавать, с каких животов? Сватают! Даве приходили от Тимони Косого!

Любава, громко хлопнув дверью, выскакивает как маков цвет во двор.

— Ето за Пальку, што ль? — все еще дуясь, спрашивает Мишук.— То-то он у наших ворот ежеден ошивает!

— Чем Палька не жених? — возражает Катюха.— Дом справной, парень видной!

И Никита тоже подает голос из-за стола:

— Они, батя, Любава с Палькою, ищо летось на бесёдах спознались!

Мишук дуется: все всё знают раньше его! Любава могла бы и сама повестить родителю!

— По чести отдавать, дак придано хошь не хошь...— ворчит он раздумчиво. Катюха живо подсказывает:

— Корову даем да коня! Да портище, да шугай шелковой можно дати и вотолу лунскую! И жемчуг розовой, мой, и серьги серебряны, с синим камнем которы!

— Ины дочери растут! — остужает ее Мишук.

— А коль перву дочерь отдашь непутем, дак и тем судьбы не будет! — возражает жена, и опять дело едва не доходит до ссоры...

В конце концов решают, всею семьей: жемчуг приберечь, а Любаве куплять атласу на распашной сарафан и тафты на летник. С чем и отправляют Мишука в торг к знакомому гостю-сурожанину, Сысою Ноздре.

Пересчитав серебряные кораблеплики и диргемы в кожаном кошеле, покряхтев для приличия, Мишук запоясывается, седлает коня и едет в торг.

В улицах весенняя голубень. Кое-где дотаивает снег, тянет гнилью и свежестью из Заречья. Сороки, галки и воробьи хлопочут в кучах сору. Раскидывая ошметья жидкой грязи, рысят комонные. Бабы обходят лужи, жмутся к плетням. Курятся дымом раздвинутые волоковые окошки черных хором. Перекликают петуны во дворах... И так тревожно, и радостно, и чуточку грустно от весны, от любви — что уже отошла, невестимо, к иным поколениям, к новой поросли, к детям своим!

Торговый гость Ноздреватой, или по-простому Ноздре-

ря, сидит в своей лавке на Подоле и с удовольствием вдыхает льющийся из Заречья в распахнутые двери вольный весенний дух. Щурясь, он оглядывает Мишука, спешивающегося у коновязей, и, признав, кивает тому, приподымая круглую суконную шапку над головой:

— Старшо́му! От Вельямина Федорыча али сам по себе?

— Сам по себе! — отвечает Мишук, входя в лавку и пригибая голову в низких дверях. С яркого солнца в лавке кажет излиха темно, и он не враз находит великий чурак, на который и усаживается, оглядывая выставленное напоказ, разложенное и развешанное великолепие. Здесь и кусок аксамита — прямь дверей, на стене со львами и грифонами в золотых кругах,— и целый постав веницейского бархату, и камка, и атлас, и зендянь, и парча — фряжская, цареградская и персидская,— и лен, и шерсть, и многоразличные сукна... А там, в задней — знает Мишук,— хорассанские ковры и смугло-желтый шелк с парчовыми драконами из далекого Чина. В лавке этой берут товар великие бояра, и даже сам князь почасту посылывает сюда. Потому и Сысой Ноздря не встает сам встречу простому покупщику, хоть и не небрежничает ни с кем: в торговом деле от гордости и убыток потерпеть мочно!

Толкуют сперва о делах:

— Слыхал, твой-то тоже имал ярославского князя? — лукаво щурясь, спрашивает Ноздреватой. Мишук отмахивает рукою:

— А! Обоср....., воины! — Прошает атласу.

— Дочку, што ль, выдаешь? — догадывает купец.— Как звать-то? Любавой? Ноне атлас дешев! При Данилыче тихо стало на дорогах, везут и везут! Да и от Кафы до Сарая ноне без раззору... Ты ко глазам, ко глазам выбирай! Каки глаза-ти у девки — штоб ко глазам подходило! Атласу-то гладкого, поди, нать, а уж тафты на летник бери попестряе! Да не спеши! Выбирай толком. Меня добрым словом помянешь, быват, и еще зайдешь!

Приподняв обширное чрево, сам подает Мишуку беремя тафты, а там уж и встает, гордясь товаром, начинает казать на выхвалу. Подмигивая, тянет в заднюю:

— Лезай семо! Поглянь-ко!

Мишук только молча открывает рот. Купец сам стоит руки в боки, любуясь переливчатым расписным

великолепием неведомых трав, ярких птиц и клубящихся, в небесно-голубой чешуе, сказочных змиев.

— Самому князю ежели... Али великому боярину какому! — молвит, налюбовавшись вдосталь, Ноздря. Мишук о цене и не прошает. Да и Сысой не к тому кажет: понимает, что такого товару не в силах одюжить Мишук.

По выходе из задней долго еще и тафта блазнит Мишуку некрасовитою, и атлас словно потуск и потемнел.

— Да, вот! — вздыхает Сысой, вновь усаживаясь на лавку.— Хвастаем тем, что у нас есть, а у других нету. Себя величаем! А нать бы тем хвастать, что оно вот и у меня, а и у тебя тоже есть! Данило, покойник батюшка, таков-то и был! Сам, помню, по торгу хаживал, не величал себя. И уж каку жонку там с портном и ту приветит... хозяин! При ём все и зачало тута, на Москве! И я в ту пору с родителем сюды перебралси! Да вот и сижу, почитай, скоро полста годов... Иван-от Данилыч тоже заботной, порядливый князь! Как думашь, передолит Ляксандру? Не передолит — тверской гость нашему и вовсе пути не даст до Сарая!

Поторговавшись вдосталь, завернув покупки и уложив в торока, Мишук возвращается домой. Тут уже все в сборе. Любава сидит гордою именинницей, опустя глаза, и только при виде узорной тафты совсем поребячьи всплескивает руками. «Видала бы ты!» — думает Мишук, вспоминая сверкающее чудо в лавке Сысоя, и, повздыхав, придвигает к себе глиняную латку уже простывших щей...

С приданым — шитым, тканым, плетеным, строченым, вязаным — засиживают допоздна. Невеста должна на свадьбе поднести порты своего рукоделия всем поряду: свекру и свекрови, деверьям и золовкам; мужу, сверх того, вышитую рубаху, а узорные полотенца — свахе, дружкам, тысяцкому и всему женихову поезду...

Вечером Мишук, захватив ряднину, отправляется в клеть.

— Издрогнешь тамо! Возьми хошь одевальник! — советует Катюха.

— Ничо! Тулуп накину, ежели что,— отвечает он, проходит двором и лезет во тьму клети, пахнущую кожей, зерном, соленьями и неистребимым запахом прошлогодней рыбы от пустых бочек. Сын, Никита, прилазит к нему спустя еще час (верно, с девками

дурил на качелях). Устраивается рядом, обминая сено.

— Тятя, а чево я не так молвил-то? Ить князево дело сполнял! Чай не купецки обозы разбивали! Чево я, по-твоему, не должен был и в поход идтить?

Сын жарко дышит, сожидая, что скажет отец, и Мишук медлит: не так ответь — отмахнет, и всё тут. А ноне сам пришел, то хорошо! Не спужать бы ему молодца! Зачинает осторожно сказывать про отца, но все как-то не так выходит. Хочет про честь и совесть, а выходит — о походах да подвигах. Сын, сопя, прерывает родителя:

— Я тоже, как деда, в молодших долго ходить не стану! — И широко, сладко зевает: — В поход бы сызнова!

Заснул сын. Сопит, громко дышит во сне. Мишук закрывает его и себя погоднее, прижимается к сыну. От парня идет горячее тепло, а сам он стал что-то ноневе мерзнуть порой. Чует: бродит в Никите сила, жажда дела, успеха, и не останови — полезет, пойдет на все! Батя был не таков. Тоже настырный, да не экой какой-то! Эх, Никита, Никита! Ведашь ли ты, что есть честь? Вот и нашел слово, да не поимел сказать. Сын спал как убитый и видел во снях неправдоподобно красивую тверскую княжну и себя перед нею — в дорогом платье, на атласном горячем жеребце...

## ГЛАВА 63

Узбек сидел, кутая руки в рукава халата. Приходит час, когда угасают острые радости молодых лет, когда устаешь от жен, когда — у самого самовлюбленного — нарастает глухая тревога о грядущем после него, о враждующих наследниках трона, когда въяве становит тщета усилий и сугубая краткость бытия, когда данным свыше сверхчувствием ловишь неблагополучие в своем обширном улусе и в доме своем. Все можно не замечать, не понимать, сложить на кого-то иного — на коназа Александра или коназа Ивана, что не могут вместе жить на одной земле, на советников, слуг... И все равно не отворотишь лица от пределов судьбы и бремени прожитых лет!

Чадили жаровни. Сейчас за кирпичной стеною — холод весны, пронзительной сырью несет от синей,

перемешанной с битым льдом воды. Скоро зацветет степь... И, может быть, надо попросту, бросив все, вскочить на коня? Зачем?! Конь прискачет сюда же, как бы долго ни летел он, стремительный, по весенней степи,— в это душное, тяжелое великолепие. Зачем они вышли из своих запредельных равнин сюда, на реку Итиль? Зачем подарили ему, его крови, его сердцу, эту тоску по кочевью, этот повторяющийся с каждой весною тревожащий зов? Его предки, его великие предки! Ставшие мечтою, марой, преданием, строками мудрых арабских книг, темные язычники, не ведавшие пророка! Его кровь, зов его сердца, пращуры, покорившие мир... Почти покорившие мир и незримо покоренные растоптанными ими народами! Что осталось от них? Пыль дорог, пыль пустынь, пыль времен и конские костяки в высокой траве степей. И это все? И в этом — слава мира и ужас народов?

Узбек встряхнул головой. Это была вновь мара, наваждение, козни шайтана. Ударил в серебряное било. Вбежал слуга — готовный, стремительный. Узбек, полуприкрыв веки властных усталых глаз, брезгливо оглядел холопа, сам не зная еще, что прикажет. Помимо воли, мимо желаний охладевшего сердца пришло ему в ум должное. Должное было теперь — судьбы урусутских князей, его улусников. И по глазам слуги увидел: именно того ждут от него нынче вельможи двора, ожидающие приема,— старший визир и беглербег. Его подданные или тюремщики его? Ибо без их упорной воли не может он днесь вершить ни одного дела в Золотой Орде, в *его* Орде, в *его* улусе.

— Зови! — приказал он. И угрюмо ждал, грея ладони над рдеющим темным огнем. Войдут и, с поклонами, сядут по сторонам ковра...

— Прибыл коназ Василий из Ярославля.

— Знаю!

— Мог и не прибыть! — возразил визир.— Урусутский великий коназ Иван посылал воинов перенять ярославского коназа Василия по дороге в Сарай.

Чадили жаровни. Лица визиров были бесстрастны, и Узбек не мог бы сказать сейчас, сколько каждый из них получил даров от тверского князя. Даже ежели и так, ежели Иван хотел почему-то задержать князя Василия...

— Ярославский коназ привез серебро. Он утверждает, что коназ Иван утаивал ярославскую дань, чтобы

опорочить его в твоих глазах, повелитель, и отобрать у него Ярославль.

Узбек молчал, кутаясь в парчовый халат. Можно было призвать и расспросить этого князя Василия. Следовало сделать это. Неважно, сколько заплачено этим двоим тверскими боярами! Сейчас ему говорят правду. Иван становится опасен. Он берет города один за другим.

Александр прям и честен. Был ли он, Узбек, прав, разрешив казнить его отца и брата? Жизнь Михаила вырвали у него помимо его воли. Казнить Дмитрия он тоже долго не желал... Быть может, надобно принять покорство тверских князей, воротить великое княжение Александру, а Ивана... Что тогда делать ему с коназом Иваном?

Узбек все еще молчит, но вельможи, знавшие своего повелителя лучше его самого, удовлетворенно переглядываются.

— Коназ Иван с двумя сынами уже едет сюда! Прикажет ли повелитель привести ему нынче вечером коназа Василия?

Прикажет. Узбек молча наклоняет голову. Этот Василий Давыдович, как кажется, женат на дочери Ивана. Сейчас он будет жалобиться перед ним на своего тестя. Возможно, просить военной помочи противу отца жены! Дошло же у них до того, что Иван ловил зятя по дороге в Сарай!

Узбек совсем прикрывает глаза и мановением длани отпускает советников. Он устал. От злобы, желаний, трудов власти, тщеты и суетности, от этих хитрых дел и настойчивых, хитрых, а в чем-то удивительно простодушных урусутских князей, от своего отяготительного величия — он устал.

Измученные, с мокрою клокастою шерстью, тяжко дышащие кони вымчали наконец княжеский поезд к перевозу в Сарай. Волга шла синяя, гневная, перемешанная с битым льдом. Пять раз отплывали и ворочали назад, пока в конце концов лодейные мужики сумели миновать стрежень и подчалить к нижним пристаням, вдоволь порушенным и забитым ледяным крошевом.

Иван, вылезая из лодьи, качнулся, едва не упал. В тряской и суматошной дороге до того избило все бока, что впору было бы не к хану на поклон, а, напив-

шись горячего молока с медом, в постелю, на русскую печь. Но ни болеть, ни парить усталое тело было некогда. Глянув, как холопы и дружина поспешно вынимают казну и товары из лодей, Иван, сцепив зубы, полез на коня. Семен с Ваняткой уже ждали отца верхами. Калита заставил себя выпрямить стан. Подобрал поводья. Конь, неспокойный после переправы, тревожно ржанул, пошел боком, пританцовывая, косяиспуганным глазом на громаду воды, что перла без удержу, словно намерясь совсем снести и без того сузившийся и прижатый к заборам берег.

На подворье их уже ждал ханский пристав. Ни отдохнуть путем, ни даже собрать мысли не пришлось. Тихо подосадовав, что так нелепо упустили князя Василия (и вот теперь нужа отвечивать в том перед ханом!), Калита в сопровождении детей, бояр и ближней дружины отправился к хану.

Узбек был гневен. Он принял московского князя, возвышаясь на золотом троне, точно недвижное изваяние. И даже подарки, среди коих серебряный теремец для ловчих соколов, на который Калита возлагал особые надежды, мало тронули хана. По неприступным лицам вельмож Калита понял, что тверские бояра немало поработали в Сарае и борьба предстоит нешуточная.

Вечером, после приема (нать было немедленно лечь, ибо все и всякие силы в нем давно кончились!), Калита все же заставил себя вновь проверить, кому и сколь привезено и предназначено даров, сам распорядил, кому чего прибавить или убавить, и лишь после того, велев снять с себя сапоги и верхнее платье, с освобождающим чувством головного кружения свалился в постелю. Симеон (ночевали тесноты ради в одной горнице) заботно подступил к ложу отца:

— Позвать лекаря, батюшка?

— Созови...— хрипло задышав, отмолвил отец,— созови Михайлу Терентьича и Феофана Бяконтова, пущай придут!

Он прикрыл глаза и замер, отдаваясь тошнотному качанию ложа, словно бы о сю пору колыхался, ударяясь и взмывая, возок, крутили в бешеной воде и плыли лодьи, несли и несли дорожные кони... По мягкому разымчивому теплу догадал, что к ногам приложили окутанный рядном горшок с кипятком: верно, сын распорядил, не послушал родителя. И, подумав о Симеоне,

Иван, не открывая глаз, улыбнулся. Был бы тверд! Был бы только тверд в делах...

Осторожно, пригибая головы под притолокой и стараясь не шуметь, в низкий покой вступили вызванные бояра. Семен шепотом повестил было им о болезни отца, но Калита тотчас требовательно открыл глаза, справясь с голосом, велел прибавить свету и вновь ощутил теплую волну нежности, заметя, что Семен сам, не созывая слуги, торопливо зажигает свечи в высоких точеных стоянцах.

Мысленно сосредоточив волю, Иван строго наказал боярам, склонившимся перед ложем, кому и что надо было передать нынче же, в ночь, распорядил о грамоте (иной, тайной, самому беглербегу, долженствующей отворотить всесильного визира от тверичей) и только после того, слабым движением руки отпустив советников и еще прошептав «Отче наш» и «В руки твои предаю дух свой», позволил себе провалиться в небытие. Семен же всю ночь не спал, дремал вполглаза, изредка, неслышно ступая с шерстяных носках, подходил к родителю, слушая хриплое дыхание отца, дважды поил сонного отваром целебных трав и лишь под утро, когда Калита, обильно пропотев, успокоился и крепко заснул, разрешил и себе на мал час смежить вежды.

Весь следующий день Калита не вставал с постели, однако продолжал рассылать бояр с дарами и грамотами. Ясным, хотя и слабым голосом распоряжал делами, а в перерывах терпеливо пил горькие снадобья, отдавал тело притираниям и припаркам, являя и тут пример терпения и воли.

Семен, начавший вникать в непростые ордынские дела, все более дивился родителю. Здесь — когда рядом была власть, высшая их с отцом совокупной воли, и даже нужная, в одночасье, смерть не исключалась в ряду возможных поворотов судьбы,— здесь многое, что возмущало Семена в отце там, на Москве, гляделось и мыслилось сугубо по-иному. Дары и ночные пересылы, подкупы вельмож ордынских и само неудачное поиманье ярославского князя — все получало свой смысл и значение неизбежного, даже неизбывного, единственно возможного, доколе над Русью стояла Орда и чуждая бесерменская воля велела и правила их христианским миром.

В редкие минуты покоя Иван подзывал сына, объяс-

няя ему расположение сил в Орде и наставляя на будущее время:

— Помни, что люди смертны. Вот главный кади, судия ихний, у коего ты был давеча. Он уже стар и болен. Помысли, узнай, кто займет место сие после него. Того сделай другом, поддержи теперь, осильнеет — сам поможет тебе. Так и во всем: обмысливай наперед! Чем дальше учнешь видеть, тем крепче твоя власть! И еще помни: все связано! Споришь с Новогородом — не забывай о Гедимине. Враги врагов твоих — неволею друзья тебе. Но друзьям поневоле до конца не верь! Литва для нас скоро, быть может, станет страшнее Орды. Ежели устоим теперь... Да нет, устоим! Устоим...— Иван задышал тяжко и сильно. Излиха блестящий взгляд и крупный пот на челе родителя испугали было Семена. Калита заметил, улыбнулся слабо, помотал головой: — Выстану! Одного боюсь: позовет не в пору... Не смогу...— Он замолк, отдышал, забился в тяжком кашле. Семен, обмирая, подал отцу посудину — отхаркнуть мокроту. Тот склонился над горшком, после откинулся на подушки. Отдышавшись, благодарно погладил сына по рукаву. Повторил упрямо: — Выстану!

И верно, перемог себя. На четвертый день встал. Пошатываясь, прошелся по горнице. И как словно бы учуял! Назавтра позвали к Узбеку!

Узбек с первой встречи заметно омягчел. Принимал в особном покое, келейно. Вопросил:

— Слышал — болеешь, князь?

— Бог милостив! — возразил Калита.— Ся оклемал маленько!

Внимательно, вблизи, изучал он лицо Узбека, отмечая легкие следы времени и приметы днешнего норова всесильного хана. Спрятанная за пазухою драгоценная грамота тайного договора Александра Тверского с Гедимином была сейчас для него словно потаенный огонь при осаде чужой крепости. Однако грамоту явить нужно было с умом, и не вдруг, сугубо не вдруг! Сперва дать Узбеку выговориться, смиренно принять все упреки. Самому повиниться и заставить себя, во что бы то ни стало заставить себя опять и вновь полюбить — да, да, полюбить — этого надменно-усталого и непостоянного, точно вздорная жонка, повелителя! Ему же трудно, и скучливо, и одиноко порою. Как он горевал тогда —

по смерти любимого сына! Ну же, ругай меня, кори! Обвиняй! И Иван, мысленно призывая ханские укоры, склонил голову.

Узбек молчал, наслаждаясь видимым раскаянием Ивана и отходя сердцем.

— Плохо, князь! — соизволил наконец вымолвить он. Иван глянул коротко и вновь опустил глаза. Начиналось, как должно, по его замыслу. Сейчас дать хану прогневать, а потом...

Знание татарского сослужило Калите, как и всегда, добрую службу. Пока толмач переводил, он обдумывал и слагал в уме должный ответ. Теперь, выслушивая покоры по поводу нятья ярославского зятя, Калита гадал, как лучше ему содеять. Сразу ли явить грамоту или... Нет, не сразу, конечно, нет! Эта поспешность в нем от болезни. Сперва же вот что... Он поднял голову:

— Не хотел печалить тебя, кесарь, но ныне скажу: не у одного лишь Василия задерживал я и даже утаивал дани и не над ним одним насилие учинял! Ныне просить буду утвердить за мною ярлык на Белоозеро, понеже без того в дальней той земле не чаю собирати в срок выход царев!

Узбек не поспел удивиться или осердиться сказанному, как Калита продолжил:

— Почто, кесарь, не прошаешь вернейшего раба своего, почем достаются ему дани ордынски? Неужели повелитель верит арабским басням, яко в русской земле рудники серебряны суть? Или с неба дождем падает на землю русскую то серебро? Разве я, малый и ничтожный пред величеством твоим, дерзну когда рещи, како мне приходит с мытом и весчим и лодейною данью, и тебе ли, кесарю, выслушивать о караванах торговых, гостях иноземных, о шкодах того же Василия на мытном дворе ярославском, и о повозной дани, и о конском пятне, и прочая, и прочая? Поспроси людей старых, разогни грамоты древние и повиждь: все ли великие князи русстии тако усердно дань давали, яко же я, твой раб, неугодный тебе ныне? И выход, и сверх выхода — когда задержал, когда недодал, когда и какого не исполнил запроса царева? Мне ли худому, тревожить сердце цесаря своими малыми заботами? Да, деял сильно! Дак токмо ради тебя, великий царь! Пущай Василий Давыдыч уедет в спокое, в то не вступлюсь, ежели ты, кесарь, того восхощеши, но дай мне

собирать выход царев невозбранно и не отемнять сердце твое своими ничтожными заботами!

Иван говорил, в нужных местах вставляя одно-два татарских слова, прерываясь, дабы дать толмачу перевести по-годному, и за время то проверял глазом, как воспринимает Узбек его горячую и почти даже и искреннюю речь?

Надо было убрать все мелкое, подвести Узбека к главной мысли, к неизбежности строгого и нелицеприятного выбора: или он, Калита,— и тогда Узбек должен во всем и навсегда ему поверить, или тверской князь Александр,— и тогда... (Тайная грамота за пазухою жгла как огонь. Тогда он и явит ее!)

Конечно, Узбек упрям, подозрителен, наскучил его просьбами. Ростов, Галич, Дмитров... Теперь вот Белозеро и уплывший из его рук Ярославль. И более легковерный хан мог ся обеспокоить сими захватами! И Калита намеренно подталкивал Узбека к той, второй, неизбежной мысли: заменить Москву Тверью, его власть, власть Ивана Калиты,— властью Александра Тверского. Иного пути нет! Вот что должен понять, накрепко понять Узбек! Нельзя и неможно существовать им долее вместе, не может быть двух великих княжений на Руси! И Узбек, кажется, понял. Поддался наконец. Мрачно улыбаясь, не зная еще, свершит ли сказанное или нет, Узбек обронил жестокие слова:

— Чую, князь, что тяжко тебе на столе владимирском! Все говорят мне, что Александр будет сговорчивее тебя!

Толмач и тот испуганно повел глазом. Но удар Узбека, казалось, пришел впустую. Иван лишь пожал плечами и слегка вздохнул, словно путник на ночлеге, с облегчением слагающий с себя дорожную ношу.

— Что ж, кесарь! Твоя воля, твой ум. Подаришь Русь Гедимину — слова не скажу. Дари.— И в удивленные, недоуменные, закипающие гневом глаза Узбека изрек: — Грамоту я достал наконец! И слухачи подтвердят: подлинная. А далее — слова не скажу, чти сам!

Иван, слегка даже прикусив губу,— не дай Бог расхмылить в сей миг! — медленно достает береженый свиток, затверженный им наизусть, передает Узбеку. Строго молвит:

— Чти!

И далее — дело толмача, дело перевода грамоты (перевод готов, написан тут же, рядом с русским тек-

стом, и в нем выделены, отчеркнуты поносные,— ах, как неосторожен был князь Александр! — охульные на его, Узбека, власть, лишние во всякой грамоте государской словеса: о «злокозненных» и «злонеистовых» татарах, и о самом Узбеке — поносно). И знал, не спросит, даже не подумает Узбек в сей час его, Иванова, торжества: когда писана грамота сия, с чем и кем сочинялась... Да, так и есть, проняло! Вот тебе твой светлый батыр, твой подручник, уже заране продавший тебя великому князю литовскому! Чти! Чти! Чти!

Узбек читал, и в нем подымалась волна бешенства. Иван недаром подчеркивал охульные слова. Не столько само предательство, сколько глумливый слог грамоты подхлестывал ярость Узбека. После того, как он поверил — почти поверил! — бесхитростному прямодушию тверича! Обман! Всюду обман! Опять обман! И этот князь, коего он почел витязем Рустамом, и этот его предает и глумится над ним! О, он покажет! Он ныне... Узбек готов был рычать, грызть кого-то зубами и в ярости кататься по коврам. Он обратил наконец блистающий взор в непривычно жесткое лицо Ивана.

— Докажешь?

Иван сделал движение.

— После! Верю. Чего хочешь? Белоозеро? Бери!

Калита чуял: сейчас попроси — дастся и ярлык на Ярославль, но... он слишком хорошо знал Узбека. Ярославль была излиха великая подачка. А там Узбек почнет колебаться, жалеть и советоваться с визирами... Нет, лучше добивать тверичей! Это теперь важнее, это всего важнее теперь!

И он не обманывал себя. Узбек все проверит. Все проверят его визиры. Без подтверждающих грамот из Твери (Софья Юрьевна настояла-таки на своем!), без свидетелей, слухачей, без показаний князя Наримонта-Глеба (Иван успел уже и его предупредить за время болезни своей) еще неизвестно, чем кончилась бы сегодняшняя молвь Калиты с ханом!

— Князь, я хотел великое княжение отдать Александру! — говорит Узбек.

— Знаю, кесарь, и паки повторю: тогда бы ты Русь подарил Гедимину и с тем вместе погубил Орду. Разве не видишь ты, как Литва все ближе и ближе подступает к твоим владениям? Пусть даже Александр заблуждал, пусть не мыслил даже, сочиняя грамоту сию, на деле предатися Литве! Все одно: стал бы он ратным тебе,

а там Тверь и вся Великая Русь предалися власти Гедиминовой! И на серебро, что плачу я тебе, Литва наняла бы на Западе ратную силу противу Орды! Вот чего не хочу я, великий хан! Вот почто раболепствую тут! Вот почему друг я тебе и не могу стать врагом, даже ежели бы и захотел! Ибо и меня, и мой улус сотрут в ничто Гедиминовы рати! Я просил тебя, Узбек, дай воев! Хотя бы пригрозить Смоленску! Не то и сей град подпадет Литве!

Иван замолк, справляясь с новым приступом слабости. Кажется, он неосторожно исчерпал все свои силы и сейчас с трудом удерживал себя от обморока. Узбек тоже молчал, тяжко дыша. Сердце в груди прыгало, как необъезженный конь,— не унять. Последние годы что-то слишком быстро начинал приходить в гнев, и каждый раз так же вот, тяжко и трудно, утихало встревоженное сердце.

— Рать на Смоленск я дам тебе! — справясь наконец с собою, вымолвил он.— Но ты, князь, дай серебра, дай много серебра! Нынче вдвое дай! Возможешь?

Иван подумал, сдвинув брови, быстро пересчитал в уме, мимолетно ужаснулся запросу, ответил, кратко кивнув:

— Дам. Токмо, повелитель, убери от меня князей тверских! Совсем убери! С ними — не возмогу!

Он снова твердо и жестко поглядел в хищные глаза Узбека (догадал: не для себя и просит, сам как в осаде в Орде).

— Ладно, ступай,— устало молвил Узбек, откидываясь на подушки.— Исполню волю твою, князь.

Калита не обманывал себя ни часу. Из всего, сказанного Узбеком и при Узбеке, верным было только одно: двойной выход, обещанный им, Иваном, хозяину Золотой Орды. Все прочее было зыбко, капризно, обманчиво, требовало многой увертливой толковни и даров, даров, даров. Тем, кто пойдет под Смоленск, тем, кто обадит Александра, тем, кто учнет напоминать хану про его обещания князю владимирскому...

И откуда взять те новые тысячи серебра, которые он нынче, набрав по заемным грамотам у купцов, выплатит хану? Ярославль потерян (на время, во всяком случае), с Белоозера много не соберешь... Новгород? Остается один Новгород! Как бы и они, наскучив его требованиями, не передались под руку Литвы!

Уже миновала бурная и быстрая южная весна. Зацвела и отцвела, покрывшись буйными травами, степь, и ханский двор выехал на летнее кочевье, когда наконец, уладив все дела, обадив и улестив всех, кого мог и почитал должным улестить и обадить, Калита с сыновьями тронулся в обратный путь.

Ехали водою. Лодьи где тащили бечевой, припрягая коней, где — гребли. Кругом зеленели разливистые волжские берега. Ванята бездумно радовался дороге и скорому возвращению. Семен, сидя на высокой корме, тоже озирал с упоением зеленые берега. А Калита, непривычно тихий и словно бы безучастный ко всему, лежал в шатре, следя чрез откинутые полы неспешно проходящие мимо обрывы и осыпи, и думал, что вот уже иссякают силы и потекла к закату жизнь, а на какой тоненькой ниточке и поднесь висят все его дела и непрочные успехи правления, сколь временен и преходящ круг жизни земной, и что, кроме величия божия, прочно и истинно в этом мире! И, верно, прав покойный преосвященный Петр, что не дано Господом ему, Калите, узреть величие царствия своего и славу русской земли, а токмо с вершины глянуть мысленным оком на землю обетованную, яко и днесь, из тьмы шатра, в залитые солнцем, волшебные, полные весенней прелести и красы сияющие дали.

## ГЛАВА 64

В начале сентября в Москву прибыло новогородское посольство. Привезли великому князю черный бор.

Уже на подъезде послы узрели необычайное оживление в городе. Над кремником стояла, не расходясь, туча пыли. Глухо ухало, скрипели возы, смачно чавкали секиры древоделей. Цепочка верхоконных новогородцев, облепленная глазеющими москвлянами, втянулась в уличную суету. На последней подставе послы приоделись и ехали теперь, посверкивая парчою, посвечивая шелками, дивя горожан алым веницейским бархатом — скарлатом.

Селиверст Волошевич заботно оглянул хвост своего посольства, где в кожаных кошелях везли серебро и подарки князю: сибирских соболей, рыбий зуб, дорогое лунское сукно и северный жемчуг. Федор Оврамов,

приметя беспокойство Волошевича, сощурил в улыбке морщинистое, потное, в густом летнем загаре лицо.

— Не боись! Молодчи доглядають!

Они сблизили коней и поехали бок о бок, почти касаясь стременами.

— Строитце князь Иван! — с легкою завистливою досадой сказал Селиверст.— В пору ему придет наше серебро!

— Ну, до Господина Нова Города ищо далеко ему! — возразил Оврамов.— Наши ти костры с камени складены, да и Детинец владыко Василий весь, поцитай, камян ноне свершил!

— Мужиков, одначе, нагнано!

— Черного народу у его хватат, ето верно! Ноне, как с хлебом управят, почнет новы прясла да костры рубить... Торопитце!

— Торопитце...— раздумчиво протянул Волошевич.— Как ищо урядит с Тверью нонеце? Могли бы наши и поупрямить маненько с бором!

— Отдано, дак цего жалеть! Всею вятшей господой да и вечем решали! — весело отмолвил Федор Оврамов.— А поизвелся в Орде, поди! Назаймовал у купчей по грамотам!

Их встречали. Расталкивая толпу, встречь скакали молодшие княжого двора. Порушенными, полуразобранными воротами послов проводили в пыльный, схожий с разворошенным муравейником кремник.

Часть клетей и хором с обрыва была вовсе снята. Сотни потных мужиков в посконных рубахах, немилосердно измаранные землею и глиной, иные распояской, с распахнутой грудью, подвязав лишь волосы кожаными гайтанами, рыли ямы, закладывали в откосы москворецкого берега дубовые стволы с отростками сучьев, на которые клались, уже поперек, опорные бревна, и все засыпали утолоченной глиной и землей.

На зиму Иван ладил рубить новый кремник, просторнее прежнего, и до осенней распуты велено было все подготовить к началу работ: укрепить склон и заложить основания прясел и костров городовой стены. Людей на помочи собирали аж из Владимира и Переславля. Кабы не великокняжеский запрос — самим бы москвичам и не осилить накоротке эдакого труда! Работали споро, и новгородцы, увидя строительство Калиты в полный разворот, улыбаться перестали и

даже почуяли смутную тревогу, как после оказалось, не зряшную.

Пока княжой дьяк Кострома пересчитывал веские продолговатые гривны, сопоставляя полученное с расходами недавней поездки великого князя в Орду (очень и очень не хватало новгородского серебра, чтобы покрыть все ордынские протори и убытки!), пока творился пир на сенях княжого дворца и Калита, чествуя послов, гадал и думал, как и чем еще залатать глубокие раны, нанесенные его казне Узбеком,— пока все это творилось на Москве, из Литвы в Русь спешил скорый гонец с вестью, которая могла многое и во многом изменить в делах господарских и не одной даже Владимирской волости. Гонец уже миновал Волок Ламской и, пересаживаясь с коня на конь, не останавливаясь, мчал к Москве.

Уже отшумел пир и, отпущенные на покой, удалились новогородские слы. Уже подпившие бояра разбрелись и разъехались по своим хоромам. Уже Симеон, проводив отца до родительского покоя, улегся рядом со своею литовской женой и замер, уставя в потолок бороду. Отец был хмур и нерадошен нонеча: двух тысяч недоставало им, сказал Иван сыну, чтобы свести концы с концами на сей раз. Две тысячи серебра! Подумать — и то страшно. С кого, и как, и где взять эдакую непредставимую мзду? Уже и Калита, помолясь, возлег на ложе, огладив и перекрестив посунувшуюся к нему молодую жену. Поняла: устал, и не до нее. Присмирела, прижалась щекою к его плечу, к прохладной, тонкого полотна, рубахе. Ни разу и голоса не возвысил, а все боялась, робела своего супруга, даже и его тишины, за которой — женским чутьем понимала — иногда творилось нечто, хотя и непонятное ей, но запредельно страшное...

Темной сентябрьской ночью гонец (останови — упадет ничью и уснет, лежа на земле) въезжал в кремник. Снятый с коня у ворот дворца, только пробормотал: «Самому князю великому, в руки...» Гонца увели, вернее — унесли, влив по дороге ему в рот чашу горячего вина с медом, а грамота вознеслась на сени и здесь замерла было в неуверенных руках постельничего. Но, точно почуяв или догадав нечто, Калита в сумраке опочивальни открыл глаза и, зацепив ухом смутное шевеление где-то там, за стенами, стараясь не разбудить жены, приподнялся на локте. Слуга, чумной со сна,

вскочил и побежал босиком, на цыпочках, вызнать, в чем дело. Вскоре великий князь, в накинутом сверх белья ордынском стеганом халате, уже сидел за налоем и читал при свете единственной свечи измятую грамоту, из коей явствовало, что Гедимин, вечный соперник, нависший над западными границами Руси, тяжко занемог, оставляет Вильну младшему, Евнутию, и стол литовский намереваются делить сейчас его многочисленные сыновья.

Быть промеж них брани междоусобной! А ежели так... Посадить Наримонта-Глеба на литовский стол, а там, глядишь... И с Новгорода теперь мочно спросить... Сна — как не бывало. Ум работал с лихорадочной быстротой. Как ни повернет в Литве (да и Гедимин еще не умер!), пока они там не урядят, не вступят ни во что. Сейчас, именно сейчас надо торопить смоленский поход! А с Новым Городом так: послам — ничего не говорить, отпустить с честью. А вслед — своих послов. Пущай Новгород воротит ему запрос царев, вторую дань, вытребованную с него Узбеком! И — не отступать! Ежели потребует дело — послать рать на Торжок! А гонца наградить! — подумалось тут же. Награждать за хорошую службу Калита не забывал никогда.

Он еще посидел, свернув в трубку грамоту. Вызвал боярина со сеней и шепотом отдал наказы. Потом спрятал грамоту в окованный железом ларец, потянулся, почти сладострастным кошачьим движением выгибая спину, задул свечу и, улыбаясь в темноте, полез в постелю. Ульяна вздрогнула, невесть чем испуганная. Калита потрепал ее по щеке и, засыпая, подумал, впервые, кажется, за все эти долгие годы: кто же кого переживет? Он Узбека или Узбек его?

А через два дня пришла другая грамота, из Орды. И вести были тревожные. Возлюбленники Александровы сумели-таки напеть в уши Узбеку. Доверенный боярин писал, что без великого князя или, по крайности, сынов его никакого дела вершить немочно, понеже доброхоты тверского князя тако глаголют: вот Александр и сам едет, и сына своего послал, а Иван ни сам не едет в Орду, ни сына никоторого не шлет, стало быть, лихо мыслит альбо на Тверь, альбо на самого кесаря ордынского! «Еди сам вборзе али уж сынов шли! — писал боярин в конце грамоты.— Иначе не вем, како ся и поворотит тута!»

Иван отложил послание, задумался. Ехать теперь

в Орду, отослав посольство в Новгород с требованием запроса царева, он не мог. Да и... нельзя ему быти тамо! Аще убьют Александра при нем — его же и овинят! Аще без него — возложат хулу на кесаря ордынского. А явить надо было покорство. Полное. Такое, дабы и Узбек ся удоволил досыти! А значит, надо было посылать сыновей. Всех троих вместе. «Весь род в руки твои предаю...» Тогда поверит! А ежели?

Симеон застал отца сидящим перед налоем и бережно разглаживающим руками ордынскую грамоту.

— Чти! — приказал Калита.

Симеон прочел. Паки прочел и паки. Бледнея, взглянул на отца:

— Нать ехать мне, батюшка. Возможно, и с Ванятой...

— И с Андреем тоже! — подсказал Калита.— Мне самому ныне скакать в Орду неможно. Без меня все зде порушит.— Помолчав, он прибавил устало: — Похоти Узбековы! Учнет играть нами, яко кошка мышью. Не хотел я того, а достоит тебе ехати, сын! С братьями. Всем троим. Яко на суд или на милость ханскую. Без вас ничто ся не содеет в Орде!

— Понимаю, батюшка. И сам бы тя не пустил!

— Ну, понимаешь, дак поезжай не стряпая! И... не суди, коли что! — выговорил Калита непривычным для него жалобно-беззащитным голосом. Еще помолчав и пригорбясь, едва слышно примолвил: — Убьют вас — все брошу и уйду в монастырь.

Симеон пошел было, но от порога оборотил к отцу и нежданно сурово и строго отмолвил:

— Батюшка! Об одном... Ежели Господь попустит... Забудь о монастыре! Не за тем еду к хану, чтобы пропала Москва и все наше дело изгибло!

И — вышел. А Калита долго сидел словно в обморочном забытьи, прикрыв глаза ладонью и чуя кожей, сколь, по сути своей, непрочны все его ловчие петли и хитрые замыслы там, в Орде, и сколь опасен путь, по коему отослал он ныне детей и наследников своих.

Никогда еще, кажется, власть, за которую дрался он столь упорно и долго, не была так мучительно, так безмерно и столь непереносно тяжела.

## ГЛАВА 65

Александр до последнего часа не знал, зачем его вызывают к хану. От насильной смерти и до получения ярлыка на великое княжение владимирское — вот сколь широко размахивала ему судьба! Вот сколь наразно приходило гадать и размысливать ныне! Да и свои, из Орды, доносили так и эдак. То пугали, то ободряли надеждами. Почему бы хану, в конце концов, и не воротить ему великий стол? Увы, не одного Александра сбивали с толку Узбековы прихоти!

Посол Исторчей еще весною много глаголал о том, что Узбек лишь ищет повода сотворить по воле тверского князя и, наделив великим княжением, вборзе вместе с сыном отпустит его домой. Знал бы Александр, сколь мало осталось жизни врагу его, да и самому Узбеку, и что все, что надо было ему сейчас,— это тянуть-затягивать, как умел тянуть покойный Юрий Московский, и — кто знает? Не поворотилась бы иначе судьба Твери? Но ни тянуть, ни ждать Александр не умел и зазывным речам татарина Исторчея поверил потому, что хотел поверить, хотел скорей кончить, разорвать этот изматывающий круг неуверенности, призрачных надежд и тайных страхов, и — как тогда, как когда-то, бросив горожанам роковое «жечь!» и тем обрек свой город на гибель, а себя на десятилетнее изгнание — так и теперь не выдержал, не вынес того, что его противник, Иван Калита, вынес бы и выдержал седьмикратно. Почем знать? Протяни Александр еще, мог бы и сам Узбек переменить решение, как ни тщательно готовил Калита торжество своей воли в Орде.

Только старая мать, великая княгиня Анна, нынче посхимившаяся и ходившая в черном иноческом одеянии (лишь ею и держался в единой горсти тверской княжеский дом!), только она почуяла сердцем гибель и пыталась остеречь сына. Настасья, та в суетах и заботах, в постоянном страхе за Федю, застрявшего в Сарае, как-то на этот раз не сумела почуять беды, далась и сама на обман посулов и обещаний ордынских.

— Сын! Послушай меня, старуху, не езди в Орду!

— Мне не ехать теперь, мать,— лишить ся придет великого княжения навеки. А тогда — всё впусте, всё как ветром разнесено. Батюшка с Дмитрием не за то погинули!

— Сын! Послушай меня, глупую. Я мало уже пони-

маю, мое время прошло и ушло. Меня, такую, на том свети Михаил, твой отец, и не узнает, поди... Высохла вся, краше в домовину кладут... А только послушай старого сердца моего, не езди!

— Я воин, мать! Под жонкин подол мне ся не ухоронить! Чему суждено быть, то пусть и будет. А только, чаю, и Узбеку прискучила Иванова власть. Надо ехать в Орду!

— Много годов прожила я на свете и уже, верно, чужого веку остаток живу. И тебя, сын, гляди, по вискам сединою поволочило! Высок ты и статен, и собою хорош, и воин прямой, а только хитрости мало в тебе! Мужества много, а того, что у Ивана, ворога твоего, нет! Погинешь сам и Федю, внука моего, погубишь с собою. Не езди в Орду! Богата торговая Тверь, откупись дарами великими. Не езди, сын, послушай свою старую матерь!

— Федор и нынче в Орде. Боюсь, без моего приезду и его не отпустит на Русь Узбек. А заплачено досыти! Да и не откупиться серебром от ханской грозы! А там — дожидай новой рати нахождения, и снова мне убегать в Литву да сидеть десять летов во Пскове! А что станет с землею, мать? Нет, поеду к Узбеку! Выручу сына, а Бог даст, и великое княжение ворочу нашему роду!

— На кого оставляешь семью, Сашок? Мне, старой, уже не достанет сил, ни жизни не хватит дожидать возрастия внучат, меньших твоих! На кого оставляешь Тверь?

— Костянтин управит за меня, ему не впервой!

— Костянтин лежит в тяжкой болезни, да и... Веришь ли ты, Сашок, брату своему?

— Верю, мать!

— Гляди. А я уж и в нем изверилась. Московка, Юрьевна, как хошь им вертит. Помру — не было бы вам всем худа от нее!

— Пустое, мать! То одни сплетни женски! Что ковры она перевесила твои в покоях да княжьих мастериц за свое дело посажала, дак ты и сердце несешь на ее. Жонка — жонка и есь. Век за хозяином, одною мужевой головой оба и думают!

— Ослабла я, сын, и верно, мелки свары наши, женские, а только не лежит мое сердце к дочери Юрия! Ее ить отец батюшку твоего убил!

— Убил Кавгадый, мать! А приказал Узбек. К нему

и еду на поклон нонеча! Самому горька чаша сия, да не уйти! Должно испить до дна!

— Не езди, сын! Хошь под жениным подолом, а пересиди грозу!

— Поеду, мать. Участь моя нынче в Орде. Ворочусь великим князем всей русской земли, а нет — всяду к батюшке с Митей, в том мире, в горнем, одесную престола Господня. Судьбы своей на добром коне не объехати!

И он уходит. Высокий. Красивый. Седеющий. Прямой князь, витязь без страха и упрека, щедрый с дружиной, хлебосольный в пирах, храбрый на ловах и на рати, гордый и капризно-невнимательный. Человек, которого можно любить и нельзя, неможно спасти...

А великая княгиня Анна, замотав темный вдовий плат и кликнув двоих младших дружинников, проходит, решительная и прямая, висячими переходами на половину своего предпоследнего сына, Константина, и чужой, ненавистной и нелюбимой московской его жены. Она идет к нему, к больному. (Или не столь уж и больному, а лишь укрывающемуся — укрытому ли невесткой — от лица старшего брата и от ее, материного, лица?!)

Приход великой княгини нежданен. В бабьей суете, в сутолоке слуг подкатывает, кидается встречу толстоносая московка:

— Матушка! Нельзя! Болен!

— Пусти. К сыну иду! — говорит она сурово, отводя рукою почти готовую вцепиться ей в горло Софью Юрьевну.

— Матушка!

— Пусти! Я его родила!

Зарычав, невестка отступает. «Собака и есть!» — думает про себя Анна, пихая неподдающуюся дверь.

— Тута пождите! — кидает она своим молодцам и входит в покой. И здесь мечется непутем какая-то из Софьиных девок, мечется, явно не собираясь уходить.

— Брысь!

Та выбежала стремглав.

Анна озирает покой. Устремляет глаза на желтое лицо Константина. Верно, болеет. Ордынская болесть у него, не впервой уже. Как почнет трепать, так и не отпускает несколько дней.

— Отвар давали?! — спрашивает она строго. Кон-

стантин кивает — дергает головой на подушке, глядя на мать блестящими воспаленными глазами. Крупный пот росинками покрывает чело. Анна присаживается на край постели. Шелковым платом утирает лицо сыну. Говорит громко (во время приступов Константин становится приглуховат, иной поры приходится кричать ему в ухо): — Едет Сашко! — Наклонясь, вопрошает требовательно: — Знаешь?

Константин вновь кивает-ерзает по постели головой.

— Не хочу пускать! Пускать не хочу, говорю!

Константин молчит. Расширенным, блестящим взором, в котором сквозит страх, глядит на мать. (Она не знает, а он знает о том: вторая Софьина наушница забилась за полог кровати. Любое его слово будет тотчас передано жене.)

— Шкоды, шкоды не было меж вас никакой? Пакости никоторой вы с Софьюшкой ему не содеяли? На смерть ведь едет!

Константин потерянно дергается. Глаза матери его ужасают. Кабы не спрятанная Софьина холопка, может, в этот миг он и признался бы о грамоте тайной, неволею, по жениному навету, посланной в Орду...

— Нет? Не было?! Поклянись мне, Костянтин!

— Крестом... клянусь...— хрипло шепчет он, и крупный пот градинами сбегает с чела на зголовье. Отныне, обманув на кресте родную мать, он уже не человек. Анна встает. Ревниво и отчужденно озирает изложню. Показалось ли, или верно кто-то ся прячет за пологом? От гордости не пошла проверять. Да и сын зело плох. Покой ему надобен.

Лишь только за Анной закрывается дверь, в горницу, почти безумная, врывается Софья. (Холопка уже вылезла из-за полога, преданными глазами ест госпожу.)

— Костя? Чево она? Чево прошала? Ну! Ну же, говори! Ты ничего не сказал, нет? Поклянись мне!

— О здоровье прошала,— шепчет Константин,— я ничего... не сказал...

— А ты, полоротая, чего слышала, ну? Говори! — накидывается Софья на холопку.

— Прошала, пакости не было ли какой промеж вас и Лексан Михалычем.

— И што?!

— Костянтин Михалыч изволили отмолвить...

— Ну!!!

— Отмолвили: «Никоторой». И поклялись.

Софья рушится задом на постель, крупно крестит лоб, бросает устало:

— Пошла вон!

Потом, оборотясь к Константину, произносит с растяжкой:

— У-у-умница ты моя! Хоть тут-то вытерпел, не разнюнил... Слышишь?

Но Константин не слышит уже ничего. Он в обмороке.

Молодой, красивый, в расшитой шелками рубахе и рудо-желтом летнем тафтяном опашне, прибывает из Кашина младший Михайлович, Василий, юный дядя подрастающих племянников, Александровичей. Целует мать, жмет за плечи Всеволода, Владимиру с Андреем ерошит волосы, подкидывает в воздух меньшего, Михаила, и тот визжит и хохочет, вцепляясь в дядины долгие, шелковые на ощупь волосы.

Они пируют на сенях, с дружиною, и хоть нет за столом Константина, но нет зато и московской невестки. И княгиня Анна, сокрывшая в душе вчерашние страхи свои, улыбается сыновьям, открывая в улыбке некогда красивый, теперь уже лишенный многих зубов рот, говорит прежним, полным и «вкусным», голосом, угощает, предлагая то жаркое, то рыбу, то свежие фрукты и мед, то печенье собственного рукоделья, которым баловала их, маленьких, и сейчас еще нет-нет да и готовит по торжественным дням с помочью старой сенной боярыни своей. И они болтают, дурачатся, поминают забавные случаи на ловах: как Александр повис на дереве, зацепившись за сук кушаком, а конь вымчал из-под него и спокойно стоял рядом, пощипывая траву; или как Василий, перемахивая овраг, сорвался и угодил головой в куст и болтал ногами, пока не подоспели осочники. Смеются княжичи, смеется грудным волнующим смехом Настасья, и молодой деверь нет-нет и поглядывает с легкою безотчетною завистью на красавицу жену старшего брата. И сама Анна смеется дробным старушечьим смехом, смеется, и кашляет, и всхлипывает, и утирает невольные мелкие слезинки кончиком наброшенного на плеча синего шелкового плата.

Солнце низит, пробрасывая золото своих лучей сквозь отодвинутые оконницы, и багряно золотит столы,

лавки, лица гостей, вспыхивая на серебре и поливной глазури пиршественных столов. Звучат струны домр, гудят и заливаются рожки и сопели, пляшут, размахивая долгими рукавами, скоморохи, а там, за окнами, остывая к вечеру, пошумливает, укладываясь на покой, огромный город, и выкованная из восточной стали громада воды несет и несет гаснущий свет вечерней зари в дикую степь, в Орду, в земли незнаемые, досыти политые слезами и кровью русичей, угнанных туда в полон.

Длится пир. Не смолкают веселье и клики. Изрядно захмелели гости. Уже и княгини удалились к себе на покой. А все еще звучат здравицы, летают с блюдами и кувшинами взопревшие слуги, льются вина и мед, и музыка звучит не смолкая. Назавтра — отъезд.

«Ладо мой милый! Хороший мой! Нравный! Гордый мой сокол! Спишь? Спи! Спи, милый. И я посплю рядом с тобою. Быть может, последний раз? Чур меня, чур! Что я! Воротишь домой, ладо, и Федю привезешь с собою. Не нать мне ни княженья великого, ни персидской парчи, ни лалов, ни яхонтов дорогих! Вороти, Господи, ладу милого и любимого моего сына! Боле ни о чем не прошу! Дрема долит, а и заснуть некак! Только глазоньки соткну — словно уже и нет никого со мною! Да нет, вот он, вот, рядом... Устал на пиру. Захмелел. Спит. Спи, ладо! Спи, милый! До зари, до пути, до Орды... И я засну рядом с тобой, князь мой светлый! Пережили мы все, десять летов скитались на чужбине. Даст Бог, переживем и эту беду!»

Солнечные брызги дробятся на синей воде. Ветер шумит в листве, холодит лицо. Весь Кашин, почитай, вышел к пристаням, провожать своего князя.

Досюда, до устья Кашинки, доплыли по тихой воде. А тут, пока стояли службу у святого Спаса, разыгралась погода немалая. Встал ветер со встречной, ордынской, стороны, едва не опружливало лодьи. Порешили все же не ждать. Епископ с игуменами тверских монастырей, попами и причтом, в парчовом великолепии торжественных одежд, с иконами и хоругвями, выстроились на берегу. Уже не пораз перецелованы все дети, а снова и снова лезут к отцу, обнимают, хватают за

бороду, мокрыми ротиками стараются поцеловать в губы. Уже и Настасья, сияющая, вся в росе прощальных слез, разомкнула прощальные объятия, и Василий, обняв и по-мужски крепко трижды поцеловав брата, отступил в сторону. (Мать осталась в Твери, и хорошо, что никто не видел ее тотчас после разлуки, на высоте, в стрельнице княжого терема, одиноко оплакивающую горькими безнадежными слезами уходящий по Волге караван.)

— Долгие проводы — лишние слезы! — весело произносит князь, ступая на зыбкие сходни, уводящие его в небытие. И уже некому удержать, некому возопить: «Не езди!» И только ветр, чуя горечь далекого пути, ярится, и свищет, и рвет пену с кипящей воды, и не пускает, и держит княжеские насады.

«Не езди! — поет ордынский ветер, сгибая высокие дерева.— Не езди, князь! Зло ожидает тебя в земле незнаемой!»

Но не слушают ветра. Мощно вспенивают воду гребцы. Ярится ветр. Вновь и вновь пихает, и бьет насад княжеский, и гонит его встречь воды, в противную, в тверскую, сторону: «Не езди!» Но упорны гребцы, и упорен князь, идущий навстречу судьбе. И смиряется ветр. Медленно, толчками, уходит и уходит княжой насад в далекие дали, в дикие степи, в ничто.

## ГЛАВА 66

Кончался сентябрь. Осень нагоняла лодьи. Оранжевое пестроцветье берегов и холодный, с запахом горечи вянущих трав ветер, долгими сизыми языками вспарывающий густую синюю воду, треплющий паруса и кренящий княжеские насады. Ветер! Скажи хоть ты, о чем думает человек, плывущий на смерть? Но ветер воет неразличимо, а человек вовсе и не думает о смерти! Даже и зная — не знает, не верит до последнего часу. Кабы верил и знал — многое стало бы иначе, а иное содеялось бы даже и невозможным на нашей земле!

Сарай открывается нежданно. Город-торг, большой, шумный, грязный и величественный — величием хищной силы, величием заносчивой власти. Город без стен и даже без путной охраны. Город, гордо не знающий, не ведающий еще, что его нужно от кого-нибудь охра-

нять... Почто не теперь нагрянули на тебя удалые новогородские ушкуйники?!

Князя встречают, и первое — крепкое объятие сына. «Федя! Жив! Цел! Ну? Как тут?» — «Плохо. Потом!» Они едут бок о бок, и лицо сына, обожженное солнцем и ветром, кажет очень взрослым, куда более его семнадцати мальчишечьих лет.

— Не в пору, отец! Пождать бы!

— Звали!

— Знаю.

— Баба Анна остерегала.

Федор взглядывает на отца без улыбки, строго, и тотчас потупляет взор. На нем простая холщовая чуга поверх голубого зипуна, припорошенная пылью, заляпанная по полам брызгами унавоженной грязи из-под копыт. Руки твердо и ловко держат удила отделанного чеканным серебром оголовья. Ноги в востроносых сафьяновых сапогах уверенно стоят в стременах. В Орде выучился сидеть на коне так, что и позавидовать мочно.

— Баяли, Узбек воротит нам великое княжение! — уже с промельком сомнения замечает отец. Федор молчит, отвечает спустя время и невпопад:

— Данилыч, слышно, детей присылает в Орду. Днями будут. Все трое.

— Не верит успеху? — спрашивает Александр. Ему очень нелюбо расставаться с надеждами на счастливый исход его нынешнего приезда к хану.

— Пожалуй, наоборот: слишком верит! — отвечает, помедлив, Федор.— Не то бы остерегся, поди!

И не столько от слов, сколько от голоса сына Александру становится жутко.

Их настигает дружина, своя и ордынская. Чавкают, глухо топочут десятки копыт. Тянутся плетни, мазанки, избы, глиняные заборы голубых и синих, в пестрой глазури, дворцов ордынских вельмож. Они сворачивают, снова сворачивают. Вот наконец рубленые невысокие хоромы с крохотной бревенчатой церковкой под чешуйчатой, из дубовой драни, кровлей — тверское подворье. Князя ждут истопленная баня, обед и ханский пристав, вызывающий Александра через два дня на прием к Узбеку.

Вечером, оставшись впятером — отец, сын и трое самых доверенных бояринов,— они обсуждают дела. Дела, прямо сказать, невеселые. И все как-то загадоч-

но. Никто из ордынцев толком ничего не бает. Похоже, все изменилось с последнего наезда Калиты.

— Ране бы тебе приехать, княже! — сетует старик Никанор.— Али уж пережидать...

— Я то же рек! — отрывисто говорит Федор.— Даже коли б и со мною что...— он запинается, багрово краснеет под загаром, отводит глаза. Сердито заканчивает: — Всеволод не дитя. Да и прочие...

Бояра супят брови. Грех молвить такое при «самом», а княжич-то прав! Александр спорит, перечисляет знакомых ордынцев. Он привез подарки — ловчих соколов, сукна, жемчуг, меха, серебро. Он не хочет сдаваться так вот, вдруг и сразу! И бояра кивают послушно: может быть, и передолим, может, и станет по-нашему... Им тоже не хочется верить в роковой исход.

И начинается долгая, ежеден без перерыву, как назвал ее сам Александр, мышиная возня. Князь сам объезжает верхом вельмож ордынских, дарит, улещает, упрашивает.

Узбек принял Александра также загадочно. Не гневал и не корил ничем, но вроде бы глядел на него из дали дальней, с чужого уходящего берега. И эта остраненность пугала паче царского гнева или державных укоризн. О роковой грамоте, выкраденной у него Акинфичем, Александр, на горе себе, так и не узнал до последнего часу. Привезенные с собою сокровища таяли безо всякого толку. А вельможи все так же говорили наразно, пугая и томя надеждами. Днем толстый краснорожий татарин, качая головой и прицокивая, любуется подарками тверского великого князя, пьет русский мед, обсасывает жирные пальцы и, закатывая глаза, говорит, мешая русские и татарские слова:

— Ничего не бойся, князь! Великое княжение получишь! Верна гаварю (это по-русски)! Узбек тебя любит, сын твой любит, спи спакойна, князь! Скоро дома будеши!

А вечером другой татарин, тоже плотный, кормленый, жестоко супит брови и тоже качает головой:

— Падаркам приму, а только дела твой палахой, князь! Убиту ти быти от царя. Верна гаварю, как себе гаварю! Зачем приезжал, зачем верил? Каму верил? Исторчей верил? Черкас верил? Товлубег верил? Всё вороги твои! Убиту быти тебе теперь от царя!

И Александр, воспрянувший было духом после давешнего разговора, снова впадает в отчаяние.

Суд над тверским князем свершили тайно. Ни Александр, ни бояре его не знали о том.

Споры на совете у хана поначалу разгорелись жаркие.

— Э-э, Узбек! Договоры пишут все, и все нарушают их потом! Тверской коназ сидел в Литве и писал под рукой Гедимина, а нынче, слыхать, Гедимин умирает и с ним умирает злоба его! Коназ Александр сам пришел к тебе, значит — не имеет тайной вражды! Бранные слова уносит ветер, а пролитая кровь уходит в землю. Ты оказал милость тверскому коназу два года назад. Коназ изменился с тех пор? Нет! Так не разрушай своей милости, Узбек! Коназа Ивана бойся: он друг только себе самому! Нынче Иван не приехал в Сарай. Что он готовит? Знаешь ли ты? Товлубег говорит: коназ Александр плохой, коназ Иван хороший. Но Товлубег пойдет с Иваном под Смоленск добывать урусутский полон. Почто веришь ему?

Товлубег (Товлубий) поднялся, засопев:

— Кто не берет добра на войне, тот не воин! Да, я поведу воинов хана на Смоленск! Почему не слушаешь Наримонта, сына Гедиминова? Коназ Александр предал тебя Литве! Ты милостив, Узбек, на горе себе! Брата убили тверичи — простил, сестру отравили — простил. Дойдет черед и до тебя! Вот коназ Иван и вот коназ Александр. Поставь их рядом и помысли, кто из них должен тебя любить и кто ненавидеть? Думаешь, тверской князь не мыслит о мести за отца и брата? Нет, не пустые речи — договор с Литвой! Пусть умрет Гедимин — дети его пойдут против тебя! Ты справедлив и будь справедлив до конца: вырви волчий корень! Имей одного верного тебе раба на Руси — коназа Ивана, а ворога убери!

За Товлубегом встал Черкас и тоже потребовал смерти Александру, напомнив, что князь Иван послал в Орду всех своих детей, а младшие дети тверского князя сидят в Твери. За Черкасом встал Беркан и тоже потребовал смерти.

Узбек смотрел и слушал задумчиво. Он ощущал, что Калита страшен, но был уже и сам в руках Калиты. Он не любил Черкаса, прозревая грядущие беды от него ханскому дому, но у Черкаса была сила, а с силой приходило считаться неволею. Его, Узбека, вели, как быка на аркане, и он не мог ничего содеять противу, даже если бы и захотел.

Так состоялось осуждение Александра, а тверской князь, не зная о том ничего, все ездил и ездил, раздавая бесполезное серебро.

Кончался месяц. Косые дожди секли Сарай и вспененную, потемневшую Волгу. Вечерами князь скидывал на руки слуге насквозь промокший и весь заляпанный грязью охабень, тяжело проходил в дымное жило, сгорбясь, издрогший, садился у огня.

Федор, чем мог, помогал отцу. Тоже разъезжал, вызнавал, уговаривал. О приезде сыновей Калиты проведал он первый. Повестил отцу. Тот глянул пугливо, покивал головой, промолчал. Ни тот, ни другой не сказали об одновременно возникшей у них отчаянной мысли. Прибудь в Сарай сам Калита, Александр, возможно, и решился бы на встречу с ним. Но пойти к детям врага мешала гордость. Вечерами он подолгу молился. Обманывая себя, просил Господа сподобить его прияти горькую смерть за род христианский. И была отчаянная надежда: быть может, помилует Господь? О том, что его убьют, Александр узнал наверное только за три дня до смерти: прибыл вестник от самого хана...

У Александра достало сил никому не сказать об этом. Был канун памяти великомученика Дмитрия. Наутро князь, не сомкнувший очей во всю ночь, причастился святых тайн и исповедался, а после праздника повелел петь вечерню и, отпустив духовника и бояр, улегся спать. Сон не шел к нему. Ждать долее было невыносимо. Князь встал, оделся, не вздувая огня, тихо вышел, стараясь не разбудить слуг, сам оседлал коня. Он не ведал, что Федор не спал тоже и узрел тайный уход отца.

До московского подворья было рукой подать, всего две улицы. По слабым отсветам в волоковых окнах догадал с облегчением, что тут еще не спали. Не слезая с коня, постучал в ворота. В ответ раздался заливистый собачий брех. Не отворяли долго. Мелкий холодный дождь не дождь, а противная ледяная морось ползла за ворот. Князь, издрогнув, застучал сильнее. Наконец раздалось недружелюбное:

— Кого несет в эку пору непутем?

Александр назвал себя. Ворота со скрипом распахнулись. Дворский мялся, подымая чадящий смолистый

факел, веря и не веря, оглядывал тверского князя. Наконец произнес опасливо:

— Пойду доложу!

Александр спешился, ступив прямо в грязь. Собирались слуги. Чем дольше не ворочался дворский, тем все больше и больше доходила до Александра стыдная унизительность и нелепость его приезда. Что он скажет Иванову сыну? О чем станет просить?

Наконец дворский вышел и, отводя глаза, пробормотал:

— Не приказано принять, княже!

Опустив голову, молча, стыдясь самого себя, Александр взобрался в седло...

Федор подскакал минуты через две после отъезда родителя. Яростно застучал в ворота. Пихнув слугу, ворвался во двор, смахнув с дороги выбежавшего дворского, обрушился на запертые двери, выкрикнул яро:

— Семен!

В хоромах молчали.

— Семен!!! — страшно, почти срывая голос, прокричал он во второй након.— Это я, Федор! Отца, отца не принял! Перед казнью! Отвори, Семен!

Палаты молчали. Федор, рыча, забарабанил в дверь.

— Отвори, Семен! Не молить, не плакать — плюнуть в рожу тебе хочу!

Холопы, нахрабрясь, взяли Федора за плечи.

— Прочь! — выкрикнул он, расшвыривая смердов.

— Не отокроешь? — в голос вопросил он молчащую тьму.— Не отокроешь, Семен? Дак помни! Воздастся тебе! Жестокою смертью погинешь, помни мои слова, Семен, не забывай!

Его снова взяли за плечи. Федор, ощерясь, вырвал нож. Толпа раздалась. Он прянул к коню, взмыл в седло, бешено, с места, ринул скакуна в опор.

Дворский, обморочно наваливаясь на непослушные створы, с треском захлопнул ворота, прохрипел:

— Засов!

И только ощутив ладонями продернутый в кованые проушины дубовый брус, забормотал, отходя:

— Свят, свят, свят! Чур меня, чур! Не виноват, батюшки святы, эк оно пакостливо совершилось-то!

В хоромах же в этот час творилось следующее. Семен еще не ложился: писал грамоту отцу. Братья уже

задремывали на постеле. Приезд Александра застал его врасплох, и Семен, смутясь духом, разбудил было братьев и сенного боярина. Андрей, моргая со сна, долго не понимал, что и кто. Иван хотел было уже встречать тверского князя, и только боярин сразу сообразил дело:

— Нельзя тебе, батюшка, видеться с им! Николи нельзя! Узбека осердишь, отцову волю порушишь! Бесермены скажут, что ты, батюшка, с ими заодно, с тверичами-то, вместях, значит! Дак и его теперича не спасешь, и себе худо содеешь!

Боярин был трижды прав, а братьев и будить не стоило. Но, разбуженные, уразумев дело, вдосталь намученные уже тем, что происходило и деялось в Орде от их имени, они не захотели остаться в стороне. Едва боярин выбежал из горницы — отдать приказ дворскому не пускать князя, Андрей кошкою кинулся вслед за ним, выкрикивая:

— Стой! Князя не трожь, смерд! Я сам приму Александра! — заносчиво бросил он Симеону через плечо, но не поспел сделать и двух шагов.

— Не смей! — С нежданною дикою силой Симеон схватил брата за плечи и ринул его в сторону от дверей.

Андрей, не удержавшись на ногах, пал на колена и руки, вскочил, едва не бросился сам на брата, но замер — глаза в глаза. Страшные мгновения оба молчали. Но вот плечи Андрея свело судорогою, он сгорбился, всхлипнув, разжал кулаки и проговорил с обреченностью ужаса:

— Мы убийцы!

— Да! — жестко отмолвил Симеон.— И я — паче тебя!

— Уби... уби...— губы Андрея не слушались.

— Да! — повторил Симеон.— Мы убийцы!

— Неужели ничего нельзя содеять? — жалобно, впервые подав голос, проговорил Иван.

— Ничего. И выбора нет. Это — власть! — сурово отмолвил Симеон.

— А я не хочу такой власти! — выкрикнул Андрей.

— Ты и не получишь ее,— мрачно возразил Симеон.— Я старший. И в ответе за все. И грех — на мне. Хочешь знать, я уже наказан. Смертью сына. И это не все, а начаток господней грозы...

— Отец нас, как котят, бросил сюда, а сам...— пробормотал Андрей, вздрагивая.

— Батюшку не трожь! — выкрикнул высоким голо-

сом Симеон.— Ему тяжеле, чем нам? Веси ли вы оба, почто нас троих отослал он в Орду? Может, мы... может, нас... яко Авраам Исаака... на заклание... Дак каково было батюшке посылать нас на смерть?! Ежели бы другояко поворотило здесь, про это ты думал?

— А что... Могли разве и нас? — вновь подал голос Иван.

— Да! Выбора нет! Кого ни то... нас или их... Теперича Александр Михалыч, а могло, могли мы!

Андрей вдруг пал ничью на постелю и зарыдал.

— Спи! — примирительно проговорил Симеон.— А я буду молить Господа.

В этот-то миг и раздался бешеный стук в ворота. Симеон решительно дунул на свечу и выскочил в сени, прихлопнув за собою и подперев какою-то палкой тяжелую дверь.

Руки его, совершенно ледяные, лежали на засове двери, когда Федор снаружи колотил и кричал поносно. Симеон стоял в полной темноте в одной нижней рубахе, не чуя холода, и только беззвучно повторял, шевеля губами:

— Господи, Господи, Господи...

Когда Федор выкрикнул свое последнее, про плевок, Симеон склонил голову (пальцы аж побелели, вцепившись в затвор) и прошептал в темноту:

— Ну же, плюнь, плюнь на меня! Хуже я худших на земле!

И только когда там, на дворе, со скрипом захлопнулись ворота, Симеон, стуча зубами, на цыпочках прошел в горницу (братья молчали, слава Богу) и, не зажигая огня, ощупью добравшись до ложа, повалился лицом вниз на постель.

О ночном событии ни во второй, ни в третий день оба, отец и сын, не говорили друг с другом. Двадцать восьмого октября, в день памяти святых мучеников Терентия и Неонилы и святой мученицы Параскевии, Александр, заметно постаревший за прошедшие сутки, велел служить заутреню и молился долго, с увлажненными глазами. Князев духовник вспоминал потом, что Александр в этот день слушал псалмы Давыдовы и на словах: «Господи, что се умножишася стужающие ми... мнози глаголют душе моей: несть спасения ему...» — прослезился.

Так ли, нет, но на позднем утре деятельная натура князя взяла свое. Александр сел на коня и поехал вновь по знакомым ордынцам, перенимаючи вести о казни своей, а доверенного слугу послал к царице за тою же нужою. Ополдень князь и слуга одновременно воротились в стан. Надежды не было. Более того: надежды не было и для Федора. Александр, растерянный, не зная, как повестить, как высказать, зашел к сыну, но Федор не дал ему говорить.

— Знаю, отец! — отмолвил он на молчаливый крик воспаленных родительских глаз.— Да мне и соромно было бы остати опосле тебя, батюшка! — И Александр молча, с благодарным отчаяньем, припал к плечу сына.

Взошел духовник, и Александр, скрепясь, приказал петь часы. Торжественное и согласное пение мужских голосов не то что успокоило, но придало мужества предстоящим. Ничего сделать уже нельзя, так хоть погибнем достойно! — казалось, выговаривали величавые гласы византийского молитвословия.

Когда кончали, князь ненароком глянул в оконце и увидел князя Черкаса с толпою татар, приближающегося к русской веже. Это шла смерть. Забыв обо всем, Александр выскочил на улицу — то ли драться, то ли возопить безумно... К нему подбежали, не то свои, не то чужие, вырвали оружие, заломили руки назад.

Князь остоялся. Жадные пальцы татар срывали с него верхнее платье, золотую цепь, украшения. Пронзительный холод был сладок обнаженному телу, как далекий зов родины. Он не заметил, что Федор, подошед сзади, твердо стал рядом с отцом.

Тучный, в лисьей шубе, на длинном породистом коне подъехал Товлубий. С коня, сверху вниз, сузив глаза, уставился на связанного Александра. Ордынец сопел, тщась узреть во взоре тверского князя ужас приблизившейся смерти. Но Александр уже не видел его. Он поднял глаза к небесам, глядя на белое-белое одинокое облако на синем холодном окоеме. Губы сами шептали молитву, а в очах далеким воспоминанием пробежало и сникло осеннее золото листвы...

Вот так во время охоты остояться вдруг и, подняв голову, увидеть на звонком холодном небе ослепительно белый, снизу и доверху ровно сияющий ствол березы в червонном золоте осени. Трубят рога... Как мало он жил, как мало смотрел! Заливистый лай хортов, бешеный бег коней... Сына он погубил тоже. Быть может,

Всеволод или Владимир? (О меньшом, Михаиле, Александр как-то не вспомнил в этот час, а продолжил эту, уже безнадежную, борьбу Твери с Москвою и не Всеволод вовсе, а именно Михаил.)

Смерть была напоена осеннею горечью, сухим и холодным режущим ветром степей. Нужно было мужество, чтобы встретить ее достойно. Мужество дóлжно иметь мужу всегда, по всякой миг многотрудной человеческой жизни. И перед часом смерти — сугубо, ибо зачастую одним мгновением этим оправдана или перечеркнута, опозорена, наниче обращена вся предыдущая жизнь.

Из далекой дали донесся слабый возглас татарина:

— Убейте их!

Что-то выкрикнул Федор в ответ. Железо с неживым хрустом вдвинулось в грудь и живот — больше он ничего не чувствовал...

Убитым князьям отрубили головы, волочили и грабили разбегавшихся бояр, разграбили вежу. Потом, к ночи, верные собрали разрубленные на части тела господина своего и княжича Федóра и, оплакав, уложив по-годному в дубовые колоды, повезли на Русь.

## ГЛАВА 67

В далекий Радонеж вести доходят глухо, успевая обрасти по дороге свитою небылиц. О гибели тверских князей в Орде повестил случаем проезжий княжой гонец, а то бы, почитай, и после Рождества не узнали! Жизнь здесь идет ровно, от одной летней страды до другой, по годичным кругам, и только то, как растут дети да старятся старики, и отмечает наступчивое течение времени.

Сыновья боярина Кирилла, Стефан и Петр, оженились. Стефан — на Анне, внучке протопоповой. Варфоломей собирается в монастырь. Вновь и опять валят лес на новые хлева и хоромы. Дневные труды окончились, холопы ушли, и только Стефан с Варфоломеем задержались в лесу. Снег сошел, но земля еще дышит холодом, а чуть солнце садится за лес — начинает пробирать дрожь. Стефан сидит сгорбясь, отложив секиру, накинув на плеча суконный охабень. Варфоломей — прямь него, кутаясь, как и брат, в сброшенный давеча, во время работы, зипун. Он вырос, возмужал,

оброс светлою бородкой и спорит со Стефаном уже почти как взрослый, хотя Стефан по-прежнему побивает его усвоенной в Ростове ученостью.

Сейчас Варфоломей говорит угрюмо, не то брату, не то самому себе:

— Опять погибли двое наших князей в Орде. Чаю, вновь по навету, как Михайла Святой! Ты баешь, это нужная борьба за вышнюю власть на Руси? Пусть так! Ну а зачем наш наместник, Терентий Ртищ, отобрал за спасибо коня у Несторки? Зачем, ради какой злобы, Матрену Сухую заколдовали на свадьбе, и с тех пор баба сохнет день ото дня и чад приносит все мертвых? А Тишу Слизня прошлою зимой не деревом задавило, я вызнавал, а порешил его в лесу Ляпун Ерш, и это знают все и молчат, потому что у Ляпуна, как бают, дурной глаз и он может испортить того, кто доведет на него наместнику! А когда у Ондреянихи летось сгорел двор, то никто ей не восхотел помочь в беде, окроме нашего бати да Онисима, и только потому, что бабы Ондреяниху облыжно считают колдовкой! Ты мне скажи,— подымает голос Варфоломей,— не то скажи, кто прав и кто виноват в княжеском споре, а — откудова зло в мире? Откуда само зло! Вечная рознь князей, убийства, неправый суд, жестокость, бедность, леность, зависть, болезни и, паче всего, равнодушие людское? Как все это помирить с благостью божией? Ведь Господь злого не творит! Не должен творить!

— Чти Библию! — передергивая плечами и хмурясь, устало отвечает Стефан.— Всякий иудей скажет тебе, что Господь и награждает и карает за несоблюдение заповедей своих. Коли ты беден, нищ, наг, и болен, и неуспешен в делах — значит, наказан Господом! Коли богат, славен, успешлив — значит, взыскан и любим Богом!

— Это неправда,— горячится Варфоломей,— этого не говорил Христос!

— Так я то и молвил им! — взрывается Стефан.— Еще тамо! В Ростове! В училище! Бог Израиля и Бог Евангелия — разные боги! Один жесток, другой милостив! Один дал закон, другой — благодать! Один карает жезлом железным, пасет избранный народ, другой — принимает всех равно в лоно свое и сына единородного послал на крест во спасение людское! Чти в Евангелии от Иоанна, сам же Иисус говорит,

яко Господь послал сына своего в мир «не судить мирови, но да спасется им мир!» А что рек Иисус фарисеям и книжникам? «Отец ваш диавол, и вы похоти отца вашего хощете творити; он человекоубийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем! Егда глаголет — лжу глаголет, яко лжец есть и отец лжи!» Ежели хочешь, Иегова — это дьявол, соблазнивший целый народ! Народ, некогда избранный Богом, но соблазненный золотым тельцом и приявший волю отца бездны!

К чему суть заповеди Ветхого Завета? К чему речено, что прежде рождения человека предначертано всякое деяние его? Что защищают они? Мертвую косноту безмысленного зримого бытия, право всякого на безответственность в мире сем! Ибо ежели до рождения предуказаны все дела его, то нет ни греха, ни воздаяния за грех, нету ни праведности, ни праведников, а есть лишь избранные, и только!

Тому ли учил Христос? Не вдобавок к старым, а вместо них дал он две — всего две! — заповеди: возлюби Господа своего паче самого себя и возлюби ближнего своего яко же и самого себя! Не отвергал ли он с яростию мертвую внешнюю косноту обрядов иудейских? Не с бичом ли в руках изгонял торгующих из храма? Не проклял ли он священников тех, говоря: «Горе вам, книжницы и фарисеи!»? Не требовал ли он деяния от всякого как в притче о талантах, такожде и в иных притчах своих? Не показал ли он сам, что можно поступать так и инако, не воскрешал ли в день субботний, не простил ли грешницу, не проклял ли древо неплодоносное? Не он ли заповедал нам, что несть правила непреложного, но есть свыше данное божественное откровение? Не он ли указал на свободу воли, данную человеку Отцом небесным? И — что с каждого спросится потом по делам его?! А они мне в ответ: «Ересь Маркионова!» Вот так! Слова Христова и — ересь. Мол, Ветхий Завет принят издревле и грешно даже мыслить о сем... Грешно мыслить! А совсем не мыслить разве не грешнее во сто крат?

Стефан умолк, и Варфоломей в сгущающейся тьме холодного молчаливого леса (солнечные лучи уже ушли, уже начинает тускнеть и бледнеть палевая полоса заката и мрак, незримо подступая, окутывает стволы) вдруг увидел полосатый талес и надменно выпяченную челюсть бухарского иудея. Или то черно-белые узоры

мха на суковатой поваленной ели? И резкий голос будто бы произнес в тишине: «Что ваш Христос!»

— Ересь Маркионова! — задумчиво повторил Варфоломей.

— Да! — отозвался Стефан.— Маркионова ересь... Был такой, единый из гностиков, Маркион, отвергавший Ветхий Завет... Гностики не считали мир прямым творением божиим, а манихеи, вслед за ними, и вовсе начали утверждать, что видимый нами мир — это зло. Порождение дьявола. Беснующийся мрак! Мрак, пожравший свет, заключенный в телесном плену и жаждущий освобождения. И надобно разрушать плоть, губить и рушить этот тварный мир, чтобы выйти туда, к свету... Вот, ежели хочешь, и ответ на твой вопрос! Зло в мире потому, что сам мир — зло. И, убивая друг друга, люди сотворяют благо. Так учат и богумилы болгарские, и павликиане, отвергающие святые таинства.

— Мир не может быть злым, раз он создан Господом! — упрямо отвечает Варфоломей, покачивая головой.— Посмотри! Мир прекрасен и светел! Зачем же иначе Христос рождался здесь, в этом мире, и в человеческом обличии?

— Гностики утверждают, что тело Христа было эфирным, призрачным, и никаких мук он испытывать не мог.

— Неправда! — отрезает Варфоломей. (Крестную муку Христа ему не нужно доказывать даже. Он ее чувствует и так всею кожей. Иногда, когда думает о ней, даже ладони начинают зудеть и краснеют посередке, в тех местах, где были у Спасителя раны от гвоздей.)

Оба надолго замолкают, слушая засыпающий лес и следя, как ночная мгла беззвучно и легко выползает из чащоб, окутывая своею незримой фатою вершины дерев.

— Хочешь,— вновь нарушает молчание Стефан, пожимая плечами,— прими учение латинян, что дьявол — это падший ангел господень, за гордыню низринутый с небес. И что он тоже служит перед престолом Господа. Слыхал, что объяснял лонись проезжий фрязин? У них, когда отлучают от церкви, дак клятвою передают человека в руки дьявола!

— Союз Господа с дьяволом я принять не могу,— угрюмо и твердо отвечает Варфоломей.

— А по учению блаженного Августина,— продолжает Стефан с кривою усмешкой,— каждому человеку заранее начертано Богом погибнуть, или спастись. Заранее! Еще до рождения на свет! Есть темные души, уготованные гибели, и есть те, кого Господь прежде времен назначил ко спасению. И переменить своей судьбины неможно никому! Пелагий возражал Августину, так Пелагия прокляли! Думаешь, почему мы с католиками теперь не в одно?! Из-за символа веры только? Из-за «filioque» пресловутого? Как бы не так! Наша православная церковь каждому дает надежду спасения!

— Как и учил Христос...— прибавляет Варфоломей. (Об этом они с братом толковали уже не пораз и досыти, и не это занимает его теперь. Ему даже не нужно представлять себе ученого фрязина в высоком резном кресле там, на извитом мшистом дереве, окутанном темнотою ночи, изрекающего свои непреложные истины.) — И все-таки ты не ответил мне, откуда зло в мире? — говорит он, помедлив.— Ежели Бог добр, премудр, вездесущ и всесилен!

— Есть и еще одно учение,— отвечает Стефан,— что зла в мире и нету совсем. Попросту мы не понимаем всего, предначертанного Господом, и за зло принимаем необходимое в жизни, ведущее к далекому благу! Вот как словно в споре Москвы и Твери о княжении великом. Может, убийства и тут ко благу грядущего объединения Руси?

— «Отыди от меня, сатана!» — строго возражает Варфоломей, прикрывая уши.— Такого я слушать не хочу! Зло есть зло, и всякое зло раньше или позже потребует искупления! Это ведь Иисус сказал! Сам! И в молитве господней речено есть: «Но избави нас от лукавого!» Выходит, дьявол постоянно разрушает всемогущество божие? Как это может быть, Стефан? Я должен знать, с чем мне иметь дело и против чего бороться в мире! Мнишь ли ты, Стефан, что, не явись Христос на землю, люди уже давно погибли бы от козней дьявольских, злобы и ненависти? И почему не погибнет сам дьявол, творец и источник зла, ежели он есть? Как помирить необходимость зла с всемогуществом божьим?!

— А как помирить свободу воли с вмешательством божиим в дела земные?! — отвечает Стефан вопросом на вопрос.— Думаешь, так уж глуп был Августин со

своим предопределением? Не-е-ет, не глуп! Надо допустить одно из двух: или свободу воли, или... всемогущество божие!

— Стефан!

— Создав пространство вне себя, Бог сам себя и ограничил, ибо находится вне, снаружи,— следовательно, он не вездесущ.

— Стефан!

— Создав необратимое время, он не может уже содеять бывшего небывшим. Следовательно, он не всемогущ.

— Стефан!!!

— Создав души, наделенные свободной волей, он не может, не должен мочь предугадывать их поступки! Следовательно, он и не всеведущ!

— Стефан, что же ты тогда оставляешь от величия божия?!

— Любовь! — яростно отмотнул головою Стефан.— Это так! Именно потому, что он добр. Ибо если бы он был вездесущ, то он был бы и в зле, и в грехе, а этого нет!

— Этого нет! — эхом, начиная понимать, откликается Варфоломей.

— Это так, потому что он милостив! — кричит Стефан.— Ибо если бы он был всемогущ и не исправил бы зла мира, то это было бы не сострадание, а лицемерие!

Варфоломей сосредоточенно слушает.

— Это так,— продолжает Стефан,— потому что, если бы он был всеведущ, то он знал бы и злые наши помыслы. И люди не могли бы тем самым поступить иначе, дабы не нарушить воли его! Понимаешь?! Но тогда за все преступления должен был бы отвечать Господь, а не люди, которые всего лишь исполнители воли Творца!

— Бог добр, следовательно, не повинен в зле мира сего, а источник зла — сатана! — Стефан отирает лицо рукавом. Он весь в холодной испарине.

— Значит, ты признаешь силу сатаны, Стефан?!

— Да! Но ежели сатана сотворен Богом, то вновь и опять вина за его деяния — на Господе.

— Этого не может быть!

— Да, этого не может быть! — подтверждает Стефан.— И значит, сатана не тварь, а порождение небытия и сам — небытие, нежить! Я это понял давно, тогда

еще... Эйнсоф — тайное имя бога каббалы, он же и есть дьявол, или сатана. Но «эйнософ» означает пустоту, бездну, ничто!

— Но ежели сатана действует?..— недоумевает младший.

— Да, сатана действует! И значит, небытие может быть действенным, бытийным, но — не само по себе! Небытие незримо влияет на нашу свободную волю, использует необратимость времени, сочится через разрывы в тварном пространстве — короче, находит пути именно там, где Господь добровольно ограничил себя. Те люди, животные или демоны, кто свободным волеизъявлением своим принимают закон сатаны, превращаются в нежить и теряют высшее благо смерти и воскресения на Страшном суде. Ибо тот, кто не живет, не может ни умереть, ни воскреснуть. Смерть сама по себе не зло, ибо за нею идет новая жизнь. Зло и ужас — вечное жаждание, вечная неудовлетворенность, без надежды на конец. Это и есть царство сатаны! — Глаза Стефана горят темным огнем, он сейчас почти такой же, как прежде, и голос звучит, словно с высоты вещая народу.— Сила зла только во лжи! — продолжает он со страстною силой.— Ложью можно преодолеть ход времени, не того, Господом данного прежде всяких век, а времени в нас, в нашем разумении! Ложью можно доказать, что и прошлое было не таким, каким оно сохранилось в памяти и хартиях летописцев! Ложью легко обратить свободную волю в несвободную, подчиненную маре, мечтам, утехам плоти и прочим прелестям змиевым. Ложь созиждет великое малым, а малое сделает великим, ложь сотворяет бывшее небывшим, а небывшее награждает призрачным бытием на пагубу всему живущему!

Ежели хочешь знать, то наивысший святой сатаны — Иуда, предавший учителя. Тот, кто следует примеру Иуды, свободен от греха, ибо все, что он творит, надо звать благом. Эти люди пребывают по ту сторону добра и зла. Им позволено все, кроме правдивости и милосердия!

— Не мнишь ли ты, Стефан, что наши князья и сам Иван Данилыч Калита...

— Ты хочешь, чтобы я здесь, сидючи в этом лесу, приговорил к смерти или жизни вечной великого князя московского? — невесело усмехнулся Стефан.— Нет, Варфоломей, не мыслю! — отмолвил он, помолчав.—

Мнится мне, Иван Данилыч строго верует в Господа, и, творя зло, ведает, что творит. Надеюсь на то. Верую!

— Веришь ли ты тогда, что покаянием можно снять с души любое бремя и избегнуть возмездия за злые дела на Страшном суде?

— Об этом знает только Господь! Не в воле смертных подменять собою высший суд и выносить решения прежде Господа... В сем, брате, еще одно наше расхождение с латынскою ересью! И запомни: дьявол всегда упрощает! Он сводит духовное к тварному, сложное — к простому, живое — к мертвому, мертвое — к косному, косное раздробляет в незримые частицы, и те исчезают в эйнсофе, в бездне, в пустоте небытия! Только силою пречестного креста спасена земля от уничтожения злом и ныне готовится к встрече Параклета, утешителя, который идет к нам сквозь пространство, время и злобность душ людских, идет, и вечно приходит, и вечно с нами, и все же мы чаем его повседневно и зовем в молитвах своих!

Стефан кончил — как отрубил. Наступила звенящая тишина.

— Стефан, ежели ты прав,— медленно отвечает Варфоломей,— то борьба со злом заключена в вечном усилии естества, в вечном творчестве, ежели хочешь, и в вечном борении с собою? И еще в сострадании ко всему живущему! И еще, наверно, в неложной памяти о прошлом... Но ты так и не сказал мне твердо: зло первее всего от нашей свободной воли или от сатаны? Должно ли прежде укреплять себя в Господе или прежде всего молитвами отгонять нечистого?

— Ты хочешь спросить, прав ли ты, что идешь в монастырь? И что я...

— Я не об этом хочу спросить тебя, Стефан! — с упреком перебивает Варфоломей.— Мне вот здесь, теперь, сидя в этом лесу, на этом древе, перед ликом всего, что ныне творится на нашей русской земле, надо понять, виновны ли прежде всего люди, сами русичи, в зле мира? Ведь ежели зло — это действенное «ничто», как ты говоришь, то только от смертного зависит не дать ему воли!

Стефан медлит. И лес молчит и тоже ждет, что скажет старший на заданный младшим вечный и роковой вопрос.

— Да, виновны! — глухо отвечает наконец Сте-

фан.— Ежели ты так требуешь ответа... Но, Господи,— роняет он с болью, закрывая лицо руками,— так хочется найти причину зла вовне самого себя!

В этот-то миг громко хрустнула ветка под чужою ногою. Оба брата враз и безотчетно вздрогнули. Незнакомец, фрязин по виду, верно, из купеческого каравана, давеча заночевавшего в городке, легко переступив через поваленное дерево, уселся на коряге напротив них, усмешливо и быстро оглядев того и другого. Непрошеный гость был высок, худ, с длинным большелобым лицом и слегка козлиною, похотною складкою рта. Темную поблескивающую одежду незнакомца нельзя было рассмотреть в сумерках.

— Достойные молодые люди! — воскликнул он высоким скрипучим голосом.— Вы так шумите, что я неволею выслушал все ваши ученые рассуждения и решил присоединиться к беседе. Вы! И вы также,— он слегка, не вставая, поклонился братьям, каждому в особину,— говорили тут о-о-очень много любопытного! Но, увы! Должен и огорчить, и успокоить вас обоих! Дьявола вовсе нет!

(Только после подумалось Варфоломею, почему ни он, ни Стефан не вопросили незнакомца, кто он и откуда, и почему так хорошо понимает русскую молвь, и как очутился в лесу, в отдалении от Радонежа. Теперь же оба невольно и безвольно заслушались диковинного гостя своего.)

— Я попытаюсь примирить ваши недоумения! — начал незнакомец.— Вам, конечно, неведомо учение божественного Эригены? Да, да! Британского мниха — кстати, соплеменника любезного вашим сердцам Пелагия,— изложенное им в сочинении «De divisione Naturae» — «О разделении природы». Неизвестно? Так вот, Эригена утверждает, как и вы, молодой человек, что Бог создал мир из самого себя. Но Бог слишком огромен! Это сама Вселенная! Божественный мрак! Он, если хотите, кхе-кхе, потеет творением своим! И, конечно, вовсе не подозревает о созданном им мире! Возможно даже, будучи бесконечен, не имея ни начала, ни конца, он не ведает и о своем собственном существовании!

Люди же, сотворенные Богом, и сами творят из разума своего виденья, мысли и — образы! (Гость повел руками округло, и Варфоломей подивился тому, какие у незнакомца долгие персты и какие длинные ногти: верно, не работал ни разу!) Вы сами, молодые

люди, только что весьма приятно сочиняли, или создавали,— поправился он,— мысленный мир. Из тварного и временного производили духовное и вечное! Ибо идеи, «образы вещей», как говорил великий Платон, вечны! Да, да! Идеи, они суть ваши создания! А весь окружающий нас мир, увы, ничего не творит, а лишь ждет приложения сил человека! Каковое приложение сил и порождает иногда, гм-гм, некоторые неудобства, или даже жестокости, или то самое «зло», причина которого так заинтересовала вашего братца, кажется, если не ошибаюсь? И вы, достойные молодые люди, я вижу, не тратили тут времени даром, а создавали... Гм! Ну, не создавали, а рубили, рушили, то есть творчески изменяли окружающий вас мир — «сотворенное и нетворящее», как говорит Эригена!

Вопросите себя: зло ли вы приносили миру или пользу? Быть может, лес станет еще гуще расти на этом месте сто лет спустя? А быть может, тут образуется с годами зловонное болото? Во всяком случае, лес вам необходим, а значит, была причина, из которой проистекает следствие, а из него новая причина и так далее. Все обусловлено в мире, молодые люди! Все имеет необходимую причину свою! Зачем же вмешивать кого-то, Бога или Дьявола, или возлагать ответственность на самого человека за то, чему причиною неизбежные и вечные законы бытия? Не надо казнить себя и отыскивать какое-то действенное зло в мировых событиях, молодые люди! Не надо! Лучшее лекарство от ваших бед — полное спокойствие совести! Произнесите только: «Сие от меня не зависит», и вы почуете сразу, как вам приятно и просто станет жить! И последнее! — Незнакомец наклонился к ним и понизил голос до шепота: — Последнее; что называет удивительный Эригена в ряду четырех стихий, образующих мир,— это души покойников, «несотворенное и нетворящее», по вашим словам — «нежить», а точнее мертвецы, уходящие назад, в божественный мрак, и особенно любезные Господу! Ибо нет ни рая, ни ада, ничего нет, и нет никакого Дьявола в мире, ибо Бог, как вы сами недавно изволили заметить, злого не творит! Ха-ха-ха-ха-ха! — раскатился он довольным хохотом, окончив свою речь и видя смятенное недоумение обоих братьев. И тотчас словно большая птица с криком и тяжелым хлопаньем крыльев, ломая ветви, пронеслась по темному лесу и исчезла во тьме. Только замогильный

мяукающий крик филина жалобно прозвучал в отдалении.

— Стефан! — воскликнул Варфоломей, первым пришедши в себя.— Что это? Кто это был, Стефан? — требовательно вопросил он.

Но мрачен и дик был взгляд Стефана, и ничего не ответил он на братний призыв. Варфоломея облило всего загробным холодом. Вздрогнув, он прошептал:

— Господи, воля твоя!

Рука, которую он поднял, чтобы перекреститься, словно налилась свинцом, и ему с трудом удалось сотворить крестное знамение.

Мрак уже вовсе сгустился. И деревья стояли тяжелые и сумрачные, сурово и недобро остолпляя вечных губителей своих.

— Стефан! — позвал Варфоломей в темноту.— Почему ты не сказал ему сразу: «Отойди от меня, сатана»?!

## ГЛАВА 68

Мишук наконец нашел дело себе по сердцу. Шутковал дома: до старости, мол, дожил, а не ведал, к какому реместву предназначил его Господь. Весной посылали готовить лес для нового дубового кремника, задуманного великим князем. Мишук напросился тоже. Послал его Василий Протасьич почитай из жалости: рука все не проходила у Мишука, а с увечного доброй воинской исправы все одно не спросить. Выгонять же старого воина, прослужившего всю жизнь роду Вельяминовых, было соромно. Послал из жалости, а вышло неожиданно хорошо. Мишук в приокских дубравах развернул работы на диво. Боязнь — справлюсь ли? — была лишь до первого погляду.

Приплыли ночью и первым делом, поставя шатры, завалили спать. Мишук встал до зари. Оседлал коня. Конская шерсть, попона, шатер — все было мокро от росы. В тумане от шалашей окликнули. Мишук подъехал. Оказалась местная ватага бортников. Поздоровались со старшим. Тот уже знал, с чем прибыли княжие люди, и, завидя Мишука, сам взвалился в седло. При первых брызгах летнего нежно-золотого солнца оба, верхами, уже пробирались бором. Бортник казал дерева, сплевывал. Просыпались птицы. В росном хрустале, в стрелах горячего света весь лес, казалось, звенел.

Мишук запоминал, где что, вдыхал всею грудью свежий утренний дух. Хотелось дела, работы — скорей! Вечером уже корили и обрубали первые срубленные дубы...

Ни о чем не забыл Мишук: ни о воде, ни о дороге, ни о том, как и куда волочить сваленные дерева. Пригодилась отцова наука, да и своя сметка не подвела. Живо разобрался и в людях — к какому делу кого поставить. В том половина удачи!

Валили лес. Солнце пекло, волглые рубахи прилипали к телу. Храпели кони, впряженные в волокуши. С сочным хрустом падали перерубленные стволы. К тому дню, когда молодой тысяцкий приехал на хозяйский погляд, у Мишука — у первого из всех посланных — уже и лес был свален, и лежал толково — вези хошь водой, хошь горой.

Василий Протасьич остановил коня, оглядел стан, гору бревен, веселых, обожженных солнцем, изъеденных потыкухами мужиков — остался доволен.

«Молодым» Василья Протасьича звали о сю пору при живом батюшке, тысяцком Протасии Федорыче, а так-то сказать, у боярина давно уже голову обнесло сединою. По летам и опыт был немалый. Мишуково раченье заметил сразу. Молвил, не слезая с коня:

— Завтра иную ватагу тебе под начало подошлю, сдюжишь?

— Сдюжу, батюшка! — готовно отозвался Мишук.

— Ну и... За мною не пропадет... Порадовал, не скрою, порадовал старика! Доправишь лес в целости до Москвы — быть тебе у нас с батюшкою в награжденье!

— Дозволь, Василь Протасьич, слово молвить! — осмелел Мишук.

— Ну! — разрешил боярин.

— Стало б прясла начерно тута, на мести, рубить! Пока дуб-от свеж! Спорее оно! Прикажи — мигом слетаю до Москвы, обмерю, чево нать, со старшим градоделей перемолвлю...

Тысяцкий подумал, прикинул в уме, одобрил. Спросил в свой черед:

— Може, тебе старшого плотника подослать?

Мишук решительно потряс головой:

— Справлюсь! Разреши токо, боярин, древоделей самому наймовать!

Протасьич прищурил веселые глаза:

— Смотри, старшой! Не одюжишь — голова с плеч!

— Не боись, боярин, крепка ищо на плечах моя голова! — отмолвил Мишук на шутку шуткой.

Он и тут не ударил в грязь лицом. Пл тников набрал опытных (отцов завет припомнил: плотника выбирай по топорищу да по топору), разоставил мужиков по-годному, и уже о середке лета готовые срубы молодо высились на Мишуковой росчисти — только разбирай да вези.

И со сплавом сумели не подгадить. Тяжелые паузки тянули вверх по реке лошадьми. Ни одного не разбили дорогою, ни один не обсох на мелях и перекатах Москвы. Зато дома, дай Бог, раза два только и побывал Мишук за все лето. От жениных покоров отмахивал: недосуг с бабой и баять было! Похудел, почернел, помолодел ликом.

Любуясь собою, оглядывал он с реки в который уже након Боровицкую гору. К осени народу нагнали тьму-тьмущую. Баяли, из одного Владимира привели тысячи полторы мужиков с лошадьми.

— Што, хозяин, слыхать ли, нет, кады град рубить учнем? — прошали лодейные.

— А ноябрем вроде бы! — охотно отзывался Мишук.— До Пасхи велено все и свести и свершить!

— Ого! Спешит, однако, князь Иван!

— А любит, чтобы скоро да споро! И церквы так становил: навезут, навезут камня, а потом — враз!

— Э-ге-гей! На берегу! Готовь чалку-у! — сложив руки трубою, заорал Мишук.

Осень стоит погожая. Терпкий ветер обдувает лицо, холодит распахнутую грудь. Руки, плечи — гудят от работы. Загонял мастеров, а и себя не жалеет Мишук. Тяжелый паузок подчаливают прямо к портомойным воротам. Мишук, срывая голос, яро и весело, в бога-мать, кроет неумеху чальщика, не так взявшего чалку, не обращая внимания на босых, с подоткнутыми подолами дворцовых баб, что тоже весело, не обижаясь, костерят лодейного старшого: не у места-де чалит, и портны негде станет полоскать!

— Я вам, полоротые, покажу, игде што полощут! — орет Мишук в ответ.

Рябит и светится вода, вся в желтых оспинах плывущих по реке сорванных ветром осенних листьев. Тяжкой тупорылой рыбиной тычется в берег неуклюжий паузок, муравейно кипит мужиками, ухает и гомонит развороченный берег, и такой острою, веселою

синью просверкивает средь рваных дымно-серых и сизых волглых облаков промытое дождями осеннее небо, так радостно сверкают и чмокают топоры, так гулко бьют тяжкие дубовые бабы по сваям, так зазывно сверкают белые икры портомойниц, что только... Эх! Остояться бы, вдохнуть грудью, до боли, дух осенних полей, рассмеяться невесть чему — а просто тому вот, что стоишь здесь, на Москве-реке, на высоком носу паузка, звонкой багряною осенью — и понять, что и не стар ты еще (да и нет ее, старости, вовсе!), и счастлив, и что не надобно тебе более ничего! Только вот стоять недосуг!

Мишук легко маханул с паузка на плавучую пристань, едва устоял на ногах, пробежав по скользким бревнам, шлепнув по заду одну из языкастых хохочущих баб, начал сам подтягивать и крепить на чалках второй смоленый конец, брошенный с паузка.

Только б успеть! Опять замглило, попрыскал мелкий дождик. Лодейники уже налаживают сходни, уже первые тяжкие дерева поползли на берег под дружный надсадно-ярый крик:

— Давай, давай, дава-а-ай! Взяли! Охолонь! Взяли, разом! Пошла, пошла, родимая! Так! Мать вашу, так! Так! Подважива-а-ай! Клади, охолонь! Другорядно давай!

От волглых просоленных спин и плеч пышет паром, мокрые бороды спутаны, сбиты на сторону, и дождь не в дождь, когда мужики вошли в задор. А с неба, из низких сизых туч, дождит все сильнее, уже и портомойницы, завернув подолы на головы, побежали под защиту ближайших анбарных кровель. С мужиков течет, сам Мишук мокр до нижних портов, а все плывут, скользят по мокрому тяжкие стволы, гремит дружное: «Взяли!» и «Охолонь!». Бревно за бревном ложатся в высокий костер на берегу.

Костром назовут и сложенный лес, и башню городскую, и огонек разведут, дак тоже костер — куча дров, значит. Такой костерок ноне бы в пору как раз!

— Ужо! Разгрузим останнее, мужики! — не дает спуску лодейникам Мишук.— Тогды хошь и пива поставлю!

Кипит работа. Вылезает из воды, стройнеет опруженный паузок. Вот и конец. Сверху, из кремника, доносит тяжкие медные стоны: бьют в било к паужину.

Дождь перестал. Мужики затепливают костер. С княжеских поварен уже везут на телеге котлы с ва-

ревом. Снидать усаживаются тут же, на бревнах, то одним, то другим боком попеременно поворачиваясь к огню. Протягивая ложками в общий котел, жадно двигают челюстями, смачно уминают крутую гречневую кашу, почерпая ковшами и чарками, пьют горячий мясной отвар, крупно кусают хлеб — работа не ждет!

Мишук, наворачивая вместе со всеми, успевает еще во время паужина перемолвить с кормчим и со старостой древоделей. Оба советуют к ночи гнать паузок назад.

— Заночуем на Москве, молóды мужики по бабам разбегут, из утра и не соберешь враз! — заключает пожилой лодейник, и Мишук (он тоже малость соскучал по дому), вздохнув, согласно кивает головой...

О том, что княжичи поехали в Орду, что створилась новая пря с тверскими князьями,— обо всем этом и знал Мишук, да не до того знатья было! Где там што деется? Кто тамо в Орде? Хошь и свои княжичи, а — не до того! «Сам-то князь на мести? На Москве?» — «Вестимо! Даве проезжал об он-пол, видали мужики!» — «Ну и добро!» Про ратное дело тоже не слыхать было. Вроде и не готовили нонь никакого походу. Где-то там, за Рязанью, убивали князей, кого-то громили, грабили, жгли. Литва, слышно, пакостила за Черниговом, не то за Смоленском, билась с татарами. Кто-то кого-то побивал неведомо где. Здесь, на Москве,— тишина. Привыкли, обжились. В семьях по дюжине ребятишек, тучнеют стада, в лесах, что ни год, новые росчисти. Теперича новый кремник затеяли рубить. Дак эко дружно навалило мужиков-то! И поглядеть любо!

Скрипят последние возы с землей, торопливо забивают последние сваи. Новые и новые учаны, лодьи, плоты и паузки упрямо ползут встречь прибывающей и потемнелой от дождей стремительной осенней воды, вспенивая, будто вспарывая носами, быстро бегущую буро-сизую реку. Мерзнут лодейные мужики. Ветер обжигает лица, судорожно сводит руки. Уже и лист облетел, и сквозисто темнеют обнаженные ветром леса. Скоро первые белые мухи закружат над подстылою землей, и по утрам в тихих затонах уже становит первые, пока еще робкие, забереги. А по осенним дорогам, собравши хлеб в скирды, а частью и обмолотивши урожай, прихватывая овчинные зипуны, пересадивши наново и наточив секиры, едут и едут на Москву, на городовое княжеское дело, из деревень, починков, сел, погостов и слобод новые и новые мужики.

Кремник обложен лесом так, что иных и хором не видать стало за высокими кострами дубовых бревен, плах и тесин. Двадцать пятого ноября начинают рубить город. Будут молебен, шествие и угощение всем мастерам.

## ГЛАВА 69

Симеон прискакал в Москву, обогнав обозы и братьев, плывущих водою, по Волге, за день до торжественной закладки новой городовой крепости. О том, как и что ся створило в Орде, Иван уже знал от скорых гонцов. Симеон, весь еще под впечатлением казни, ожидал, что и батюшка только одним этим и живет, только этого одного сожидает, сидя на Москве. Вместо того застал отца в трудах и хлопотах, а город так даже и не узнать было, до того все было перерыто, загромождено, иное сломано или разобрано до основы. От сгрудившихся во граде мужиков, что частью жили в шатрах, не вмещаясь в забитые битком хоромы горожан, от тысяч коней, тысяч телег, заставивших улицы кремника, Москва походила разом и на ратный стан, и на огромное торжище.

Калита встретил сына наружно спокойно. Обнял, поцеловал, но не выказывая чрезмерной радости. Осведомился о меньших, повестил, что хоромы Симеону готовы — прибрано и протоплено. (Айгуста-Анастасия нынче была в Красном и днями прибывала в Москву.) О делах отец не расспрашивал: сперва баня, ужин, служба в Успенском храме...

Только вечером, оставшись вдвоем, Калита выслушал сыновний рассказ. Симеон сам не понимал, почему то, что еще несколько часов назад сказалось бы ярко и страшно, теперь говорилось пресными серыми словами. Он гневал на себя, хмурил чело, прерывался, начинал вновь. Отец выслушивал терпеливо. Лишь по невольно пойманному взгляду, где были и усталость, и боль, и какое-то тайное понимание того, что хотел и не мог высказать Симеон, сын понял, что отец не так уж просто и не так спокойно принимает совершенное им и совершившееся в Орде. Симеону стало немножечко легче.

Слуги накрыли стол. Мачеха с сенной боярышней внесли заморское вино, сласти и фрукты. Засунула

любопытный нос сводная сестричка — поглазеть на старшего брата. Мачеха нежно, но торопливо выпроводила ее из горницы. Симеону впервые подумалось, что после отца ему, возможно, будет и не так уж просто с мачехою и с ее детьми.

Женщины удалились. Отец с сыном остались вдвоем. Ужинали неспешно. Отец ел мало, вино только пригубил. Слушал. Во время рассказа о казни вдруг перебил:

— Товлубий не баял, когда именно ладит под Смоленск? До Рождества или о Крещеньи?

Симеона вновь передернуло. Не хочет слышать или и знать не хочет отец, как что ся створило? Ведь по его же слову, по его замыслу убили тверских князей! И когда сказывал о Наримонте, отец вновь только покивал, словно бы так оно и должно было статися само, чтобы литовский княжич доносил на Александра Тверского, обвиняя его в сговоре со своим умирающим отцом...

Беседа таяла, незримо подходила к концу. Иссякал, сам собою прекращаясь, рассказ. Симеон начинал повторяться, путать, замолк. Сидели молча.

— Дак, стало, Товлубий нагрянет о Рождестве? — вновь утвердительно переспросил отец. Покивал, прибавил плавно отвердевающим голосом: — Товлубий, как и Черкас, убийца. Не хотел бы я иметь такова мужа середи бояр своих! Акинфичи иные! — чуть быстрее, как бы поторопясь ответить на незаданный Симеонов вопрос, примолвил он.— Ты повидь Морхинича хошь али Федора Акинфова!

И вновь умолк. И с медленною, невеселою улыбкою пояснил:

— Чаю, немало горя еще принесет Узбеку, да и всей Золотой Орде сей Товлубий! А ты,— остро и мрачно глянув в глаза сыну, твердо договорил Калита,—держись за него! Так надежней... Для нас...— И уже совсем тихо, так тихо, что Симеон неволею ощутил безотчетную жуть, посоветовал: — Когда и поддержи его тамо, в Орде... противу иных... Серебра не жалей, кровь дороже...

Отец сидел сгорбясь, усталый, старый до ужаса, и безотрывно глядел на огонь свечи, словно ведун, колдующий над заклятым кладом, овладеть коим нельзя, не пролив крови человеческой.

Не встать ли ему сейчас и не уйти ли тихонько,

подумал Симеон. Губы родителя шевелились почти беззвучно, но услыхав, о чем шепчет отец, Симеон вновь и крепко уселся на скамью. Отец бормотал:

— Чую, силы пошли на исход. Ты должен все знать, Семушко, и все возмочь... Иного ведь и сказать-то немочно! Грады и княжествы, взятые мною по ярлыкам,— сбереги... Кого и в чем утеснил, тесни не послабляя. Веру блюди... Алексия... Посылал в Царьград, тянут... Думаю, однако, передолим. Алексия хочу наместником к Феогносту, пока... а там... Тоже не упусти! И сугубо ищи святого. Трудноты излиха... смертныя скорби, нужею... Должен быть святой в русской земле! Токмо не ошибись! Есть он. Живет. Знаю. Молись, ищи...

Голос Калиты совсем упал, и Симеон тщетно пытался понять и расслышать еще что-либо. Но вот отец замолчал вовсе. Словно просыпаясь, глянул на Симеона. Изронил:

— Поздно, гряди спать! — И когда княжич уже встал, вопросил нежданно, с пронзительно просветлевшим взором: — Чему гневал ты давеча? Чего сожидал от меня? Радости? Горя? Сказать ли тебе слова высокие? О том, что ныне вновь и опять одна великая власть на Руси и не створилось которы, ни разорения бранного? Мужики не погинули на ратях, домы не разорены, дети и жены не угнаны в полон. А все то было бы! Как при дядьях наших! Того ждал? Тех слов хотел ты от меня?

Юрко, бают, плясал опосле казни князя Михайлы. А я... у меня... Когда узнал от гонца, како створилось, знаешь, что ощутил в сердце своем? Покой! Такой покой — лечь бы и уснуть сном глубоким!

Я ведь и не ворог ему был! А токмо — иначе нельзя, неможно стало ни поступить, ни содеять! И он, коли бы уж... Должен был меня с тобою убрать... Такова жисть, Сема! Кажен за свое бьется, и кто тута прав? Немочно судить! Опосле легко писать в летописях: «Отцы наши не собирали богатств и расплодили было землю русскую...» А может, без богатств-то в ину пору ее и не соберешь, и не расплодишь?

Я Акинфичей, отметников князя своего, волостьми наделил. За свое, родовое, крепче станут драться! В поход пошлю, под Смоленск. Пущай и тамо примыслят себе корысти... А и смерда не обидь! И он, пока

при добре своем да при деле, дак за свое, кровное, постоит!

Смерд должен быть справен; боярин, купец — рачителен, богат; князь — силен властью. Все так! А вот как сего добитися? Ведаешь? Ноне уведал! И... не кори отца своего!

Симеон стоял, повеся голову, обожженный страшною справедливостью слов отцовых, в стыде и скорби за свое давешнее нелюбие. Отец, глянув, примолвил одобревшим голосом:

— И сам не казнись! Молод ты еще! Нам ноне предстоит исправа великая: второй бор с Нова Города получить! Без тех тысячей серебра, чаю, никак нам не сдюжить. Поди, повались! День торжествен грядет, со истомою многою: залажаем град новый. Тебе должно показать народу лик светел и прилеп! Поди...

Дверь покоя тихонько притворилась. Оплывала и таяла свеча. Глубокие складки пробороздили лоб Ивана, все так же недвижно глядевшего на огонь.

— Спи спокойно, сын! — прошептал он в пустоту.— Не боись, ведаю я, чтó содеял ныне! И грех тот кровавый — на мне!

## ГЛАВА 70

Примораживало. Завивали серебряные метели. Плотники на Москве по утрам сметали снег с начатых венцов, стаскивая рукавицы, дули на ладони, потом, крякнув, натянув мохнатые шапки аж до бровей, брались за топоры. Ясно звенел в морозном воздухе спорый перестук секир, звонко крякали — словно отдирали примерзлое — дубовые кувалды. От заиндевелых коней подымался пар.

А по дорогам Рязанщины ползли вереницами, закутанные в тулупы, на мохнатых низкорослых лошадях, в островерхих шапках ордынских, всадники. Татарская рать Товлубега шла на Смоленск. Прятались жители в погреба, уходили в леса, угоняли скот подале от дорог, подале от завидущих глаз татарских. Русские дружины князей, подручных Калиты, присоединялись к воинству. Густели ряды кметей. Зато стоги сена в придорожных лугах выедались уже подчистую. Зимняя рать неволею зорит землю. Иными путями, через Москву, шли на Смоленск полки суздальского князя

Константина и второго Константина, Ростовского, зятя Ивана Калиты, шел с ними и юрьевский князь, Иван Ярославич. К рати присоединялись дружины Ивана Дрютского и Федора Фоминского.

Пока проходили рязанскую землю, учинилась пакость в князьях. Иван Коротопол рязанский — он тоже пристал к Товлубию — встретил на пути своего недруга, князя Пронского, который, на беду свою, правил с ордынским выходом в Сарай. Коротопол ял пронского князя, ограбил, а самого привел в Переславль Рязанский и там убил. Зло порождает зло. Иван Калита с Симеоном, получив известие, оба и враз подумали об одном и том же. Как на грех, и имена убиенных князей совпадали. Пронского князя тоже звали Александром Михалычем!

Двигались рати. Полки московлян вели нынче принятые воеводы Александр Иваныч Морхинин с Федором Акинфовым. Мишук долго плутал среди возов и коней, разыскивая уходящего в поход сына. Даве и попрощаться не довелось. Парень ночевал в молодечной, а накануне пробыл в Рузе — готовили пути. Обнялись. Мишук долго не отпускал сына, прижимал к заиндевелой на морозе бороде дорогую, непутевую, как казалось ему, голову. Сказал грубым голосом:

— Мотри тамо! Дуром не пропади!

— Не впервой, батя! — легко улыбаясь, возразил тот, отирая лицо: — Эк ты меня! Матке скажи, мол, недосуг было! Я теперя (похвастал, не выдержал) у боярина в чести! За кажным делом меня первого шлет!

— То-то! — неопределенно отозвался отец.

Кругом гомонили, топотали кони, скрипел снег.

— Ты ступай, батя! Я ить и так припоздал! — попросил Никита. Мишук, посупясь, глянул на молодших, что нетерпеливо сожидали приятеля. Хотел окоротить чем, да не нашел слова.

— Ступай! — молвил. И досказал, уже вслед: — С Богом!

— Не пропаду, батя! — уже из седла, отъезжая, прокричал сын в ответ.

Мишук смутно позавидовал ратным. Хотел постоять еще, позоровать боярина, да не ждала работа. Под его доглядом рубилась нынче крайняя к портомойным воротам связь городовой стены. Махнув рукою, Мишук побрел назад. Подумалось примирительно: «Что ж!

Воин растет! В его годы и я...» А все ж было обидно малость. За что ж так отца-то родного? Словно и верно — недосуг! И дома у матки не побывал... Перелезая через завалы леса прямь княжого терема, Мишук остоялся невольно. По улице ехали вереницею всадники в дорогом оружии и платье. Тонконогие, словно сошедшие с иконы Фрола и Лавра кони красиво перебирали ногами, всхрапывая, и гнули шеи, натягивали звончатые, из узорных серебряных цепочек, удила. Сказочными цветами на снегу пестрели шелковые попоны, бирюзою, золотом и рубинами отделанные седла. В одном из едущих Мишук признал княжича Семена. Или показалось? Неужто и он тоже едет в поход под Смоленск?

Симеон, однако, в поход не уходил, только провожал рать до Красного. Отец прихворнул, и на Симеона нынче ложилась забота уряживать с Новым Городом. Княжеские наместники повелением Ивана уже покинули Городец и скакали теперь на Москву, хотя до окончания смоленского похода о войне на Новгород думать не приходилось вовсе, да и оба надеялись еще, что новгородцы уступят без войны. Полки, однако, ради всякого ратного случая, уже были выдвинуты в тверские пределы и к Торжку.

Константин Михалыч, вновь ставший тверским князем, обещал Калите кормы и поводных лошадей. Тверичам московская пря с Новым Городом была не без выгоды, да нынче и выбирать им не больно-то приходилось.

Князь Василий тихо сидел в Кашине. Баба Анна после похорон сына и внука слегла, баяли, что и не встанет. Разом постаревшая Анастасия задумывалась о монастыре (не дети, так и ушла бы). Княжьим домом заправляла московка, София Юрьевна, не ведавшая еще, что жить ей осталось всего какой-нибудь год. Она же и настояла на том, что московитам, остановившимся в пригороде, надобно открыть городские ворота. Ворота открыли, и дружины великокняжеских бояр начали заполнять город.

Воевод принимали на княжом дворе. Московиты, впрочем, вели себя степенно. В соборе поклонились гробам опочивших князей. Ждали Калиту. Город нежданно оказался словно бы в московском нятьи.

Калита, все еще хворый, приехал в возке, в сопровождении своей и татарской дружины. Его принимали

с почетом, яко великого князя, благовестили по церквам. Иван долго задумчиво внимал тяжкому голосу главного соборного колокола. После молебствия устроили пир. Московка сияла. Константин сам принимал и чествовал гостя. Даже Настасья, неволею, вышла показать себя ворогу покойного мужа, но с пира ушла, сослалась на головную болесть. Княжичи — насупленные, бледные — поочередно представлялись Калите, и тот остро, запоминая, разглядывая каждого из них, гадал: кто из предстоящих ему Александровичей станет всего опаснее для Москвы?

Вечером, оставшись в гостевых покоях, Калита сам проверил сторожу. Хоть и не полагал, что захотят убить, а опас поиметь стоило. Холопы погинувших князей могли по дурости отважиться и на такое!

Постеля была высокая, удобная. Лежа на перине под мягким беличьим одеялом (слегка кружилась от вина и болезни голова), Калита думал, все вспоминая и вспоминая густой, сановитый глас колокола. Кажется, этого и не хватало его Москве! Величия! Будет и величие у Москвы... Не скоро... Сколь многого еще не увидеть ему! А княжичи Александровы волчатами смотрели за столом! Пардусово гнездо. Излиха станет еще Симеону тверского горя!

Вот он, Калита, сидит в Твери, и полки его во граде стоят, и княжичи Александровы, безоружные, перед ним, а — не схватишь, не пошлешь в железах на Москву, не посадишь в затвор! Почему? Узбек может. Он — нет. Свои, русичи! Верно, с того... Но и своих ведь хватали! И губили, как князя Констянтина Юрко... Да тот же Коротопол, содеявший нынче злое дело над братом своим! И смог же он сам тамо, в Орде... А здесь, в Твери? Не схватит и не пленит никого. Почему? Не может. И даже думать о том соромно. Быть может, это ты, Господи? Воля твоя? Коими глаголами велишь ты рабам твоим? На каких скрижалях запечатлена правда твоя? И днесь не ты ли поставил мя над Тверью в посрамленье ворогу моему, Господи? И не ты ли днесь удерживаешь мя от множайшего зла? Да будет воля твоя. Да святится имя твое!

Медленный звон поздней вечерни отревожил ночь. Густой и властный голос большого колокола вновь напомнил о величии, коего не хватало его городу. И вот что содеет он: увезет с собою тверской колокол! Пущай отныне звонит на Москве! С тем и уснул.

## ГЛАВА 71

Невежда или невеглас, не чтущий веры православной, ни обычаев народных, как и навычаев доброго ремесла, тот только может почесть литье колокола делом хоть и не легким — легким делом его никто не почтет,— но, по крайности, возможным без долгого, из рода в род, опыта и знания. На деле же, хоть и семи пядей во лбу ты будь, но не слить тебе колокола вовеки, ежели деды-прадеды не передали тебе за десятилетия огненной науки своей (за десятилетия, не меньше!), мудрого и строгого, схожего с древним ведовством, редкостного знания своего.

Знания тайны сплавов. Пройдут века, и мудрые люди напишут ученые книги, и все равно не поймут, не откроют всего, что знали и умели древние колокольные мастера.

Знания тайны огня. Коим чутьем и коими навыками потребно возобладать, дабы сварить и не пережечь грозно клокочущую стихию? Дабы не стал жесток, не выгорел металл, дабы не ушла из схожего с солнцем жидкого свара тайная и нежная сила звононосного голоса?

И третьего знания. Знания тайны земли, в которой творят, отливают колокольное тело. Земля эта — сложный состав, съединенный мастером из разных частей. Но сугубая мудрость тут даже не в самих редких составах литейной земли, сколь в том, какою влажностью должна обладать готовая опока. На ощупь, прикладывая к лицу, внутренним чутьем многолетнего опыта познает мастер ту тончайшую меру, в коей — и только в ней — вся сила литейной земли. Через столетия мудреными приборами попробуют тогдашние хитрецы определить тот состав и меру ту — и не определят. Ибо грубы любые приборы перед всеведеньем мастера колокольного литья.

Из Господина Великого Нова Города добыла матерь Михайлы Ярославича, великая княгиня Оксинья, мастера-ведуна, чьи деды и прадеды творили литье и в Нове Городе и во Владимире почитай уже два столетия. Чуден был талан мастера сего! И, себя превзойдя, отлил он колокол, подобных коему еще не скоро вновь научились лить на Святой Руси. Мастер был стар и, сотворя колокол, умер. Ни у детей, ни у внуков его не достало уже талана отцова, хотя и добрые мастера были

они,— были и есть в Новгороде Великом. Но колокола такого и со звоном таким они повторить не могли. И остался тверской великий колокол единственным на Руси, паче всех прочих колоколов.

Чудом уцелел он во время Шевкаловой рати. Не сорвался, не огорел, не потерял звона своего. И был тот колокол гласом и сердцем великого града Твери.

За многие версты узнавали свой колокол торговые тверичи, ворочаясь домой из далеких странствий своих. Торжественно гудел он по праздникам, разнося благовест десяткам окрестных деревень, и каждый тверич, будь он хоть на путях, в извозе, в поле ли за сохою, в ином ли деле своем, остановя мах секиры или косы, разогнув спину, приодержав коня, снимал шапку и широко крестился. «Сам звенит!» — говорили тогда про колокол, словно про хозяина града.

Набатно гудел он в болезни ли, пожары или иную какую беду возвещая, и по звону, тяжко беспокойному, знали тогда тверичи, что во граде беда. И уже совсем сурово, всполошно кричал он, созывая граждан своих на помочь во дни беды. Так было в пору Шевкалова разоренья, так было при появлении татарских, московских ли ратей. И, печально тоскуя, с тяжкою медною болью провожал колокол в последний земной путь погибших князей своих: святого Михайлу Ярославича, Дмитрия Грозные Очи, Александра Михалыча, Федора Александровича — пусть будет им пухом земля!

Слагались о колоколе том легенды и сказания, творились приметы и обычаи горожан. Целая изустная повесть сочинена была о том, как и почему уцелел колокол во время пожара Твери. Как сама Богоматерь прикрыла его корзном своим от огня и отвела глаза татарам, ищущим погубити колокол... Да и что много глаголати о том! Знающий Русь, знает, что есть или, вернее сказать, чем был колокол на Святой, на Великой Руси!

И потому снять колокол и увезти было то же, что вырезать городу сердце. Вырезать и увезти в чужую страну! Не малое же дело задумал сотворить московский князь Иван Данилович Калита!

Из утра, прослышав о нятьи колокола, ко княжому двору начали собираться горожане. Ропот прокатывал по густеющей толпе, и уже начинали задирать москвлян, хватать за копья, теснить, прижимая к воротам. Уже полетели снежные комья и весело-злые голоса

из глубины толпы зачинали крыть московскую сторожу неподобною бранью. Появился какой-то боярин. Стражники опустили острия, толпа отхлынула и прихлынула вновь с угрожающим шумом. Первые колья взметнулись над головами горожан, проблеснуло лезвие рогатины... Недостало крика: «В топоры!» И началась бы свалка. Но тут из ворот княжого двора показался Константин — верхом, в княжеской шапке и малиновом корзне сверх соболиного опашня. Он махал рукою, уговаривал, почти крича. Толпа признала наконец своего князя, колыхнулась неуверенно. Ропот стихал. Стали слышны увещания князя, молившего горожан разойтись. Свои, тверские, кмети вышли из ворот и стали решительно оттеснять толпу. Но горожане, осадив поначалу назад, расходиться не думали.

— Колокол, колокол увозят! Колокол наш! Княже! Защити, Михалыч, останови! Колокол! Колокол! Не даем! — гневно гудела толпа.

Константин смешался. Он думал попросту разогнать горожан, но те требовали от него слова. С болью и страхом Константин наконец выкрикнул:

— Колокол мы сами даем великому князю! Своею волей! Ради тишины, ради...

Последние слова князя заглушил слитный рев толпы:

— Не право деешь, княже! Нас не прошал! Не дадим! Наш колокол, градской! Стеречи учнем! Не расходись, дружья-товарищи! Не пущай! Не дадим колокола нашего московлянам!

Окажись князь и дружина на стороне горожан, и невесть как бы ся оно повернуло. Но Константин отнюдь не хотел которы с московским князем, да еще в сопровождении татар. Он вывел новых кметей, и хмурая дружина начала разгонять народ, расчищая улицы.

Горожане отступали, но не уходили. Копились в межулках, сожидая того часу, когда колокол повезут с княжого двора. Московские ратные и татарская помочь давно были все поставлены на ноги. Колокол снимали отай, при плотно закрытых воротах, увязав и опутав вервием. Он качнулся, вздрогнул, тяжко вздохнул из глубины нутра, и замирающий звон в последний раз прозвучал над притихшею Волгой и замолк далеко, в дали дальней, за Отрочем-монастырем. Передавали потом, что и жители пригородных, за Тверцою, слобод слыхали тот последний звон, последний вздох

своего великого колокола. Гигантское литое тело кренилось, опорные бревна потрескивали, словно тростник. Малиновые от натуги ратники, кучно грудясь и наступая на ноги друг другу, едва удерживали его на весу, медленно опуская долу. И вот он лег на снег — впервые за полвека с лишком жизни своей. В бревенчатую волокушу запрягли целый табун татарских коней, колокол укрыли попонами, увязали вервием.

Калита глядел из оконца верхних сеней, не понимая еще, почему медлят кмети. В сени заглянул боярин, свой, московский, Добрыня Редегин. Разводя руками, сокрушенно молвил:

— Нельзя, княже! Народ в улицах, не пущают! До ночи б потерпеть!

Калита гневно нахмурил чело. Однако, скрепив сердце, промолчал. Подумал, медленно склонил голову:

— Пожди до ночи!

Боярин обрадованно заспешил на двор. Калита отошел от окна. Что-то давнее, бешеное, братнее, колыхнулось в нем. Колыхнуло и сгасло. Начинать резню в улицах, стойно Шевкаловой рати, вовсе не стоило.

Мягкий сиренево-серый день за слюдяными оконцами меркгасал. Сизое небо приметно отемнело, сгустилось над белоснежной светлотою зимних полей. Дрогла сторожа, постукивая сапогами и древками копий, похлопывая рукавицами. Ждали запряженные кони, и город ждал, угасая и утихая на холоде. Трезвели головы горожан: противу своего князя не одюжить! Робкие начинали отай расходиться, исчезать в серых сумерках подступающей ночи. Князей не защитили своих, дак уж колокола не защитить!

Смеркалось. Истоньшавшие облака поредели, открывая ночное небо в крупных голубых, безмерно далеких и холодных звездах.

Калита ждал.

## ГЛАВА 72

Настасья весь этот день сидела с больной свекровью. Великая княгиня Анна лежала тихая, с будто уже неживым ликом. Только по редкому движению ресниц чуялось, что она еще жива.

— Матушка, не надобно ль чего? — заботно прошала Настасья.

Анна медленно поворачивала голову на тонкой высохшей шее, шептала хрипло:

— Ничего не нать, доченька!

Замирала, вновь опуская ресницы. Изредка прошала:

— Пить!

Настасья с помочью сенной девки сама поворачивала свекровь — та была уже невладимая,— обтирала, переменяла сорочки.

Ополдень Анна зашевелилась, открыла глаза. Спросила тревожно:

— Что это?

Обмануть ли умирающую?

— Да так, ратные тамо...— неуверенно пробормотала Настасья.

— Скажи... правду! — с тяжким отстоянием выговорила Анна. И Настасья, оробев, прошептала:

— Колокол увозят, матушка!

— Колокол? — словно эхо повторила свекровь, верно еще не понимая, что происходит.

— Колокол?! — повторила она, возвысив голос. В полумертвом лике просквозила прежняя воля, даже руки с долгими восковыми перстами, холодные, почти уже неживые руки умирающей на мгновение дрогнули, сжались в немом и тщетном усилии, приподнялись и упали вновь.

— Торопитце князь Иван! Не дает умереть! — прохрипела она с горькою ненавистью. Смолкла, трудно глотая. Попросила: — Дай воды!

Напившись, долго лежала, отдыхая.

— Что ж Костянтин-то? Отдает... безо спору?

— Матушка! Подеять-то ничего нельзя, москвляне во гради! — жалобно возразила Настасья.

— Все одно. Не сын он мне больше,— непримиримо прошептала умирающая.— Василий, тот бы, может...— Не кончила. Вопросила погодя: — Сам, поди, народ утишал?

— Народ? Какой народ? — смешалась Настасья.

— Не лукавь! Знаю своих тверичей, весь город прибежал давно... Вот как захотел унизить! — продолжала она с отдышкою.— Мало ему... смертей мало ему, говорю! Господи, ты веси грехи человеческие! Почто... Почто бы тебе... Неисповедимы пути твои, Господи! И на мне грех гордыни... О сю пору простить не могу! С тем и отойду, верно...

Долгая речь измучила ее. Анна вновь закрыла глаза, чело ее покрылось испариной. Настасья бережно, тонким льняным платом, смоченным в уксусе, отерла лоб и щеки свекрови.

— Спаси тя Христос, доченька! — прошептала та тихо-тихо. Добавила: — Повести мне, когда... Когда повезут со двора...

— Хорошо, матушка! — вымолвила Настасья, склонясь над свекровью, и невольные горячие слезы упали на холодные руки умирающей. Анна почуяла их, слабо пошевелила перстами — погладить сноху, да не сумела поднять руки. Не отворяя глаз, промолвила:

— Поплачь, поплачь, доченька! Тебе еще долго жить! Внуков поднять... Тверь... Колокол воротить с Москвы! То-то радости будет! Поплачь, Настюша, мне так хорошо...

На сей раз свекровь не шевелилась и не баяла более часу. «Не умерла ли?» — забеспокоилась Настасья. Но вот та открыла глаза и первое вопросила:

— Увезли?

— Нет еще, матушка. Девки баяли, до ночи станут ждать. Смердов сошло ко двору — страсть! Не выпущают их...

Слабый намек улыбки осветил лицо Анны.

— Повести мне, когда... Засну — разбуди! — тихо потребовала она.

Близился вечер. Анна то задремывала, то вновь требовательно взглядывала на невестку, и та сама уже отвечала:

— Нет еще, матушка! Ждут!

Константин заглянул было в горницу матери.

— Отдал... колокол? — тяжко спросила Анна, подымая ресницы. Константин смешался, потупил очи.

— Уйди,— потребовала она. Сын вышел на цыпочках, растерянно глянув на Анастасию. Анна поискала взглядом Настасью, потребовала:

— Московка придет — не пускай! При гробе зреть ее не хочу.

Помедлив, пожалилась:

— Вижу уже плохо. В тумане все. И тебя тоже. Подойди! Так, тута вот сядь. Не повезли еще?

— Нет, матушка.

— Вечереет.

— Да, вечереет уже.

— Чую. Скоро повезут.

Она вновь и надолго замолкла.

Взошла девка, запалила свечи в серебряных свечниках. Вдвоем с Настасьей перевернули и освежили уже почти неживое тело. Девка ушла.

Вечер сник, за узкими окнами покоя наступала ночь. У Настасьи кружилась голова, только сейчас она вспомнила, что не ела и не пила, почитай, с самого заранья. Она встала, налила себе брусничного квасу, выпила. Стало немного легче. Заметив, что свекровь дремлет, выглянула на сени — прошать, что деется на дворе. Когда воротилась, Анна лежала, широко открыв глаза, и смотрела не мигая.

— Матушка! — позвала Настасья.

Анна трудно перевела взгляд.

— Повезли? — спросила одними губами.

— Нет еще!

— Скажи... когда...— в который уже раз прошептала свекровь.

Тихо колебалось свечное пламя. Настасья сидела застыв, утратив всякое ощущение времени. В покой заглянул духовник, потом посунулась сенная девка — молча, знаками, позвала Настасью к себе. Выйдя за дверь и выслушав, Настасья замерла на миг, призакрыв глаза, после воротилась в покой. Тихо позвала:

— Матушка! Матушка! — повторила она громче.— Колокол увезли!

Но великая княгиня Анна уже не слыхала ее.

Санный поезд с тверским колоколом тронулся из города глубокою ночью. Густые ряды ратных окружали обоз. И все же в городские ворота едва сумели протиснуться. Люди молча валились в снег, прямо под сани, под копыта коней. Московские ратники, матерясь, подымали, оттаскивали с пути упрямцев, лупили древками копий по чем попадя. Но в снег падали новые и новые смерды. Только за воротами народу поменело и стало мочно погнать лошадей вскачь.

Назади ругались и выли. Плакали жонки вослед молчаливому, ощетиненному копьями обозу, уходящему в серо-синюю ночную тьму.

Калита уезжал на другой день, утром, урядив с князем Константином о кормах и подводах. Смерть великой княгини Анны, наступившая ночью, едва ли задела его.

## ГЛАВА 73

В эти дни он стал очень нежен к своей молодой жене. Ульяния расцвела, дивясь и не понимая, даже иногда резвилась, смеялась тихим, словно серебряный колокольчик, смехом. А Калита, умиленно глядя на нее и на дочерей (еще таких маленьких!), думал: для чего живет человек? Было ли у него счастье? И впервые, кажется, ужасался в сердце своем тому, как стремительно уходят годы и силы телесные.

Теперь он начал понимать Юрко и догадывать, почто покойному брату после гибели Михайлы Тверского вдруг опостыла Москва, и все его дела и замыслы пошли вкривь и вкось. И у него самого, как ни прятал наружно тайная тайных сердца, содеялась вдруг в душе несказанная пустота, будто бы в давнем видении своем: вознесен он властною силой на горние выси и стоит один — на вершине, на ветрах, на юру. Один, и вокруг пустота, овеянная холодом вышней власти.

Жестче, чем ранее, отдавал он наказы, жесточе и нетерпеливее деял, но все было от пустоты, от ужаса одиночества, словно убитый враг его, Александр, увел за собою в небытие и все живое, близкое, милое, теплом своим согревавшее жизнь.

Между тем дела шли своим заведенным строем. Из-под Смоленска вестоноши доносили, что рать, опустошив округу, потратив обилие и хлеб, отходит от города.

Симеон, получивши грамотку от Федора Акинфича, прискакал из Коломны, где уряживал порубежные дела с рязанцами, на Москву, к отцу. Калита уже знал о возвращении ратей. Впрочем, приезду старшего сына был, видимо, рад.

— Последи, дабы татары, идучи домой, миновали волость Московскую! Я уже наказывал воеводам, да безо князева глазу никая служба не крепка! — сказал он в беседе с глазу на глаз.— А Товлубия привези на Москву. Надо удоволить...

Отец замолк. Ныне так почасту, начавши говорку, вдруг замолкал, словно забывая прежереченное.

В покое было натоплено. Ясно горели свечи, многие, а не одна, как прежде бывало у Калиты, не любившего лишних трат. Симеон внимательно разглядывал родителя. Ни лик отца, ни эта его наружная радость, семейное умиление не понравилось ему. Отец начинал сда-

вать (рано, ох как рано!). Подумав о смертном конце, Симеон ужаснулся и устыдился духом. Ужаснулся тому, что должно было пасть ему на плечи со смертью отца, а устыдился того, что смог подумать про отцову кончину.

— Почто не взяли града? — спросил он.

— А ты бы хотел того? — возразил Калита, хитровато улыбаясь. Помолчав, добавил: — Не взяли, зане зело силен и тверд град сей! Помни,— продолжил он,— ни Литве, ни татарам нельзя отдавать града Смоленского! Сей град — ключ нашей земли. Я затем и не посылал ни пороков, ни иных орудий осадного боя. Ни приметов не велел приметывати ко граду. Так-то, сын! Морхинич умен: понял меня с полуслова. Иногда надобно и ратиться не побеждая, а в ину пору умей побеждать не ратясь! Я некогда, по слову Узбекову, должен был имати князя Александра во Пскове. Не возмог. Тебе скажу ныне: не похотел возмочь!

Симеон вспыхнул, опустил взор. Нет, отец отнюдь еще не глядел в домовину, и ему, наследнику, ой как многому надобно было еще поучиться у отца!

— А с Новгородом ратиться придет? — вопросил он, робея.

— Не ведаю! — строго отмолвил отец.— Упорны суть. Однако, премного успешливее не ратясь получить нам второй бор с Нова Города, чем зорить землю и кметей губить на борони.— Иван прихмурил чело, примолвил: — Запомни!

И Симеон вновь подумал о возможном скором конце отца.

Татарского воеводу и подручных князей принимали и чествовали в кремнике. Был пир силен, лились вина и стоялые меды, а заокскими завьюженными путями уходила в степь, точно схлынувшая в половодье вода, татарская конница на отощавших, спавших с тела, конях, волоча добро, гоня скот, уводя полоняников, оставляя за собою сожженные деревни да трупы по дорогам, трупы тех, кто выбился из сил, кто не добрел, не возмог, голодный, раздетый и разутый, одолеть сотни поприщ тягостного пути и пал от косого, злобного — в мах — режущего удара сабли или сам умер, тыкнувшись в снег слепым, переставшим видеть, лицом. Счастливыми почитали себя те, кого на путевом торжище,

за Коломною, выкупали бояре Ивана Калиты, дабы посадить у себя, на московских землях. Иным — погинуть в безвестии, в диком поле, в земле чужой, незнакомой, незнаемой.

Мишук тотчас после возвращения смоленских ратей (едва успел обнять сына, обожженного морозами, возмужавшего, ополонившегося конем и лопотью) был услан в Переяславль — сбирать очередную помочь на городовое дело. В Переяславле, после первых дней сумасшедшей беготни и уряживанья дел княжеских, выбрал наконец час: посетил могилы отца с матерью, заглянул к дальней родне, позоровал новый чей-то дом на отцовом месте. Чей? Когда ставлен? Что содеяло с тем, ихним теремом? Даже прошать не хотелось! Почуял вдруг острую боль давнюю, от старопрежних лет, от невозвратного далекого детства... День был ярок и свеж, искрились снега, ясно голубело и таяло, обещая неблизкую еще весну, небо. Синицы и воробьи копошились в конском навозе. Любопытная баба выглянула:

— Чей-то таков молодец? Я-то не малтаю, може, знакомец какой?

— Не...— неохотно отозвался Мишук.— Живал я тута! Дак вот...

Он не договорил, торнул коня. Шагом, опустив голову, поехал по знакомой до слез дороге на Клещин-городок. Ничего не изменилось тут — и все изменилось! Переменились хоромы, люди, и вот уже баба на отцовом пепелище прошает у него, кто таков. Родина! Родина у него теперь — Москва.

К Ивану Акинфичу в Вески попал Мишук с делами, неволею. Боярин князева посла принял уважительно, зазвал в горницы, угостил. Обещал сам доглядеть за обозом трудников, уходящих в Москву. Иван Акинфич строился. Хоромы были новорубленые, из свежего леса, и еще лесной смолистый дух не ушел из гладкотесаных стен покоя. Видно, торопился: до весны, до пахоты, ладил все и содеять. Пустовато еще было в покоях. Впрочем, челяди гомонилось людно на дворе, было чем обживать и наживать наново порушенное дедово гнездо.

Мишук вдруг позавидовал тому, что вот сын давнего ворога отцова воротил в Переяславль и строится на родимом пепелище, а он, Мишук, даве лишь поглядел на

выморочное место да постоял у покосивших, почернелых крестов на погосте. Осторожно, отпивая понемногу мед из серебряной чары, вопросил: не помнит ли хозяин такого Федора Михалкича из Княжева-села? Боярин прихмурил чело, покачал головою — не вспомнил. Стало, не баял ему отец! Акинф Великой, верно б, не забыл покойного родителя! Да, и тут память об отце ушла, изгибла. Словно и не было его на земле, словно не он когда-то, давным-давно, довез грамоту на Переяславль покойному московскому хозяину Даниле Санычу. Мыслил ли он тогда, что Акинфичи воротят восвояси при сынах Даниловых! И еще как воротят! На первые места в думе княжой!

— Словно бы родитель-батюшка баял о таком? — неуверенно проговорил боярин. Поглядел в зрачки Мишуку, кивнул холопу налить новую чару гостю.— Случаем, не родич ему?

— Отец мой,— отмолвил Мишук — и не хотел говорить да сказалось: — Ратен был с батюшкой твоим и грамоту на Переслав отвозил князю Даниле!

Боярин прищурил глаза, усы дрогнули в улыбке. Покачал головою:

— А ныне, вишь, и я московскому князю служу, и ты сидишь у меня гостем. Эко! — Помедлил, подумал: — Ну, кто старую котору помянет, тому глаз вон!

Отнесся к Мишуку чарою, выпил. Отпил неволею и Мишук. И баять боле стало не о чем. Было, былье поросло. «Может, так и нать? — думал он уже на дворе, садясь на коня.— Не век же которовать друг с другом! Вси русичи, и с единого места вси! Земляки!» А в чем-то чуялась старая обида, не проходила. Так и не понял — в чем? Может, приди Акинфич к нему в гости, да приди как равный к равному, и не было бы никакой обиды у Мишука. Принял бы, угостил. Повспоминали прошлое. А так — словно и даром отец боронил Переслав от Акинфичей! Вот они воротились — и снова бояре, а он, Мишук, все тот же простой кметь, и не боле какого холопа ближнего у того же Ивана Акинфича! Може, и прав Никита, что так жаждет выбиться куда повыше... Сумеет ли только? Тут ведь и талану недостанет, иное надобно! Злость, хватка... То, чего не было, никогда не было в нем самом, в Мишуке. На уклоне лет можно и признати такое.

Мысли эти, впрочем, как пришли, так и ушли. Не простое дело сбивать мужицкий обоз! К весне каждый

жмется, ладит ухорониться за спину соседа. Коня заморить — пашню не взорать. Ведомое дело, весна! Едва-едва собрал Мишук потребное число мужиков, зато и для себя доброе дело сотворил: выискал знатных плотников в свою ватагу и уже радовал тому, как весело пойдут у него дела на Москве.

Свершили городовое дело, принялись за пашню. И только-только Мишук отсеялся, вновь подоспела служба государева. Боярин, убедясь в толковой рачительности Мишука, послал его старшим в Мячково: ломать камень для нового устроенья княжеского. Калита задумал класть каменную церкву у Святого богоявления под Москвой.

## ГЛАВА 74

Иван новое церковное строение затеивал, как и все заводы свои, не без дальнего загляду. Крестник Ивана, Алексий, по-прежнему числил себя иноком обители Богоявления, меж тем в Царьград уже ушла неведомо какая по счету и при богатых поминках грамота с согласною просьбою великого князя владимирского Ивана Даниловича и митрополита русского Феогноста поставить инока Алексия на наместничество при митрополите, понеже и поелику...

Поминки и настойчивость князя должны были совершить свое дело в оскудевающей и потрясаемой смутами столице угасавшей Византийской империи. Каменная же церковь в монастыре Богоявления должна была придать величия обители, из коей мыслили князь с митрополитом извести наместника, а значит, в грядущем ближайшего заместителя митрополичьего престола. В дали дальней начинало брезжить для Бяконтова первенца то, о чем не догадывал, не мог и мечтать его покойный отец.

Сам Алексий не придавал заботам крестного большого значения. В Цареграде могут и десять раз решить и так и эдак, посему обольщать себя посулами не стоило. Хотя внутренне неволею он уже готовил себя мысленно и духовно к руковожению русскою церковью. Не мог не думать о том и даже прикидывал иногда, что и как надобно ему доделать и переделать, когда власть от Феогноста перейдет к нему,— ежели перейдет, конечно! Святой Петр (канонизации прежнего митрополита они

наконец добились), святой Петр тоже приуготовил себе заместителя. А прислали Феогноста. И ныне мочно подумать, что и лучше содеялось с этим умным и неробким греком: так осильнела и побогатела при нем русская церковь, так укрепило и возросло церковное господство владимирской земли!

У себя в монастыре Алексий бывал наездами. Ныне прибыл из-под Владимира по делу, затеянному князем. Ради каменной церкви монастырской,— наружно, а в тайности — ради дел наместничества, в чем, по слухам, Царьград готовился наконец уступить.

Иван, уважая сан крестника и дабы облегчить неприлюдные свои с ним встречи, выстроил в кремнике небольшое подворье Богоявленского монастыря, куда мог попадать из княжеских теремов по дворам и крытым переходам почти что отай, неведомо для лишних глаз. Многое, ох сколь многое приходило творить вот так, отай, хотя бы и потому, что подворье ордынское — ухо и око царево — стояло тут же, в кремнике, невдали от великокняжеских теремов.

Четверо людей собрались в вышней горнице тесноватой, хоть и высокой, на четыре жила рубленой хоромины, отколе сквозь крохотные оконца проглядывали по-за стеною крытые соломой и дранью кровли Занеглименья и куда глухо доносило упорный перестук топоров, стон и звяк металла, буханье, ржанье и гомон. Город жил, рос, ковал, торговал и строил, воздвигая все новые и новые, белеющие свежим лесом хоромины, и уже боярские дворы выплескивало за стены кремника, на торговый и ремественный Подол, а кузни отодвигались подале, на тверскую дорогу.

Четыре человека сидят на лавках у простого тесаного стола, застланного суровою, на восемь подножек тканого, узорного холста скатертью. На тесаных стенах покоя голо, зато дивно богат иконостас в красном углу, где глаз знатока поразили бы сразу большие и малые образа византийских, суздальских, тверских и новогородских писем, пред коими на серебряных цепях теплилась дорогая лампада из синего иноземного стекла, привезенная из земли веницейской.

В горнице, по зимам согреваемой горячим воздухом снизу, чисто и сухо. Теплый ветерок вливает в отодвинутые оконницы. Четыре человека за столом разоблачились от верхнего платья. Двое из них сидят в светлых подрясниках, один в палевом, другой в тускло-лиловом.

У того, что в палевом, черноволосого, тронутого по вискам и по середине волнистой бороды сединою, на груди золотой крест — знак высшей власти церковной. Двое других тоже в домашнем облачении. Один — молодой, русокудрый — в шелковом долгом распашном сарафане сверх белой рубахи с вышитою золотом грудью. Другой — согбенный, но со все еще пышною полуседою гривой вьющихся волос и пронзительным, слегка как бы вогнутым ликом в паутине мелких морщин — одет в домашний легкий серополотняный зипун с твердыми, шитыми серебром наручами, отделанный по краю одною лишь тонкою крученою темно-синею нитью.

Четыре человека в горничном покое представляют собою ныне высшую мирскую и духовную власть Владимирской Руси. Это Калита с сыном Симеоном и митрополит Феогност с Алексием, который давно уже тайно назнаменован наместником митрополичьим, однако въяве не имеет еще ни сана, ни звания, возносящего его над прочими. И об этом сугубо отай и идет между ними разговор.

Разговор неспешный, перемежаемый сдержанною, хотя и изысканною трапезой. На столе, на серебряных блюдах и в поливных узорных ордынских чашах, были и нарезанная ломтями севрюга, и пирог с гречневой кашей и снетками, и алая, с жемчужным отливом, семга, и икра, и засахаренные фрукты, из восточных земель привезенные, и печения, и греческие орехи, и мед, и малиновый квас, и темно-багряное цареградское вино. Но ели мало, токмо отведывали, пили и того меньше. Говорили неспешно, взвешивая каждое слово, и говорили в основном старшие — князь и митрополит. Но молвь велась без лукавства, без того неверия взаимного, с коим глаголют послы земель иноземных. Здесь говорили друг с другом с прямою искренностью соучастников, а взвешивали слова потому, что оба, и князь Иван и Феогност, знали цену слова и молвили токмо самонужнейшее и токмо избранными для мысли своей словесами.

Феогност давно уже утратил свое прежнее недоверчивое презрение к великому князю владимирскому. Давно оброс добром, волостьми и кормами, давно повязал себя многоразличными связями здесь, на владимирской земле, крестил и венчал, рукополагал и ставил. А там, в Цареграде, творилось такое, что об ином соромно было и сказывать. И уже неволею начинал он ощущать своею русскую землю — землю служения своего. И в этой рус-

ской земле, понимал он теперь не менее князя Ивана, потребен свой митрополит, угодный и князю и наследнику княжому, мыслящий и живущий всеми нуждами и всеми болями этой земли. Короче говоря, и он тоже понимал, что лучшего наследника себе, помимо Алексия, ему не найти. А раз так, надлежало совокупною волей требовать у патриаршего престола поставления Алексия на наместничество. Сперва на наместничество...

— Отец мой! — говорит Калита, относясь к митрополиту.— Един Господь ведает меру лет человеческих, и кто знает свой день грядущий? Посему хощу поспешить в деле сем, его же мыслю угодным Господу!

Феогност думает. Калита упорен и терпелив. Какая нужда неволит его торопить события? Он взглядывает поочередно на отца и на сына и в глазах Симеона видит: «Надо спешить!» Смутная тревога охватывает митрополита. Князь еще бодр, и не время ему уходить из жизни! Особенно теперь, когда убит Александр Тверской и несть иной замены месту великого князя владимирского. Но и то надлежит молвить: князья, как и кесари византийские, преизлиха тратят себя в пирах, ловитвах, телесной любви и заботах господарства своего. Век священнослужителя вельми протяженнее по сравнению с княжеским веком! Кто, кроме Всевышнего, ведает меру лет? Однако, раз князь спешит сугубо, надлежит исполнить волю его.

— Я давно не был в Цареграде и не ведаю нынешних ни синклита, ни двора. Многое ся переменило, иные близкие умерли, другие удалились от дел! — вздыхает Феогност.— Надлежит паки отписать кесарю, и патриарху сугубо, а такожде...— Он перебирает в памяти имена сановников двора и членов клира, кои могут помочь князю Ивану продвинуть его просьбу. Называет одного, другого, третьего. Иван выслушивает, запоминая. Алексий скорописью заносит главное на черновую грамотку. Он уже не впервые берет на себя должность секретаря при Феогносте, и тот с молчаливым одобрением прочитывает потом толковые и немногословные записи княжеского крестника. Ныне, понимает Алексий, Феогност замыслил помочь князю неложно и указует к тому ближайшие и вернейшие пути. Симеон выслушивает отца и митрополита. Осторожно спрашивает о дарах. Казна зело истощена, но для таковыя нужи... Калита кивает. Он умеет и может быть нескупым, когда дело требует того.

В некий миг беседа теряет свою высокую напряженность, все главное уже выяснено. Можно расслабить ум, волю и даже члены. Калита сильнее сутулит спину, Симеон встряхивает кудрями, Феогност вопрошает княжича о здоровье жены, крестник говорит крестному о неисправах, замеченных им в княжеском селе под Владимиром. Руки оживают, тянутся к вину и закускам. Идет уже необязательное, не о главном деле, застольное собеседование равных, близких друг другу и не часто собирающихся вместе людей. В этот час более даже, чем в предыдущий, они чувствуют свое единомыслие, и радуют друг другу, и понимают один другого. Сколь долгими годами трудов — и каких трудов! — достиг князь Иван сего доброго застолья! Завтра будут изготовлены грамоты, с коими бояре поскачут в далекую землю, а ныне Иван Калита подымает налитую появившимся из-за дверей молчаливым служкою чару темно-пурпурного вина и произносит, улыбаясь:

— Быть по сему!

— Быть по сему! — согласно отвечают сотрапезники, подымая чары, и улыбаются, хотя и мыслят про себя, что всего этого могло и не быть и не сидели бы четверо в этой тесной горнице, ибо хитроумный грек не так уж любит Калиту (невзирая на все старания последнего), как залесскую землю и свое на ней положение, премного подкрепленное волостями, кормлениями и церковною данью... А повернись по-иному судьба? Но судьба не повернулась по-иному! Он провожал Александра в Орду, он встречал тело убитого тверского князя и пристойно отпел его вкупе с игуменами и попами владимирских храмов. И Калита не поставил этого ему в упрек даже и в сердце своем. Калита был умен, и Феогност понял: теперь подошло время неложного союза с одним-единственным оставшимся в живых хозяином залесской земли.

Четверо пируют на подворье Святого богоявления в кремнике, и только один Иван чует, почти знает уже, сколь близок предел его сил и сколь нужна, сколь надобна посему поспешливость в деле, ради коего собрал он сюда своих сотрапезников. Ибо без духа не живет плоть, без веры не стоит земля, без власти духовной рушит в ничто власть земная — княжеская, цесарская ли, господарская или иная прочая,— любая власть не стоит на земле без духовной опоры своей.

## ГЛАВА 75

Кони — в мыле. Мужики давно порасстегивали овчинные зипуны, посбивали шапки на затылки. Тута и сам станешь в мыле, коли кони не идут! Непривычная крестьянскому глазу тяжесть камня пугала. Там, где сани с подсанками, груженные тремя или даже пятью бревнами, легко бы прошли, волокуши с белым мячковским камнем тонули в снегу, проваливались. Лед на Москве-реке грозно трещал, прогибаясь, и Мишук, срывая голос, вновь и вновь орал задним:

— Годи! Не наезжай, раззява, потонешь и с камнем! — Тут прибавлялось такое, что кони и те шарахались, натягивая хомуты на уши.

Весеннее солнце припекало, и сейчас, с полудня, стали виднее начинающие отставать от берегов закраины москворецкого льда. Когда первая волокуша свернула вдоль Неглинной, выбравшись наконец на берег, Мишук перекрестился мысленно: кажись, пронесло! Сам надумал вывезти весь камень нынче, не сожидаючи полой воды, и боярина уговорил, а тут — на-поди! Морозы стояли лучше не нать, а как лишь пробили путь, пала теплынь, того и гляди, реку сломает!

Он пождал последнего припоздавшего воза, сам вывел взъерошенных мокрых коней на угор и, взвалясь на конь, тяжело поскакал к голове обоза. Весело белела на крутояре новорубленная стена кремника, и Мишуку любо было, что и его труд вложен в городовое дело. Даве выбрал час, самолично облазал прясла по-за портомойною башней. Нет, не подгадили мастера, стену свели на диво и закрыли пристойно, любо было и поглядеть!

Проминовав мельницы, Мишук нагнал наконец голову своего растянувшегося на добрых четыре перестрела обоза. Здесь, на взъеме к монастырю, возчикам вновь пришлось-таки попотеть. Подтаявший снег пахнул свежими огурцами, навозом. Тянуло дымком с монастырской поварни, запахом варева, и у Мишука засосало под ложечкой. Он все же настоял, чтобы возчики сперва свалили камень возле начатой еще по осени и возведенной до полуоконья церквы, отвели перепавших с пути коней к коновязям, напоили и задали овса, а уж потом повел изголодавших, взмыленных, стойно лошадям, мужиков к монастырской трапезной, где, по уговору, им уже была приготовлена горячая снедь: щи, каша, рыбники (стоял пост, и мясного не подавали).

Свалив зипуны и шапки на лавку, ввалили гурьбой в палату. Едва перекрестив лбы, ринули к чашкам и хлебу. Монах, распоряжавший в трапезной, строго смотрел, как кирпично-красные с мороза, пропахшие своим и конским потом мужики жрут и чавкают, утирают мокрые носы кто ладонью, а кто подолом долгой свиты, рыгают, гомонят и гогочут, поминая дорожные страхи. С лаптей и валенок натекли грязные лужи, и монах тихим сердитым голосом наказал служкам:

— Опосле всего тута подтереть пристойно! Высокие гости ноне в монастыре. Сором!

Мишук едва сладил с кашей, как его вызвали к отцу эконому. Опорожнив по пути ковш кислого квасу, он с сожалением покинул свою дружину и пошагал вослед за служкою через монастырский двор.

Во дворе, прямь груды камня, стоял богатый, обтянутый цветною кожей, обитый серебром возок. «Никак сам Протасий Федорыч пожаловал?» — догадал Мишук, только теперь извинив в душе брюзгливого монаха в трапезной.

Боярин сидел у келаря, и эконом только что прошел туда же — сообщили им. Служка оробел и мялся. Мишук сам помыслил было: взойти али обождать? Но боярин был все же знакомый, свой, и он, нахрабрясь, взошел по ступеням и толкнул тяжелую дверь покоя. В полутемных сенцах кто-то в рясе и распахнутом тулупе преградил было ему путь:

— Куда?

— Камень привез! — строго отмолвил Мишук.

— А-а! Камень...— разочарованно протянул тот, отстраняясь.

В просторной келье было светло — свечей тут явно не берегли. Протасий сидел сбоку на лавке — большой, сивый, словно закаменелый, воистину бессмертный. На Мишука поднял незрячий, остраненный взор. Не узнав, отворотил было лик, но, услышав голос — Мишук, низко поклонив, приветствовал боярина по имени-отечеству,— вновь вгляделся, уже внимательнее, и обнажил в улыбке желтые редкие зубы.

— Никак, знакомец?

— Твоей дружины, боярин! — отозвался Мишук с достоинством.

Протасий подумал, чуть сведя мохнатые брови:

— Мишук? Федоров?

— Он самый!

— Как же, как же! — радостно подтвердил боярин, довольный и сам, что вспомнил имя старого дружинника своего.— А тута почто? А, камень! Сказывал Василий, сказывал! Да ты будто ищо и прясла рубил?

— И то было, Протасий Федорыч!

— Хвалил он тебя, хвалил! Наградить-то не позабыл ле? — прищурил Протасий веселый глаз.

— Благодарствую, боярин! — возразил Мишук.— А только Васильем Протасьичем не обижен!

Протасий перевел взгляд, и Мишук с запозданием поглядел туда же, куда и боярин. В келье, кроме отца келаря и эконома, сидело еще трое монахов, и по платью понял Мишук, что не из простых. «Уж не сам ли митрополит пожаловал?» — испугался он, на всякий случай низко кланяясь всем поряду.

Темноволосый невысокий монах, с внимательным взглядом очень умных темно-прозрачных глаз, широким лбом и негустою бородкою клином, вгляделся в Мишука, в ответ на поклон осенил его крестным знамением и, погодя, вопросил:

— Почто ж до воды не пождали?

— Дак что ж! — отмолвил Мишук (не ведая, что перед ним сам Алексий, правая рука митрополита русского, он отвечал не робея).— Полой воды-то еще сколь сожидать? Да и так-то способнее оно кажет! Перегружать не надоть, от места до места вези!

— Рачителен! — подсказал Протасий.— На городовом дели тоже себя показал изрядно! И кметь лихой! С тобою мы тогда Михайлу-то?..— отнесся он к Мишуку, припоминая.

— С тобою, батюшка! — подтвердил Мишук.

Протасий покивал, пожевал губами, понурил чело. Давно было то, ох как давно! А всё вот так: напомнит что ся о том — и сердце защемит о погинувшем сыне, первенце, Даниле Протасьиче, что так и предстоял в памяти молодым, юным, почти мальчиком, так и предстоял, не старея, не меняя облика своего...

Завидя внимание к Мишуку Алексия, и келарь с экономом в свой черед заговорили со старшим возчицкой дружины. Келарь спросил, добра ли снедь и по нраву ль монастырь.

Мишук усмехнул в ответ:

— Дак я и сам возмечтал было, как руку-то повредил на бою, в монахи податься... У меня ить и дядя, отцов брат, Грикша Михалкич, тута был, в затворе.

– Грикша? — переспросил Алексий удивленно.

— Извиняй,— поправился Мишук,— мирским именем назвал, ошибкою. Так-то он старец Гавриил будто. А преж того был он в Даниловом монастыре келарем.

Монахи переглянулись.

— Вот что, Мишук! Мишуком тебя кличут? — решительно сказал клинобородый.— Помню я дядюшку твоего, да и ты, отец эконом, должен ведь помнить затворника Гавриила. Строгий был старец и достойный. Украшение монастыря здешнего! И ты, коли восхощеши укрытися от забот мирских в обители божьей, приходи невозбранно. Примут тебя и без вклада, назови лишь меня, Алексия. А работу станешь творити у нас по силе и по разумению, яко же и в миру творяяй! Господу,— тут он усмехнул едва заметно, одними глазами,— такожде надобны слуги разумные и рачительные к мирскому труду.

Мишук обратно шел как на крыльях. Поняв, кто перед ним, он не сомневался, что всесильный инок Алексий сдержит свое обещание, стоит ему, Мишуку, только захотеть. И где-то в душе появилась далекая еще, но крепнущая уверенность, что он захочет — рано или поздно, исполнив нужные труды свои и устроив семью,— захочет и сможет уйти сюда от мира, от тяжких и суматошных забот семейных, вечных попреков жены, ото всего, что с годами стало все приметнее и приметнее тяготить и неволить, не давая ему ни прежней радости, ни прежних сил. Он остоялся, прикрыл глаза, представил себя неспешно идущим через этот двор в рясе и скуфье, и высокий голос колокола над головою досказал, подтвердив его видение: да, он придет сюда, обязательно придет!

Меж тем, проводив Мишука, Алексий поднял заботное чело и вопросил строго и требовательно:

— Где же отец настоятель?

Нежданная беда вызвала Алексия из Владимира и собрала их всех здесь: заболел великий князь, Иван Данилович Калита.

## ГЛАВА 76

— Весна?

— Тает.

— Просил, отокрыли б окно... Дух легкой! Закрыла... Бережет!

— Ульяния?

— Она... А я задыхаюсь. Отокрой, крестник! Вот так и добро. Вольным ветром пахнуло. Как птицы кричат! Весна! Не видел николи... Просто так вот, безо всего. Все дела, заботы тяжкие... Весны не видел! Не видал... Юрко, тот жил для себя, а я — для дела, для власти своей жил! И вот — лежу, яко тот расслабленный пред Иисусом... Помоги, крестник! Слышишь, Алексий? Помоги! Не можешь... Един Господь! Как страшно...

— Мужайся, крестный! Суд Господень для всех, а после него — жизнь вечная.

— Смерти не страшусь! Я не к тому молвил. А вот как страшно: Христос рядом — и не признать! Просить исцеленья, словно бы у чародея некоего или волхва. А он — рядом! Живой! Во плоти! И — не признать... И я бы, и я бы тоже не признал! Вот чего страшусь, крестник, вот о чем ныне скорбит душа! Не признал бы. Не понял. Яко и прочие мнози: токмо о суетном, гнойные струпья свои являли... Плоть, а не дух взыскуя уврачевать! А с ними Христос! Сам! Явлен! Сядь и омой слезами нози его, и восплачь в радости, и виждь, и внемли! Быть может, и я всю жисть токмо о бренном, о суетном... А главного, того, что для вечности, потребного духу — и не постиг! Не сумел, не понял... Христа, во плоти, сущего рядом со мною, не разглядел! Вот чего страшусь, Алексию! Вот о чем тоскую я ныне! Как и те: зрели — и не видели! Исповедуй меня, крестник! В толикой сирости моей токмо тебе могу изречь вся тайная души моея. Прими! Выслушай! Ты один?

— Один, крестный!

— Тебя назначат... Выше... Феогност возможет. Теперь! Когда нет Александра. Грех на мне велий, крестник! Молил я Господа, и было изречено: «Наказую тя, грешниче». Тяжко, Алексий! Был я и скуп, и строг, и тяжек порой. Казнил татей без милости, правил суд без жалости, сбирал казну и волости многие. Окупом брал княжения и грады, утесняя князей подвластных!

— В том, крестный, нету прогрешения пред Господом! Мир и тишину дал ты народу своему, леготу гостям и ремественникам. Зри, яко расцвело и преумножило все в волости твоей! А казнить татей еще первый митрополит русский заповедал первому князю нашему, святому Володимеру, крестителю Руси. Татей жалеть — стало огорчить и осиротить смердов. А на них созиждена вся прочая, иже в княжении твоем пребывает! И в

том, что куплями приобретал ты княженья, может и должен простить тя Господь. Князь ты, и княжеск труд вершишь в русской земле.

— Пусть так! Я и сам ся порою тешу мыслию о благе земли... Но все одно, повинен аз в гордости и неправдах пред Вышним, ибо не Господа ради, а ради услады Феогностовой созидал я храмы божии на Москве, дабы привлечь тем митрополита ко граду своему! И не ради нищих, а ради чести и славы своей наделял я милостынею убогих и сирых! И законы правил и утверждал ради себя, по суетному величанию ума своего!

— Утешь ся, крестный! Господу потребны дела, а не помышления! Рекут не безлепо, яко благими намерениями вымощен ад! То, что сотворял ты в усладу себе, останет на земли, яко труд благопотребный, сущий на пользу гражанам волости твоея. В храмах тех чистая молитва ежедневно восходит ко Господу, и не тебя, а владыку всего сущего ликует по вся дни клир церковный! Зри, яко душеприветен труд сей: церковь, что почали созидать в монастыре Богоявления, прослышав о немощи твоей, Протасий Федорыч обещал достроить своими людьми и своим серебром ради Господа нашего Иисуса Христа! Для суетного ли любованья принял он сей обет?

Утешь ся, крестный. Труды твои ко благу Святой Руси и угодны Господу.

— Лукавил я пред ханом, Алексий!

— В том воля не твоя, крестный. По грехам дедов и прадедов наших ныне Русь под ордынским ярмом. Тебе надлежит боронить землю, и ты боронил ее, и спасал, и берег от ратного нахождения. В том крест твой и всяческое оправдание твое!

— Возлюби ворога своего, речет Господь!

— Но не врага земли твоей, крестный!

— Знаю, Алексий. Ведаю то и паки реку: возлюби ворога твоего, речет Господь! Я же ворога своего, князя русской земли, предал злобе татарской и погубил. Как оправишь меня в том, крестник? Коликую изречешь вину и коликое мне оправдание? Ведь князь Александр вышнею волей и приговором ханским был поставлен великим князем русской земли! Как и чем оправишь меня пред Господом? Не ради земли и не ради языка русского — ради себя, ради власти своей поверг я брата своего во Христе на неправый суд ханский и сына его, безгрешного отрока, чей дух вознесен ныне к престолу

Господню, погубил! — Горячечным взором больной заглядывает, вытягивая шею, в очи Алексию, ждет ответа. А крестник молчит, тяжко поникая главою. Отвечает наконец с медленным, тихим усилием:

— Ты, князь, не мог поступить иначе! Не мог погубить устроенья княжества своего и дел своих многих не мог отринуть. И в том грех твой великий, и в том надлежит тебе стати с Александром на господень суд!

— Но ты, ты, крестник, что ты изречещь мне, на ложе болезни сущу? Быть может, это наша с тобою последняя молвь! — почти кричит умирающий.

— Крестный и князь! — сурово отвечает Алексий.— Како могу молвити слова осуждения или оправдания твоего? Грешен ты, ибо не возмог иначе, ибо рожден здесь, от отца своего, и наречен князем волости своея, и не мог же ты устроять иную землю! Но я, князь, возлагаю отныне грех твой на плеча своя и стану, малый, на суде господнем грешнее того пред тобою! Ибо ежели ты избрал путь сей по воле судьбы, то я избираю его по своей воле, никим не понуждаем! Не ведаю еще, призовет ли меня Господь к вышней духовной власти на Руси. Но в сердце своем положил я зарок послужить ко благу сей, тобою и усопшим родителем твоим устрояемой земли, и из кореня сего — быть может, не лучшего среди произрастаний духовных — вырастить древие плодоносное, листвие коего осенит собою когда-то всю нашу Святую Русь!

Крупный пот холодной росою выступает на челе умирающего, голова на иссохшей шее валится в промятую глубину взголовья. Полусмежив воспаленные вежды, он шепчет:

— Ждал я от тебя слов этих, Алексий! Ждал... Но веришь ли ты, крестник, что Господь простит тебе предерзостное решение твое? Веришь ли ты, что грех, творимый ныне, послужит ко благу тех, кто еще не рожден? Не суемудрие ли то? Не ослепление ль гордыни нашей?

Алексий смотрит темно-прозрачным взором в глубину Ивановых глаз, отвечает медленно, словно читая:

— Верю, крестный, тому, что в нашей земле явит себя святой, молитва коего станет угодна Господу. И тогда скверная наша ся переменит на добро и воссияет свет.

— А я, крестник?

— Не ведаю, крестный! Вкупе станем мы у престола

на суд Господень. И токмо об одном надлежит молить его, всеблагого и мудрого: да не применят правнуки наши вновь добра на зло! Да не пойдут и они путем которы и кривды и да не возжаждут крови братии своея!

Меркнет свет в горнице. Тускнеют шелка и парча. Ярче светит, во след уходящего дня, серебряная лампада. Иван задремывает, беспокойно сжимая горячею влажною рукою руку Алексия. То вдруг откроет глаза, вперяя горячечный взор в обведенное тенью лицо крестника.

— Ты здесь еще?

— Здесь, здесь, крестный! Усни. Да идут ко Господу тоска и молитва твоя! Тяжек твой крест, княже, но он — твой, и некем ся тебе заменить! И каждый достойный, Иване, возлагает на рамена своя крест по крайним силам своим. Абы токмо снести. И несет! До конца. До Голгофы. До последнего суда господня!

## ГЛАВА 77

В высоком и узком покое монастырской книжарни тишина. Скрипнет перо, да прокашляет, прикрывая рот ладонью, писец. Обмакивая гусиные и лебединые перья в бурые густые чернила в медных чернильницах, неспешно выставляют в ряд ровные, словно прочеканенные, буквы — переписывают божественные книги. Евангелие, заказанное Калитою еще осенью, почти готово. Но князь тяжко болен и уже принял схиму. Не великий князь Иван, а инок Анания лежит там, в вышних горницах княжого дворца, чьи резные верхи видать сквозь намороженные слюдяные оконца книжарни.

Еще недавно книги по большей части заказывали в Суздале, Владимире, Твери, в Новгороде Великом. Теперь переписывают на Москве. Отец протопоп берет Евангелие, невольно любуясь работой.

— Надобно надписать тута о князе нашем! — подсказывает писец Мелентий.

— Не просто, а с похвалою! — подняв палец, отвечает отец протопоп.— Премного сверших и сотворих многоразличная благопотребная граду и гражанам! А такожде и боярам, и мнихам, и стратилатскому чину, и всем смердам нашея земли! Законы утвердих, и очисти пути от татей, и еретик изжени, сотворяяй книгу «Власфимию» и законы русские «Мерило праведное» с

«Номоканоном», обнових и утвердих, яко же древлий Юстиниан!

— Не грех ли то будет — сравнити князя нашего не токмо с Устиньяном-царем, но и с Константином, строителем Цареграда? — вопрошает писец. Отец протопоп думает, склонив голову набок. Решает наконец:

— Греха в том нетути, а все ж пойти прошать духовника княжа, да благословит!

Он выходит, и писцы, пользуясь отлучкою старшого, разгибают спины, вздыхают, кто любуясь своею работой, кто зевая, кто тихо перемолвливая с соседом.

— Князь что? — прошают сотоварища, относившего недавно во дворец переписанную набело грамоту.

— Вельми болен! — отвечает тот, и многие хмурят брови.

Князь был рачителен, строг, но и добр. Ни гладом не сидели при нем, ни портами, ни иною какою справою не оскудевали. Как-то постанет впредь? Не пришло б иным ворочать на родину, во Владимир, Ростов или Суздаль, откуда перезвал их когда-то Иван Калита. Прижились, обстроились на Москве, да и кормы у великого князя зело добры!

То же сейчас по всей Москве, в Занеглименье и на Подоле. Всюду меж работою, торговлей ли нет-нет да и спросят заботно у знатцов:

— Как ноне великий князь? Вельми ли нужен? — И вздохнут опасливо: — Чтой-то настанет опосле него? При Юрии Данилыче вон ратились с Тверью, спокою не было никакого! А тута сколь летов уже тишина! И хлеб родит, и ремественник и торговый гость — все в довольстви ото князя своего! Как-то тамо наш Данилыч? Може, оклемает ищо?

Но князь умирал. Исхудалый, в черном монашеском платье, лежал он в изложне своей, изредка молча взглядывая на жену, что тоже спала с лица, извелась в заботах и страхе.

Горели свечи. Он забывался дремотою. Терпеливо переносил все припарки и притиранья, пил настои трав, которые уже не помогали ему, и чуял, как таяли и таяли силы. Из Орды доносили, что вельми недужен кесарь Узбек. Он послал сына в Нижний — урядить с суздальским князем дела торговые и заодно уведать, что деется в Орде.

Он любил Узбека. Всю жизнь обманывал, всю жизнь ходил по краю гибели, сносил неправедные попреки,

льстил и утишал царский гнев, посылал кметей в далекий Китай, передавал хану горы серебра, и — любил. Сжился. Притерпелся, привык к нему. Теперь, при гробе своем, получив ордынскую грамоту, он пожалился в сердце своем о возможной смерти Узбековой. Они вместе уходили из жизни, противоположные во всем, начиная от веры и кончая навычаями народа своего, противоположные во всем и связанные единою нерасторжимою цепью.

Ляшский король занимал Галич, в Брянске смерды убили своего князя, Глеба Святославича, в Литве, слышно, усиливался Ольгерд, сын Гедимина от русской жены Ольги... И не было уряжено с Новым Городом, все еще не получен бор, затребованный с него Узбеком. Нелегкое наследство оставляет он Симеону! Да и бывало ли так, чтобы все мочно было устроить и с тем отойти к Господу? Быть может, в том и заключена тайна жизни, что не свершить вовек, не переделать всего потребного труда и новые поколения должны продолжать и продолжать сей нескончаемый подвиг пращуров?

Увидит ли он еще раз сына своего? Успеет ли в последний раз — да, теперь уже ясно, что в последний раз! — поглядеть ему в очи, уверить себя, что тот выдержит, вынесет ношу, взваленную на него отцом, и продолжит, и пронесет ее до конца... И он мучительно захотел узреть Симеона. Скорые гонцы уже были усланы за княжичем. Симеон и сам должен был прискакать вскоре, да помешала, видно, весна. Пала ростепель, и пути сделались непроходны.

Он вызывал к себе Андрея с Иваном, слабым голосом наставлял слушать во всем старшего брата. Вызывал дьяка Кострому, велел честь завещание. Грамота была составлена толково, очень толково. Он сам подивил сейчас своей мудрости, тому, как поделил детям волости, грады и селы, как поделил порты, блюда, золотые пояса и прочая, никоторого из них не обижая. Симеону на старейший путь давались грады важнейшие, Можай с Коломною, но и отвечивать ему более прочих: да бережет рубежи земли! Ни Андрей, ни Иван, ни Ульяния с чадами не изобижены.

Ивану дается Звенигород с Рузою, а всего двадцать четыре селенья; Андрею — Лопасня, Серпухов, Перемышль и прочая, всего двадцать одно. Княгине с дочерьми отходит двадцать шесть селений, тут и Радонеж, тут и село Коломенское под Москвой. Москву оставляет

он детям в общее владение, нераздельно. Так и младшие не обойдены и, однако, останут в воле Симеона.

Поясы золотые: простые и с жемчугом, с каменьями, с капторгами, пояс золотой сердоничен, пояс золотой фряжский и золот пояс с крюком на черевчатом шелку, златые цепи, чары, чумы, блюдца с жемчугом и каменьями, чаши, блюда серебряные, большие и малые, с рукоятями и письмом, ожерелья и обручи, монисто, подаренное Феотинье, червленый кожух, великий коч с бармами, соболий бугай, скарлатное портище, кожухи с аламами и жемчугом, наследственные сокровища: сардоничная коробка, икона на изумруде, шапка золотая Мономахова — все разделено по чести, по старшинству, поряду.

Ни Переяславль, ни Дмитров с Галичем, ни Ростов, ни Белоозеро не были указаны им в завещании. Дело то тайное, и ни для чьих глаз или ушей... «Удержи, сын, благоприобретенья отцовы! Удержи власть в русской земле! Не расточи по ветру трудов и дел родителя своего! Ибо жив отец в сыне своем, и доколе сын продолжает дело отца, дотоле стоит жизнь на земле. Не оставь, Симеоне, меня сиротою перед престолом господним!»

— Симеон?

Молчание.

— Симеон!

Кто-то, видно прислуга, шевелит в полутьме, погодя отвечает негромко:

— Сынок еще не прибывши, Иван Данилыч!

— А ты кто?

— Сенная я ваша, доглядаю тут...

— Выдь. Попроси, послали б за Симеоном!

Дверь тихонько скрипнула, удалились робкие шаги.

— Свету мало!

Никто не отозвался. Пусто.

— Симеон! — снова зовет он в забытьи.— Семушка! Тяжко... Ты... прости меня... Не доживу... Грешен я. И пред тобою грешен! Юрко мне оставил вражду противу Твери... А я, похотев большего, оставляю тебе теперь вражду с Литвою и Новгородом. Сыну ли, внуку ты оставишь бранный спор с Ордой! И так, без отдыха, вечная рать! И всё, чтобы пахарь пахал свое поле, и бабы жали хлеб, и дети не помирали гладом на путях и торжищах... Слышишь меня, Симеоне? Твори по заповедям моим... За все отвечу я... смерть... Ты один...

Голос князя переходит в шепот. Недвижно теплют свечи. Тишина.

— Симеон! — вновь хрипло зовет умирающий. Безмолвие. За стеною шорох. Скрипит дверь.

— Звали, батюшка?

Снова какая-то баба! А сына все нет.

— Симеон! — шепчет уже с отчаяньем умирающий, угасая.— Симеон! Слышишь ли ты меня?

Он прикрывает глаза. Кончается март. Скоро апрель погонит снега, а там смерды снова пройдут по полям, вспарывая острием сохи клеклую, затверделую землю. Эту землю, этот весенний свет оставляю тебе, Симеон! Володеть и править. Схож ли я с кесарями Константином и Устиньяном, как о том толковал даве духовный отец, причащая святых тайн? Пребудут века славы над моею Москвой — и стану равен тем великим кесарям... Исчезнет град мой в волнах времен невестимо — и в посмех потомкам обратит ся имя мое...

Ты, сын! От тебя одного... На коликой тончайшей нити висит все содеянное мною! Но нет, ты не один! Есть преданные бояре, есть многие слуги верные, и еще Алексий — вот кто спасет и поддержит! Я многое совершил для тебя, сын!

Господи, дай, по слову крестника моего, святого спасителя русской земле! Дай мне веру и силу умереть спокойно! Сейчас снова взойдут, будут перекладывать, обтирать, поить и кормить, мучать лекарствами... А мне нужен только один Симеон — моя вера, надежда, спасение мое на этой земле! Где ты, сын? Услышь меня, прискачи на последний погляд!

## ГЛАВА 78

Симеон прискакал в Москву на третий день после похорон. Замызганный, страшный, он сутки не слезал с коня, дважды проваливал под лед, бросив где-то за Берендеевом княжой возок и растеряв по пути почти всю дружину, чаял успеть, и лишь за сорок верст от Москвы, в Сельцах, повестили ему о кончине и похоронах отца. И эти последние, безнадежные, версты стали ему тяжелее всего.

Шатаясь в седле, въезжал он в Боровицкие ворота кремника и выглядел так, что сторожевой в воротах опустил было копье, мысля задержать подозрительного вершника. Но Симеон, оскаля зубы на сером, заляпан-

ном навозом и грязью лице, бешено вздынул плеть, намерясь полоснуть кметя по харе, но тут кто-то испуганно вскрикнул: «Князь!» Сторожевой, шатнувшись и заслонясь рукавом, уронил копье, а Симеон, вложив неистраченную силу удара в подарок ни в чем не виноватому коню, вихрем влетел в кремник и, не видя шарахающих от него в испуге горожан, в слепом отчаянии закипающих слез и гнева, ворвался в ворота княжого дворца.

Охнула прислуга. Сильные руки холопов приняли с седла своего князя. На яростно-скорбное: «Где?!» — старый слуга отцов отмолвил со спокойною твердостью:

— У Святого Архангела. Токо пожди, батюшка, личико обтереть нать, и платье, вишь, замарал дорогою. Негоже, пред батюшкою грех!

Его завели в сени, подали умыться, переменили верхнее платье и почти насильно влили в рот чашу душистого меду. Выбежала жена, младший брат Иван, слуги. Симеон, минуту назад готовый разрыдаться, обвел всех обрезанным, невидящим взором, на миг только приобнял за плечи Айгусту и отстранил, не заметив даже ее удивленно-испуганного, обожающего взгляда. Таким, как сейчас, с блистающими неумолимо, обведенными гордой тенью глазами, Айгуста еще не видала своего супруга, разве в первые дни после возвращения его из Орды...

Отстранив всех, Симеон, обнажив голову, пеший, направил стопы свои в церковь. Тех, кто пошел было за ним, он мановением руки остановил у паперти. Службы не было, но железные двери столь поспешно открыли перед ним, что Симеону почти не пришлось замедлить шагов у порога.

Перекрестив чело, он вступил под каменные своды и остоялся, привыкая к полутьме храма. Направо от входа, рядом с могилою дяди Юрия, простерлась во мраке новая белая плита. Неслышно подступивший священник возжигал потушенные свечи. Симеон лишь глянул на него, не видя, и старик тотчас исчез, растаял в темной глубине храма.

— Батюшка! — позвал Симеон. И замолк, слушая эхо, замиравшее где-то под сводами храма: — Юшка... юшка... шка... шка... шка...

— Батюшка! — повторил он.— Я здесь, я прискакал к тебе!

Он снова умолк, и вновь эхо, невнятно замирая, договорило его слова.

— Вот я, батюшка! — повторил Симеон, делая шаг к могиле.— Прости меня! — И, склонясь, рухнул плашмя на холодный камень.

Слезы хлынули наконец, сотрясая все его тело, и тяжелые сдавленные рыдания раздались под сводами храма.

— Батюшка! Батюшка! — шептал он в перерывах рыданий.— Ты звал меня? Ждал? Вот я здесь, тут я, слышишь меня? Зришь оттоль, с выси горней, сына своего? Я все... все знаю, ведаю, батюшка... Я буду... выдержу... вынесу... Ты только прости меня, батюшка! Вот — не успел, не возмог...

Рыдания становились тише. Священник, опасливо выглянувший из-за алтаря, увидел, что княжич попрежнему лежит недвижно на полу, и даже перепал было. Но Симеон шевельнул головою, встал на колени. Склонясь, трижды поцеловал могильную плиту. И вновь застыл, беззвучно шевеля губами,— молился.

Вот сейчас он встанет с колен и пойдет... Куда? Зачем? Тяжкий крест, отец, оставил ты сыну своему! Как непереносимо тяжелы заботы вышней власти! Но — да будет воля твоя, Господи! И ты, батюшка, да не узришь оттоль ослабы в сыне и наследнике своем! На сем кресте, под сенью храма сего клянусь! Да исполню волю твою и веру твою в назначение мое не отрину.

Покойся с миром, отец. Сейчас я встану с колен и пойду — править землею и вершить власть.

Как тяжко бремя твое! Сейчас...

## ЭПИЛОГ

Дедушко лежал на лавке, большой и необыкновенно, пугающе длинный, будто в смерти — перестав хрипло и трудно дышать — он начал молча расти, простирая долгие ноги, все дальше и дальше откидывая сивую голову...

Постояв и подумав, отрок с некоторым трудом поднял неживые дедовы руки и сложил на груди крестнакрест. Достал было береженую свечу, подумал, отложил, покачав головою. Свеча сгодится потом, когда

приедут поп ли, монах отпевать покойника. Мельком подосадовав на матку, которая непутем вновь запропастилась куда-то (за гульбой пошла, так-то сказать!), он усадил братика в головах у дедушки. У малого прыгали губы.

— Сиди тута! — строго велел он.— Лучины наскепано, жги, не то так сиди, без огня. Да и лучше в потемнях, не таково страшно станет. Да молитву читай!

— Каку? — жалобно проговорил меньшой.

— Каку добре знашь!

— «Бо... Богородицу».

— Ну вота «Богородицу» и читай! — повелел старший, и маленький, запинаясь и пугливо взглядывая на покойника, забормотал, зачастил непослушливо прыгающими губами:

— Богородице дево верую, пресветлая Мария, Господь с тобою. Благословенна ты еси в женах, и благословен плод чрева твоего...— А сам в тоске и страхе глядел, как, круто и решительно затягивая пояс, сряжается старший брат.

— Задержусь коли, коров обряди! — наказал старший уже на пороге.

Вот он снял со стены кнут, вот хлопнула дверь, вот на дворе затопотал конь и заскрипели сани, вот щелкнули заворы ворот... Глотая непрошеные слезы и пугливо взглядывая на мертвого и страшного в своей холодеющей недвижности деда, мальчик, боясь глядеть на покойника и вжимаясь в черные, грубо тесанные бревна стены, все шептал и шептал «Богородицу», путая, сбиваясь, повторяя одно и то же все вновь и вновь: «Пресветлая Мария, Господь с тобою, благословен плод чрева твоего и благословен плод чрева твоего...»

Старший, выйдя во двор, прежде проверил заворы жердевой стаи, где стояли коровы, глянул на вечереющее небо (нать бы доехать до Загорья не в полных потемнях!), вновь подосадовав на непутевую матку, что третий день никак уже глаз не кажет до хозяйства, не посовестилась и того, что деда без ее помер... Тут он засопел было, но (в четырнадцать лет — полный мужик, почитай! — плакать было уже и зазорно) пересилил себя, сильно задышав, начал выводить коня.

Конь, которого дедушко сам выхаживал еще жере-

бенком, чуя беду, храпел, зло прижимая уши, не вдруг дал завести себя в оглобли. Глянув ненароком в дикие глаза коня, он вдруг увидел в них почти человечий ужас и вновь едва справился с собою. Обнял коня за шею, вжался в жесткую спутанную гриву. Конь, отходя, мелко вздрагивая кожей, нюхал ему руки и голову, большими зубами трогая небольно за плечо. От безотчетных поглаживаний парня конь потихоньку пришел в себя, дал взнуздать и завести в оглобли.

Вложив дугу в завертку, он перекинул ее через шею коня и, потужась, вздел на свободный конец завертку второй оглобли. Потом, отступя и упершись ногою, свел вместе клещи хомута, споро и точно обмотав их супонью, закрепил конец неразматывающейся петлею, как учил дед, и вновь острый смысл того, что дедова наука уже вся позади и, что успел он постичь, то с ним теперь и пребудет, едва не выжал у него непрошеных слез.

Отца он не помнил. Дед был для него и дедом и отцом. Поначалу так и звал тятей. Отца убили, не то увели с собою татары в Шевкалову рать. Тогда же спалили дом и хлев, уничтожили всю ихнюю деревню. Дедушко с его маткой уцелели чудом. Московлянин один, давний знакомец дедова отца, спас. Тут как-то сложно было, словно и не сам знакомец, а еговый сын, словно вот он сам, к примеру... Не пораз сказывал о том дедушко, а все не в полный толк. Помнилось почему-то не главное: что его самого тогда несли завернутого в зипун да что знакомец подарил дедушке секиру. Старая, сточенная едва не до рукояти, она и поныне хранилась в доме как память о неведомом друге, подарившем некогда жизнь ихней семье...

Как дедушко подымал хозяйство, рубил клеть, ставил хлев и амбар — помнилось смутно. Их первая корова тоже помнилась больше по ощущению большого доброго тепла. Из детских лет сохранился в памяти постоянный голод и блаженное, тупое ощущение сытости — когда резали скотину,— такое редкое в те ранние годы!

Обрывками, кусками вспомнилось (опять подумал о непутевой матке), как однажды он сидел между ними на соломенной постели, восклицая: «Тятя!», и мать смеялась дробным каким-то, рассыпчатым смехом, а деда умывал ему щеки, обтирая влажным рушником.

А он тогда еще ничего не понимал и уж потом, годы спустя, по сплеткам, урывкам речей догадал и огорчился тому, что доброе и ладное в их семье выглядело стыдным и зазорным в глазах равнодушных и глупых, мало что и знавших пустомель.

А потом деда сильно постарел. Матка стала загуливать и пропадать. И братика принесла со стороны. (Братика он полюбил сразу, а на матку за измену дому, за измену любимому дедушке долго нес сердце, да и до сю пору не простил.) Вот и теперь: воротит хмельная, учнет в голос грубо вопить, и он опять не поверит ее слишком громкому горю... Еще, поди, приведет какого чужого мужика в дом! Ну уж нет! Сам взрослый уже! Пущай не думат!

Еще помыслилось, когда съезжал с угора к реке, виляя по талой земле и грязи, что весною придет ему пахать впервые без деда и он сам теперь наденет на шею берестяной пестерь, разуется и пойдет босой по холодной, жирной, разрыхленной его сохою земле, кидая полукругом семена, и братика посадит на борону-суковатку... Одюжат они и сами поле-то!

Из-под угора, оглянувши назад, он окинул привычным взором очерк ихней хоромины, крытой накатником и дерниной. Деда все горевал-сказывал, каков был у них терем до Щелканова разоренья, и он в уме давно уже порешил — как только войдет в полную силу — беспременно срубить такой же, и уже словно видел тот терем всякий раз, съезжая с холма. И ныне, оглянув ясно очерченный на вечереющем небе излом дерновой крыши родного дома, подумал, что срубит высокий терем с тесовой кровлею на этом взгорке, хотя бы даже в память деда, и вновь, и вновь оглянул, пока сани, пристукивая на корнях дерев и скользя по проталинам, убегали в березняковую гарь, все еще утопающую в талом весеннем снегу.

И опять остро почуялось, что дедушки уже нет и не будет никогда. Не будет дедовых свистулек, не будет дедовых грубых и нежных рук, ни запаха его, такого родного и привычного — когда еще носил на руках. Потом он, балуясь, пытался поднять деда, но только — и то уж в недавних летах — едва умел оторвать его от земли.

И сегодня, когда, упавшего, взволакивал на лавку,— едва-едва, натужась изо всех сил и губы закусив, вздынул-таки. Вздынул, поправил сползающие ноги в стоп-

танных лаптях и только тут, ткнувшись в грудь деду, дал волю слезам. И то еще диво: блазнило, что дед вот-вот его, плачущего, бережно огладит загрубелой рукою по волосам, как бывало не раз и не два и как не будет уж теперь никогда... Он сгорбил плечи, трясясь. Добро, сани углубились в лес,— и его слабости не видел никто, кроме, почитай, любопытных белок и соек, что слетали с ветвей, накидываясь на свежий конский навоз.

Сумерки сгущались. Одиноко трусил конь по холодеющей вечерней дороге, едва видной в частолесье, едва намеченной редкими проездами саней. (А по летней поре заросшей высокой травою, успевающей подыматься от раза к разу,— так редко ездили здесь люди.)

Уже совсем стемнело. Где-то печально и глухо ухнуло. Конь всхрапывал, верно, учуял зверя. И он подумал, что отощалый, на все готовый зверь теперь, по весне, страшен и ему и коню.

Впереди глухо шумела вода, и когда он спустился в западинку, то остоялся невольно. Ручей, взломав лед, залил все излучье до подножия дальних сосен, и по глухому гудению чуялось, как сильно и быстро идет вода. Конь стриг ушами, беспокойно всхрапывал, переминаясь, долго не хотел идти. Он снял зипун, привязал его к седелке — по крайности, не замокнет — и, раскрутив кнут над головою, решительно погнал коня вброд. Оступаясь, ныряя и фыркая, конь пошел в ледяную воду. Сани скоро поплыли, и он с опозданием пожалел, что не взял правее, через Манькино займище, но ворочать теперь было поздно. Вперед, вперед! Конь уже плыл, сани кренило, их била вода, и видать стало, что скоро и конь не выдержит. Не раздумывая больше, он ухнул в талую воду, тотчас окунувши по горло. От холода захватило дыхание, и те миги, когда он не мог набрать воздуху, показались ему самыми жуткими в эту ночь. Но, представив себе мертвого дедушку и братика около мертвеца, он, сделав усилие, воздохнул и, унырнув еще глубже, нашарил дно и пошел, сцепив зубы, хватаясь за плывущие рядом сани, где можно поддерживая и пихая плечом, и только одно думалось в тот миг: лишь бы не захлебнуться, не умереть и не потопить коня! Сколько это продолжалось, он не помнил, но вот вдруг под ногою почуялось твердое, и скоро он вышел из воды по плеча, по грудь, по пояс... Конь с храпом

и хрипом выбирался, выцарапывался на угор, и он позволил себе упасть, повалился грудью в сани. Конь, рванув, вымчал из ручья и стал, отфыркиваясь и отряхиваясь всею кожей, словно собака. Тогда и он поднялся, стянул, уже не чуя холода, рубаху и порты (даже поблазнило, будто без одежи стало теплее), выжал, одел, отжал и перемотал по-годному онучи и, влезши в полусухой, к великому его счастью, зипун, погнал коня.

Конь шел хорошею рысью. От его шкуры — видать было в темноте — валил пар. На первой твердой прогалине он соскочил с саней и побежал рядом, согреваясь на ходу. У чернолесья, не останавливая коня, взвалил опять на сани и так повторял каждый раз, как попадала просохшая дорога. Ноги стали вроде отходить, и в плечах уже не сводило судорогою.

Он все ж таки и издрог, и устал, и был рад-радешенек, завидя в поредевших стволах дерев луг с черными на вечерней синеве островатыми шапками остатних осенних копен. Вскоре показалась и поскотина. Где-то вдали брехнула собака. Он вытащил жерди из прясла, провел коня, задвинул опять, хлестнул и, вскочивши на ходу в сани, резво покатил по хрусткому подстылому насту к темному нагромождению обтаявших соломенных кровель, где редко-редко мигал в волоковом оконце трепещущий огонек светца.

У Силантьева двора пришлось-таки поколотиться в ворота. Кто да кто? Глупая баба долго не могла взять в толк; плохо слыша, никак не спускалась с крыльца. Наконец-то расчуяла, отперла. Он завел коня, привязал, кинул хозяйского сена — свое все снесло со саней водою,— вслед за бабою ступил в жилое тепло избы. Спросил:

— Деинка Силантий дома ле?

Бабы, что пряли, любопытно уставились на него. Не вдруг отмолвили:

— Уехадчи!

— Ай будет?

— Должон подъехати!

Он сел на лавку, отдыхая и вполуха слушая бабий сорочий толк.

— Лезай на печь! — предложила хозяйка, и он не заставил себя упрашивать. Только на глиняном горячем лежаке, где от его одежи тотчас повалил пар, он понял,

как недолго ему было нынче пропасть в лесу, и начал понемногу согреваться.

В избу зашло двое мужиков и тоже прошали Силантия. Мужики уселись прямь загнеты, и ему был хорошо слышен весь ихний разговор, где поминались Москва, Тверь, какие-то князья и бояре.

— Отъехали Окинфичи на Москву! — сказал один из мужиков громко.

— Ай князь нас под себя заберет? — спросила одна из баб, подымая круглые любопытные глаза от прялицы и не переставая пальцами быстро-быстро ссучивать льняную куделю.

— Какой князь! — снисходительно отозвался старший из мужиков.— Слышь, Ляксандру за батюшкой вослед в Орде задавили!

— Да уж слыхом-то слыхали, еще по осени баяли, а все не знай, верить, не знай — нет! — возразила глупая баба.

Он поглядел на баб с презрением и вздохнул. Из печи вкусно пахло щами. Остро захотелось есть, и он пожалел, что не захватил с собою хоть пареную репину, что ли... Потом от печного тепла он стал задремывать. Вполсна учуял, что бабы, понизя голос, гуторят про него и про его матку: «Младшего, вишь, не от свекра ли и родила!» «Добро, кабы от дедушки!» — подумал он, уже не обижаясь на баб: что с них и взять, полоротых!

Он уже и совсем было заснул, когда в избу вошел наконец припозднивший Силантий. Бабы засуетились. Хозяйка потянула горшок со щами на стол. Сказала, кивнув в сторону печи:

— Паренек-то сомлел!

Силантий, подойдя к припечку, толкнул его в бок. Он вздрогнул; все еще просыпаясь, по-детски тер кулаком глаза.

— Сидай к столу!

— Благодарствую! — степенно отозвался он, слезая с печи, и, отдавая поясной поклон, присовокупил: — А только я с нужою к тебе, деинка Силантий! Ченца надо, мниха какого альбо попа. Батя помер. Дедушко наш.

За столом охнули. Бабы враз затормошили его:

— Почто ж не сказал-то, анделы! Не сказал-то пошто!

Его усадили за стол, дали ложку, отрезали хлеба.

— Ты поснидай, поснидай! Да и ночуй! Из утра поедете вон с Силантием вместях!

— Нет! — ответил он.— Малый там у меня один и скотина.

— Матка, поди, доглядат! — возразила было хозяйка.

— Матки нету. Третий день глаз не кажет! — отмолвил он, приканчивая щи.

— Ох вы, родимые! — запричитали теперь уже все бабы.— Да как же жить-то будете? Да горемышные вы сиротинушки!

— Побегай оттоль, побегай! — решительно подсказывала хозяйка.— Хошь и к нам в Загорье перебирайсе!

— Не! — отмотнул он головою, облизав ложку и вставая из-за стола. Сурово, по-взрослому, рек: — Выдюжим. Набегалиси.

Он вновь в пояс поклонил хозяину с хозяйкою, сказал:

— Спаси Бог за хлеб за соль!

Натянул зипун и примолвил, берясь за шапку:

— Дак ты, деинка Силантий, не забудь, привези ченца!

— Што ты, малой! Не сумлевай! Из утра беспременно — всё брошу! Духом примчу! К пабедью али так к паужину сожидай!

Хозяйка кинулась с гостинцем. Приняв печево, он опять воздал поклон, запоясал туже зипун и натянул шапку.

Уже когда вышли за порог, он остерег хозяина (не хотел баять при бабах):

— Ты, деинка Силантий, повезешь ченца, дак на Манькино займище правь. Ручей разлило — страсть! Я даве едва коня не утопил!

Ночь уже вошла в полную силу. Медленно мерцали звезды. Молодой месяц только-только выплывал из-за тонких туч. Конь дремал, свеся голову. Охлопав коня по шее, он начал запрягать. Силантий вынес беремя сена, уложил в сани. Пошел открывать ворота, примолвил:

— В Манькином займище по ночам, слышь, водит, не заблуди, тово!

— Ладно, деинка, конь-от дом почует — дойдет!

В темноте, почти ощупью, он прыгнул в сани и подобрал вожжи. Скоро приблизился луг с оставшими

копнами и прежняя поскотина. Он ощупью отокрыл, ощупью задвинул заворы и, вновь взвалясь в сани, устремил в лесную чащобу, в сумрак и ночь.

Конь рысил, пофыркивая и сторожко внимая лесным шорохам. Представив себе, как братишка сидит сейчас недвижимо перед мертвым дедушкой, глазенки в слезах, и как обрадует его возвращению и гостинцу, он ощупал дареный калач за пазухою и улыбнулся в темноте.

*1980*

**СОДЕРЖАНИЕ**

**Балашов Д. М.**

Б 20 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 3. Бремя власти: Роман.— М.: Худож. лит., 1991.— 382 с.

ISBN 5-280-01604-7 (Т. 3)

ISBN 5-280-01602-0

Третий том Собрания сочинений Дмитрия Балашова составил роман «Бремя власти», посвященный великому князю владимирскому Ивану Калите (1325—1340), который в период своего правления заложил основы политического и экономического могущества Московского государства.

**Б $\frac{4702010201-269}{028\ (01)-91}$ Подписное** **ББК 84Р7**

ИБ № 6287

Сдано в набор 27.11.90. Подписано в печать 17.07.91. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 21,61. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-4003. Заказ № 1685. Цена 9 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28